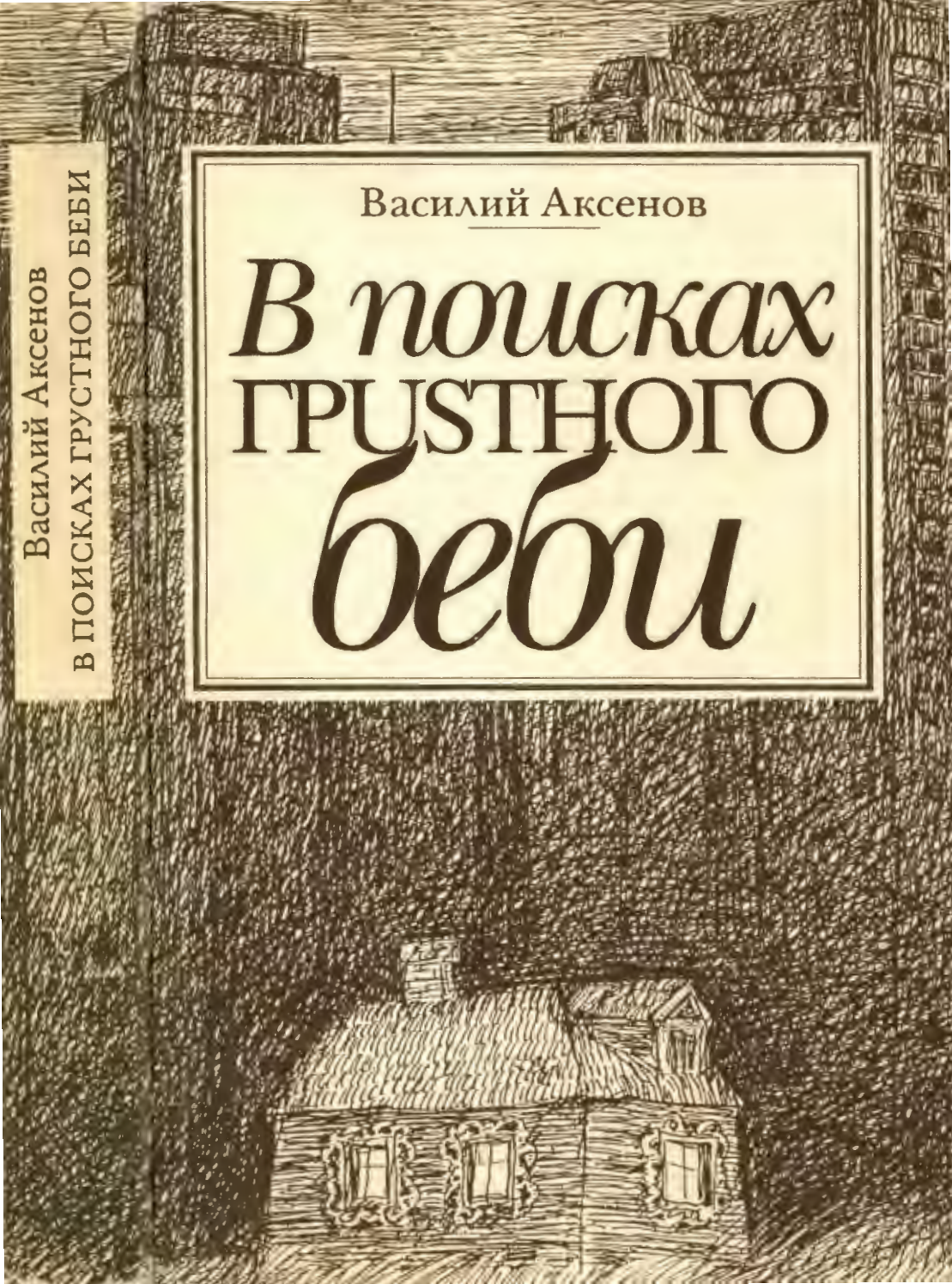
Василий Аксенов

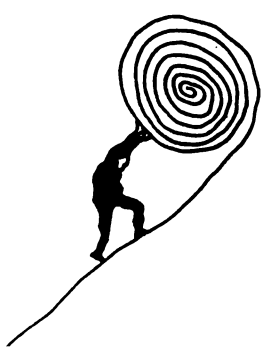
В поисках грустного беби



Василий Аксенов
В ПОИСКАХ ГРУСТНОГО БЕБИ

Василий Аксенов

В ПОИСКАХ ГРУСТНОГО БЕБИ



ББК Р7.4
А 42

Василий Аксенов

В ПОИСКАХ ГРУСТНОГО БЕБИ

Две книги об Америке

Ответственные за выпуск *Александр НИКИШИН и Исаак МОНАСТЫРСКИЙ*
Редакторы *Виктория ШОХИНА* и *Александр НИКИШИН*
Оформление обложки *Игоря ШЕИНА*
Иллюстрации *Марии РЫЖИКОВОЙ*

А42 **Аксенов В. В поисках грустного беби. Две книги об Америке.** — М.: Независимый альманах "Конец века", 1992, — 480 с.

Отец российского авангарда, блистательный прозаик Василий Аксенов (р.1932 г.) выступает в редком жанре — Faction. Его книги "Круглые сутки non-stop" (1976) и "В поисках грустного беби" (1987) представляют собой достоверные описания американской жизни, а также игры подсознания в стиле мрачно-веселого сюра. Их с наслаждением прочитает и зануда-интеллектуал, и обычный, любящий литературу человек.

А 4702010000—3 без объявл.
ЛР—060597—92

ISBN 5—85910—011—8

© Василий Аксенов, 1992.
© Мария Рыжикова, иллюстрации.
© "Конец века", независимый литературный альманах, книжная серия, 1992 г., совместно с еженедельником "Аргументы и факты"

СОДЕРЖАНИЕ

КРУГЛЫЕ СУТКИ NON-STOP
7

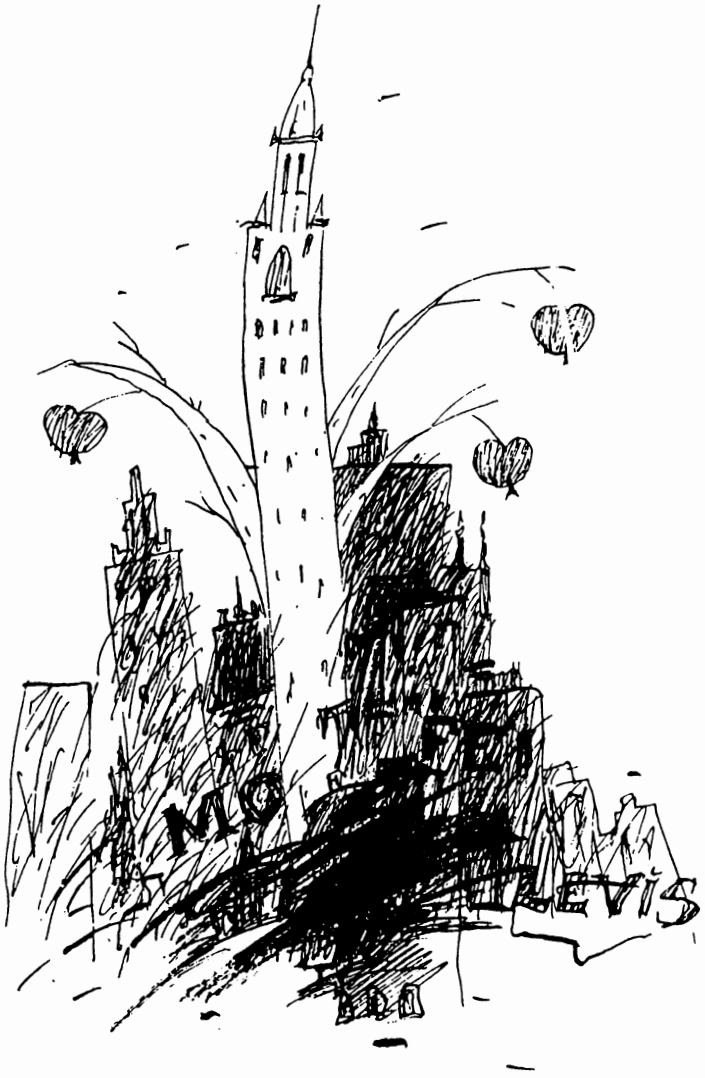
В ПОИСКАХ ГРУСТНОГО БЕБИ
135

ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ
НАПИСАЛ ПОВЕСТИ И РОМАНЫ:

"Коллеги" (1960)
"Звездный билет" (1961)
"Апельсин из Марокко" (1963)
"Пора мой друг, пора" (1965)
"Затоваренная бочкотара" (1968)
"Жаль, что вас не было с нами" (1969)
"Любовь к электричеству. Повесть о Красине" (1971)
"Мой дедушка — памятник" (1972)
"Сундучок, в котором что-то стучит" (1974)
"Стальная птица" (1977)
"Поиски жанра" (1978)
"Золотая наша железка" (1980)
"Ожог" (1980)
"Остров Крым" (1981)
"Бумажный пейзаж" (1983)
"Скажи, изюм" (1985)
"Московская сага" (1991)
"Желток яйца" (1991)

а также много замечательных рассказов,
пьес и других вещей.

С неослабевающим вниманием глядят друг в друга две великие страны — Россия и Америка. Бесконечен соблазн узнать, что же все-таки таится за этими буквами U S A — символ западной цивилизации, земля обетованная, нация спортсменов и бизнесменов, — и правда ли, что американцы и русские похожи, и правда ли, что совсем не похожи... Судьба "американских" книг Василия Аксенова и личная судьба самого их автора, русского писателя, вплетены причудливыми нитями во взаимоотношения и взаимопонимание двух стран. Первая книга, "Круглые сутки non-stop", опубликованная в 1976 году "Новым миром", написана человеком с советским паспортом, который попал в Америку на несколько месяцев — это опыт путешественника. Вторая — "В поисках грустного беби" — писалась уже "выброшенным из своего мира беженцем", она увидела свет в нью-йоркском издательстве "Liberty Publishing House" в 1987 году.


MO
LEVIS

КРУГЛЫЕ СУТКИ
NON-STOP

НАЧАЛО

Зарекался ведь я писать "американские тетради", "путевые очерки", "листки из блокнота" или как там их еще называют... Ведь сколько помню себя, столько и читаю американские тетради, очерки и листки.

"...яркое солнце висит над теснинами Манхэттена, но невесело простым американцам...", "...низкие мрачные тучи нависли над небоскребами Манхэттена, и невесело простым американцам..."

В самом деле, сколько всевозможных "Под властью доллара", "За океаном"! Что нового можно написать об этой стране?

Не пиши об Америке, говорил я себе. Приехал сюда читать лекции, ну и читай, учи студентов, сей разумное, доброе, вечное. Не буду писать об Америке — так было решено.

Однако что же мне делать с горячей пустыней Невады, с деревьями джошуа, этими застывшими тритонами, что маячат по обе стороны дороги? Выкинуть, что ли, на свалку памяти?

...Перед отъездом в пустыню Дин позвонил отцу и попросил одолжить ему на неделю мощный огромный отцовский "олдсмобиль". Старик торжествующе заворчал:

— Ага, когда доходит до дела, даже лос-анджелесские умники вспоминают об американской технике. Значит,

когда доходит до дела, они забывают свои европейские тарахтелки. Конечно, шикарно подрезáть носы у порядочных людей на своих европейских тарахтелках, но когда доходит до дела, они просят у родителей американский кар...

Вот, даже и в таком пустяке, как автомобили, сказывается в Америке конфликт поколений. В прошлых десятилетиях огромный сверхмощный кар-автоматик еще был в Америке символом могущества, процветания, мужского как бы достоинства. Сейчас американские интеллектуалы предпочитают маленькие европейские машины, хотя стоят они отнюдь не дешевле, а дороже, чем привычные гиганты.

Дин загнал свой любимый "порше" в угол гаража, исчез и вскоре приплыл на "корабле пустыни": двести пятьдесят лошадиных сил, автоматическая трансмиссия, эр кондишн. В последней штуке, собственно говоря, и был весь смысл замены — как ехать через пустыню без кондиционера?

Увы, "штука" сломалась, мы опустили все стекла в "олдсмобиле" и ехали через пустыню не в условном, а в настоящем сорокаградусном воздухе, которым дышали пионеры, когда брели за своими повозками в ту сторону, откуда мы сейчас летели на лимитированной скорости пятьдесят пять миль в час, ни больше ни меньше.

Врать об американских скоростях не буду, скорость повсюду сейчас в Америке небольшая, а если выскочишь за пятьдесят пять, тут же появляется неумолимый "хайвэй-патроль".

Вот неожиданно положительный результат топливного кризиса — резко сократилось число жертв на дорогах. Безумные гонки из безумного мира Стенли Крамера — это в прошлом.

В горячем воздухе, что валится на тебя сквозь окна машины, ты можешь хотя бы слабо представить себе самочувствие пионеров, шедших день за днем по этой серой, колючей, бескрайней земле, меж выветрившихся известняковых холмов-истуканов, в дрожащем мареве Невады, мимо однообразных призраков деревьев джошуа, день за днем, пока не открылась перед ними блаженная Калифорния, the promised land, земля обетованная.

*

Сколько раз ты видел это в кино? А сейчас собираешься описывать? Да ведь те, к кому ты по привычке адресуешься, видели эту пустыню в кино не реже, чем ты. Конечно, не на всех твоих читателей валился куб за кубом горячий воздух Невады, но преимущество твое невелико, и потому брось пустое дело.

...Потом где-то в сердце пустыни мы остановились у стеклянного павильона закусочной "Макдональдс" и прочли объявление:

"Босых и голых по пояс не обслуживаем".

Пришлось обуваться и натягивать майки...

Others may cherish fortune and fame
I will forever cherish her name... —

в закусочной "Макдональдс" в центре Невады звучала та же песня и в том же исполнении, что и в квартире Жанны Миусовой на Аптекарском острове Ленинграда в 1956 году. Фрэнк Синатра, "Старый Синеглазый"...

Ну вот, ты уже начал свой блуд, тебя уже не остановишь — ассоциации, ретроспекции... подпрыгивает шариковый карандаш, не без сожаления оглядываясь на интервалы.

Что ж, беги, карандаш, так и быть, только постарайся уж как-то поприличнее, посуше, чтобы и серьезные люди нашли хоть малый толк в твоих писаниях, постарайся хотя бы без вымысла, без фантазий, довольно уж вздору-то навалял — в ящики не закатывается. И нечего прятаться за спиной вымышленных героев! Пиши от первого лица, так труднее будет врать. Ты, карандаш, принадлежишь гостю Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, "регентскому профессору" и члену Союза писателей Аксенову, а не какому-то вымышленному Москвичу, которого можно увидеть праздногуляющим по незнакомым улицам в поисках Типичного Американского Приключения.

Typical (типичное) American (американское)
Adventure (приключение)
Part (часть) I (первая)

СТРАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

"Того, кто помог мне встать, когда я упала..."
А может быть так:
"Того, кто помог мне встать, когда я упал..."
? ? ?

Москвич стоял перед доской объявлений на границе университетского кампуса в том районе великого и шумно известного по всему миру Города Ангелов, что называется Деревней Западного Леса.

Москвич совсем еще был не в своей тарелке, его покручивало современное страдание, именуемое в той стране, куда он попал, jet-lag, джет-лэг, "реактивное отставание". Он не совсем еще отчетливо осознавал свой вчерашний прыжок через десять часовых поясов, а тут еще это странное объявление. Из английского текста и не поймешь — леди упала или джентльмен?

Конечно, воображение может разыграться.

Скорее всего упала дама, какая-нибудь волшебница из соседнего Светлого Леса, запуталась в соболях и — бац! — падение... Впрочем, конечно, могла упасть и какая-нибудь золушка из Каньона Холодной Воды, зацепилась бедным золотым каблучком за решетку водостока и растянулась.

Вряд ли мог упасть вот такой, например, баскетболист из команды "Медведей", вот этот "супер", что идет со своим мешком за спиной мимо Москвича, идет, насвистывает, в плечах два ярда, рост десять футов.

Сомнительно, что мог упасть и такой, например, фрукт, как вот этот с сизым носом, с пели-

каньим зобом, с кабаньей седой щетиной, с пиратской серьгой в изуродованном ухе, тот, что едет мимо Москвича к паркингу университетских клиник, и едет, экий чертяка, в бесшумном своем "ягуарище".

Значит, объявление читается так:

"Того, кто помог мне встать, когда я упала в прошлый четверг на Вествуд-бульваре в 11 часов 35 минут вечера, прошу позвонить 876-5432..."

"А где же я был прошлым четвергом в то время? — подумал Москвич. — Ах да, над Атлантикой в "Ильюшине — шестьдесят втором".

Стало быть, никак он не мог помочь Незнакомке, но тем не менее, однако, все-таки почему-то, для чего-то он аккуратно переписал телефонный номер в свою записную книжку.

Странное дело, он чувствовал какую-то свою причастность к этой истории. Ему казалось, что он на грани чего-то еще неизведанного, что еще миг — и он может оказаться в вихре приключения, типичного американского приключения, у которого будут и тайны, и пропасти, и горизонты, и даже неведомая Цель — нечто высокое, загорелое, с блестящими глазами, нечто женское в белых широких одеждах.

Однако тихая суть скромного кабинетного интеллигента разумно тормозила его порыв. Нет, он не будет звонить по этому телефону, ведь он не имеет к этой истории ни малейшего отношения.

Между тем прозрачность неба в районе Святой Моники все усиливалась, и, хотя верхние этажи темностеклянных небоскребов Нижнего Города еще отражали солнечные лучи, в прозрачности этой над контурами королевских пальм уже появлялись чистые, промытые восходящими океанскими потоками звезды, а весь этот контур Города Ангелов с возникающими там и сям огнями реклам напоминал Москвичу юношеские мечты, будущее путешествие все дальше и дальше на запад,

хотя он и понимал с некоторым еще "реактивным запаздыванием", что дальше на запад, по сути дела, путешествовать вроде бы уже и некуда, что он стоит как раз на том самом Золотом Берегу, куда вели свои фургоны пионеры и куда сорок лет влекло его собственное воображение.

Стоп! Остановись, блудливое перо! Увы, не останавливается пластмассовое, шариковое, пастой чернильной снабженное на целую книжку, блудливое перо.

Ну хорошо, если уж появился здесь вымышленный Москвич, если уж завязалось ТАП (типичное американское приключение), то давайте хотя бы обойдемся без нашего докучливого антиавтора, вздорного авангардиста Мемозова с его псевдосовременными теориями черного юмора, телекинезиса и оккультизма, место которым на шестнадцатой полосе "Литературки", но уж отнюдь не в этих записках. Ведь все искривит, все опошлит! Нет, этому цинику сюда ходу не будет!

Мемозов остановился на границе университетского кампуса перед автоматом горячих напитков. Автомат убедительно просил людей не пользоваться канадскими монетами. Мемозов нашарил среди мелочи, конечно же, канадский четвертак. Вот вредный характер!

Спокойно вбил четвертак в автомат, получил пластмассовый стакан с горячим кофе и сдачи "дайм" местной монетой и, не обращая никакого внимания на страдания машины (нелегко американскому автомату проглотить канадскую монету!), пошел к столбику объявлений, возле которого стоял Москвич.

— Хай! — сказал Мемозов. — С приездом! Уже телефончики переписываем? Дело, дело...

— Мемозов! — вскричал Москвич. — Вы-то здесь каким образом?!

— Воображение путешествует без виз, — туманно ответил антиавтор.

— Уместны ли вы здесь? — с досадой пробормотал Москвич.

— Как знать, — пожал плечами Мемозов. — Город большой.

Он стоял перед Москвичом, потягивая дымящийся кофе и улыбаясь из-под длиннейших усов, которые за последние годы приобрели уже форму перевернутой буквы "даблю". Он так был одет, этот несносный Мемозов, что даже привычные ко всему жители Деревни Западного Леса останавливали на нем свои прозрачные взгляды.

Вообразите: кожаное канотье с веткой цветущего лимонника за лентой... Вообразите: лорнет, монокль, пенсне на цепи... Вообразите: бархатно-замшевые джинсы с выпушками из меха выхухоля и аппликациями знаков кабáлы... Вообразите: унты из шкуры гималайского яка, жилет с цитатами из месопотамского фольклора; вообразите: плащ в стиле "штурмунддранг", заря XIX... Вообразите, наконец, псевдомятежные кудри биопсихота, черные кудри, прорезанные молниями ранней меди.

— Вот вы говорите о воображении, Мемозов, — сказал Москвич, — а между тем на первый взгляд вы вполне материальны, сукин сын.

— На первый взгляд?! — Мемозов бурно расхохотался. — Огорчать не хочу, но совсем недавно в "Ресторанчике Алисы" я расправился с двумя порциями креветок, блюдом салата, трехпалубным стейком по-техасски, порцией яблочного пирога, кейком из мороженого, так, так... боюсь соврать... Три кофе-экспрессо, три рюмки водки "Смирнофф", бутылка бужоле. Жаль, что вас не было с нами, старина.

— Надеюсь, расплатились? — робко полюбопытствовал Москвич.

— Бежал! — гордо расхохотался Мемозов. — Прелестная кассирша гналась за мной по всему Западному Лесу, пока я не нашел спасение в ресторане "Голодный тигр", где мне пришлось заказать...

— Счета хотя бы у вас сохранились?

— Хотите оплатить?

— Ничего не поделаешь. Я за вас отвечаю перед...

Счета "Алисы" и "Голодного тигра" затрепетали перед носом Москвича. Он протянул было за ними руку...

— Э нет! — хихикал наглец. — Я вам счета, вы мне — ваш секрет!

— Какой еще секрет? — невольно огрубев, невольно басом, в самообороне спросил Москвич.

— А телефончик, который записали, олдфеллоу? Как вы думаете, в чем смысл моего появления? В телефончике!

Последнее слово Мемозов как бы пропел, и Москвич тогда тяжко подумал, что вот снова какая-то чушь, какая-то досадная ерунда прикасается к его сегодняшнему "юному" вечеру на самом западном берегу человечества. Невольно он прикрыл ладонью объявление на доске.

— Ха-ха-ха! — захохотал Мемозов уже по-английски. — Вот я и поймал вас, сэр! Как вы смешны! Как вы неисправимы! На свалочку пора, а вы туда же — приключений ищете!

Сквозь ладонь он легко прочел таинственное объявление и несколько раз повторил номер телефона — 876-5432.

— Не имеете права! — возмущенно запылал Москвич. — Убирайтесь, Мемозов.

Было темно уже и пустынно, и только шаркали мимо бесконечные кары калифорнийцев: "мустанги", "триумфы", "порше", "пэйсеры", "мерседесы", "альфа-ромео"...

Ну что бы, казалось, взять да бегом в универ-

ситетский паркинг-лот, схватить машину, умчаться к ревущим незнакомым фривэям (авось выкатят к друзьям на тусклую улочку Холма или на Тихоокеанские Палисады), нет — нелепейшая перепалка продолжалась, и Москвич понимал с каждым словом все яснее, что эту глумливую мемозовскую пошлятинку, лукавое подхихикиванье и сортирный снобизм ему без труда не изжить.

Мемозов наконец замолчал, встреча как началась, так и кончилась по его воле. Афганским свистом с клекотом он подозвал своего то ли коня, то ли верблюда, то ли страуса, взлетел в седло — ковбой, видите ли! — и медленно с важным цокотом поскакал в сторону Биверли-хиллз. В самом деле, на чем же еще ездить Мемозову в автомобильной стране — конечно же, на помеси страуса с верблюдом!

Развязная песенка авангардиста долетела из неоновых сумерек суперцивилизации:

На бульваре Голливуда
Я не съел и соли пуда,
Все рассчитывал на чудо,
И однажды на Сансете
Я попался, как сом в сети,
К белой пышной Маргарете.
Вместе с крошкой на Уилшире
Мы увидели мир шире
В замечательной квартире.
Ай ду-ду, ай бу-бу,
Ждет нас мама в Малибу...

— Вот ужас, — простонал Москвич.

В руке его трепетали неоплаченные счета. Опомнившись, он бросился в телефонную будку. Ведь этот субъект может теперь все опошлить, изуродовать все приключение, которое и начинать-то он ведь не собирался, а вот сейчас приходится...

Между прочим, тут где-то, между двумя этими дымоходами, по коньку литературной крыши бродит драная кошка, именуемая на интеллигентском жаргоне "сермягой".

В таком ли уж страшном противоречии находятся эти понятия? Что стоит наше воображение без существ и предметов, населяющих мир реальности? Но как бы мы назвали все эти существа и предметы, не будь у нас воображения?

В путешествиях, однако, часто сталкиваешься с разными мелкими, я бы сказал, бытовыми противоречиями между воображением и реальностью.

К примеру, Нью-Йорк. Ты столько читал о стритах и авеню Манхэттена, столько видел фото, кино и теле, что в твоем воображении этот город, можно сказать, построен. Ты все уже прочертил в своем воображении и твердо знаешь, как эти стриты идут, откуда — куда, но, попав в реальный Нью-Йорк, ты вдруг видишь, что ошибался, что стриты идут не "оттуда — туда", а "туда — оттуда", а весь Манхэттен греет свой хребет на солнце не совсем под тем углом, как ты воображал.

Другой пример — Венеция. Ты знал, что она красива, но в реальности она оказывается еще красивее, чем в воображении, несмотря на то что дворцы ее чуть ниже, чем ты воображал.

Итак, в путешествиях ты сталкиваешься с этими мелкими противоречиями и радостно их уничтожаешь, радостно потому, что на месте твоего прежнего воображения вырастает новое и, клубясь, как тропическая растительность, покрывает твою новую реальность.

Значит ли это, что прежнее воображение ничего не стоило? Отнюдь нет. В новом лесу ты часто наталкиваешься на заросли старого, ты или продираешься сквозь них, или носом падаешь в их аромат, чтобы отдышаться, и путешествие твое становится одновременно как бы и воспоминанием, а это хорошо.

Теперь я должен познакомить читателя с тем городом, куда я зову сейчас его воображение.

Лос-Анджелес. Город Ангелов. Калифорнийцы называют его запросто Эл-Эй.

Вот мое первое утро в этом городе. Постараюсь описать перекресток Тивертон-авеню и Уилшира с теми предметами, которые запомнились.

На перекресток этот выкатывается еще несколько улиц с незапомнившимися названиями, таким образом, получается что-то вроде площади. Слева от меня бензозаправочная станция Шелл, чуть подальше станция Эссо, по диагонали напротив станция Аполло: все такое белое, чистое, белое с синим, белое с красным, белое с желтым, вращаются рекламы нефтяных спрутов, висят гирлянды шин.

Далее. На перекрестке этом не менее десятка светофоров, часть на длинных дугах, часть на столбиках. Пешеходы дисциплинированные, но если ты вдруг зазевался и пошел на красный, это еще не означает, что ты обречен. Закон штата Калифорния похож на знаменитый закон американской торговли: "Pedestrian is always right"[1].

Где бы ты ни ступил на мостовую, в любом месте города любой водитель тут же затормозит и даст тебе преимущественное право прохода. В Нью-Йорке, между прочим, этого правила нет, там смотри в оба!

Топографический, эстетический, а может быть, и духовный центр перекрестка — это, безусловно, кофе-шоп, ships, большая стеклянная закусочная, открытая двадцать четыре часа в сутки, нон-стоп. Там видны на высоких табуретках и в мягких креслах многочисленные едоки разных категорий: и скоростные дилер-уиллеры, что, глядя на часы и не переставая трещать, запихивают себе в рот салат и гамбургеры, и гурманы, смакующие торты и кейки, и разочарованные дамы с сигаретами, и прочие.

Рядом с ships открытый паркинг-лот, где среди автомобилей, словно странные одушевленные существа, выделяются огромные японские мотоциклы "хонда" с высоким рулем.

---

[1] Пешеход всегда прав. Созвучно с известным "customer is always right" (покупатель всегда прав).

Что еще? Вдоль тротуара стеклянные ящики с газетами, солидные "Los Angeles Times" и "Exeminer", левая "Free Press", и рядом сплетницы "National Enquirer", и "Midnight", и тут же порно "LA Star", и тут же газеты гомосексуалистов.

Вылезает на перекресток алюминиевый бок банка и окно ресторанчика "Два парня из Италии".

Вдаль по одной из улиц уходит вереница пальм, и там за асфальтовым горбиком в небе некоторое золотистое свечение. Мне кажется, что именно там — океан. Впоследствии выясняется, что океан в противоположной стороне.

Кругорама, в центре которой, естественно, находится автор, то есть я, замыкается изломанным контуром крыш и реклам, среди которых выделяются стеклянный билдинг Tishman и гигантский плакат Корпуса Морской Пехоты.

Нынче американские вооруженные силы состоят из наемников, поэтому каждый род войск рекламирует себя с не меньшим азартом, чем табачные фирмы.

Два замечательных парня и милейшая девушка в форме морских пехотинцев день и ночь смотрят на наш перекресток, а над ними сияет лозунг marines:

"Quality! Not quantity!" (Качество! Не количество!)

Замечу, к слову, что на всех табачных рекламах в Соединенных Штатах вы можете прочесть предупреждение:

"Генеральный Хирург установил, что курение опасно для вашего здоровья"

На рекламах вооруженных сил такого предупреждения нет, как будто война менее опасна для здоровья, чем курение.

Итак, какие предметы я перечислил на нашем перекрестке? Газолиновые станции, рекламы, шины, светофоры, кофе-шоп, автостоянку, мотоциклы, ящики с газетами, пальмы, банк, итальянский ресторанчик, небоскреб, морскую пехоту.

Какие предметы я забыл перечислить? Почтовый ящик с белоголовым орлом, здоровенный, как трансформаторная будка, бесшумные раздвижные ворота, за которыми —

пасть в подземный многоэтажный паркинг, ярко-зеленые лужайки вдоль Тивертон-авеню и несколько спринклеров, разбрызгивающих искусственный дождь и развешивающих маленькие радуги... ей-ей, там больше не было предметов, ну если не считать быстро летящих облаков, солнца, пустой банки из-под пива "корс", которая тихо, без всякого вызова катилась по асфальтовому скату и поблескивала с единственной лишь классической целью — завершить картину прозаика. Помните "осколок бутылки"? Впрочем, может быть, уже достаточно для вашего воображения?

Итак, вообразите мгновение. Дул сильный ветер, он продул это мгновение все насквозь и перелетел в следующее.

Из-за угла вышли на перекресток несколько мужчин среднего возраста, эдакие tough guys[1], как будто прямо с рекламы: коричневые лица, седоватые виски, белые зубы, на куртках-сафари отложные воротнички ярких рубашек. Они перешагнули это мгновение и вошли в следующее, в котором почему-то все разом захохотали.

Четыре автомобиля, два красных, один темно-синий и один желтый, прошмыгнули из этого мгновения в следующее.

На станции Шелл у черного, похожего на пианино спортивного "порше" открылась дверца, и из нее вылезла длинная красивая нога. В следующем мгновении появилась и вся хозяйка ноги, а потом и друг ноги, беленький пудель.

Едва лишь предлагаемое мной читателю пролетело, как я начал пересекать улицу и через череду мгновений, описывать которые бумаги не хватит, вошел в закусочную ships и вступил в то соответствующее мгновение, в котором заказал через стойку котлету и салат.

— Which kind of dressing would you like, sir?[2] — спросили меня, и пока я соображал, что это значит, почему dressing и при чем здесь одежда, надо мной все время маячило любезнейшее синеглазое, хоть и стандартное, но приятное южнокалифорнийское гостеприимство.

---

[1] Жесткие ребята.

[2] Какую приправу предпочитаете, сэр?

Итак, что же это за город, на одном из бесчисленных перекрестков которого мы только что побывали?

Просвещенный читатель, должно быть, уже знает, что это, собственно говоря, и не город вовсе. И правда, очень мало мегалополис Эл-Эй соответствует традиционному европейскому понятию "город".

На гигантской его территории вы можете неожиданно попасть в пустыню, увидеть по обе стороны фривэя дикие, выжженные солнцем холмы.

Через несколько минут в другом районе вам может показаться, что вы оказались в XXIII веке, на одном из колонизированных уже астероидов, и, если в прозрачном ночном небе между небоскребами Сэнчури-сити вдруг появится снижающийся космический паром, вы и не удивитесь.

Впрочем, на узких улицах Даун-тауна в час пик вы подумаете: да нет же, это обыкновенный город, самый обычный большой американский город.

Вечерами сверкающие бесчисленными фарами, шипящие бесчисленными шинами змеи фривэев весьма красноречиво напоминают вам, что вы в сердце суперцивилизации.

Утром на холмах Бэльэр, на Пасифик Палисэйдс или в кварталах Санта-Моники вы слышите первозданные звуки природы: крик птиц, шелест листвы, шум прибоя. Под окнами висят грейпфруты и лимоны, коты ведут хитрую игру с голубыми калифорнийскими сороками.

Даже климат разный в разных районах города. Вы можете изнывать от жары в долине Сан-Фернандо или в негритянском районе Уотс[1], и в тот же час вы можете блаженствовать под океанским бризом в Санта-Монике или в Венес[2].

В другой день приползет к вам в Санта-Монику туман, и вы влезете в свитер, обмотаете горло шарфом, сунете

---

[1] Знаменитое гетто, яростный бунт которого положил начало "самому жаркому лету" Америки. Последнее событие в Уотсе — окружение и расстрел полицией террористов из SLA, многочасовое телевизионное шоу на всю страну.

[2] Venece — полутрущобный район вдоль одноименного пляжа. Там мирно живут негры, хиппи и старички евреи.

зонтик под мышку, а ваши друзья в Сан-Фернандо тем временем будут беспечно плескаться в бассейне.

В административном отношении мегалополис Лос-Анджелеса тоже состоит из разных сливающихся городов. Беверли-хиллз, Голливуд, Студио-сити, Санта-Моника, Лонг-Бич — это отдельные административные единицы со своими управлениями. В центре собственно Лос-Анджелес, в котором полтора-два миллиона населения, а во всей куче, во всей галактике, кажется, не меньше десяти миллионов.

Здесь нет вечерней уличной жизни. Будьте уверены, если вы после заката солнца захотите прогуляться по Уилширу или Сансету, к вам через некоторое время приблизится патрульная машина и офицер вежливо спросит:

— Что-нибудь ищете, сэр?

Поначалу это безлюдье меня раздражало. Истекающий электричеством, пылающий, но пустынный Сансет-стрип. Пустынные коридоры королевских пальм на Палисадах. Пустынный Уилшир с его удивительными темностеклянными небоскребами...

Друзья говорили мне, что где-то на Уилшире недавно откопали динозавра. Хотелось спросить: живого?

Позже, освоившись в этом немыслимом Эл-Эй, я научился улавливать там по вечерам признаки жизни.

Вот, например, впереди вымерший перекресток. Огромная игривая девица улыбается через плечо, кося глазом на бутылку.

Catch me with Cam-tchat-ka![1]

Реклама водки "камчатка".

У стеклянного павильона "Джек-ин-зи-бокс" стоят три больших автомобиля.

Шумит листва. Мигают звезды.

Вдруг вижу, из "Джека" выскочил паренек с тремя подносами, на них дымящаяся еда. Несколько ловких движений — и подносы присобачены к бортикам автомобилей. И в автомобилях тоже обнаруживаются живые люди, приподнимаются из кресел, высовываются из окон, едят...

---

[1] Поймай меня с "камчаткой"! (Игра созвучий.)

Ободренный этими явными признаками жизни, я заворачиваю за угол и снова вижу нечто человеческое: некто в белом прыгает и бьет голыми ногами в грудь другого в белом. Тишина, молчание: все за стеклом. Школа каратэ.

Чуть повертываю голову — за другим стеклом десяток джентльменов в сигарном дыму вокруг массивного стола: совет директоров какой-то фирмы.

Где-то хлопнула дверь — красноватый свет отпечатался на тротуаре, долетела рок-музыка, замелькали тени, из каких-то грешных глубин выскочила группа молодежи, поплюхались в автомобили, взвыли, отчалили, влились в бесконечный traffic[1], дверь захлопнулась — тишина, безлюдье... Длинный ряд домов с табличками "For rent, no children, no pets"[2], звезды шуршат в королевских пальмах... Вдруг близко скрип рессор, скрип тормозов, скрип руля — из-за угла выползает "желтый кеб", огромный "кадиллак" выпуска 1934 года с надписями на бортах "Содом и Гоморра". Из окна молча и неподвижно смотрит лицо неопределенного пола, одна щека красная, другая зеленая.

Я начинаю догадываться, как много жизни за этими тихими фасадами, в глубине кварталов, на холмах и в каньонах великого города, как много странной, быть может, и таинственной жизни.

Недаром чуть ли не восемьдесят процентов американских фильмов о грехах и страстях человеческих снимаются в Лос-Анджелесе.

Проходит еще некоторое время, две недели или три, и у меня образовывается мой собственный Эл-Эй, мои собственные трассы, пунктиры телефонной связи, моя бензоколонка, мой супермаркет, мои кафе, беговая дорожка, бассейн, пляж — то есть, как и у всех аборигенов, собственная среда обитания, пузырь повседневной жизни.

Могу предположить — "отчуждение" в Лос-Анджелесе ничуть не сильнее, не страшнее, чем в любом другом большом, но обычном городе мира. Да, здесь есть индустриаль-

---

[1] Уличное движение.

[2] Внаем, без детей, без животных.

ные джунгли, где можно ехать час или два и не увидеть ни одного, просто ни единого человека...

Однажды мы вдвоем с милейшей калифорнийкой отправились в Лонг-Бич осмотреть музейный лайнер "Куин Мэри"[1]. Прошлявшись несколько часов по палубам, залам и коридорам британского гиганта, отправились восвояси, запутались в светофорах, в разных бесчисленных "рэмпс", в дорожных надписях и заблудились.

Неведомая и невероятная местность вдруг открылась нам. Во все стороны света до самого горизонта простиралась индустрия: портальные и мостовые краны, доки, ржавые громады покинутых кораблей, башни теплоцентралей, яйцеобразные, шарообразные, чечевицеобразные емкости газгольдеров, светящиеся плоскости загадочных мануфактур, мешанина железнодорожных путей, мачты энергопередач, кишечник труб, провода, тросы, кабели словно хаос вычесанных волос, ползущие в этом хаосе вагонетки, и монотонно, но многосмысленно качающиеся насосы нефтяных скважин, и горы автомобильных отбросов, и, конечно же, штабеля затоваренной бочкотары — и ни одной живой души...

Повсюду были дымы, багровые, оранжевые, зеленые, желтые, явные яды, а любимое наше светило, закатываясь в эти дымы, напоминало главный яд, резервуар всех страшных ядов.

И ни одной живой души — ни кошки, ни собаки, и даже чайки сюда не залетали из недалекого океана...

Живые души проносились в своих спасательных пузырях-автомобилях по выгнутым дикими горбами фривэям, а бетонные эти ленты, выгнутые горбами и пересекающиеся в разных плоскостях над неорганической страной, еще сильнее подчеркивали атмосферу не-жизни.

Мы катили через эту страну час или два, кружили и петляли, стараясь выбраться на Пасифик Коуст хайвэй. К счастью, бензина в баке было достаточно, и мы выбрались.

Мы были изрядно утомлены и угнетены, и спутница-калифорнийка, которая, как оказалось, и не подозревала,

---

[1] Бывший флагман атлантического пассажирского флота, купленный сейчас городским управлением Лонг-Бича.

что неподалеку существуют эдакие джунгли, даже прекратила трещать своим милейшим язычком и жестикулировать милейшей ладонью.

Однако еще через час мы и думать забыли об этом мире неживой природы, созданной венцом живой природы, то есть человеческим гением.

Это был первый вечер уик-энда, и мы попали на перекресток неясных духовных брожений, в уютную сутолоку Вествуда.

Рами Кришна
Рами-рами
Хари-хари
Хари-рами
Хари-Кришна
Хари-хари
Рами-рами
Рами-хари...

У закрытых дверей "Ферст Нэшнл Сити Бэнк" тряслась в танце группа парней и девушек в желтых и белых хламидах, подпоясанных веревками. С бритых голов свисали длинные узкие косицы вроде запорожских оселедцев, мелькали босые пятки. Двое лупили ладонями в барабаны, трое гремели бубнами. Длинная тощая сестрица с придурковато-блаженным выражением юного лица, тоже пританцовывая, бродила в толпе зрителей, раздавала журнальчики поклонникам Кришны, просила немного денег и, получив несколько монет, проникновенно шептала, заглядывая в глаза:

— Вы так щедры, вы так прекрасны...

Рядом, едва ли не перемешиваясь с кришнаитами, бурно демонстрировала свой восторг группа новообращенных христиан, ассоциация "Джуз фор Джизус!"

Чуть поодаль прямо с собственного велосипеда, зацепившись ногой за уличный барьер, вещал один из многочисленных в Эл-Эй бродячих проповедников-свами. Седые волосы перехвачены по лбу кожаной лентой, глаза на старом морщинистом лице поблескивают веселой сумасшедшинкой. Пересыпая свою речь непристойностями, но уважительно подбородком и руками апеллируя к небесам, сва-

ми разоблачал пристрастие современного человека к удобствам — к холодильникам, кондиционерам, автомобилям...

Слушателей было немало, все хохотали, а юный негр подбрасывал пророку новые идеи:

— Swumy, what about money?[1]

— Money?! — жутким голосом, напомнившим мне одного режиссера "Мосфильма", завопил пророк. — Money is shit, green shit![2]

Тут же среди пророков, трясунов, певцов и барабанщиков и все на том же пятачке возле банка бродили зеваки с пакетиками орехов, с сахарной ватой, с банками пива. Из грузовичка выгружалась новая команда с новыми лозунгами, железными бочками вместо барабанов, то ли движение "Women's Lib", то ли "Gay's pride"[3], то ли "Группа борьбы против кастрации кошек", то ли "Марш ветеранов спорта за переселение на Луну"...

К банку, мигая сигнализацией, приближалась патрульная машина полиции. "Вот сейчас и разгонят всю шарагу", — подумал я.

Однако никто на перекрестке, кроме меня, на полицию не обратил ни малейшего внимания. Полицейские, негр и белый, вышли из машины и встали в своих классических позах — руки за спиной — против трясущихся и все больше входящих в раж братьев и сестер Хари-Кришны.

...Запомнив этот перекресток, я и на следующий вечер пришел сюда.

Было пустынно и тихо, только позевывал возле магазина грампластинок скучающий секьюрити-гард[4], только светились вывески "Alice's Restourant", "Hungry Tiger", "MacDonald", "Bullocs" да проносились, конечно, машины.

Вествуд-вилледж был пуст. Электронные часы на фасаде банка показывали 23.34. Вдали, в нескольких кварталах

---

[1] А что насчет денег, свами?

[2] Деньги? Это дерьмо! Зеленое дерьмо!

[3] Движение за освобождение женщин и движение гомосексуалистов.

[4] Охранник.

от меня, появилась высокая женская фигура в белых одеждах. Ровно в 23.35 она стала пересекать Вествуд-бульвар и в середине, беспомощно, но красиво махнув белым рукавом ли, крылом ли, упала.

Вздор, сказал я себе, это уже не надежная реальность, это уже предательское воображение. Ни с места, сказал я себе, уже двигаясь к месту происшествия.

Упавшую фигуру закрыл длинный черный "роллс-ройс". Шестерка еще не заменила пятерку на электронных часах, когда он проехал мимо меня. Я успел заметить внутри белые одежды, темное лицо, светящиеся глаза... Продукт воображения быстро исчезал со сцены.

Typical American Adventure
Part II

КТО ВЫ? КУДА МЫ? ГДЕ Я?

Москвич даже вздохнул с облегчением, когда услышал в трубке мужской голос. Вдруг пронесет, вдруг не закрутит, вдруг вообще все это просто мужская нормальная шутка, а еще лучше — легкое недоразумение?

— Хеллоу, — то ли проговорил, то ли пропел немолодой, но приятный мужественный голос.

— Простите, я звоню по поводу объявления, что было вывешено в университетском кампусе. Должно быть, это шутка, сэр? — Москвич подождал секунду, но не услышал ответа. — Недоразумение, сэр?

— It's over, it's over, it's over[1], — печально проговорил или пропел мужской голос.

---

[1] Это кончилось, кончилось, кончилось... (Здесь и далее обладатель приятного баритона изъясняется в основном фразами из популярных песенок Фрэнка Синатры.)

ONE
RE

— Простите, я не стал бы звонить, если бы ваш телефонный номер не попал в руки весьма сомнительному субъекту, а так как этот субъект является в значительной степени продуктом воображения, то я, представляющий также в некотором смысле определенное воображение, считаю себя так или иначе ответственным за поступки этой персоны, — на одном дыхании выпалил Москвич и добавил, подумав: — Вы меня, конечно, не понимаете?

— Отлично понимаю вас, дружище, — сказал невидимый собеседник. — А теперь вы меня послушайте.

Неизвестно откуда тут возникла в трубке музыка, и голос уже впрямую будто на эстраде запел:

Love and marriage,
Love and marriage,
Go together
Like a horse and carriage...[1]

Не без удовольствия Москвич прослушал до конца эту песенку, которую помнил еще с осени 1955 года, с тех еще времен, когда он был не Москвичом, а Ленинградцем, с той осени, когда западный циклон закупорил невское устье и вода вышла из берегов сфинксам до подбородка, а он как раз шел на танцы по Большому проспекту Петроградской стороны по колено в воде и насвистывал эту песенку, и встретил девушку на площади Льва Николаевича Толстого, и вместе они пришли в медицинский институт, где танцевали под эту песенку, и все танцоры были мокрыми по колено, но сухими выше колена — славная была ночка!

— Спасибо, — сказал он, когда песенка кончилась.

— Пожалуйста, — ответил тот же голос. —

[1] Любовь и женитьба связаны вместе, как лошадь с повозкой...

Теперь взгляните, старина, стоит ли рядом с вашей телефонной будкой белый открытый "мазаратти"?

Он оглянулся. Рядом с телефонной будкой действительно стоял белый открытый "мазаратти", а за рулем была девушка. Да уж конечно, девушка там была за рулем. Именно девушка должна была появиться сейчас по закону ТАП, и она появилась.

— Садитесь, — сказал голос в трубке.

— Эй, мэн, садись! — сказала девушка.

"Мазаратти" всхрапнул, и не прошло и двух минут, как наш Москвич оказался в ночном потоке на Санта-Моника-фривэй. Кое-кто в Городе Ангелов, видно, не боялся дорожных патрулей. В частности, девица на "мазаратти". Переносясь из ряда в ряд, подрезая носы равномерно катящим средним американцам, она не прикасалась к тормозам и не снижала скорость за отметку семьдесят миль в час.

Руль она держала одной лишь левой рукой, а правой между тем сворачивала на сиденье какую-то самокрутку, нечто вроде "козьей ножки" с зеленым табачком.

— Мэн, огня! — коротко приказала она.

— Куда мы едем? — спросил Москвич, протягивая зажигалку.

— Man, are you groovy? — Девица, морща носик, блаженно затягивалась.

— Что такое groovy? — недоумевал Москвич. — Что означает это слово?

— Ничего не означает, — сказала драйверша. — Я просто спрашиваю: you man — ты груви или не груви?

— Yes, I am groovy, — кивнул Москвич.

— Тяни.

Слюнявая сигаретка-самокрутка влезла ему в рот.

— Куда мы едем? — повторил он свой первый вопрос.

— В Топанга-каньон...

Москвич почувствовал некоторое головокружение и в связи с этим головокружением как бы подбоченился в кресле.

— You girl! — сказал он в предложенном стиле. — А ты груви?

Девушка захохотала и вырвала у него изо рта чинарик.

Санта-Моника-фривэй кончался тоннелем, и там машины уже ели ползли, образовался "джем", автомобильная пробка. Трудно сказать, каким образом они за одну секунду проскочили этот забитый тоннель — ведь не по воздуху же! — но вот они уже неслись по Тихоокеанскому вдоль белеющих в темноте пляжей под обрывами Палисадов.

Он не успел заметить, когда и где у них появился эскорт. Теперь три средневековых рыцаря на мотоциклах "хонда" сопровождали их: один мчался впереди, второй сбоку, третий сзади. Черные, вороненой стали доспехи закрывали их тела, на головах шлемы, похожие на полированные черные шары. Лиц не видно.

"Мафия! — догадался наконец Москвич. — Я в руках мафии. Вот она, подпольная преступная Америка. В первый же день я попал в лапы "Коза Ностра". Однако зачем я им? Для чего мафии нужен отнюдь не богатый Москвич, без особенных прав на американское жительство, с блохой на поводке? А вдруг еще укокошат? Это будет глупо, довольно-таки глупо. А в то же время — быть в Америке и не побывать в руках мафии? Тоже довольно нелепо. Пожалуй, мне повезло — я в руках мафии!"

В Топанга-каньоне было темно и пустынно. Узкая асфальтовая дорога забирала все выше и выше, виясь серпантином между заборами неосвещенных вилл. Мотоциклисты как появились, так и пропали — незаметно. Молоденькая драйверша

стала почему-то серьезной, на Москвича не смотрела и на вопросы не отвечала.

А скорость между тем все увеличивалась. Головокружение тоже. И на одном из немыслимых виражей Москвич спел своей спутнице короткий дифирамб:

— Ю или ты! Ты ангел или энджел? Ты, возникающая из городской пены на белом гребешке "мазаратти"! Если ты богиня любви, то у тебя слишком цепкие руки! Если ты ангел, то ангел ада!

Она даже бровью не повела, но только усмехнулась. Через секунду Москвич смог оценить эластичность тормозов знаменитого спортивного автомобиля, когда они с ходу влетели под навес маленького гаража и остановились как вкопанные.

Он ждал, что ему свяжут руки, а на голову наденут черный мешок, но его просто пригласили войти в дом.

Открылись двери, шум многих голосов, смех, музыка вместе с полосой яркого света пролились в темный каньон и отпечатались на базальтовой скале тенью хозяина.

Хозяин стоял на пороге: седые длинные волосы до плеч, бусы из акульих зубов на груди, вышитая рубашка, джинсы, старый стройный хозяин.

— Some enchanted evening, — сказал или пропел он знакомым уже Москвичу баритоном, — you may see a stranger across the crowded room...[1] Заходите, дружище!

Москвичу уже было море по колено. Он смело вошел в дом, в гнездо калифорнийской мафии, и тут же включился в общую беседу. Разговор, разумеется, шел о русской литературе.

— Вам нравится поэзия акмеистов? — спросила Москвича высокая худая то ли профессорша, то

---

[1] В один прекрасный вечер в битком набитой комнате вы можете увидеть незнакомца...

ли гангстерша, то ли цыганка. Спросила, преподнося ему бокал мартини и чуть помешивая в бокале своим великолепным длинным пальцем, должно быть, с целью растворить красивый, но, по всей вероятности, далеко не безвредный кристалл.

— Да, нравится. Конечно, нравится, — ответил Москвич, принимая бокал.

— Какие чудесные плоды принес миру "серебряный век"! — сказал Москвичу атлетически сложенный гангстер в профессорских очках и в желтой рубашке клуба "Медведи".

— Еще бы, "серебряный век"! Серебряные плоды! — согласился Москвич, попивая отравленный, но вкусный мартини.

— Я, знаете ли, раньше работал с бриллиантами, а сейчас специалист по "серебряному веку", — сказал сухонький улыбчивый мафиози, постукивая друг о дружку модными в этом сезоне голландскими башмаками.

— Простите, господа, но кто из вас вчера в одиннадцать тридцать пять ночи упал на Вествудбульваре? — обратился ко всему обществу Москвич.

Как будто бомба-пластик-шутиха разорвалась. Мгновенно стихли все разговоры. Знатоки "серебряного века" отпрянули от вновь прибывшего. Все гости, а их было в холле не менее тридцати, теперь молча смотрели на него. С тихим скрипом начала открываться дверь на террасу, за которой в прозрачной черноте угадывалась пропасть, а на дне, в теснине, зеркально отсвечивала змейка-река.

Во взглядах, устремленных на него, Москвич не прочел никакого особенного выражения, но тем не менее он понял, что дальнейшие вопросы неуместны.

За исключением одного вопроса, который он и задал:

— Что будет со мной?

— Это зависит только от вас, дружище, — мягко сказал хозяин и чуточку пропел: — Come dance with me, come play with me...[1]

— Пока, эврибоди! — весело (эдакий, мол, сорвиголова!) сказал Москвич и зашагал туда, куда приглашал его хозяин, к маленькой дверце, за которой, конечно же, угадывалась лесенка вниз.

— Пока, — сказали ему на прощанье "эврибоди". — Take care[2], Москвич!

"Какая насмешка, экий сарказм! — подумал Москвич. — Я, кажется, в царстве мемозовского "черного юмора..."

То ли зеленый табачок, то ли кристальчик, растворенный в мартини, а скорее всего самый дух уже начавшегося американского приключения действительно чрезвычайно взвинтил нашего Москвича, эту кабинетную крысу, книжного червя, человека в футляре, и некое юношеское ковбойство струйками пробегало теперь по его кровотоку, по лимфатической и нервной системам и так меняло, что, пожалуй, и московские соседи не узнали бы: галстук на сторону, голова взъерошена, плечи расправлены, кулаки в карманах...

В подземелье, украшенном подсвеченными витражами в духе Сальватора Дали, двое играли в пинг-понг. Один, ужаснейший, явно выигрывал и беспощадно наступал, другая, загорелая, в белых одеждах, с глазами, сверкающими живой человеческой бедою, красиво и безнадежно проигрывала.

— Семнадцать — семь, восемнадцать — семь, девятнадцать — семь, двадцать — семь, аут! — гулко и издевательски, словно ворон, отсчитывал ужаснейший, и это был, как сразу догадался Москвич, это был предосаднейший продукт воображения — Мемозов.

---

[1] Пойдем потанцуем, пойдем поиграем...

[2] Буквальный перевод: "будь осторожен", сейчас все чаще употребляется при прощанье вроде "будь здоров", "пока"...

Разумеется, внешность его была изменена: кожаный камзол стягивал пресолиднейшее пузо, испанские накрахмаленные кружева подпирали сочащиеся перестоявшимся малиновым соком щеки — экий, мол, фламандец! — однако дело было вовсе не во внешности. Москвич узнал бы Мемозова даже в виде неандертальца, марсианина, даже в виде египетской мумии. Дело было в очередном издевательстве, в глумлении над идеалом — к чему этот дурацкий пинг-понг, позвольте спросить?

Между тем проигравшая, прелестная римлянка ли, византийка ли, постепенно исчезала, как бы угасала среди витражей. А ведь, возможно, именно она упала в ту ночь на Бульваре Западного Леса, когда он, Москвич (теперь это уже совершенно ясно), бросился на помощь?!

В ярости Москвич схватил ракетку. Выиграть! Непременно! Отомстить! Отомстить и разоблачить прохвоста! Избавиться от него раз и навсегда!

— Ха-ха-ха! — Мемозов хохотал, подкручивая черные, явно фальшивые усы. — Не злитесь, мой бедный Москвич! Лучше защищайтесь, мой бедный Москвич!

Гнев! Шум! Головокружение! Крики!

"Откуда несутся эти крики, этот смех? Сколько прошло времени? Где я?" — подумал Москвич и вдруг увидел себя не в подземелье, а на открытой просторной веранде, висящей в ночи над каньоном Топанга.

В углу площадки стоял маленький самолет, похожий контурами на аппарат "сопвич", истребитель времен первой мировой. Возле самолетика возился хозяин дома. Седые волосы его развевались под ночным ветром. Половина лица была скрыта старомодными пилотскими очками. Он повернулся к Москвичу и махнул ему огромной кожаной рукавицей.

— Come fly with me, fly with me[1], — слегка пропел он и добавил: — Помогите выкатить аппарат, дружище!

Вдвоем они выкатили машину на середину веранды. Мотор уже верещал, как швейная машинка. Хозяин предложил Москвичу занять пассажирское кресло впереди, а сам сел на пилотское сиденье сзади. Не прошло и пяти минут, как они уже висели над бездонным каньоном и медленно набирали высоту, покачивая на прощанье серебристыми крыльями.

Интеллектуальная мафия тихо аплодировала смельчакам, оставаясь на веранде и все уменьшаясь в размерах.

— Куда мы летим, босс? — храбро спросил Москвич. Вот как раз по делу вспомнилось американское словечко "босс".

— From here to Eternity[2], — был ответ.

"ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО..."

Тем временем, пока вымышленный Москвич вместе с вымышленным Мемозовым, вырвавшись из-под моего контроля, развивает свое ТАП — типичное американское приключение, — я тем временем продолжаю свой сдержанный рассказ о моей нетипичной, но вполне реальной жизни в Эл-Эй.

Итак, я стал на два месяца профессором кафедры славистики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Вот какие бывают в современном мире чудеса — без всяких диссертаций легкомысленный сочинитель может вдруг

---

[1] Летим со мной, летим со мной!

[2] Отсюда в вечность.

оказаться профессором! Длинный коридор на одиннадцатом этаже Банч-холла, таблички на дверях кабинетов: профессор Уортс, профессор Харпер, профессор Аксенов, профессор Шапиро...

Университет Калифорнии огромен. У него девять отделений, девять разных кампусов в разных городах штата. Штаб-квартира и офис президента находятся при кампусе Беркли, наш UCLA второй по значению, но первый по размерам — больше сорока тысяч студентов. Есть еще отделение в Сан-Диего, Санта-Барбара, Санта-Ана, Санта-Круз...

Кампус Ю-Си-Эл-Эй граничит на востоке с одним из приятнейших районов города, с Вествудом. По западной границе кампуса пробегает великий и знаменитый бульвар Сансет. С севера подступает шикарный Биверли-хиллз, с юга — забубенная Санта-Моника.

На фирменной почтовой открытке мы видим кампус с птичьего полета: в центре старые корпуса псевдоиспанско-псевдоарабского, а именно калифорнийского стиля; по периферии современные билдинги, и среди них наш Банч-холл, еще ближе к границам корпуса многочисленных автопаркингов, многоярусных стоянок для машин преподавателей и студентов; в юго-западном углу большой спортивный центр — легкоатлетический стадион, два поля для игры в бейсбол, лакросс, футбол, крытая баскетбольная арена с большими трибунами, бассейн и так называемый рикриэйшн сентр — своеобразный клуб для плаванья, игр и валянья на траве.

В центральной части кампуса на газонах — замечательная коллекция скульптур. Еще в первое мое университетское утро, когда председатель департамента славянских языков и литератур профессор Дин Уортс показывал мне кампус, я увидел издали удивительно знакомую гранитную форму. Да неужели это та самая знаменитая, тысячи раз представленная в разных альбомах "лежащая фигура" Генри Мура? Копия, конечно?

— Вот именно, Генри Мур, и, разумеется, подлинник. Здесь нет копий.

А по соседству с гранитами Мура в полном спокойствии возвышалась бронза Липшица, лепился к кирпичной клад-

ке керамический рельеф Матисса, и нежилось под калифорнийским небом еще много другого великолепного.

Сейчас я случайно употребил слово "спокойствие", но, дописав фразу до конца, подумал: так ли уж оно случайно по отношению к скульптуре? Я вспомнил прежние свои встречи со скульптурой в разных городах мира, в храмах и музеях и в мастерских Москвы. Вот именно спокойствие прочных материалов снисходило ко мне во время этих встреч, и даже если скульптура выражала гнев, я чувствовал спокойный гнев, радость — конечно уж, спокойную радость, и даже тревога была для меня в скульптуре спокойной, вдохновляющей, тонизирующей тревогой.

В чем дело? Быть может, это идет от инстинктивного недоверия к собственному материалу, к бумаге, чернилам и типографской краске, и от почтения к этим доступным нашему несовершенному сознанию синонимам прочности и долговечности, к мрамору, бронзе, граниту, в коих воплощается зыбкий дух артиста? Уместны ли здесь также некоторые соображения о принципиальном различии прозы и скульптуры? Ведь из любой самой совершенной прозы артист может что-то вычеркнуть и что-то в нее добавить, тогда как если и можно что-нибудь "вычеркнуть" из скульптуры, то вписать, добавить в нее уже ничего нельзя, а стало быть, скульптура в любом случае хотя бы наполовину — совершенство.

Сварка, скажете вы? Однако сварка — это уже другое искусство.

Итак, встреча со скульптурой в кампусе Ю-Си-Эл-Эй успокоила меня перед встречей с американскими студентами, а ведь я, не скрою, волновался. "С чего я начну свои так называемые лекции?" — думал я. О'кей, сказал я себе в то первое университетское утро, начну с разговора о взаимоотношениях между прозой и скульптурой. Я никогда еще не выступал перед американскими студентами и не знаю, что их интересует. Эта тема будет интересна хотя бы мне самому.

Конечно, я много уже слышал об этом огромном университете. Я знал, например, что "Медведи" из UCLA — чемпионы студенческих лиг по баскетболу и футболу. Я

знал и о знаменитой атаке отеля "Плаза" в разгар антивоенных манифестаций, когда студенты этого университета, срывая глотки, скандировали страшноватый лимерик, ставший на долгое время кличем всех американских "мирников":

— Эл-Би-Джей! Эл-Би-Джей! Хау мени бэбис дид ю кил тудей?[1]

Ну, разумеется, я знал, что здесь занимаются и науками, и, между прочим, весьма серьезно занимаются.

И вот сейчас, поздней весной 1975 года, я вижу пеструю толпу калифорнийских студентов воочию. Внешне они не изменились по сравнению с бунтарями поздних шестидесятых и ранних семидесятых. Те же нарочито рваненькие джинсы, кеды, длинные волосы, свисающие на плечи или забранные сзади в хвостик "пони-тейл" или даже заплетенные в косицу; бороды, усищи, вещевые солдатские мешки, kit-bag, за плечами, майки с дерзкими надписями, но...

Но, как я замечаю, все эти парни и девочки несут книги, лежат на траве с книгами, сидят в студенческих кафе, на ступеньках лестниц и даже на трибунах стадиона с открытыми книжками.

...Мы входим с молодой профессоршей в кафе студенческого клуба. Она сама совсем еще недавно была студенткой. Со вздохом легкого, легчайшего, еле заметного (пока!) сожаления она обводит взглядом чистенькие, красиво разрисованные стены клуба.

— В мое время на этих стенах живого места не было: сплошные лозунги, призывы, угрозы, манифесты социалистов, анархистов, маоистов, троцкистов, гевaристов... Куда все это делось? Даже странно смотреть — внешне те же самые люди, но все вдруг стали зубрилами...

В этой легкой горечи, как видите, уже сквозит ностальгия по бурному пятилетию, озвученному душераздирающей рок-музыкой.

Рок-музыка... Американцы не знали русского смысла слова "рок", а если бы знали, быть может, это прибавило

---

[1] L.B.J.! L.B.J.! How many babies did you kill today? (Эл-Би-Джей, сколько ты сегодня погубил детей?)

бы этой музыке не только грохочущих камней, качающихся скал, но и неожиданных провалов в тишину, в беззвучие.

Думаю, что можно сделать неожиданные открытия, сближая фонетически близкие русские и английские слова, как это сделал, например, Энтони Бёрджес, сблизив "хорошо" и "horror-show"[1].

Вернемся к университетским стенам. Я видел на них остатки старых плакатов:

"Мы не будем участвовать в вашей свинской империалистической войне!"

Следует сказать, что, несмотря на всю пестроту политико-философско-психологического спектра, несмотря на разного рода левацкие загибы, вывихи, ушибы, растяжения и переломы, молодая американская интеллигенция конца шестидесятых—начала семидесятых была ярка, умна, искренна.

В своей яростной давидовской схватке против Голиафа-истэблишмента интеллигенция, быть может, впервые в американской истории обрела уверенность в своих силах. Конечно, можно сказать, что понятие "американская интеллигенция" чрезвычайно широко и содержит в себе серьезное противоречие, ибо неизбежно, выполняя свои социальные функции, интеллигенция срастается с этим самым ненавистным истэблишментом, а стало быть, несет в себе и давидовское и голиафовское начала, но, может быть, именно в борьбе этих начал и вырабатывается самосознание?

Поражение во Вьетнаме американская интеллигенция рассматривает и как свою победу.

Бурные дебаты по поводу коррупции и политических махинаций предшествовали затишью весны семьдесят пятого. Впрочем, так ли уж спокойно нынешнее затишье?

Как-то утром я выбежал из своего маленького "Клермонт-отеля" на Тивертон-авеню и направил кроссовки в сторону университетского стадиона.

---

[1] "Хоррор-шоу" (представление ужаса) и "хорошо" — игра слов из романа Э.Бёрджеса "Заводной апельсин".

Попутно, пока бегу до кампуса, могу сказать, что увлечение полуспортивным бегом, называемым "джогтинг", настолько широко распространено в Америке, что мне иногда казалось, будто я в Москве, в Тимирязевском парке.

На центральной площади кампуса я увидел толпу студентов, и тут меня перехватила девчонка в джинсовом комбинезоне.

— Хай! — сказала она. — Подпиши-ка вот эту бумагу и беги дальше.

В ее руках трепетал длинный лист с жирным призывом наверху:

"Стукачей ЦРУ вон из университета!"

Должен признаться, что долго упрашивать меня не пришлось. Я платил здесь налоги наравне со всеми и потому мог себе не отказывать в удовольствии шуранути стукачей.

Вечером того же дня я читал в университетской газете "Ежедневный медведь" слезливые откровения немолодого уже агента Центрального разведывательного управления, инфильтрованного еще в 1968 году в студенческое "фратернити".

Этот маленький эпизод из жизни Ю-Си-Эл-Эй отражал широкую по всей стране кампанию борьбы против злоупотреблений ЦРУ. В неделю несколько раз на экранах телевизоров появлялся сенатор Чёрч, возглавлявший комиссию по расследованию.

Сенатор неторопливо и спокойно рассказывал о работе своей комиссии, о дальнейших разоблачениях — о связях ЦРУ с мафией, о заговорах против глав иностранных государств, о слежке за американцами, о бесконтрольности этой шибко серьезной организации.

Я говорил об этом деле с десятками американцев и в частных домах, и в барах, и в редакциях газет. Везде интеллектуалы были единодушны — цэрэушникам надо дать по рукам, чтобы отбить вкус к тоталитарным замашкам. Разведка и контрразведка — это одно дело, говорили американцы, они нужны любой стране. Бесконтрольность, система слежки и стукачества, попытка стать государством в государстве — это уже другое, это опасно для всех граждан.

И вот так же, как студенты UCLA своего мелкого стукача, страна вытаскивает на экраны тупую морду Баттерфилда, стукача крупного, который был инфильтрован ни больше ни меньше как в Белый дом.

Иной раз мне приходило в голову, что яростное сопротивление интеллектуалов истэблишменту и надвигающемуся тоталитаризму отражает в какой-то степени черты национального характера, тот свободолюбивый пионерский дух, который безусловно еще живет в американском народе. Тоталитаризм для этих людей понятие очень широкое, и они видят его признаки во многих приметах своей жизни, в таких приметах, которые иностранцу вовсе и не кажутся никаким тоталитаризмом. Вот, например, так называемые коммершэлз, телерекламы — это тоталитаризм. Вот, например, индустрия развлечений в Диснейленде — это тоталитаризм. Вот, например, смог в Даун-тауне Лос-Анджелеса — это тоже тоталитаризм...

Что ж, разве тоталитаризм и стандарт жизни в современном супериндустриальном обществе — это синонимы? О! Твой вопрос вызывает нетерпеливые, почти плотоядные улыбки, твои собеседники слегка ерзают, поудобнее устраиваясь в креслах, закуривая, готовясь к бесконечному "дискашн".

— Видите ли, это чрезвычайно сложная и интересная проблема...

Американского интеллектуала хлебом не корми, но только дай ему подискутировать на эту тему, или на какую-нибудь другую, или на третью, четвертую, сотую, а тем — миллион!

Как когда-то русская интеллигенция спорила в своих каморках — помните? — "пускай мы в спорах этих сипнем, пускай стаканы с бледным сидром стоят в соседстве с хлебом ситным и баклажанною икрой" — так и сейчас американские "яйцеголовые", отставляя в сторону свои "хайболы" и "снэкс", работают до утра языками, и в спорах этих бурлит, пузырится, булькает вольнолюбивый дух их предков, пионеров.

Мы с вами, читатель, вернемся к рассуждениям о тоталитаризме и стандарте в другой главе, а сейчас мне хочет-

ся все-таки сказать, что с диалектическими противоречиями сталкиваешься в Америке на каждом шагу, да и как же еще может быть иначе в столь великом обществе.

Вот, например, именно на вольнолюбивый пионерский дух, на самооборонное право каждого американца ссылаются противники запрета оружейной торговли, а свободная продажа огнестрельного оружия ведет к росту преступности, а преступность организуется в мафию, а мафия корнями своими переплетается с ЦРУ, этим самым зловещим аппаратом тоталитаризма.

Так или иначе, среди всех этих диалектических, а также и попросту абсурдных противоречий за последние два десятилетия выросла и определилась американская интеллигенция, и теперь в ряду привычных литературно-кинематографических образов, таких, как "средний американец", "ковбой", "шериф" и так далее, стоит и персона со смутной улыбкой, в небрежном костюме, с сильно увеличенными за линзами глазами, примерно такой тип, какой в старой России черносотенцы обозначали понятием "скюбент-сицилист-аблакат".

Сейчас, весной 1975 года, — период затишья, но кто знает, через какие еще тернии придется пройти американской интеллигенции? Мне дорог этот тип, я люблю этого человека и поэтому не хочу быть пессимистом, хотя, как говорят те же самые американские интеллигенты:

— Пессимист — это хорошо информированный оптимист.

Я удалился уже довольно далеко от своего тихого повествования. Могу это отнести за счет бега по тартановому треку среди десятка других "джоггеров". Вот еще преимущество бега — ассоциативные размышления, недетерминированные (секите меня, ревнители ключевой водицы!), а с с о ц и а т и в н ы е, н е д е т е р м и н и р о в а н н ы е комнатой, письменным столом, магнитофоном размышления, то есть р е ф л е к с и и или м е д и т а ц и и... (башку секите, ревнители подсолнечного масла, вы, п у р и с т ы !)

Теперь придется возвращаться. На стадионе появился

Джей-Джей-Джей-джуниор[1], аспирант Сиракузского университета, автор ненаписанной диссертации "Урбанистический пейзаж в произведениях Аксенова". Он бежит ко мне, размахивая длинной русской бородой, в майке с русской надписью "Ну, погоди!", похожий в свои двадцать шесть лет на какого-нибудь столетнего марафонца из города Торжка.

Мы делаем вместе два круга, а потом Джей-Джей-Джей говорит:

— Между прочим, Вася, are you going читать лекцию today?[2]

Мы бросаем бег и идем пить hot-drink[3] из автомата и жевать "горячих собак". Мельком оглядываем доски студенческих объявлений. Нет, нельзя сказать, что кампус вымирает.

"Брэнда Ли, живая или мертвая, приходи к пяти часам в библиотеку!"

"В связи с отъездом в Африку продаю почти задаром автомобиль, собаку и пару малоношеных сапог".

"Пятого июня Фестиваль Гордости Гомосексуалистов!"

"Концерт рок-группы "Вздутое брюхо"

"Ты — еврей? Будь гордым и высоким!"

"Профессор Делозано не любит своих учеников!"

"Того, кто помог мне встать после падения на Вествуд-бульваре, прошу позвонить по телефону 777-7777".

На бетонной стене, огораживающей стройплощадку, появилось за ночь стихотворение неизвестного гения:

> Человечество, я люблю тебя за то,
> что ты носишь секрет жизни в своих штанах
> и забываешь о нем, когда сидишь на стуле...
> Человечество, я тебя ненавижу!

---

[1] J.J.J.junior — инициалы плюс "младший".

[2] Собираешься сегодня читать лекцию?

[3] Горячий кофе.

Когда-нибудь ведь и эта стена будет найдена в геологических пластах нашей планеты. Когда-нибудь все будет найдено и даже наши жалкие лепестки бумаги со смешными жучками-буквами. Когда-нибудь все будет найдено и расшифровано: и "Декларация прав человека", и "Правила поведения в национальных заповедниках", и эти гениальные стихи, обращенные к человечеству, и объявление упавшей на бульвар персоны... когда-нибудь... А пока что я иду на свою очередную лекцию.

И вспоминаю свою первую лекцию, если только это можно было назвать лекцией.

ПЕРГАМСКИЙ ФРИЗ, или ПРОЗАИЧЕСКИЕ ЗАПЛАТКИ НА ДРЕВНЕЙ СКУЛЬПТУРЕ

...О чем я говорил тогда?

Я вспоминал музейный остров в Берлине и потрясающий барельеф, изображающий битву богов и гигантов.

Как было дело в действительности? Гиганты собрались на Флегрейских болотах, вся компания: Порфирион и Эфиальт, Алкионей и Клитий, Нисирос, Полибот и Энкелад, и Гратион, и Ипполит, и Отос, и Агрий, и Феон, и сколько их там еще было, ужасных?

Они взбунтовались в слякоть, в непогоду, под низкой сворой бесконечных туч, что неслись над ними дурными знамениями.

...О чем еще?

Как там, в отдалении, где только что не было никого, возник огромный, как дуб, человек, и это был Бог. Несокрушимый и сильно вооруженный, он стоял с непонятной улыбкой... Как твое имя, Бог? Гефест? Аполлон? Гермес? Здравствуй, карающий Бог!

...О чем еще?

Гиганты хотели отомстить Зевсу за огромность, за мудрость, за чванство, за его бесконечное семя, за трон, за

молнии, за всю солнечную мифологию и за свои члены, не знавшие любви.

Тут все пространство болот покрылось сверкающей ратью. Золотые богини и боги шли на гигантов в своих шуршащих одеждах, в легком звоне мечей, стрел и лат. В небе образовалось окно, и мощный столб солнечных лучей опустился на болото, как бы освещая поле боя для будущего скульптора.

...О чем еще?

Они надвигались, как волны. Каждый их шаг был, как волна, неуловим и, как волна, незабываем. Гигантам было стыдно за их змееподобные ноги, за космы со следами болотных ночевок, за вздутые ревматизмом суставы и грубые мускулы, похожие на замшелые камни.

— Ой, братцы, — сказал молодой Алкионей. — Я даже во сне не видел такого красивого бога, как тот, с собачками. Гляньте, какие у него на груди выпуклости. Я не представляю себе, что это такое, но они меня сводят с ума!

Звон пролетел над болотищем. Геракл отпустил тетиву, и стрела, пропитанная ядом лернейской гидры, пробила грудь могучему, но наивному Алкионею.

...О чем еще?

Обезглавленный Зевс борется с тремя гигантами. Нет у него и левой руки, а от правой остался лишь плечевой сустав и кисть, сжимающая хвост погибших молний, но не гиганты нанесли богу этот страшный урон.

Глубокая трещина расколола бедро Порфириона, куски мрамора отвалились от ягодиц гиганта, нет руки и кончика носа, но не боги его так покалечили.

Мгновение за мгновением. Битва. Злодеяния. Жест за жестом: удар копьем, пуск стрелы — все является в мир. Все возникает, как из моря, и все пропадает, как в море, а остается лишь в зыбкой памяти очевидцев и в воображении артистов. Хорошо, что есть мрамор. Хвала и бумаге.

Они были врагами на Флегрейских болотах и стали союзниками в Пергаме. Подняли мраморную волну и так остановились перед напором Времени: вздыбленные кони, оскаленные рты, надувшиеся мускулы, летящие волосы, ору-

жие... В Пергаме в мраморе вместе схватились против Кронуса боги и гиганты.

...Ну что еще?

Теперь, леди и джентльмены, уважаемое паньство, дорогие товарищи, перед вами поле боя. Вы видите, что барельеф основательно пострадал за долгие века. Извольте, вот остаток поясницы, волос пучок и рукоять меча... пустое обреченное пространство... Любой из посетителей может мысленно приложить к фризу собственную персону. Мы же предлагаем заплаты из прозы, если кто-нибудь в них нуждается.

Закончив "лекцию" и неловко поеживаясь под американскими взглядами, я не нашел ничего лучшего, как спросить:

— Вопросы будут, товарищи?

Симпатичный и вполне дружеский смех аудитории показал, что хотя они и вовсе не "товарищи", но мою оговорку вполне понимают. Затем последовал вопрос. Встала высоченная девушка с длиннейшими волосами, с большущими глазами, с нежнейшим ртом.

— Вот мы с подругой поспорили, господин Аксенов. На вас совсем неплохо сшитые брюки. Неужели такие брюки делаются в России?

— Да, — твердо ответил я. — Такие брюки шьет мой приятель прогрессивный портной Игорь, который живет в московском районе Фили-Мазилово, а эту клетчатую ткань он покупает в торговом центре Измайлово.

Ответ исчерпывающий. Вижу плохо скрытый восторг одной из поспоривших подруг, разочарование и неудовольствие другой.

Человечество, я люблю тебя за то,
что ты запускаешь в небо
бумажных змеев,
а потом смотришь на них
как на чудеса природы.
Человечество, я тебя ненавижу.

Смешной эпизод на первой лекции не помешал нашим занятиям. Блистая по-прежнему фили-мазиловскими штанами, я начал знакомить аудиторию с ответами наших прозаиков на мою анкету "Как из н и ч е г о возникает н е ч т о?"

Читателя, конечно, в первую голову интересует аудитория — ее, скажем, средний возраст, внешний вид, национальный состав, много ли было американских русских...

О русских в этих записках разговор пойдет особый, сейчас скажу лишь, что их прошло передо мной немало, разных поколений эмиграции и разных возрастов.

Теперь о возрасте моей аудитории. На двух или трех занятиях появлялась древняя старушка в седых кудряшках и слуховых очках. Она обычно садилась в первом ряду и улыбалась добрейшей, хотя и весьма отвлеченной улыбкой. Иногда мне казалось, что она не понимает ни слова из моих экзерсисов. Я думал, что это какая-нибудь отставная профессорша или жена отставного профессора, но впоследствии выяснилось, что старушка — обыкновенная студентка. В американских университетах, оказывается, нет возрастного лимита, и если вас на старости лет одолеет блажь "взять курс" в университете — you are welcome![1]

Присутствие старушки, как вы понимаете, значительно повысило средний возраст моей аудитории, а он и так был не очень-то низок. Постоянными слушателями были профессора и аспиранты кафедры славистики. Студенческий состав был текуч. Об обязательном посещении лекций в американских университетах и говорить-то смешно: ведь там сейчас идет борьба за отмену оценочных баллов. Студенты шляются по кампусу и выбирают лекции по вкусу или по настроению, как спектакли в театральной афише.

Ко мне приходили не только слависты и филологи. Однажды явилась целая команда каких-то кибернетиков. Не знаю, что их заинтересовало в современной советской прозе, знали ли они достаточно язык, но отсидели два часа с умными лицами, тихо и мирно, меняли только катушки в магнитофоне. Быть может, подключали меня к какому-ни-

---

[1] Добро пожаловать!

будь компьютеру? Эта мысль показалась мне тогда очень забавной, и я в этот день чрезвычайно старался — на компьютер.

В другой раз на лекцию пришел молодой человек с собакой. Пес был мужчиной породы колли, очень длинноволосый, чистый и благородный. Всю лекцию он спокойно лежал на полу у ног хозяина, но не спал, а голову держал высоко, смотрел на меня, молчал и только два-три раза сдержанно зевнул. Чудесный слушатель! Я думал сначала, что в этом визите с собакой ко мне на лекцию было что-то особенное — или сверхпочтение к лектору из России, или, наоборот, эпатаж, — но потом заметил собак и в других аудиториях и понял, что так здесь принято, что это лишь простое уважение к умному другу, собаке, ничего больше.

Как видите, читатель, в американской аудитории есть некоторые странности по сравнению с нашей отечественной, но странности эти небольшие, а в основном люди как люди и внешним видом не особенно от наших отличаются, только, конечно, брюки на них американские.

Теперь — анкета. За несколько дней до вылета из Москвы пришла мне в голову счастливая идея — пустить среди своих друзей анкету. Звучала она приблизительно так:

«Каждое новое произведение — это новая реальность, новое тело в пространстве. Как из н и ч е г о возникает н е ч т о?

Каким образом в спокойной и пустой атмосфере вдруг появляется "неопознанный летающий объект" новой прозы?

Что Вас обычно толкает к перу — мысль или эмоция?

Что возникает прежде: стиль, интонация или герой, замысел, идея?

Согласны ли Вы с тем, что при смысловом побуждении приходится с о б и р а т ь то, из чего при чувственном начале в ы б и р а е ш ь?

Какова мера факта и вымысла в Вашей прозе и как трансформируется в ней Ваш личный жизненный опыт?»

Словом, вопросы касались довольно тонких субстанций. Я снова пошел на хитрость, взял то, что интересовало меня самого, и так получилось, что психология творчества прозаика стала главным предметом моих лекций.

Я волновался — а интересны ли будут американцам наши профессиональные размышления? Оказалось — попал в точку! Слушатели мои были увлечены спором, который развернулся перед ними при помощи этой анкеты.

Прежде всего их привлекло разнообразие мнений, столкновение различных, порой полярных точек зрения. В силу различных предубеждений (всем нам понятно, откуда они взялись) американцы знают лишь то, что мешает развитию нашей литературы, но далеко не всегда понимают то, что вдохновляет нас и зовет не оставлять своих усилий.

Трудности наши — в силу также предубеждений — очень часто преувеличиваются. Однажды я читал на лекции один из рассказов Трифонова и говорил на его примере об интуитивной прозе, о том, что читатель здесь призывается в соавторы и становится (при известном, конечно, усилии) участником творческого акта, вроде слушателей на джазовом концерте. После чтения один паренек печально сказал:

— Как жаль, что такой замечательный рассказ нельзя напечатать в Советском Союзе.

Пришлось показать книгу, по которой я читал и тираж которой был сто тысяч экземпляров.

Та же самая история произошла и с моей собственной иронической прозой. Говоря об этом жанре, я читал студентам некоторые злоключения Мемозова из "Литературной газеты", а они, как оказалось, полагали, что это "подстольная литература".

Даже студенты-русисты, прекрасно знающие литературу XIX века и авангардные поиски первой четверти XX, очень плохо знакомы с сегодняшним днем нашей живой прозы. Анкета давала мне возможность и для информации.

Итак, с каждым днем мы все лучше понимали друг друга. Я забывал порой о том, что я читаю сейчас лекции где-то за двенадцать тысяч километров от дома перед какими-то там американцами, и предлагал рассуждать вместе, потому что и мне самому был крайне интересен предмет спора "как из ничего возникает нечто?", потому что нельзя в этом деле найти никаких научных истин, ничего неоспоримого, и это как раз замечательно, а ценность всего этого дела состоит лишь в шевелении мозгами.

Вот пример монодиаполилога в седьмой аудитории Банч-холла, дверь которой была всегда открыта на галерею, в условный воздух зимнего сада.

— Когда вы говорите "из ничего", вы, должно быть, не имеете в виду полнейшую пустоту? Конечно, Катаев прав — ведь пустоты не существует, ведь мир же материален. Вы помните, он приводит надпись на памятнике Канту, появившуюся сразу после взятия Кёнигсберга: "Теперь ты видишь, Кант, что мир материален". Однако мне кажется, что у господина Катаева сквозь продуманный материализм просвечивает стихийный идеализм... Но почему же? Ведь фантазия художника — это тоже реальность. Фантазия, быть может, не менее реальна, чем шелест листвы. Простите, но это более таинственное явление! Более или менее, не правда ли? Вы шутите, сэр? О нет, я иногда полагаю, что реальные явления, окружающие нас, такие, как закаты, течение рек, камни, птицы, песок, не менее таинственны, чем фантазия. Здесь упоминается также юэф-оу[1], то есть "неопознанный летающий объект". Вы ведь знаете, что существует гипотеза, по которой UFO — это знаки или тела, проникающие к нам из иного измерения. Одной талантливой поэтессе и не менее талантливому прозаику кажется, что наши сочинения уже существуют в мире, и даже без нашего участия. Художник лишь называет еще неназванное, он проникает в иное измерение и называет прежде невидимые тела, дает им форму, цвет и звук. Он подменяет ими жизнь, по мнению некоторых. Литература не всегда этична. Иногда она дурачит и подменяет собою жизнь. Литература девятнадцатого века заменила сам девятнадцатый век. Кто согласен? Я согласна! Я не согласен, мы не согласны! Я полагаю, что предметы искусства не подменяют жизнь, но становятся в ней новыми телами, то есть украшают жизнь и раздвигают ее границы.

Увы, они теряют часть своей таинственности, не так ли? Совершенно верно или наоборот — правда? Быть может, названные, они становятся еще более таинственными? Кто сказал, что названные нами предметы менее таинст-

---

[1] UFO — unknown flying object.

венны, чем неназванные? Вы называете небольшое существо с длинной шерстью, хвостом и круглыми глазами cat, мы называем это существо кот, но разве менее таинственным становится это пушистое существо от названий? Нам (еще, пока) не под силу проникнуть до конца в истинную суть предмета — в этом и есть главное мучение искусства...

Каждый день Неопознанный (может быть, Летающий) Гений добавлял к своей поэме на бетонном заборе новую строфу. Однажды ночью я заметил, что буквы светятся в темноте. Последняя строфа выплывала из густого воздуха слово за словом и ложилась на бетон:

Человечество, я люблю тебя
за то, что ты пишешь
светящимися красками на заборе
о том, как ты любишь себя
и как ты себя ненавидишь,
как будто никто ничего не знает...
Человечество, я тебя...

Typical American Adventure
Part III

ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ЧАСА В СУТКИ НОН-СТОП

Быть может, на маршруте "отсюда в вечность" они и пролетели бы всю пустыню Невада без остановки, если бы вдруг на горизонте не запылал раскаленными до ярости углями игорный город Лас-Вегас.

Пилота, видимо, начали мучить рефлексии. Вначале он резко задрал нос самолета, как бы

уходя от соблазна повыше, потом дернулся вправо, влево и наконец, словно отбросив все сомнения, гикнулся вниз.

"Ну вот и прибыли! Крышка!" — подумал Москвич, глядя, как несутся на него пустынные улицы призрачного города и вся бесшумная, но ослепительная конкурентная борьба мировых фирм бензина, алкоголя, табака, парфюмерии, костром полыхающая в сердце Невады. "Крышка", однако, оказалась просто крышей гигантского здания. Пилот приземлился точно на три точки, но потом, видимо не рассчитав дистанции торможения, стал валить одну за другой античные статуи, которыми крыша была в изобилии украшена.

Когда Москвич очнулся, он увидел над собой беломраморное изваяние чего-то величественного. Оказалось, что они стоят у подножия скульптуры Цезаря. Он оглянулся — кто ж держит его под белы руки? Оказалось, что держат две мускулистые девицы в шлемах легионеров и в коротких римских туниках. Третья "римлянка" стояла перед ним, предлагая на подносе ключ, рюмку коньяка, счет за рюмку, а также какую-то таблицу, как впоследствии выяснилось, игру "кено".

Наивный Москвич предположил было, что он преодолел так называемый time warp[1] подобно герою Курта Воннегута Стони Стивенсону и сейчас действительно находится в Древнем Риме. "Что же, — с некоторой тоской подумал он, — выходит, мы и Древний Рим задним числом облагородили, а на деле значит — безвкусица?"

Тут повернулась в дверях дворца какая-то система зеркал, и Москвич увидел в зеркале самого себя, мускулистых девиц, за ними строй фонтанов, за фонтанами огромный бескрайний автопар-

---

[1] Переводится примерно как "временной барьер" по аналогии со "звуковым барьером" в авиации.

кинг и понял, что он все еще в современной Америке. Наконец и название дворца увидел на огромной вывеске:

ОТЕЛЬ "ДВОРЕЦ ЦЕЗАРЯ"

Перед ним явился Босс из Топанга-каньона, его недавний пилот. Он был уже в тоге римского патриция и с лавровым веночком на седых кудрях. Любезно и многообещающе улыбаясь, он приглашал Москвича последовать за ним внутрь цезарских чертогов. Без всяких колебаний — вот ведь что делает с людьми "пограничная ситуация"! — Москвич направился вслед за Боссом и через секунду попал — в капитализм! Да-да, в тот самый классический "мир чистогана", именно такой капитализм, какой представлялся ростовскому домушнику, капитализм, где

Девочки танцуют голые,
А дамы в соболях,
Лакеи носят вина,
А воры носят фрак!

Бесконечный, как преисподняя, зал открылся взору. Тысячи людей были там. Они играли на сотнях игральных автоматов, тянущихся правильными рядами, словно станки на заводе. Ближе к центру открылись огромные пространства с зеркальными потолками, в которых отражались зеленое сукно десятков игральных столов, катящиеся кости, фишки, веерами разворачивающиеся карты, крутящиеся рулетки, бесчисленное множество человеческих рук, снующих, трепещущих, неподвижных, предлагающих, приглашающих, вызывающих, просящих... головы же сливались в одну массу, похожую на сгустки какой-то глубоководной, может быть даже и одушевленной, протоплазмы.

Гигантский зал-пещера был подсвечен сотнями

различных светильников, но, в общем, царил некий многозначительно уютный полумрак. Главная пещера имела ответвления, ниши, заливы, проливы, и оттуда выплывали навстречу Москвичу то витрины с бриллиантами, то многотысячные меха, то приглашение на грандиозное шоу с Томом Джонсом, то вдруг маленькая Япония эпохи Мэйдзи, то маленькая елизаветинская Англия и наконец, конечно же, корабль Клеопатры собственной персоной, то есть в натуральную величину и с бразильским самба-бэндом на корме.

— Ну вот, дружище... — Босс (будем уж так его называть на всякий случай) обвел рукой гигантский вертеп, обвел с некоторой вроде бы и гордостью, как будто свою собственность. — Ну вот, дружище Москвич, вы в мире, где все продается и покупается, в царстве доллара. Вот вам наши нравы, можете и миллион выиграть, можете и голову потерять. Take care!

Сказав это, он удалился бодрыми шагами теннисиста, приподняв край тоги.

"Что это за новый эксперимент? — подумал Москвич. — Зачем они завезли меня в это логово? Я и играть-то не умею ни в какие игры, и никогда у меня не было ни вкуса к этому делу, ни азарта. Никогда я не мечтал о миллионе, и вообще никогда и мыслей не было о богатстве, о роскоши..."

Тут одна из pinnball-mashine начала ему подмигивать, словно проститутка, и он тогда решил, что весь этот Ceasar-palace с его чудовищной роскошью в стиле "кич", и игровые лабиринты, и вот это гнусное подмигиванье — все это штучки антиавтора Мемозова, его вкус, его ухмылка, его "приключение".

"Что ж, — подумал Москвич, — хочешь не хочешь, а придется принять игру. Лучше уж миллион выиграть, чем голову потерять".

И не успел он додумать до конца свою мысль, как приключение пошло дальше. В проходе между

двумя рядами машин появился верзила с длинной рыжей бородкой, в зеленом свитере и белых баскетбольных кедах.

— Хай! — приветствовал он Москвича весьма дружелюбно, но несколько небрежно, так как то и дело заглядывал в ворох бумаг, что нес в руках. — Меня зовут Стивен Хеджехог. А вас?

— Меня здесь зовут Москвич.

— Значит, вы житель Москвы? Вот это здорово! Я помню этот город. В центре огромный бассейн. Я плавал там часа два после лекции перед самолетом.

Выяснилось, что Стивен Хеджехог действительно недавно побывал в Москве, где прочел русским коллегам лекцию на тему "О вечернем сползании функции тау-эпсилон в ностальгический угол банахового пространства" или что-то в этом роде. Оказалось, что новый знакомый — математик из университета UCLA и что в Лас-Вегас он попал далеко не случайно.

— Знаете ли, старина Москвич, я потратил несколько месяцев для того, чтобы разработать систему игры в Лас-Вегасе. Здесь за десятилетия сложилась громоздкая, но четко действующая структура надувательства. Сколько бы вы ни выигрывали, вы все равно проиграете в конечном счете. Я ездил сюда каждый уик-энд, наблюдал за игроками, маркерами, автоматами и делал подсчеты. Дома я обрабатывал свои наблюдения на ЭВМ, а потом уже бросал их на угольки теории или поджаривал на огоньке фантазии. Теперь у меня в руках система беспроигрышной игры. Не рискну знакомить с ней вас, она слишком сложна, а вы гуманитарий и все равно не поймете. Важно другое. Один я не справлюсь, мне нужен ассистент, и, если вы согласитесь, мы можем за одну ночь выиграть... — он заглянул в свои бумаги, потом вынул карманный калькулятор, поиграл одним пальцем на его клавишах, — вот, последняя

проверка — мы можем выиграть миллион восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят четыре доллара семьдесят один цент. Согласны, Москвич?

Он положил свою длинную веснушчатую руку на плечо Москвичу и заглянул ему в глаза. Он был бы похож на чудака лесоруба, если бы не поляроидные очки на носу и не желтая майка спортклуба "Медведи", торчащая из-под свитера, во всяком случае, в нем было что-то старомодное.

— Понимаю ваше замешательство. Оно вполне оправданно. Однако я не безумец и не одержим жаждой наживы. Более того, мне вообще наплевать на деньги, они мне просто ни к чему. Идея моя элементарна, любезнейший Москвич: я хочу с помощью матери Науки обыграть индустрию обмана...

Москвичу понравился университетский математик. Он подумал, что этот человек явился сюда как раз вовремя, он пришел из его собственного воображения, для того чтобы поддержать пошатнувшийся остов приключения, вернуть ему простоту, вкус и даже некоторую романтику, отмахнуть мемозовскую галиматью.

— Итак, вы согласны, старина? Я вижу, вы согласны! Я сразу понял, что вы unsquare guy[1]. Итак, начнем. — Он вытащил из кармана тугих джинсов точнейшие электронные часы. — Время начать, и начать нам надо именно с этой уродины!

Резко повернувшись, Стивен Хеджехог швырнул полтинник в пасть двусмысленному автомату. Потрясенный неожиданной атакой, автомат задрожал, завибрировал, проскрежетал недовольным голосом Мемозова: "Несогласен, не по правилам, буду жаловаться..." — потом вдруг со звоном и миганьем разноцветных ламп разразился jackpot, то есть полной выдачей.

— Там триста семьдесят восемь, — не глядя

[1] Неквадратный парень.

сказал математик. — Собирайте выручку, Москвич, вот вам мешок. Теперь мы с вами разделимся. Вы пойдете по этому ряду, я по соседнему. Вот вам схема, вот часы. Старайтесь бросать монету и нажимать рычаг точно в указанное время у точно указанного автомата. Успеха вам не желаю — он запрограммирован.

Затем началась величайшая ночь в истории "Дворца Цезаря", что в Лас-Вегасе, штат Невада. Слухи об этой ночи до сих пор еще приводят в трепет княжеский двор Монако, республику Монте-Карло, не говоря уж о короле эстрады Фрэнке Синатре.

Два джентльмена гуляли по рядам игральных автоматов, не задерживаясь ни у одного из них более чем на пять минут, и собирали обильный урожай долларов. Вначале они несли мешки с выручкой за плечами, потом приспособили тележки для перевозки багажа и продолжали прогуливаться по игровому залу, словно обыкновенные легкомысленные пассажиры международной авиации.

Первой заметила этих чудо-джентльменов тетя Маша из Миннесоты. Конечно, заахала и побежала за полицией. Вскоре место действия было оцеплено охраной "Паласа" и муниципальной полицией Лас-Вегаса. Оружие было взято на изготовку, однако до поры до времени не пущено в ход — все было по закону. Никому из граждан не запрещается выигрывать подряд у всех автоматов Лас-Вегаса. На всякий случай, однако, полиция вызвала к "Сизар-паласу" несколько карет "скорой помощи" и пожарную команду. Естественно, Эн-би-си уже вела прямую передачу с места действия. Операторские краны висели над головами удачливых джентльменов, а нахальные комментаторы подсовывали им микрофоны.

— Гласность, господа, — вот главная сила любого общества! — с быстротой пулемета фило-

софствовал главный комментатор Болдер Гуизгулидж. — В условиях безгласности эти два удачливых парня давно были бы уже растерзаны толпой неудачников.

"Боюсь, что он ошибается, — думал Москвич, огребая очередной выигрыш, — неудачники всегда обожают удачников, ибо видят в них свое, а в себе их будущее".

— Особенно в Америке, — продолжал его мысль Стивен Хеджехог, очищая очередной автомат, а в следующий уже засаживая точно по схеме полтину. — Все дело в масштабах. Огромная удача или афера всегда вызывает восторг. Это отзвук great american dream[1], которую необходимо развенчать еще при жизни нашего поколения, что мы сейчас и делаем.

Работа была нелегкая, потребовалось несколько часов, для того чтобы опустошить все автоматы "Дворца".

— Вы еще на ногах, Москвич? — спросил Стивен, когда они встретились в центре зала каждый со своей тележкой, уже слегка осевшей под долларовым грузом.

Да, конечно, теперь уже вокруг них бушевала традиционная Америка, все было как в фильмах тридцатых годов: искаженные от восторга лица, вспышки фотоблицев, белозубые красавицы с протянутыми руками... Америка рекордов!

— Теперь по моей системе мы должны перейти на карточные столы, — говорил Стивен своему ассистенту так, как будто и не замечал вокруг никого. — Однако вам без тренировки будет тяжеловато. План таков. Я выхожу один на карточные столы, а вы идете отдыхать в свой номер. Через час мы встретимся и уже вдвоем растрясем рулетку. Рулетка, старина, это пик моей системы!

Он загоготал, подтолкнул к Москвичу тележку

---

[1] Великая американская мечта.

с его долей и ринулся к зеленому сукну, плотоядно потирая руки.

— Будьте осторожны, Стивен! Берегитесь картежной горячки! — крикнул ему вслед Москвич.

Он двинулся к лифтам, толкая тележку. Репортеры подсовывали ему свои "майки".

— В чем причина ваших успехов, сэр?

— Стабильность, — коротко и ясно ответил Москвич.

— Как вы думаете, к чему нас приведет дальнейшее повышение цен на автопокрышки?

— К стабильности.

— Чего, по-вашему, не хватает движению "Women's Liberation"?[1]

— Стабильности.

Ответы произвели очередную сенсацию, свалку и помогли Москвичу вкатить свою коляску в лифт и беспрепятственно подняться на десятый этаж.

В коридоре было пустынно. Пахло грехом. Отражаясь и справа и слева в бесконечной системе зеркал — таков стиль "роскошного палаццо", — Москвич вкатился в свой номер и, отбросив шторы балдахина, упал на кровать — ноги ныли от усталости.

Блаженно потягиваясь, он перевернулся на спину и увидел себя на потолке блаженно потягивающимся. Что за черт? От неожиданности он привскочил и на постели и на потолке.

— А для чего же на потолке-то над постелью-то зеркало? — подумал вслух наивный малоиспорченный Москвич.

— Для секса, — был ответ, сопровождаемый гадким смешком.

— Мемозов, опять вы?

— At your service![2]

---

[1] "Освобождение женщин".

[2] К вашим услугам!

В углу зеркала появилась скабрезная физиономия антиавтора в фиолетовых очках и с тоненькой сигарилло под усами.

— Это что же, принудительное озеркаливание секса или осексуаливание зеркал? — попытался пошутить Москвич.

— Нет ли у вас желания попросить здесь, в "Сизар-палас", сексуального убежища? — будто бы мимоходом поинтересовался Мемозов.

— Что за вздор вы несете, Мемозов? — пробурчал Москвич.

— Ха-ха-ха! — привычно и гулко захохотал антиавтор. — Говоря об убежище, я имею в виду свой идеал. Например, на Гавайских островах мне приходит в голову мысль о климатическом убежище. В универмаге "Sax Fifth avenue" я жажду промтоварного убежища. Здесь, в "Сизаре", с вашими деньжищами, миляга, вы можете попросить сексуального убежища и получите!

— Ну, знаете, Мемозов! — задохнулся от возмущения Москвич. — Почему вы оскорбляете подобными предложениями? Вообще, что за настырность? Кто вас приглашал в Америку?

— Не знаю, как вы здесь появились, а я уроженец этой страны, — вздулся вдруг Мемозов надменным пузырем.

— Перестаньте пучиться, — с досадой и брезгливостью поморщился Москвич. — Вас всюду выталкивают из сюжета, а вы все появляетесь. Не далее как сегодня ночью вас выдавил локтем отсюда истинный уроженец этой страны математик Стивен Хеджехог, потомок пилигримов "Мэйфлауера".

— Бсссы-пхе-пхе-пхе, — вот в некотором приближении смешок Мемозова. — Наивнейший вы человек, миляга. Сейчас вы увидите, куда выталкивается ваш потомок и куда вообще поворачивается ваше американское приключение. Включайте

ящик! Дистанционное управление справа от вашей бесценнейшей головы.

Раздвинулись шторы, и осветился огромный экран цветного телевизора. На экране крупным планом появился Стив Хеджехог, но — что это? — вид его был неузнаваем: длинные сильные пальцы баскетболиста тряслись, еле удерживая карты; рыжая бороденка, еще недавно столь победно проплывавшая над толпой, теперь намокла и скрутилась, как вопросительный знак; глаза, в которых еще недавно среди танцующих электронов подпрыгивал словно "Джек в коробочке" Великий Американский Юмор, теперь текли киселем, и в них расплывалась неверная, сосущая, манящая Великая Американская Мечта, которую сам же математик еще недавно так успешно развенчивал.

Вокруг продолжала бесноваться "Америка рекордов". Две ярчайшие блондинки с классически огромными бюстами висели на плечах Стивена, нашептывая "дарлинг... ю лаки бой... ю чарминг", но ближе к столу, скрестив на груди недвусмысленно тяжелые руки, стояли уже каменнолицые типы в серых костюмах, а в глазах крупье уже светилась холодная насмешка.

Москвич догадался, что произошло, и голос комментатора Болдера Гуизгулиджа подтвердил его догадку:

— Вы видите, леди и джентльмены, очередное крушение еще не родившегося мифа. Железный математический интеллект не выдержал схватки с сиренами Лас-Вегаса. Одиссей из Ю-Си-Эл-Эй, охваченный игорной лихорадкой, проигрывает, проигрывает, проигрывает...

Ужас охватил Москвича. Надо бежать спасать Стивена! Он сжал в кулаке штучку дистанционного управления. Переключились каналы, и на экране телевизора появился он сам, Москвич, распростертый на дурацкой кровати под балдахином. Голос комментатора верещал:

— По пятому каналу мы ведем прямую передачу из спальни мистера Моускуича, напарника мистера Хеджехога по баснословному выигрышу в невадских "пещерах Аладдина". Только что наш сотрудник провел с мистером Моускуичем интервью на тему о сексуальной революции в нашей гемисфере. Сейчас мы намерены... Но что это? Мистер Моускуич проявляет признаки беспокойства, даже паники, он вскакивает, бросается к дверям, наши операторы не успевают за ним, он несется по коридору, оставляя в своей спальне мешки с выручкой. Вы видите эти мешки на своих экранах, леди и джентльмены, там золото, в этих мешках, золото, золото, золото!

Экран телевизора отражался в бесконечных зеркалах "Сизар-паласа", и Москвич, пока бежал, мог видеть себя бегущего и в зеркалах и на экране, а потом и мешки с так называемым золотом, а потом неожиданно...

Беззвучные ночные молнии разодрали небо над пустынным городом, то ли Римом, то ли Лас-Вегасом, в углу экрана закипело листвой под ветром огромное дерево. Вдоль тротуаров громоздились статуи легионеров и центурионов, а между ними робко мелькало белое пятно. Оно приблизилось и оказалось Той Самой в белых одеждах.

Медленно, беззвучно к ней приближался старинный автомобиль. Мелькнули светящиеся глаза, надломились загорелые руки. Изображение исчезло.

Москвич вбежал в лифт.

Через несколько минут ему удалось пробиться к центру событий, к столу с зеленым сукном, за которым бывший математик и интеллектуал Стивен Хеджехог теперь истерически хохотал, словно офицерик в захолустном гарнизоне, бросал карты и дул шампанское.

— Я отыграюсь, Москвич, вы увидите, я отыграюсь! — закричал он, схватил недавнего своего

ассистента за плечо, пылая безумными глазами. — Система сломана! Гадина жива! Но я отыграюсь! Увидите, я отыграюсь! Тащите сюда ваши мешки!

Над нами сталкивались краны, слышались проклятья: операторы первого и пятого каналов, встретившись, вели борьбу за пространство.

— Я очень извиняюсь, Стивен, — тихо сказал Москвич, — прошу меня простить за банальный поворот сюжета, но нам сейчас придется рвать когти, и будет погоня с выстрелами и прочей шелухой. Прошу внимания! — произнес он громко. — Мы с мистером Хеджехогом выходим из игры!

Взрыв яростного возмущения был ответом на это заявление. "Америка рекордов" бушевала — священная жертва ускользала из пасти Молоха!

— Вот ключ, — сказал Москвич прямо в "майк", чтобы его услышали повсюду. — Это ключ от моего номера, а там мешки с золотом, золотом, золотом!!!

Он размахнулся и швырнул ключ куда-то в гущу толпы.

Началась свистопляска, давка, безумие. Не прошло и пяти минут, как игровой зал "Сизар-паласа" полностью очистился.

Исчезли "сирены", преобразился и "Одиссей". Хеджехог опомнился. Через весь огромный зал друзья бросились к выходу, прихватив, разумеется, последний, похудевший, но все-таки еще не тощий мешок с деньгами. Только в дверях их настигли выстрелы. В разных углах гигантской пещеры уютный полумрак разрывался огнем автоматов. Эти первые очереди, однако, прошли мимо, и смельчаки выскочили из отеля под волшебное ночное небо Невады.

Этот город, дорогой читатель, не засыпает никогда. Рестораны, бары, спортзалы, магазины открыты в нем круглые сутки. Нон-стоп. В любое время суток вы можете здесь купить, например,

автомобиль любой мировой марки. Ну разве что только "Запорожец" не всегда купите.

Так вот, в магазин фирмы "Порше" ввалились среди ночи двое, швырнули кассиру мешок денег и заказали два спортивных автомобиля по сто пятьдесят "кобыленок" в каждом.

Еще через несколько минут два черных лакированных жука с ревом уже неслись по главной улице Лас-Вегаса мимо слепящих неоновых стен, стремительно приближаясь к городской черте, к огнедышащей даже и по ночам пустыне.

В пустыне, как известно, нередки миражи, и вскоре мираж покинутого города встал впереди слева по курсу нашего Москвича, над холмами-истуканами и деревьями джошуа. Это не удивило и не особенно огорчило его. Огорчило другое — славный его приятель, герой сегодняшней горячей ночки, интеллектуал, бросивший вызов Лас-Вегасу, Стивен Хеджехог тоже постепенно становился чем-то вроде миража. Вначале его автомобиль летел рядом, потом все больше стал отлетать куда-то вбок, потом понесся по параллельной и явно миражной дороге, а затем, бросив уже и эту дорогу, запетлял меж пустынных призраков с явной целью — раствориться в ночи.

— So long! — крикнул ему Москвич. — Take care, Stiven!

— Take care, Москвич! — донеслось откуда-то, будто из дальних времен, и потомок пилигримов исчез окончательно.

Жалей не жалей, что поделаешь — пришло время Стивену вылететь из сюжета, и он вылетел, хотя, как видим, не без некоторого шика.

Едва он исчез, как появилась погоня.

Так и полагалось. Три огромных джипа преследовали машину Москвича, но были они, как ни странно, не сзади, а впереди черного, полированного, как пианино, "порше".

Из двух крайних джипов, заполненных "ма-

фиози", прямо в упор, в лицо Москвичу шла интенсивная, но почему-то неопасная стрельба. Из джипа-коренника не стреляли. Там стоял, повернувшись лицом к нашему герою, сереброкудрый красавец Босс в римской тоге. Он пел, оглашая всю пустыню своим чудеснейшим баритоном:

Born free!
As free as a wind blows,
As free as a grass grows...
Born free![1]

ДВИЖЕНИЕ И СТИЛЬ

Осенью 1967 года, то есть около восьми лет назад, в Лондоне я впервые увидел хиппи. Тогда они только начинались как наиболее эксцентрическое выражение новой молодежной культуры. Культура возникала спонтанно, никто, конечно, ее не насаждал, она зарождалась в пабах Ливерпуля, где впервые ударили по струнам Джон Леннон, Джордж Харрисон, Ринго Стар и Пол Маккартни, в маленьких лавчонках Мэри Квант вдоль знаменитой Кингз-роуд в Челси.

Тысячи страниц уже написаны об этом, и совершенно четко установлено, что молодежь протестовала против классовых основ буржуазного общества. Мэри Квант взмахом ножниц открыла девочкам ноги. Парни-портные с Карнеби-стрит, что в двух шагах от лондонского Сити, заполненного черными сюртуками, котелками и брюками в мелкую полоску, шили немыслимо яркие рубашки и галстуки, невероятной ширины джинсы... Все танцевали и пели новую поп-рок-музыку.

Из Калифорнии приплыли первые хиппи, нечесаные,

---

[1] Родись свободным! Таким свободным, как дующий ветер! Таким свободным, как растущая трава! Родись свободным!

лохматые, в бубенчиках, бусах, браслетах. Тогда о них говорили на всех углах и во всех домах. В Лондоне той осенью был особый, какой-то предреволюционный аромат. Кажется, Стендаль писал — несчастен тот, кто не жил перед революцией. Быть может, каждое новое молодое поколение томится от желания жить в такое время. Несколько месяцев назад прошел по экранам фильм Антониони "Blow-up"[1], в котором он показал новый молодой Лондон и дал ему кличку swinging, что значит приблизительно "пританцовывающий, подкручивающий". "Бабушка Лондон" становился Меккой мировой молодежи.

Я, помню, очень жаждал посетить все эти гнездовья, и, конечно, не только потому, что все еще считал себя "молодежным писателем", но и потому, что чувствовал ноздрями, ушами, глазами, всей кожей пьянящий воздух перемен.

Там было весело тогда, в ноябре 1967-го! На маленькой Карнеби-стрит в каждой лавочке танцевали и пели под гитару. На Портобелло-роуд вдоль бесконечных рядов толкучки бродили парни и девочки со всего мира и в пабах и на обочине пили темное пиво "гиннес" и говорили, бесконечно говорили о своей новой новизне.

Тогда у меня была в руках хиппозная газета "IT" ("International Times")[2], и я переводил оттуда стихи про Портобелло-роуд:

Суббота, фестиваль всех оборванцев-хиппи.
На Портобелло-роуд двухверстные ряды,
базар шарманщиков, обманщиков,
адвокатов и акробатов,
турецкой кожи, индийской лажи,
испанской бахромы, и летчиков хромых,
и треугольных шляп
у мистера Тяп-Ляп,
томов лохматой прозы
у мистера Гриппозо,
эму и какаду...
Я вдоль рядов иду.
Я чемпионка стрипа,

---

[1] "Увеличение".

[2] IT — неодушевленное "это". В аббревиатуре смысл шутки.

в носу кусты полипов,
под мышкой сучье вымя,
свое не помню имя...
Здесь пахнет Эл-Эс-Ди,
смотри не наследи!

Мы шли в "Индиго-шоп", магазинчик и идейный центр hippies movement[1]. Вот именно movement, движение — так они и говорили о себе.

Стройный смышленый паренек с огромными, в мелкие колечки завитыми волосами (прическа afro-hairdo), так и быть, согласился потолковать с русским прозаиком. Мы сидели на ящиках в подвале "Индиги", где несколько его друзей работали над плакатами в стиле поп-арт и над значками с дерзкими надписями.

Между прочим, плакаты и значки уже тогда стали приносить хиппи некоторый доход, но они еще не понимали серьезности этой маленькой связи с обществом.

— Наше движение рвет все связи с обществом, — говорил мне пышноголовый Ронни (будем так его называть). — Мы уходим из всех общественных институтов. Мы свободны.

— Знаете, Ронни, ваша манера одеваться напоминает мне русских футуристов в предреволюционное время. Вообще есть что-то общее. Вы слышали о русских футуристах?

— Э?

— Бурлюк, Каменский, Маяковский, — не поднимая головы, пробурчал один из пещерных художников.

— А, эти! — ничуть не смущаясь, воскликнул Ронни. — Ну, наши цели много серьезнее!

— Цели, Ронни? Значит, все-таки есть цели?

Парень загорелся. Я даже и не предполагал такой страсти у сторонника полного разрыва с обществом.

— Мы уходим из общества не для того, чтобы в стороне презирать его, а для того, чтобы его улучшить! Мы хотим изменить общество еще при жизни нашего поколения! Как изменить? Ну хотя бы сделать его более терпимым к незнакомым лицам, предметам, явлениям. Мы хотим сказать

[1] Движение хиппи.

обществу — вы не свиньи, но цветы. Flower power![1] Ксенофобия — вот извечный бич человечества. Нетерпимость к чужакам, к непринятому сочетанию цветов, к непринятым словам, манерам, идеям. "Дети цветов", появляясь на улицах ваших городов, уже одним своим видом будут говорить: будьте терпимы к нам, как и мы терпимы к вам. Не чурайтесь чужого цвета кожи или рубахи, чужого пения, чужих "измов". Слушайте то, что вам говорят, говорите сами — вас выслушают. Make love not war![2] Любовь — это свобода! Все люди — цветы! Ветвь апельсина смотрит в небо без грусти, горечи и гнева. Учитесь мужеству и любви у апельсиновой ветви. Опыляйте друг друга! Летайте!

Произнеся этот монолог, теоретик раннего хиппизма надел овечью шкуру и головной убор, который он называл "всепогодной мемориальной шляпой имени лорда Китчинера", и пригласил нас провести с ним вечер в кабачке "Middle Earth"[3], что возле рынка Ковент-гарден.

Перед "Средней Землей" стояла очередь (очередь у входа в лондонский кабачок — это невероятно!), но у Ронни, конечно, был там блат, и мы пробрались внутрь через котельную.

Внутри всех гостей штамповали между большим и указательным пальцами изображением индейки. Сподвижники Ронни по всему подвалу пускали розовый, желтый, зеленый, черный дымы. Сквозь дымовой коктейль оглушительно врубала поп-группа "Мазутные пятна".

Ронни сбросил шкуру и готтентотский свой треух, ринулся в дым и начал танцевать, извиваясь и подпрыгивая. Мы толкались в "Средней Земле" часа полтора, а Ронни все танцевал без передышки. Иногда он выныривал из дыма — извивающийся, с закрытыми глазами, что-то шепчущий — и снова пропадал в дыму.

Наконец мы очутились на поверхности, в патриархальной литературной тишине рынка Ковент-гарден (цветочница Элиза!), среди проволочных контейнеров с брюссельской

---

[1] Власть цветов!

[2] Делайте любовь, но не войну!

[3] "Средняя Земля".

капустой. Мы долго шли пешком по мокрым тихим лондонским улицам, отражаясь в ночных погашенных витринах всей нашей "бандой" — Аманда, Джон, Ольга, Габриэлла, Николас... Мы говорили о хиппи, о футуристах, о ксенофобии...

Впереди нас шествовали два шестифутовых лондонских бобби, ночной патруль. Встречные спрашивали полицейских, как пройти к "Middle Earth". Те объясняли вежливо:

— Сначала налево, джентльмены, потом направо, однако мы не советуем вам туда ходить, это неприличное место.

Что стало с той нашей компанией образца осени 1967-го? Я их никого до сих пор не встречал, но слышал, что кто-то стал членом парламента, кто-то профессором, кто-то астрологом. Так или иначе, но эти западные молодые люди за истекшее восьмилетие ходили дорожкой хиппи, а Аманда по ней добралась даже до Непала. Однако, кажется, вернулась, защитила диссертацию и родила дитя.

И вот через восемь лет я оказался в Калифорнии, на том западном берегу, где как раз и возникло это странное "движение" западной молодежи.

...— Ты видишь? Вот здесь в семьдесят втором году яблоку негде было упасть — повсюду сидели хиппи...

Перед нами залитый огнем реклам Сансет-стрип. Рекламы водки, кока-колы, сигарет. Одна за другой двери ночных клубов. Пустота. Тишина. Лишь идет, посвистывая, ночной прохожий. Постукивают стодолларовые башмаки. Ветерок откидывает фалду отличного блейзера.

...— Ты видишь? Вот здесь, собственно говоря, и появились первые хиппи. Здесь родилось это слово. Раньше здесь яблоку негде было упасть...

Перед нами перекресток Хайтс-Ашбери в Сан-Франциско. Бежит кот через дорогу. На столбе сильно подержанная временем листовка "Инструкция по проведению пролетарских революций в городских кварталах". Открывается со скрипом дверь, появляется сгорбленный человек лет пятидесяти, весь почему-то мокрый до нитки, капли капают с волос, бровей, носа. Скользнув невидящим взглядом остекленевших глаз, тащится мимо.

...— Ты видишь? Вот здесь собирались большие хиппи. Это был big deal![1]

Здесь, возле ресторана, жгли костер, над ним кружились вороны, а из темноты подходили все новые и новые ребята, потому что Пасифик-коуст-хайвэй буквально был усыпан хиппи-хичкайкерами[2].

Перед нами бывший костер "больших хиппи", забранный в чугунную решетку и превращенный в камин. Мы на застекленной веранде ресторана "Натэнэ", висящей над океаном, в сорока милях от Монтерея. Посетителей много, аппетит хороший, настроение, по-видимому, преотличное. Судя по ценам, клиентура ресторана — upper middle class[3]. А есть ли здесь хоть один хиппи, не считая официантов, одетых а-ля хиппи? Вон сидит старая женщина с очень длинными седыми волосами, с закрытыми глазами, с худым лицом индейского вождя, она — старая хиппица...

Хиппи — кончились! Их больше нет?!

Между тем за прошедшее восьмилетие даже в нашем языке появились слова, производные от этого странного hippie... "Хипня", "хипую", "захиповал", "хипово", "хипари"...

Между тем во всех странах Запада оформилось, развилось, разрослось явление, которое называют теперь hippies style — "стиль хиппи". Массовая культура, развлекательная и потребительская индустрия, перемалывает этот стиль на своих жерновах. Майки с надписями и рисунками — гигантский бизнес. Джинсы заполонили весь мир. Куртки, сумки, прически, пояса, пряжки, музыка, даже автомобили — в стиле одинокого мореплавателя-хиппи, плывущего свободно и отчужденно через море страстей; в стиле одинокого монаха, бредущего по свету под дырявым зонтиком. Монах-расстрига, беглец из Тибета, Ринго Стар, ах, обалдеть — that's a picture![4] "Движение" превратилось в "стиль".

Ты, Ронни, наивный теоретик ранних хиппи, детей цве-

---

[1] Большое дело (широко распространенное многозначное выражение).

[2] Хичхайкинг — автостоп.

[3] Высший средний класс.

[4] Что за картина!

тов, провозглашающих власть цветов, разве ты не знал, что на цветок, засунутый в ствол, карабин отвечает выстрелом?

Ты был романтик, Ронни, ты даже в бесовских игрищах хунвейбинов находил романтику. Разве ты не знал, что и молодые наци называли себя романтиками?

Я помню демонстрацию "флауэр пипл" возле вокзала Виктория солнечным ноябрьским днем 1967-го. Лондон тогда поразил меня обилием солнца и молодежи. Как он отличался от литературного стереотипа "туманного, чопорного, чугунного!.." Они ничего не требовали в тот день, а просто показывали себя солнцу и Лондону, свои огромные рыжие космы, банты, галстуки, колокольчики, бусы, браслеты, гитары... Цветы, власть цветов — смотрите на нас и меняйтесь! Грядет революция духа, революция любви!

Не пройдет и года, как "квадраты" в полицейской форме будут избивать "неквадратный народ" и в Париже, и в Чикаго, и в других местах мира.

Месяц за месяцем все больше и больше оранжерея превращалась в костер. Кабинетные социологи, разводя холеными ладонями, объясняли бунт молодежи повышением солнечной активности. В гуще хиппи, в котле, кто-то, но только уж не Аполлон, сбивал мутовкой масло, и раскаленные шарики выскакивали на поверхность — воинственные хиппи, "ангелы ада", "городские герильеры", а потом и гнусные сучки-имбецилки, слуги "сатаны" Мансона. Диалектика давала предметный урок любителям ботаники. Хоть расшиби себе лоб о стенки — повсюду "единство противоположностей", повсюду резиновые пули, слезоточивый газ.

Они еще долго бунтовали, забыв про "власть цветов", превращая кампусы в осажденные города, требуя, требуя, требуя...

Тишайший профессор в Беркли рассказывал:

— Тревожное было время, господа, и не совсем понятное. Однажды читаю я лекции, и вдруг распахиваются в аудитории все двери и входит отряд "революционеров". Впереди черный красавец, вожак. "Что здесь происходит? — гневно спрашивает он. — Засоряете молодые умы буржуаз-

ной наукой?“ — “Позвольте, говорю, просто я лекцию читаю по тематическому плану“. — “О чем читаете?“ — “О русской поэзии, с вашего позволения“. — “Приказ комитета, слушайте внимательно: с этого дня будете читать только революционного поэта Горького, и никого больше!“ — “А Маяковского можно?“ — “Оглохли, профессор? Вам же сказано — только Макса Горького, и никого больше!“ — “Однако позвольте, но Алексей Максимович Горький больше известен в мировой литературе как прозаик, в то время как Владимир Владимирович Маяковский...“ Они приблизились и окружили кафедру. Голые груди, длинные волосы, всяческие знаки — и звезды, и буддийские символы, и крестики, а главное, знаете ли, глаза, очень большие и с очень резким непонятным выражением. Нет, не угроза была в этих глазах, нечто другое — некоторое странное резкое выражение, быть может, ближе всего именно к солнечной радиации... “Вы что, не поняли нас, проф?“ — спросил вожак. “Нет-нет, сэр, я вас отлично понял“, — поспешил я его заверить... Между прочим, ба, как интересно! — прервал вдруг сам себя профессор. — Вы можете сейчас увидеть героя моего рассказа. Вон он, тот вожак!

Профессор показал подбородком и тростью — слегка.

Мы шли по знаменитой Телеграф-стрит в Беркли. Здесь еще остались следы бурных денечков: в некоторых лавках витрины были заложены кирпичом. Витрины этой улицы оказались, увы, главными жертвами молодежных “революций“, безобиднейшие, галантерейные витрины. Я повернулся по направлению профессорской трости и увидел чудеснейшего парня. Он сидел на тротуаре в позе “лотос“, мягко улыбался огромными коричневыми глазами и негромко что-то наигрывал на флейте. Улыбка, казалось, освещала не только лицо его, но и всю атлетическую фигуру, обнаженный скульптурный торс и сильно развитые грудные мышцы и грудину, на которой висело распятие. Свет улыбки лежал и на коврике перед флейтистом. На коврике были представлены металлические пряжки для ремней — его товар. Рядом, склонив голову, слушая музыку, сидела чудаковатая собака, его друг.

Я тоже прислушался: черный красавец играл что-то

очень простое, лирическое, что-то, видимо, из средневековых английских баллад.

— Вы видите, он стал уличным торговцем, — сказал профессор. — Многие наши берклийские "революционеры" и хиппи стали сейчас уличными торговцами.

Я посмотрел вдоль Телеграф-стрит, на всех ее торговцев и понял, что это, конечно, ненастоящая торговля, что это новый стиль жизни.

На обочине тротуара была разложена всякая всячина: кожаные кепки и шляпы, пояса, пряжки, поясные кошельки, джинсовые жилетки, поношенные рубашки US, air force[1] с именами летчиков на карманах (особый шик), брелоки, цепочки, медальоны и прочая дребедень. Торговцы, парни и девицы, сидели или стояли, разговаривали друг с другом или молчали, пили пиво или читали. Одеты и декорированы они все были весьма экзотично, весьма карнавально, но вполне по нынешним временам пристойно и чисто и, собственно говоря, мало отличались от нынешнего калифорнийского beautiful people[2]. Правда, все они курили не вполне обычные сигареты и не вполне обычный сладковатый дымок развевал океанский сквознячок вдоль Телеграф-стрит, но, впрочем...

В то время, когда одни бунтовали, другие ныряли в иные неземные и невоздушные океаны, делали trip, то есть отправлялись в "путешествие" к вратам рая. Страшный наркотик LSD открывал истину, как утверждали его приверженцы. В газетах то и дело появлялись сообщения о том, что очередной хиппи, приняв Эл Эс Ди, вообразил себя птицей и сыграл из окна на мостовую.

Хиппи шли дорогой контрабандистов, но в обратном направлении, к маковым полям, через Марокко и Ближний Восток в Пакистан, Индию, Бангладеш, Непал... Себя они считали истинными хиппи, groovy people, в отличие от подделки, от стиляг, от "пластмассовых".

Несколько лет назад девушка из нашей лондонской компании шестьдесят седьмого года писала мне:

---

[1] США, военная авиация.

[2] Красивый люд.

"Ты знаешь, у нас образовалась family, семья, и это было очень интересно, потому что все были очень интересными, все понимали музыку и философию и, конечно, делали trip.

...Мы были на острове Сан-Лоренцо в доме Джэн Т., которую ты, к сожалению, не знаешь. Мы все лежали по вечерам на пляже и старались улететь подальше от Солнечной системы.

Однажды наш гуру Билл Даблью сказал, что его позвал Шива, и стал уходить в море. Мы смотрели, как он по закатной солнечной дорожке уходил все глубже и глубже, по пояс, по грудь, по горло... Всем был интересен этот торжественный момент исчезновения нашего гуру в объятиях Шивы. Многим уже казалось, что и они слышат зовы богов. Мне тоже казалось, кажется.

Но Билл не исчез в объятиях Шивы, а стал возвращаться. Он сказал, что, когда вода дошла ему до ноздрей, он услышал властный приказ Шивы — вернуться!

Конечно, наша family после этого случая стала распадаться, ведь многие стали считать Билла Даблью шарлатаном. Я тогда с двумя мальчиками уехала в Маракеш, а потом, уже в 1971 году на фестивале в Амстердаме, ребята сказали, что Билла убили велосипедными цепями в Гонконге, в какой-то курильне. Все-таки он был незаурядный человек..."

Кажется, автор этого письма сейчас уже покончила с юношескими приключениям и благополучно причалила к берегу в пределах Солнечной системы.

Сейчас в Калифорнии я увидел, что трагическое демоническое увлечение наркотиками вроде бы пошло на спад. Конечно, остались больные люди, и их немало, но мода на болезнь кончилась. Сильные яды не пользуются прежним спросом, лишь сладкий дымок зеленой травки по-прежнему вьется по улицам калифорнийских городов. Односложные словечки "грасс", "доп", "пот", "роч" услышишь чуть ли не в любой студенческой компании. Бумагу для самокруток продают во всех винных и табачных лавках. В печати дебатируется проблема легализации марихуаны. Сторонники утверждают, что слабый этот новый наркотик не дает при-

выкания и гораздо менее опасен, чем древний наш спутник алкоголь.

Я пробовал курить марихуану. Ну как, скажите, писателю удержаться и не попробовать неиспытанное еще зелье? В американские дискуссии вмешиваться не хочу и тем более не даю никаких рекомендаций. Опишу только вкратце церемонию курения.

Однажды мы ехали с Милейшей Калифорнийкой на студенческую вечеринку. Неожиданно Милейшая Калифорнийка попросила остановиться. Я заехал на паркинг-лот, а она выпрыгнула из машины, вбежала в ближайшую лавочку liquor shop[1] и через пару минут вышла оттуда, смеясь.

— Что это вы смеетесь? — спросил я.

— Да просто потому, что там все смеются. Я спросила у них бумагу, а они говорят: что там случилось на паркинг-лот? Всем понадобилась бумага...

На вечеринке сначала ели стоя и пили вино, тоник и коку. Потом вся эта стоячая масса, освободившись от тарелок, пришла в движение — начались танцы. Новый танец bump, столкновение бедрами, для смеха припомним автомобильный бампер. Потом, уже в разгаре ночи, уселись на пол в кружок, и по кругу поплыла самокрутка. Каждый делает одну затяжку, задерживает дыхание и передает соседу бычок. Затем бычок превращается в то, что у нас называется "чинарик", а в Калифорнии "роч". Выбросить "роч" нельзя — дурной тон. В него вставляется кусочек спички, и он докуривается до самого конца, до деревяшки. В перерывах между затяжками компания болтает, чешет языки на любые темы, пьет вино, курит обычные сигареты, ест торт и тэ пэ... словом, никакого трагизма или надрыва не обнаруживается.

Я уже сказал, что не вмешиваюсь в американскую полемику и тем более не даю никаких рекомендаций, и не только по причине своей внетерриториальности, но и по неопытности. Грешным делом, я не успел ничего особенного почувствовать после курения марихуаны, если не

---

[1] Винная лавка.

считать какого-то обостренного, но благодушного юмора да некоторой дезориентации во времени — кажется, что уж и вся ночь прошла, а по часам всего пятнадцать минут.

Я хочу лишь сказать, что американское общество приспосабливает даже и эту грозную страсть хиппи — наркотики. Демонический вызов обществу и реальному миру оборачивается стилем, игрой. Не удивлюсь, если через год над городами появятся рекламные плакаты сигарет с марихуаной, разумеется снабженные предупреждением Генерального Хирурга.

А где же нынче хиппи? Неужто так быстро уже полопались эти очередные "пузыри земли"?

Да нет же — еще пузырятся. Больше того, фигура хиппи уже стала одной из традиционных фигур американского общества наряду с былинными ковбоем и шерифом. Я видел колонии хиппи в лос-анджелесском районе Венес на берегу океана. Они живут там в трущобных домах, сидят на балконах, поджариваясь на солнце, или лежат на газонах и пляжах, стучат день-деньской в тамтамы, слушают "лекции" бродячих философов-свами.

Одни хиппи ничего не делают, другие уходят в религиозные поиски. Фанатики "Рами Кришна" — это тоже, конечно, разновидность хиппи. Есть сейчас также и хиппи-трудяги. Одна family, например, держит ресторан.

Кстати говоря, это единственный ресторан в Лос-Анджелесе, куда по вечерам стоит очередь. Называется он довольно забавно: "Great American Food and Beverage Company", что впрямую переводится как "Великая американская компания продовольствия и напитков", но если представить себе ресторан подобного рода в Москве, то название это следует перевести иначе — ну, что-нибудь вроде "Министерство пищевой промышленности РСФСР".

Как ни странно, еда здесь действительно потрясающая. Ребята сами готовят национальные американские блюда вроде жареных бычьих ребер с вареньем или трехпалубных техасских стейков и делают это с увлечением, наслаждаются аппетитом гостей и очень обижаются, если кто-нибудь оставит хоть кусочек на тарелке.

— Эй, folks[1], что-нибудь не так? Почему остановились? Нет-нет, нельзя, чтобы такая жратва пропадала. Если не съедите, я вам тогда в пакет уложу остатки. Завтра сфинишируете, ребята.

Однако не только из-за еды стоит сюда очередь. Здесь все поют, все члены семьи, все официанты и бармены, поют, пританцовывают, подкручивают. Быстро передав заказ на кухню, длинноволосый паренек бросается к пианино, играет и поет что-нибудь вроде "Леди Мадонна". В другом углу две девочки танцуют бамп, в третьем — гитарист исполняет старинную ковбойскую балладу.

Вот в этом видится некоторое новшество: семья хиппи, занятая общественно полезным делом.

Мне кажется, что для определенных кругов американской молодежи временное приближение или даже слияние с хиппи, так сказать "хождение в хиппи", становится как бы одним из нормальных университетов, вроде бы входит уже в национальную систему воспитания.

Вредно это или полезно, не берусь утверждать, но, во всяком случае, для того слоя общества, который здесь называют upper middle class, это поучительно. Хиппи сбивают с этого класса его традиционные спесь, косность, снобизм, дети этого класса, пройдя через трущобы хиппи, возвращаются измененными, а значит...

Что это значит? Я подошел сейчас к началу этой главы, к монологу вдохновенного Ронни из лондонской "Индиги". Что ж, значит, он не во всем ошибся? Значит, не так уж и смешны были его потуги "изменить общество еще при жизни этого поколения"?

Я не был на Западе после 1967 года почти восемь лет. Жизнь изменилась, конечно, тоскливо было бы, если бы она не менялась. Общество изменилось, изменились люди. Конечно, общество и люди меняются под влиянием солидных, как химические реакции, социальных процессов, но ведь и "движение хиппи" тоже одно из социальных явле-

[1] Народ, люди. Folks — свойская форма обращения.

ний, и возникший сейчас "стиль хиппи" — это тоже социальное явление.

Хиппи не создали своей литературы в отличие от своих предшественников — beat generation[1], но они оставили себе Джека Керуака, Алена Гинзберга, Лоуренса Ферлингетти и Грегори Корсо с их протестом и с их лирикой, что расшатывала стены каст еще в пятидесятые годы.

Хиппи создали свою музыку, свой ритм, мир своих движений и раскачали этим ритмом всю буржуазную квартиру.

— Нормальные люди пусть аплодируют, а вы, богачи, трясите драгоценностями! — сказал как-то Джон Леннон с эстрады в зал, и все задохнулись от смеха.

Новая молодежь заставила иных богачей усомниться в ценности долларового мира. Хиппи создали свою одежду, внесли в быт некую карнавальность, обгрызли и выплюнули пуговицы сословных жилетов.

Среди современных молодых американцев меньше стало вегетативных балбесов, пережевывающих чуингам, влезающих в ракетный самолет и спорта ради поливающих напалмом малую страну. Может быть, в этом уменьшении числа вегетативных балбесов частично "виноваты" и хиппи?

Современный молодой американец смотрит не поверх голов, а прямо в лица встречных, и в глазах у него встречные видят вопросительный знак, который, уж поверьте опытному литератору, сплошь и рядом благороднее восклицательного знака.

Конечно, десятилетие закатывается за кривизну земного шара, горячее десятилетие американской и английской молодежи, и это немного грустно, как всегда в конце десятилетия...

На обратном пути я решил сделать остановку в Лондоне. Это была дань ностальгии. Я даже так подгадал свой рейс, чтобы прилететь утром в субботу, базарный день на Портобелло-роуд.

И вот свершается еще раз авиачудо, которому мы до

---

[1] Разбитое поколение, битники.

сих пор в душе не перестаем удивляться, — вчера ты сидел на крыше Линкольн-сентра, глядя на пришвартованный к континенту дредноут Манхэттена, сегодня ты в гуще бабушки Лондона — на Портобелло-роуд.

На первый взгляд ничего не изменилось: те же шарманщики, обманщики, адвокаты, акробаты, турецкая кожа, арабская лажа, эму и какаду, тома лохматой прозы у мистера Гриппозо...

Однако тут же замечаешь, что индустрия "стиля хиппи" работает и здесь на всю катушку. Повсюду продаются сумки из грубой мешковины с надписями "Portobello-road", и майки "Portobello-road", и значки, и брелоки. Толпа такая же густая и яркая, но тебя все время не оставляет ощущение, что это о б ы ч н а я западная толпа. И пабы вдоль толкучки полны, и пиво "гиннес" льется рекой, но ты видишь, что и общество в пабах собралось обычное, и пиво льется самое обыкновенное. Ты идешь и смотришь, и вокруг тебя люди идут и смотрят. Как и прежде, разноязыкая речь и разные оттенки цвета кожи, но тут до тебя доходит смысл происходящего: сегодня ты здесь всего лишь турист, и все вокруг туристы, а остальные — обслуживающий персонал.

Этим же легким тленом о б ы ч н о с т и подернута и маленькая, зажатая в Сити Карнеби-стрит, куда я приплелся вечером по следам шестьдесят седьмого года. По-прежнему были открыты маленькие лавочки, где раньше все продавцы пели и пританцовывали, но вдохновенные их выдумки теперь стали уже ширпотребом.

Густая толпа туристов проходит по Карнеби-стрит и утекает к центру, к Эросу на Пикадилли-сёркус.

Кажется, Портобелло-роуд и Карнеби-стрит стали простыми туристическими объектами, лондонскими мемориями времен swinging.

Я утекаю вместе с толпой, пересекаю Риджент-стрит и Пикадилли, брожу по Сохо и вижу на одном углу нечто новое: уличный музыкант, играющий сразу на четырех инструментах.

Парень в выцветшей майке с надписью "№ 151849, заключенный строгого режима" — настоящий артист. За спи-

ной у него барабан, он играет на нем с помощью ножной педали. В руках гитара. Под мышкой бубен. Губная гармошка закреплена перед ртом на зажиме.

— Обвяжи желтую ленту вокруг старого-старого дуба,— поет он, а следующую фразу гудит на губной гармошке. Звенит гитара, бренчит бубен, ухает барабан.

Слушателей много, они подхлопывают в такт, бросают монетки в раскрытый гитарный футляр. Девушка, подруга артиста, бродит в толпе с кружкой:

— Для музыканта, сэр. Благодарю. Вы так щедры!

Я смотрю на музыканта, ему лет тридцать, и на лице его уже отпечатались следы юношеских безумств. Да ведь это же Ронни, наконец понимаю я, тот самый мой пылкий Ронни, дрожащий от земного электричества, взведенный и торчащий в зенит гладиолус из лондонских асфальтовых оранжерей.

— Ронни, это ты? Ронни, какое странное настроение. Твоя молодость уходит, а я грущу по ней как по собственной, по которой давно уже отгрустил.

Он улыбается, ищет взглядом в толпе, находит и еще раз улыбается широко и сердечно, так, как он, наверное, раньше, в эпоху своих манифестов, не улыбался. Потом он играет несколько тактов на губной гармошке, откидывает голову и поет, улетая гортанным голосом за лондонские крыши, песенку "The questions of sixty seven, sixty eight". Это он поет для меня. Хорошо, что я завернул в Лондон на обратном пути из Калифорнии в Москву.

Да, горячая декада англо-американской молодежи закатывается сейчас за кривизну земного шара, но, как в Одессе говорят, "еще не вечер", потому что вообще пока эта штука вертится, еще не вечер, еще не вечер...

Typical American Adventure
Part IV

СЕРЕБРЯНЫЕ ПРИЗРАКИ

Между тем "типовое американское приключение" нашего Москвича развивалось по всем канонам и каньонам, и в результате мы с вами, уважаемый читатель, оказались в городе-призраке Калико.

Должно быть, не зря в Топанга-каньоне болтали о "серебряном веке": теперь в конце единственной улицы вымершего городка зиял черный вход в серебряную шахту, и тонкий слой серебра покрывал крыши покосившихся домиков и нависшие над ними безжизненные горы.

Гневно отфыркиваясь и выплевывая из фильтров пыль пустыни, "порше" поднялся почти по отвесному склону и остановился в начале улицы.

Здесь было все что нужно для диких, вооруженных кольтами горняков XIX века, все что нужно для киносъемок или для "типового американского приключения": почта, тюрьма, аптека, три лавки, четыре салуна.

Москвич осторожно вылез из машины. Дверь за ним захлопнулась, и эхо хлопка прокатилось по каньону. За спиной Москвича в огромном пустом небе висела круглая луна, и тень его тянулась через всю улицу, заканчиваясь возле черной пасти шахты.

Москвич пожалел, что нет у него на бедрах пояса с пистолетами и патронташем, похлопал себя по соответствующему месту и обнаружил, что пояс на нем на соответствующем месте. Тогда он медленно пошел по улице, каждым движением подражая герою детства Ринго Киду из фильма "Дилижанс".

Скрипнул стул. Восковой хозяин магазина качнулся на стуле, щелкнул курком своего кольта, откашлялся и прохрипел:

— In God our trust! Others pay cash![1]

Гулкие звуки долетели из горловины шахты. Заскрежетали блоки. Тихо прокатилась ржавая вагонетка.

Восковой узник приник к решетке тюрьмы и глухо проговорил:

— I sold my soul in the company store...[2]

Наступила тишина, и стало ясно, что вот-вот произойдет Встреча. Дрожа от волнения, Москвич остановился в ногах своей тени. Тень, отпечатанная на посеребренном грунте, была хороша — в ковбойской шляпе, а правая рука на поясе с патронташем. Все было готово к Встрече.

И вот в черной горловине появилось белое пятно. Оно медленно приближалось. Тихо вышла в подлунный мир и остановилась высокая, загорелая, в светящихся белых одеждах, с блестящими глазами.

— Это вы? — спросил Москвич.

— Да, это я, — прилетел к нему через улицу вымершего города тихий ответ.

— Это вы упали на Вествуд-бульваре?

— Да, это я.

— Это я помог вам встать?

— Да, это вы.

— Это вас похитили?

— Да, меня.

— Это за вас я сражался?

— Да, за меня.

— Можно мне подойти?

Он ждал очередного "да" и, конечно, дождался

---

[1] Мы верим Богу! Остальные платят наличными! (Типичная надпись в магазинах и салунах Дальнего Запада.)

[2] Я продал душу в магазин компании... (Из шахтерской песенки "Шестнадцать тонн".)

бы, если бы дурацкие назойливые силы вновь не вмешались в его приключение.

Мерзкий антиавтор Мемозов в форме чиновника департамента горнорудной промышленности выпрыгнул на скрипучую террасу конторы Вестерн-Сильвер и гадко заверещал, тыча в сторону Москвича длинным пальцем:

— Он без билета здесь! Он не взял билет! Пожалел полтора доллара! Безбилетник! Заяц!

Гнев и досада охватили Москвича. Нет, это невыносимо: вторжение пошляка взрывает любой сюжет, который строит воображение, и даже в этот сокровенный момент...

— Нет у вас совести, Мемозов! — вскричал он. — Остереглись бы врываться хотя бы в такие сокровенные места сюжета! Ведь так можете довести до крайностей! Какой вам еще билет?

— А вы как думали, миляга? — гнусно, базарно завизжал Мемозов. — Проник без билета в музейный ghost-town[1] и думает здесь на дармовщинку погужеваться! Простой народ, значит, деньги п л о т и т, а в а м не касается?!

Москвич замахал руками, как бы стараясь изгнать беспорядочными пассами из подлунного мира назойливого Мемозова, обернувшегося сейчас призраком коммунальной кухни, хотя и в мундире департамента горнорудной промышленности. Он умоляюще протянул руки к игре своего воображения, Женщине-Жертве.

— Друг мой, прошу вас, не слушайте этот вздор!

Она печально поникла с надломленной дланью:

— Однако у вас действительно нет билета, друг мой?

— Да какие тут еще билеты! — с досадой вскричал Москвич.

— Полтора доллара для взрослых, восемьдесят

[1] Город-призрак.

центов для детей и солдат, — грустно, как бы увядая, говорила Она. — Простите меня, друг мой, я не хотела бы вас огорчать, но если у вас нет билета, я вынуждена... вынуждена... вынуждена...

И Она исчезла, отступила на несколько шагов во мрак шахты и там растворилась. Встреча — оборвалась.

Исчез и Мемозов. Вновь тишина, и тихий ржавый скрип одинокой вагонетки да редкое покашливание восковых фигур.

В ярости — никогда прежде в кабинетной тиши, в библиотечных лабиринтах, в столовых самообслуживания он не предполагал в себе такого вулкана, — в ярости Москвич вырвал из кобур оба своих пистолета и разрядил их в темные окна.

Тут же в окнах вспыхнул свет, донеслась музыка, треньканье расстроенного пианино, шум многих голосов, взрывы смеха, и Москвич увидел за стеклами краснорожих веселых гостей, клубы табачного дыма, пролетающих с подносами прехорошеньких круглощеких официанток, иконостас стойки с разномастными бутылками и вывеску над иконостасом: "Old Mcdonald's shelter"[1].

Он быстро прошагал по галерее и рванул дверь. Все гости и служащие салуна тут же повернулись к нему — крепкие славные рожи пионеров.

Четыре девушки-официантки сгрудились вокруг бармена, высокого красавца с седыми кудрями и редкими морщинами, пересекавшими лицо. Это был снова он — тот самый Босс, Godfather из Топанга-каньона. Одной ладонью он сделал Москвичу приглашающий жест, другой показал на своих круглощеких помощниц и пропел своим чрезвычайным баритоном:

I used to be a travelling man,
Yo-yo-yo,

[1] "Шалаш старого Макдональда".

Until I hit Mcdonald's place,
Yo-yo-yo.
Where little cheek here
Little cheek there...[1]

— Здесь, что ли, продают билеты в музей? — хмуро спросил Москвич. Пистолеты его еще дымились.

Взрыв хохота был ответом. Сопровождаемый смехом, шутливыми возгласами, хлопками по плечам и ягодицам, Москвич пробрался к стойке. Лукаво ухмыляющийся всеми морщинами бармен поставил перед ним здоровенный бокал с какой-то прозрачной чертовской смесью. На дне бокала плавали не совсем обычные ингредиенты: бразильский орех, серебряная монета с профилем Линкольна и мексиканский червячок "гусано-деоро".

Совсем уже успокоившись, Москвич оглядел дымную комнату. Славные рожи Джонов Уэйнов, Гарри Куперов, Грегори Пеков, Кларков Гэйблов весело подмигивали ему. Расстроенное пианино дребезжало в ритме рэг-тайма.

— Это вы, что ли, ребята? — спросил он их.

— Факт. Это мы! — послышался дружный ответ. — Разве не узнаешь?

Он отхлебнул "молочка пустыни". Вкусно, крепко, черт побери, и просто отлично!

— Вы меня поймите правильно, мужики, — заговорил Москвич, стараясь попасть в тон. — Я человек, конечно, нездешний, приезжий. Ясно? Однако участвую в типичном американском при-

---

[1] Я был бродягой, легким на подъем,
Йо-йо-йо,
Пока не споткнулся о Макдональда дом,
Йо-йо-йо,
Где щечка здесь
И щечка там
И в целом доме тарарам... (И далее примерно в этом духе.)

ключении. Не знаю, искал ли кто-нибудь из вас ту, что упала на Вествуд-бульваре около полуночи?

— Всем приходилось, — серьезно кивнул один из Пеков, и все остальные кивнули.

— Тогда ответьте мне по-человечески, — попросил Москвич. — Есть ли тут смысл, а? Вообще-то? Стоит ли мне колбаситься в этом приключении или слинять назад, к кабинетной тишайшей работе?

Славные пионеры ответить на этот вопрос не успели. Как в песне поется, "внезапно с шумом распахнулись двери", и в салун влетел отрицательный герой вестерна, затянутый в черную кожу вертлявый пшют, конечно же, в маске до глаз, конечно же, с черепушкой и двумя берцовыми на шляпе, конечно же, Мемозов. Ни слова не сказав, а только взвизгнув, он открыл частую стрельбу в дальний угол. Смолк, как будто захлебнулся, веселый рэг-тайм...

— Скотина какая, — проворчал бармен, — вечно вот так врывается на полуслове, стреляет в пианиста...

Компании, собравшейся в "Шалаше старого Макдональда", конечно же, ничего не стоило изрешетить антиавтора в мгновение ока, однако никто из героев не притронулся к оружию. Все повернулись к Москвичу: все знали, что схватка с назойливым Мемозовым его право и что ему нужно сейчас всего лишь прищуриться на незваного гостя, только лишь прищуриться, но очень сильно. Москвич прищурился, и удачно! Вновь задребезжал рэг-тайм, а Мемозов как влетел в салун, так и вылетел, растворился в подлунном мире.

Все тогда с шумом поднялись — пора в дорогу. Все, а с ними и Москвич, вышли на улицу, отвязали коней, попрыгали в седла. Вскоре кавалькада всадников растянулась в цепочку и поплыла по

гребню подлунных гор. Звучали трубы. Марш "Американский патруль".

Впереди Москвича покачивался в седле бывший босс, бывший пилот, бывший бармен.

— Вы спрашиваете, oldfellow[1], есть ли смысл вам и дальше оставаться в вашем приключении? — говорил он. — Раз уж вы его начали, то оставайтесь. Мне кажется, вы здесь не лишний элемент. Лично на мне благотворно сказывается ваше присутствие. У вас есть тяга к положительному, у меня ее раньше не было. Если бы не ваше воображение, я бы, возможно, превратился в настоящего криминала, в богача и циника, играющего человеческими жизнями, — словом, в чудовище. Благодаря вам я сейчас спокойно покачиваюсь в старом кожаном седле, спокойно покуриваю свою трубку, моя нервная система уравновешена, пищеварение хорошее, пульс шестьдесят ударов в минуту, не испытываю никаких угрызений совести, а, напротив, наслаждаюсь обществом этих замечательных парней и, значит, извлекаю для себя гораздо больше выгод, чем из презренного богатства и погони за властью. В самом деле, джентльмены, не стоит ли нам иногда задуматься над простыми истинами? Не кажется ли вам, что честная, простая, моральная жизнь просто-напросто более выгодна и человеку и обществу, чем жизнь, полная гадких интриг, насилия и нетерпимости?

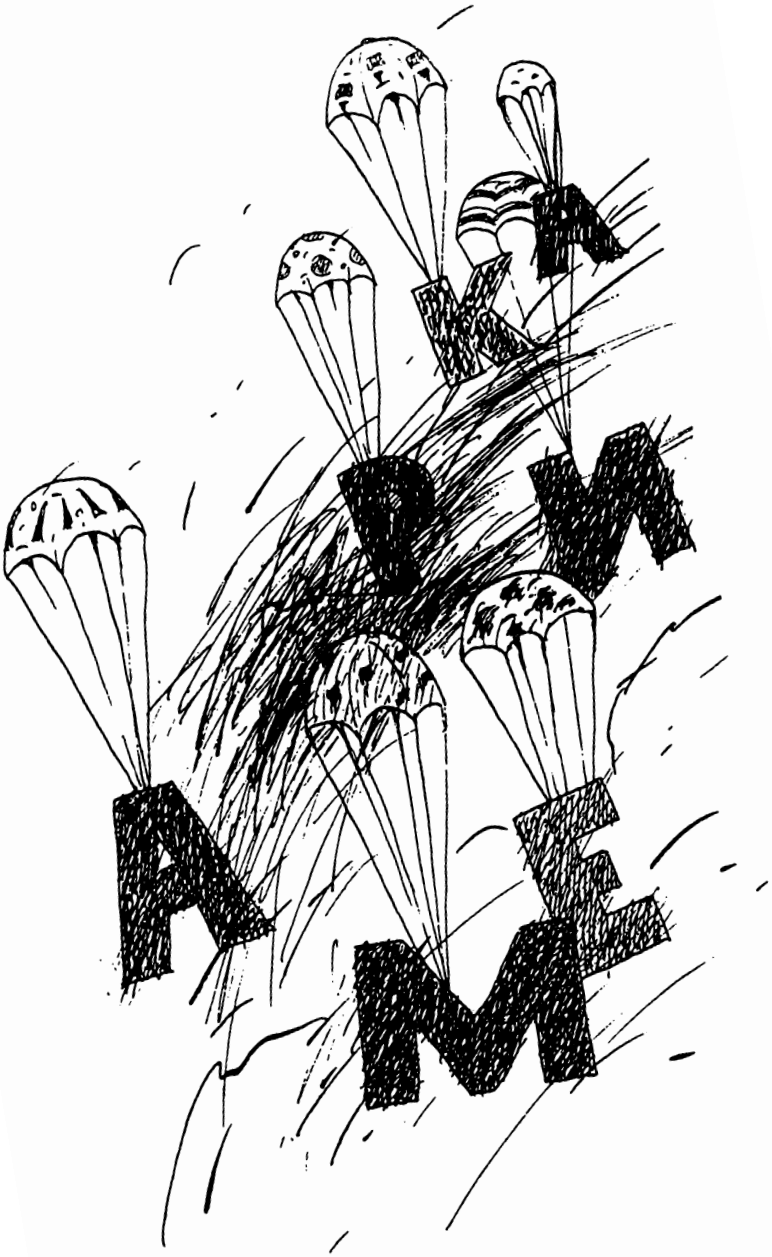
И так же легко и свободно, как только что размышлял, конный философ запел своим монументальным баритоном:

I've got the world on a string...[2]

---

[1] Старина.

[2] Держу весь мир на струне...


ARMY

КРИЗИС, ПРОСПЕРИТИ, РЕНЕССАНС, ТОТАЛИТАРИЗМ, СТАНДАРТ, ИСТЭБЛИШМЕНТ И РАЗНЫЕ ДРУГИЕ ШИКАРНЫЕ СЛОВА

"Приходите играть вместе с нами!"
"Каждый — и зритель и актер!"
"Ренессанс! Ярмарка удовольствий!"
"В долине Агура, на Олд Парамаунт Рэнч!"
"13-я ежегодная! Дюжина булочника!"[1]
"Слава Ее Величеству Елизавете I!"
"Боже, храни Королеву!"
"Вместе с нами веселый Робин Гуд и девица Мариан!"
"Парады! Развлечения! Ремесла! Кухня! Игры!"
"Бродячие музыканты, менестрели, акробаты, шуты!"
"Каждый мужчина — король Мая! Каждая женщина — королева Мая! В нашем графстве этой весной!"

Такие удивительные объявления мы прочли однажды в удивительной калифорнийской газете "Ram & Goblet"[2], набранной архаическим шрифтом по средневековому правописанию.

Кому же не хочется стать королем Мая? И вот мы с Дином катим в его рычащей маленькой машине по Вентурифривэй. Впереди, сзади, по бокам в пять рядов катят попутчики. Нет-нет да мелькнет за стеклом "форда", "тойоты" или "лендровера" пиратская косица, шляпа с перьями, бархатный плащ. В самом деле, не мы одни такие умные!

Через некоторое время убеждаемся: тысячи таких умных прибыли на Renessance Pleasure Fair[3] в долину Агура, тысячи автомобилей рядами стоят на паркинг-лот меж зеленых холмов.

Мы паркуемся, идем вместе с толпой, переваливаем через невысокий холм и оказываемся в другом мире. Паркинг-лот с его гигантским дисциплинированным автостадом

---

[1] A baker's dozen — соответствует нашей чертовой дюжине.

[2] "Баран и бокал" (видимо, намек на возможность "выпить-закусить").

[3] Ярмарка ренессансных удовольствий.

исчезает за холмом. Сбоку от пыльной грунтовой дороги гарцует средневековый герольд в лентах и перьях.

— Сюда, сюда, милорды! Милости просим, прекрасные леди!

Мы видим хвостатые флаги на шестах, шатры, кибитки, помосты, платим по четыре доллара с носа и оказываемся в елизаветинской Англии XVI века, среди шекспировских персонажей.

Собственно говоря, это все тот же южнокалифорнийский "бьютифул пипл", но может возникнуть и странная аберрация зрения, можно ведь предположить и обратное: странные, мол, фантазии приходят в голову базарному лондонскому люду — иные обнажают торсы, иные бесстыдно показывают голые ноги... Отелло в джинсах... Гамлет в шортах, Шейлок в гавайской рубахе... а некоторые Офелии и Дездемоны обнажены самым колдовским образом, эти-то, уж конечно, ведьмы, и им место на костре!..

Мы, профессора Уортс и Аксенов, тоже ведь не хуже других: башмаки связываем шнурками и перекидываем через плечо, рубашки превращаются в пояса, с помощью папье-маше увеличиваем себе носы, у Дина на макушке каперская клеенчатая шляпа (ведь он у нас истинный WASP[1]), я (восточный человек) в чалме. Словом, сливаемся с ренессансной толпой.

Здесь и там, на помостах, на вытоптанной земле и на телегах, дают представления труппы бродячих актеров, музыканты, фокусники, жонглеры, канатоходцы. На сцене "Друри-крик" заезжие бродяги из Италии, труппа Комедия-дель-арте. В ста ярдах от них партнер Уилла Шекспира и его тезка Уилл Кемп представляет почтеннейшей публике труппу "Глобуса". Астрологи в острых колпаках, ученые люди сидят под зонтиками. Шумят дубы...

Весьма занятно, между прочим, выглядит в этой толпе господин в костюме и галстуке, регистратор избирателей на будущие выборы в законодательное собрание штата Калифорния, но на него почему-то никто не обращает внимания.

---

[1] White Anglo-Saxon Protestant — белые англосаксы-протестанты, потомки первых поселенцев из Новой Англии.

Итак, шумят дубы своей резной листвой, эдакая прелестная кипень под тихоокеанским — пардон, пардон, конечно же, не под тихоокеанским! — под атлантическим бризом, под ветром с древней морской дороги — Ла-Манша.

Под дубом в пестрой игре теней сидит таинственная арфистка, весьма тонкая, в черном со звездами, волосы распущены на всю узкую спину, на узком носике огромные кристаллические очки, преломляющие свет. Мы останавливаемся, внимаем чудесным звукам. Арфистка поет:

— Вы, два джентльмена с картонными носами и с башмаками на плечах, не думайте, что вы не замечены. За вами следят попугай, макака, осел, элефант и арфистка.

Она оставляет свою арфу на произвол судьбы и со смехом бросается к нам. Милейшая Калифорнийка!

Разумеется, с ее появлением началась вторая часть нашей ренессансной фиесты: беспорядочные знакомства, chain-smoking[1], турецкий кофе, французские сливки, цыганские пляски, американские штучки... Вскоре образовалась у нас компания: астроном из Непала, повар из Норвегии, студент из Мехико-сити, художница с Восточного берега, медсестра из Канады и просто девушка из Польшы.

Ярмарочное кружение занесло нас наконец к славянским шатрам. Облепили русский к ъ о б а к, который предлагал милордам и миледи софт-дринк квас и царские п и р о́ ж к и.

Неподалеку уж второй час без остановки плясал табор балканских цыган под командой черноокой Магдалены. Черноокая выскочила к нам из круга. Все как полагается: косы, мониста, серьги, босые ноги, вулканический нрав... Ура! Восторг всей компании!

Тут вдруг запели серебряные трубы, забухали барабаны, зычные голоса возопили:

— Make way for Her Majesty![2]

Появилась процессия. Шотландские волынщики в клетчатых килтах, гиганты, карлики, шуты, палачи в черных мешках с дырками для глаз и с жуткими топорами, вель-

---

[1] Курение цепочкой, то есть одну сигарету за другой.

[2] Дорогу Ее Величеству!

можи, стража с алебардами и, наконец, четыре телохранителя пронесли на плечах кресло, в котором восседала сама Глориана — Елизавета I.

Точнейшая, между прочим, копия, чудеснейшая! Напудренные щечки, а поверх пудры пятна румян, длинноватый носик, маловатые глазки, высокий кружевной ворот. Все было чрезвычайно естественно, вплоть до того, что Ее Величество чуть не свалилось с носилок, приветствуя толпу, ибо была слегка, как говорится, вдребодан.

Потом началась третья часть нашей ренессансной фиесты, то есть разъезд. Компания наша самым непринужденным образом все увеличивалась, расставаться, конечно, никто не хотел, и, когда автомобили прибыли из долины Агура на тихую Транквилло-драйв, оказалось, что нас человек тридцать пять—сорок.

Гости заполнили дом. Что за дом? Точно никто не знает, сейчас выйдет хозяйка, может быть, объяснит. Кто хозяйка? Неважно. Дом, во всяком случае, был большой, с двумя бассейнами, с тремя автомобилями, с четырьмя телевизорами, с кондиционерами, рефрижераторами и прочей автоматической дребеденью плюс с коврами. Вышла хозяйка, та самая цыганка Магдалена, по-прежнему босая, но уже в джинсах и маечке. Появился и муж в очках. Хозяйка как хозяйка — профессор французской литературы. Муж как муж — атомный физик...

Я рассказал об этом дне довольно подробно, как понимает читатель, не только для того, чтобы его позабавить, но и для того, чтобы шурануть кочергой беллетристики по уголькам проблемы. Проблема наша — да-да — не затухает. Ведь без проблемы же нам же никак нельзя же. Что за очерки без проблемы? Без проблем писать очерки — неприлично. Кроме того, практика показала, что читатель просто устает от беспроблемности.

Какая же проблема? А вот какая: ярмарка эта под ренессансными дубами, праздник без электричества, без звукоусилителей и магнитофонов и даже без охладительных систем, без кока-колы (!) — эта ярмарка показалась мне при всей ее прелести, юморе и куртуазности каким-то подобием бунта.

Конечно, в Америке из поколения в поколение передается ностальгия по матушке Европе, и где только возможно американцы строят "маленькие Англии" — и в Диснейленде и возле трапов "Куин Мэри", — а также маленькие Италии, Германии, России... Но тут было нечто другое.

Renessance Pleasure Fair показалась мне каким-то подобием прорыва, стихийного бегства из той обыденщины, которую называют по-разному — то "американский образ жизни", то "жизненный стандарт", а критически мыслящие интеллектуалы произносят в таких случаях очень модное слово "тоталитаризм".

Говоря "тоталитаризм", американские интеллектуалы имеют в виду некое устрашающее будущее технотронное бездуховное общество, подобное, вероятно, тому, что изображено в романе Р.Брэдбери "451° по Фаренгейту". Приметы этого общества видятся им повсюду, порой, как мне показалось, они даже с некоторой долей мазохизма выискивают эти приметы. Впрочем, ведь говорят же порой, что некоторая доля мазохизма присуща всякой развитой интеллигенции.

Иностранцу, однако, иногда кажется странным смешение понятий "стандарт" и "тоталитаризм". Вот примеры.

Диснейленд? Тоталитаризм. Рекламы по телевидению? Тоталитаризм. Скоростные закусочные "Кентакки фрайд чикен" и "Джек ин зе бокс"? Тоталитаризм. И так далее.

Так ведь полезные же, удобные вещи: и цыплята эти жареные, всегда горячие, с корочкой, мгновенно к вашим услугам, и объявления, и проч... — скажет иностранец.

А кто вам сказал, что тоталитаризм неудобен? Он очень уютно вас расслабляет, размягчает и даже полезен для метаболизма — быстро возразит американский интеллигент.

Есть, однако, весьма и весьма серьезные "неполезные" вещи, по которым бьет эта социальная критика. Например, смог.

Смог — это тоталитаризм, говорят вам, и вы, привыкший уже к этому словечку, только усмехаетесь. Все, что связано со смогом в Лос-Анджелесе, вам, жителю Садового кольца, кажется преувеличением. Газеты каждый вечер сообщают процент вредных газов, углерода, фтора в воздухе,

но вы, урбанист, не чувствуете в воздухе Лос-Анджелеса ничего особенного, вы даже с некоторой странной гордостью заявляете: у нас, ха-ха, ничуть не чище!

Однако дело тут даже не в процентах фтора, а в том, что этих процентов на фривэях Лос-Анджелеса могло совсем не быть. Американцы говорят, что в стране давно уже изобретены паровые и электрические двигатели, не загрязняющие воздух, но автомобильные гиганты в стачке с нефтяными концернами закупают все подобные изобретения и проекты, кладут их в сейфы и держат под секретом. Значит, ради прибылей и весьма сомнительных политико-экономических расчетов пренебрегают здоровьем людей — да, вот это уже настоящий тоталитаризм!

Еще более серьезное, как я понимаю, дело — банки. За два с половиной месяца жизни в США я так и не смог разобраться в системах финансирования и субсидирования, хотя много раз был свидетелем разговоров на эти темы. То ли системы эти слишком сложны, то ли сказывалась моя врожденная финансовая бездарность, или то и другое вместе. Однако я усек, что банки являются в этой стране не только финансовыми органами, не только хранилищами денег и уж не сберкассами, во всяком случае.

Банки, как мне кажется, образуют как бы костяк американского общества, но наряду с этим они действуют и деструктивно, разрушая некоторые основы духовной жизни и унижая американское понимание свободы. Они, банки, как рассказали мне, собирают информацию о своих клиентах!

Они собирают информацию не только о доходах или деловых качествах, но также и об образе жизни, а может быть, — чем черт не шутит! — и об образе мысли? Таким образом, банки становятся как бы соглядатаями, хмурыми незримыми патронами, на которых средний шаловливый (как все средние) гражданин волей-неволей должен озираться.

Это уже, конечно, очень серьезный тоталитаризм, и с ним американская интеллигенция не хочет мириться.

В менее серьезных, но частых проявлениях тоталитаризма то и дело на глазах американца происходят столкновения различных социально-психологических противоречий.

Вот, например, феномен моды. Мода всегда начинается с попытки вырваться за частокол, за флажки, за зону, но почти мгновенно после прорыва зона расширяется и поглощает смельчака. Я уже касался частично этой проблемы в главе о хиппи.

Однако чего же здесь больше, что превалирует: жадные щупальца стандарта или массовый выход за условные изгороди?

Мне нравится современная мода калифорнийцев, ибо главная ее тенденция — отсутствие строгой моды. Какие бы линии ни диктовали парижские законодатели Диор, Карден и прочие, калифорнийский люд с этими законами мало считается. Пестрота толпы в Эл-Эй просто удивительная.

Я мало там ходил в театры, потому что все вокруг меня было спектаклем, но однажды отправился на оперу "Jesus Christ Superstar" в ультрасовременный "Century-City". Были некоторые колебания по поводу галстука — надеть ли? С одной стороны, галстук — это все-таки некоторый конформизм, но, с другой стороны, все-таки театр же. Вспоминался Зощенко. Придя, убедился, что колебания были совершенно напрасными: с одинаковым успехом я мог надеть галстук или не надеть галстука.

Вокруг меня на дне прозрачного космического колодца прогуливалась театральная публика: высокая черная красавица-газель в богатых мехах, а с ней белый парень в мешковатых джинсах, денди в бархатном смокинге и девушка в маечке спортклуба, пиджачные пары, и дерюжные хламиды, и просто рубахи с расстегнутыми воротниками, миниюбки и длинные платья, напоминающие слегка ночные сорочки, а одна дама, вполне еще молодая, но не вполне уже стройная, была просто в пляжном костюме-бикини, с наброшенной на плечи черно-бурой лисой.

Однажды я все-таки почему-то нацепил галстук и пришел в нем на лекцию. Что-нибудь случилось, заволновались студенты, что-нибудь сегодня особенное? Нет-нет, господа, не волнуйтесь, просто такое настроение, просто сегодня с утра я показался себе человеком в галстуке. Так я объяснил им свой вид и был прекрасно понят.

Калифорнийцы заменили понятие моды понятием beautiful people[1]. Разумеется, в понятие это входит не только манера одеваться, но и манера разговора, отношений, весь такой слегка подкрученный, такой чуть-чуть игровой трен жизни. Меня вначале эта манера слегка озадачивала, я не мог понять, что многие люди в этом странном городе чувствуют себя слегка вроде бы актерами, вроде бы участниками какого-то огромного непрерывного хепенинга.

Вот однажды заходим мы с Милейшей Калифорнийкой в маленький магазинчик на Сансет-стрип. Мы едем в гости, и нужно купить хозяйке бутылочку ее любимого ликера "Мараска".

В магазине пусто. Играет какая-то внутристенная музыка. Красавец продавец с соломенными выгоревшими волосами приветливо улыбается:

— Хай, фолкс!

— У вас есть сейчас "Мараска"? — спрашивает М.К.

— Мараска? — Красавец вдруг мрачнеет, как бы что-то припоминает, драматически покашливает. — Боюсь вас огорчить, леди, но Мараска уже неделю не заходила.

— ?

— Да-да, просто не знаю, что с ней стряслось. Мы все весьма озабочены. А вы давно ее не видели?

— У вас есть, однако, ликер "Мараска"? — терпеливо спрашивает М.К.

— О, леди! Вы спрашиваете ликер? — Радостное изумление, восторг. — Этот всегда в наличии.

На прилавке появляется маленькая черная бутылочка. Цена ерундовая — доллар с полтиной.

— Все? — спрашивает М.К., глядя прямо в глаза красавцу.

— Да, это все, — вздыхает продавец.

— А завернуть покупку?

— О, леди! Быть может, вы сами завернете?

Продавец патрицианским жестом выбрасывает на прилавок кусок прозрачного изумрудного целлофана.

— Вы полагаете, что я сама должна завернуть?

---

[1] Красивый люд.

— Леди, это было бы чудесно!

Совершенно доверительно — свои же люди — продавец подмигивает мне: вот, мол, сейчас будет хохма!

Милейшая Калифорнийка, слегка — слегка! — сердясь, неумело заворачивает покупку. Получается довольно уродливый пакет. Продавец с маской страдания на лице останавливает ее:

— О, нет-нет, мадам (теперь уже почему-то по-французски), мы не можем этого так оставить. Это было бы вызовом здравому смыслу. Позвольте уж мне вмешаться.

На сцене появляется теперь огромнейший, в пять раз больше первого, кусок целлофана изумительной красоты. Продавец превращается в художника, он демонстрирует нам вдохновенный творческий акт превращения прозрачной пленки в огромный замысловатый букет, подобие зеленого взрыва. Он что-то бормочет, отходит, смотрит издали на свое творение, возвращается, добавляет еще ленточку, еще цветочек. Наконец, скромно потупив глаза и как бы волнуясь:

— Пожалуйста, леди. Готово.

Мы выходим.

— Сан ов э бич! — смеется М.К.

— Пьяный, что ли? — предполагаю я.

— Да нет, просто играет. Здесь много таких, с приветом...

"Бьютифул пипл" не имеет возрастных границ. Вы можете увидеть шестидесятилетних джентльменов в джинсах "кусками", в вышитых рубашках, с бусами на груди. Они садятся за рули спортивных каров и гонят куда-то, и по лицам их видно, что они явно еще чего-то ждут от жизни.

Кстати говоря, вот именно это ожидание "чего-то еще", это выражение типично для калифорнийцев. Чего-то еще, чего-то еще... Это, однако, не жадность, а готовность к чудесным поворотам судьбы.

Есть в США тип мужского населения, который называют tough guys. "Таф гай", "жесткий парень" — это мужчина средних лет с крепко очерченным лицом, неизменный герой коммерческих реклам.

Разумеется, как тип, принадлежащий к стандарту или

даже, если хотите, к тоталитаризму, "таф гай" весьма уязвим для критики, но я сейчас хочу показать и некоторые положительные стороны этого образа. Кажется, не раз уж, говоря об Америке, я подчеркивал, что многие явления в современном мире имеют и положительные и отрицательные свойства. Сейчас о положительных, а может быть, даже и несколько поучительных контурах одного из американских мифов, именуемого "таф гай".

Это мужчина среднего возраста, но молодой. Молодой, но не молодящийся — в этом вся соль. "Жесткий" не скрывает своих морщин или седин, он гордится ими. Он отлично тренирован, умеет постоять за себя, чрезвычайно сдержан, приветлив, полон достоинства, готов к приключениям и ударам судьбы, у него вроде бы есть и свой кодекс чести. Он курит или не курит (а если курит, то предпочитает тонкие голландские сигары), носит джинсовые рубашки или пиджаки (а если пиджаки, то любит английские), пьет или не пьет (а если пьет, то виски "чивас ригал") и так далее. Многое в этом образе, конечно, вызывает иронию, но он и не прячется от иронии. Он и сам любит иронию. Самоирония — непременное качество "жестких".

У нас в России есть образ молодого человека, к нему обращена эстетика и общественное воображение. Недаром на улице осталось фактически только лишь одно обращение "молодой человек". Это вроде бы очень вежливо, а как глупо! Многие в свое время смеялись над Солоухиным, а мне вот очень нравится обращение "сударь". Во всяком случае, "сударь" лучше, чем дурацкий "молодой человек". Тем временем мужчина средних лет может хоть развалиться на куски — никому особенно не интересен, а если он, что называется, "следит за собой", то о нем говорят с некоторым пренебрежением — "молодящийся". Между тем, на мой субъективный взгляд, эстетика среднего (да и пожилого) возраста — это своеобразная формула мужества.

Все это было сказано к слову, а вот возвращаясь к повествованию, я хочу сейчас коснуться одного характерного свойства южнокалифорнийцев — приветливости, добродушия, легкости. Сами о себе они говорят: we are easy-going people, мы народ покладистый.

Как-то мы, компания славистов, в перерыве между лекциями жарились на пляже Санта-Моники. На длинных медленных волнах катили к берегу сёрферы. Над нами в небе летали пластмассовые диски — игра "фризби". Выше трепетали крыльями, словно настоящие птицы, ярко раскрашенные кайтс[1], новое увлечение калифорнийцев. Еще выше тихоходный биплан таскал взад-вперед над пляжами ленту букв Rolling stones. И совсем уже высоко в четком строю пятерка реактивных истребителей, по компьютерной системе регулируя выхлопы, выписывала могучие афоризмы нашей цивилизации:

"Молоко нужно каждому!"
и
"Кока-кола — это настоящая вещь!"

Словом, идиллический обычный денек.

Тем временем к нам приближался немыслимый человек, гора мускулов, культурист. Все мускулы у него были выделены и чрезвычайно вздуты: и грудные, и брюшные, и бицепсы, и трицепсы, и обе четырехглавые — словом, все. Он шел невероятно важной индюшиной походкой, как бы фиксируя каждый свой шаг, как бы приглашая весь пляж им полюбоваться.

— Какой самовлюбленный дурак, — заговорили мы о нем. — Эдакий индюк! Сколько извилин надо иметь, чтобы превратить себя в такое животное?

Вода, как известно, очень хорошо резонирует звук, но мы говорили по-русски и не понижали голосов.

Тем не менее парень, видимо, понял, что говорят о нем, приостановился, поднял руку, полностью уже превратившись в скульптуру, улыбнулся и сказал:

— Hi, everybody![2]

Улыбка была простодушна, мила и сердечна. Молодое лицо с выцветшими волосами и усами на вершине столь могучего тела, казалось, выглядывало из башни. Мы были

---

[1] Kite — воздушный змей.

[2] Всем привет!

пристыжены — вовсе он оказался не индюком, этот парень.

— Вам лайфгард[1] не нужен? — спросил он.

— Спасибо, сэр. Пока что не нужен, — ответили мы. — Извините.

— Все в порядке, — еще шире улыбнулся он. — А вот вы, сэр, — он кивнул мне персонально, — у вас такой потрясающий акцент. Откуда?

— Из Советского Союза.

— Май гуднесс! — Улыбка залила уже все его лицо. — Линк ап! Стыковка! Это просто великолепно! Между прочим, там у вас лайфгард не нужен?

— Не знаю, — сказал я. — Может быть, где-нибудь нужен. Не исключено.

— Значит, в случае чего звоните. — Он присел на корточки, казалось, кожа у него сейчас лопнет, и написал на песке пальцем номер телефона. — Спросите Эрни. Вообще это касается всех, конечно. Если кому-нибудь что-нибудь надо, пожалуйста, спрашивайте Эрни Терковски.

В хорошую погоду благодушие с пляжей переливается в глубь Калифорнии. На улицах прохожие спрашивают друг друга:

— Как дела? Все в порядке?

Человек без улыбки на устах вызывает озабоченное:

— Что-нибудь случилось?

Разъезжаясь с паркинг-лот, кивают друг другу, сердечно напутствуют:

— Drive carefully!

— You too![2]

Читатель, конечно, понимает вздорную занудность софизмов на хрестоматийном примере с критянами. Понимает это и автор и потому, как должно быть уже замечено, бежит всяких обобщений.

---

[1] Lifeguard — спасатель.

[2] Правьте осторожно! — Вы тоже! (Между прочим, в автомобильной стране эти реплики почти уже заменили обычное "гуд бай".)

Конечно, нельзя сказать, что все калифорнийцы всегда простодушны, милы и сердечны. Кто ж тогда там ворует, грабит, безобразничает? А ведь бывает и такое. Так же нельзя ведь сказать и о ньюйоркцах, что все они хмурые, раздраженные, нервные, запуганные, только лишь на основании впечатлений от нью-йоркского сабвея в часы пик. И тем не менее при слове "Калифорния" на лице у любого американца появляется улыбка или тень улыбки, как и у наших людей появляется улыбка при слове "Крым".

Золотая Калифорния, этот образ живет в американском стандарте до сих пор как образ земли обетованной, как основное, то есть западное направление. Критик-интеллектуал, конечно же, скажет: никакой золотой Калифорнии нет, все это вздор, рекламный миф, входящий в систему "тоталитаризма"!

Презрение к рекламе — это неотъемлемое качество американского интеллигента. Думаю, что тут и снобизма-то нет никакого. Действительно может все осточертеть, если с утра до ночи слышишь most, most, most — самый, самый, самый. Загоняешь машину в мойку — читаешь огромное: "MOST SOFT WATER OVER THE WORLD"[1]. Покупаешь в драгсторе паршивенький гребешок, а к нему присовокупляется целая статья "Почему гребешки ЭЙС являются самыми лучшими в мире". Приезжий человек, иностранец, конечно, не испытывает такого раздражения. Мне вначале просто нравилось гулять по улицам и разглядывать рекламы. Вот, к примеру, обычная короткая прогулка по Уилширу.

Из багряного закатного океана поднимается гигантская бутылка виски "Катти Сарк"[2].

"Теперь уже не строят таких кораблей. Хорошо, что хотя бы выпускают т а к о й виски!"

---

[1] Самая мягкая вода в мире.

[2] "Cutty Sark" — знаменитый "чайный" клипер, установивший рекорд скорости парусного флота.

Сквозь огненное кольцо летит автомобиль с четырьмя слепящими фарами.

"П е ж о прошел сквозь ад, прежде чем добрался до Америки!"

Иегуди Менухин склонил скульптурный лоб над скрипкой — весь мрачное вдохновение.

"С часами Р о л л е к с и моей партитурой я могу быть где угодно и на Луне. Р о л л е к с — мой метроном!"

Упомянутый уже "таф гай" сидит на палубе яхты с журналом в руках среди пенного моря.

"Быть может, он родился в Швеции, любит китайскую кухню, ездит в германских машинах, покупает японские транзисторы, но он всегда читает П л е й б о й по-английски"

Задумчивый принц Гамлет на цветущем лугу, по которому гуляют молочно-белые отменные девицы.

"Я думаю, что мир уже созрел для датского шерри-бренди к и я ф ф а"

Прошло еще какое-то время, и я привык к рекламам, почти уже перестал обращать на них внимание. Следующей фазой моего привыкания к Америке, должно быть, стало бы раздражение против реклам, но я вовремя уехал.

Противоречия, противоречия, противоречия — на них наталкивается путешественник по современному миру едва ли не каждый день, не каждый час. Что такое рекламы? Кроме шуток, ведь полезная же вещь: своего рода бакены, по которым может плыть потребитель в хаосе чудовищного коммерческого мультиобразия. С другой стороны, с точки зрения, скажем, социальной психологии, критически мыслящая личность может увидеть в рекламах и совсем другое, осветить эту сторону жизни под иным углом, мощным и жестоким прожектором свободолюбия.

А что, если эти бесчисленные рекламы, эти изнуряющие most, most, most вовсе не бакены, не гиды, не помощники? А что, если они даже и не оружие в конкурентной борьбе? Что, если у них есть иная сверхцель или подзадача — быть чем-то вроде изгороди, вроде красных флажков оцепления? Что, если ненавистный истэблишмент вбивает каждому гражданину сызмальства при помощи этих реклам одну подспудную тоталитарную психологию: вот твой мир, вот его границы, и знай — никогда за эти границы ты не проникнешь!

Рекламами, между прочим, занимаются люди совсем не глупые, и применяются в этом деле достижения современных наук. Кажется, в начале шестидесятых годов общество разоблачило злокозненные действия рекламных агентов, связанные с применением мгновенных, невидимых стоп-кадров.

Скажем, ты смотришь фильм "Любовная история" и, конечно, даже не подозреваешь, что фильм нафарширован мгновенными стоп-кадрами рекламы пива. И ты, подневольная скотинка, инкубаторный цыпленок цивилизации, не понимаешь, почему тебе после кино так невыносимо хочется пива, и не пива вообще, а, конечно же, "левинбрау", которое есть most, most, most.

Общество тогда вовремя увидело страшную опасность. Ведь так можно черт знает что внушить цыплятам! Были приняты строгие правительственные меры, стоп-кадры подверглись запрету, но кто знает — какими средствами сейчас давят тебе на кору и подкорку?

Незадолго до возвращения на родину я познакомился с чудесным пареньком по имени Фредди. Он прошел, наверное, все университеты американской молодежи: был и студентом, бездумно гонял кожаную тыкву в футболе, и солдатом во Вьетнаме, вернулся оттуда на ржавом самолете, показывая растопыренными пальцами рогульку V[1], был и хиппи, был и бродячим звездочетом и так далее — сейчас он журналист по социальным проблемам.

---

[1] Victory (победа) — символ американского антивоенного движения.

К моменту нашего знакомства Фредди как раз был занят подготовкой небольшой бомбочки против "тоталитаризма" — он писал статью, в которой собирался разоблачить рекламные агентства и доказать, что они используют в своих плакатах замаскированные эротические символы и приманки. Он показывал мне примеры, и они были чертовски убедительны. Успеха, Фредди!

Да, мало осталось в мире простых вещей, таких, как "невод", "старуха", "пряжа".

Невод — это уже угроза для иссякающих рыбных богатств, к тому же сделан он из нейлона, а значит, продукт химической промышленности, которая загрязняет и воду, и воздух, и, следовательно, он, невод, объект критики в антитоталитарной борьбе за environment protection[1].

Старуха — это, конечно, не просто старая женщина, но объект борьбы за улучшение welfare[2], повод для размышлений об отчуждении личности в современном супериндустриальном монополистическом обществе, имеющем тенденцию к сползанию в "тоталитаризм".

Пряжа... ну, пряжа — это клубок, вечная пряжа на берегу пустынных пространств, бесконечный таинственный клубок нашей странной, все более и более запутывающейся жизни, и сейчас, в заключение этой главы, где шла речь о некоторых мрачных предметах, мне хочется вытащить из клубка этой пряжи яркую нитку, дабы сказать, что жизнь все равно прекрасна.

...Наконец-то началась настоящая калифорнийская золотая погода — девяносто пять градусов по Фаренгейту, сильный бриз и сияния. Я в университетской майке, в шортах и беговых туфлях разгуливаю по Эл-Эй запросто, как большинство туземцев, и, что любопытно, не подражания ради я так одет, а так вот естественно, вполне машинально присоединился к beautiful people'у.

В маленьком рычащем автомобиле Дина еду за продуктами в супермаркет "Хьюз" на Сансет-бульвар. Еду и думаю о том, как прекрасен день и как хороша рыжая голова

---

[1] Охрана среды обитания.

[2] Социальное обеспечение.

в параллельно идущей машине, и о том, как я тут уже основательно освоился, а это приятно, и о том, что скоро уже домой, а это приятно вдвойне.

И вдруг пронзает меня горькая мысль: не видел ни одной голливудской звезды! Как же это так? Ведь и Биверлихиллз, где они живут, в двух шагах от нашего кампуса, и до бульвара Голливуд двадцать минут езды, а я не видел ни одной звезды (признаюсь, и звездочки ни одной), если не считать отпечатков рук и ног перед "Chinese Theatre"[1]. Печальная история, теперь не отчитаешься в Москве.

Может быть, нафантазировать? Проще говоря, наврать? Эта спасительная для писателя мысль несколько ободряет. С ней я подъезжаю к "Хьюзу", паркую "порше", беру проволочную тележку для покупок и вкатываюсь под своды сверхбазара, где, конечно, звучит назойливо-неназойливая ободряющая музыка.

Вижу, по проходу навстречу мне идет, толкая тележку, Марлон Брандо. Ничего тут особенного нет: у него где-то дом неподалеку, а продукты ведь и звездам нужны. Брандо как Брандо — сорокасемилетний красавец в японском кимоно, волосы завязаны на затылке в стиле пони-тейл. "Каждый день встречался с Брандо, — молнией проносится у меня в голове. — Каждый день, каждый день! Много болтали..."

Удача за удачей — там же в супере открываю любимую газету "Midnight"[2], а в ней статья об очередном приключении Брандо. "Вот как-то встретились мы с Марлоном, а он мне говорит: "Можешь себе представить, Вася, в какую я попал историю! Снимался я на натуре возле Сан-Диего, а вечером у меня павильон в Эл-Эй. Собачья жизнь, конечно, но что делать, старик? Налоги

---

[1] Знаменитый "Китайский театр" на бульваре Голливуд, где начиная еще с конца двадцатых годов происходили премьеры всех больших фильмов. В течение этих десятилетий звезды во время премьер оставляют на асфальте отпечатки рук и ног. Предполагаю, что асфальт предварительно размягчается, ведь даже и у звезд не могут быть столь тяжелые стопы и длани.

[2] "Полночь", популярная легкомысленная газета, сообщающая светские новости и всякие курьезы.

душат! Короче, не снимая грима, а грим, конечно, преступника, пропади все пропадом, влезаю в самолет. "Ну, — говорю стюардессе, — летим на Кубу, дочка?" Вижу, юмора не понимает чувиха, бледнеет, куда-то в темпе линяет. Через пять минут бежит к моему креслу весь экипаж и наряд полиции, ясное дело, с их дурацкими пушечками в руках. Бедные замороченные роботы истэблишмента... И эти люди отказывают коренному населению нашего континента в его законных правах! "Вот он! — кричит экипаж. — Пытался угнать самолет на Кубу!" Пришлось мне снять грим. Ну, конечно, тут все разахались. Ах, мистер Брандо, бёг, дескать, юр пардон! Ах, мы так счастливы, что вы летите с нами! Нет уж, говорю я этим ребятам, с таким трусливым экипажем я не полечу. Поищу другой самолет. Как считаешь, старик, правильно я поступил?"

Итак, я встречался с кинозвездами. Почти каждый день болтали с Марлоном Брандо. Сколько историй рассказал мне он — можно книгу написать! Вот, например, однажды...

Я выталкиваю свою колясочку из супермаркета на паркинг-лот. Вижу, стоит Марлон Брандо возле своего открытого "ягуара" и читает "Midnight". Читает, улыбается, кимоно и конский хвост треплет сильный океанский бриз. Дочитав до конца собственное приключение, лауреат многочисленных "Оскаров" пожимает плечами и бросает газетку по ветру.

Как перелетная лживая золотая птичка, газета набирает высоту и скрывается за верхушками пальм, тонет в сиянии. Пускаю я и свою, вторую, вслед за первой и, когда она скрывается, окончательно утверждаюсь в том, что я ежедневно встречался с Брандо возле супермаркета "Хьюз" на Сансет-бульваре. Он уезжал обычно вверх по Сансету, к Биверли-хиллз, а я спускался вниз, к Тихоокеанским Палисадам...

Typical American Adventure
Part V

РОЖДЕННАЯ ИЗ ПЕНЫ МОРСКОЙ И ПОЯВИВШАЯСЯ НА ПЛЯЖЕ

Кони все сильнее шевелили ногами, хотя горы становились все круче. Кавалькада колотила копытами дорогу так, как барабанщик Элвин Джонс бьет свою установку, когда он в раже. А ночь не кончалась. Она становилась все таинственней, все прельстительней.

Москвич потерял своего собеседника. Он видел теперь впереди лишь согнутые спины в грубых рубашках, а позади наклоненные лица, сжимающие зубами кожаные тесемки шляп.

С каждой минутой ночи кони выносили нас все выше и выше на гребень, а потом они ринулись вниз, увлекая за собой камни, прошлогодний снег, вековечные небылицы. Вскоре они уже пересекли всю холмистую Калифорнию и тогда медленно, будто бы в киношном замедлении, выплыли на белый как снег пляж Кармел.

Москвич глазам своим не верил: Уэйны, Пеки, Куперы и Гейблы спокойно спешивались и отпускали своих коней, а те, спокойно помахивая гривами, уходили в темный океан, а тот спокойно, но с интересом рычал, как будто гигантский зрительный зал перед концертом.

Затем герои вестернов на глазах Москвича спокойно стали превращаться в других его героев — музыкантов американского джаза. Луч луны словно прожектор бродил по пляжу, освещая одно за другим лица Дюка Эллингтона и Луи Армстронга, Кинга Оливера и Каунта Бейси, Чарли Паркера и Стена Кентона, Джона Колтрейна и Орнета Колмена, Дейва Брубека и Джер-

ри Муллигана, Телониуса Монка и Элвина Джонса...

Все инструменты уже были на пляже: и саксофоны, и трубы, и ударные, и пиано. С неуклюжим грохотом пролетел над пляжем древний "дуглас", голос Глена Миллера громко прошептал оттуда "раз-два-три", и концерт начался.

Что они играли? Москвич не знал. Он был наверху блаженства, на самом верху, он качался на остренькой спице блаженства и чувствовал, что его "типичное американское приключение" близится к счастливому концу. Что они играли? Быть может, десяток тем сразу? И все это была классика: и "Высокая луна", и "Маршрут А", и "Вокруг полуночи", и "Караван", и "Бери пятерку"... Они начинали темы, а потом импровизировали за милую душу каждый по-своему и все одновременно, но это не было какофонией: Москвич слышал — всех!

Все было бы хорошо, но постепенно на гребешке дюны стал высвечиваться маленький столик с ядовитой лампочкой. Там сидел музыкальный критик, паршивенький Мемозов, изображал из себя суперумника и, делая вид, что не замечает Москвича, писал зубодробительную рецензию.

Джазовые музыканты — народ впечатлительный и нервный. Паршивенький критик был уже всеми замечен. Гармония то и дело стала нарушаться воплями отчаяния, скрежетом пессимизма. Быть может, был бы сорван и хеппи-энд типичного американского приключения, если бы не вмешались стихийные силы природы. Дюна под Мемозовым благополучно провалилась, он сам с имуществом своим, столом и табуреткой, исчез в антипространстве литературного вздора, а взвихренные листы рецензии подхватило племя монтерейских чаек и пожрало их, несмотря на обилие орфографических ошибок.

Тогда запел океан, поднялась большая белая волна, и на гребне ее тихо двинулась к берегу та,

которую искали, — высокая, загорелая, с блестящими глазами, в широких светящихся одеждах. Она или другая упала в прошлый четверг на Вествуд-бульваре, было уже не важно. Важно было то, что она пела в сопровождении всех этих великих музыкантов, и пела так, будто Элла Фицджеральд, Билли Холидэй и Диана Росс отдали ей для сегодняшней ночи свои золотые голоса.

Бурлила пена. Туманная Цель нашего приключения, обретая плоть и мощный звук, выходила на белый, как канифоль, песок пляжа Кармел.

С прибрежного утеса ей вторил вынырнувший по такому случаю маэстро Нептун. Обычно его изображают дряхлым смешным стариком, в действительности же он не стар, хотя и не молод, строен, сед, но кудряв и отнюдь не смешон, хотя и не лишен самоиронии.

Они пели вместе:
How deep the ocean,
How high the sky...[1]

Какое удовольствие все-таки приносит хеппиэнд неискушенным душам! Москвич, потеряв голову от удовольствия, присоединился к двум звездам Кармела и запел, право слово, неплохо, соединяя в себе мощь Магомаева, Хиля, Кобзона, Захарова, Вуячича и Дина Рида.

САНИТАРНЫЙ ГОРОД ФРАНЦИСКО

Однажды мы сидели на крыльце дома профессора Уортса и смотрели на его кота Силли, которого иногда называют и более торжественно — мистер Силли Шопенгауэр.

[1] Как глубок океан, как высоко небо...

— Ты не cat, Силли, — говорил я коту. — Какой ты cat? Ты самый обыкновенный типичный кот.

Мистер Силли Шопенгауэр загадочно молчал. Он недавно сожрал птичку, сволочь такая.

Хозяин дома Дин Уортс, между прочим, выдающийся лингвист, тогда сказал:

— Ты, знаешь ли, недалек от истины. Слово "кошка" очень давно уже известно в Калифорнии. Индейцы, которые жили в районе Сан-Франциско, кошку называли "кушка", ложку — "лужка", вообще у них была масса русских слов в лексиконе.

Так мы коснулись темы "русские в Америке", и я теперь оставляю обоих джентльменов, мистера Дина и мистера Силли Шопенгауэра, на крыльце их дома, для того чтобы более или менее подробно осветить ее, эту тему.

На последней переписи населения более миллиона американцев записались русскими, стало быть, это одна из самых больших этнических групп в США.

Наши предки открывали Америку с запада.

Еще в XVIII веке появились в Калифорнии русские пионеры с Аляски. Они и принесли местным индейцам ложки, вилки, лопаты, пилы, много других полезных предметов, а также котов, предков мистера Силли.

Историки довольно много написали об этом периоде, но я больше верю поэтам. «"Авось" называется наша шхуна, луна на воде как сухой овес...» — так написал Вознесенский, и он же рассказал (наверняка более правдиво, чем историк) о свадьбе русского морского офицера и дочки испанского губернатора Калифорнии и о последующей трагедии.

Живых свидетелей осталось мало — бревенчатый темный форт Росс с православной церковкой, Русская речка да несколько слов в лексиконе индейцев.

Впоследствии в Сан-Франциско появилась Русская Горка. Имя ей дала первая русская так называемая религиозная эмиграция. Старообрядцы, молокане, духоборы уезжали в Америку от преследований официального духовенства старой России.

Некоторые общины духоборов уцелели до сих пор в законсервированной сохранности. Как-то я смотрел телевизи-

онный сюжет об одной из них. Несколько тысяч русских крестьян десятилетиями жили замкнутой колонией где-то в Северном Китае. Там они очень упорно трудились и процветали. Потом, то ли во время войны, то ли после, община сдвинулась с места и целиком переехала в Калифорнию. Власти штата выделили им земли где-то между Лос-Анджелесом и Сан-Диего, однако духоборам там не понравилось: слишком легко все растет — и фрукты и злаки. Им нужно было трудиться, упорно трудиться, упорный труд был нравственным стержнем колонии. Сравнительно недавно они (опять все вместе) переехали в более суровый климат, на Южную Аляску, и там возликовали: вот тут можно хорошо потрудиться! По экрану телевизора ходили русские литературные, а скорее даже лубочные типы в косоворотках, подпоясанных кушаками, в поневах, длинные бороды, стрижка "под горшок". Слышалась престраннейшая, архаичная, но отчетливо русская речь, даже без всяких английских примесей.

А ведь это очень трудно — сохранить язык в третьем, в четвертом поколениях. В одном маленьком калифорнийском городе я познакомился с милой семьей. Он, хоть и чистый WASP, блестяще говорит по-русски, так как профессор русской литературы. Она, потомок духоборов, чисто русская по крови, не знает ни слова по-русски.

Сколько смешных русско-английских экспрессий я слышал! Вот несколько примеров.

Мудрый "философ":

— Що ты имаешь в своей кантри? Я имаю кару, севен чилдренят, вайф...

Маленькая девочка, весело визжа:

— Мамми, ай'м гоинг ту бегать на цыпочках!

Диалог между бабушкой и внуком:

— Ты ноу, гранни, дад пэйнтеров захарил.

— Закрой уиндовку, внучек. Коулд поймаешь![1]

---

[1] Что у тебя есть в твоей стране? У меня автомашина, семеро детишек, жена...

— Мамочка, я хочу бегать на цыпочках!

— Ты знаешь, бабушка, папа маляров нанял.

— Закрой форточку, внучек. Простудишься!

В то же время есть в Америке, конечно, русские из "второй", послереволюционной эмиграции, которые свято берегут культурный русский язык и даже не особенно стремятся обучиться английскому. Я встречал весьма гордых стариков, возможно, бывших кавалергардов, которые живут в Америке уже пятьдесят лет, но американцев, то есть местных жителей, с великолепным равнодушием называют "иностранцами":

— Верочка, тот господин, что заходил к Марине в прошлый четверг... Он наш или иностранец?

В чудесном русском языке этих людей, разумеется, нет многих современных слов. Они не знают, например, слова "холодильник" (ведь не было же холодильников в России до 1914 года!) и называют свои американские "фриджи" словом "ледник". Бензоколонку они называют "газолинкой", а вертолет все-таки обыкновенным американским словом "геликоптер".

Иногда я ловил себя на том, что говорю с этими людьми с некоторым затруднением. Там, в атмосфере тепличного, искусственно сохраняемого языка, я понял, что наша современная пулеметная речь с проглатыванием отдельных слов, с неизбежными жаргонизмами очень трудна для нетренированного уха. Говоря, например, о каком-нибудь чудаке, я готовлю в уме какую-нибудь фразу, что-нибудь вроде:

— Его считают, знаете ли, малым с левой резьбой, дескать, не из тех, что соображают насчет картошки дров поджарить...

Вовремя спохватываюсь, понимая, что речь моя будет темна для собеседников, перестраиваюсь:

— Говорят, что он чудак, что он, дескать, не от мира сего...

Предвижу вашу улыбку, читатель: второе лучше. Конечно, лучше, и чище, и благороднее, но только немного жалко дикую эту метафоричность, живущую в резьбе, в картошке, в дровишках...

Еще в юности, помню, читал я в журнале "В защиту мира" (кажется, Пьер Кот его издавал) интересную статью "Нью-Йорк — город иностранцев". В самом деле, Нью-

Йорк вот уж истинный melting pot[1], там в час пик на Пятой авеню не так часто правильную английскую речь услышишь. Много слышал и разных анекдотов такого примерно рода: "Я ему по-английски: "Ай уонт ту, ай уонт ту", — а он мне по-русски: "Чего тебе надо, товарищ?"

Но вот уж не предполагал, что сам стану участником подобного анекдота и первый человек, к которому я обращусь на улице в Нью-Йорке, самый первый, окажется русским.

Стоит старичок мороженщик: кепка, сизый нос, мохнатые уши.

— Excuse me, sir. I'm looking for that and this...

— This way, guy. Where are you from? You have such a heavy accent.

— From Russia[2].

— Я тоже русский. Новороссийск знаешь? Черное море?

Политический спектр американских русских невероятно пестрый. Приходилось мне, например, разговаривать с настоящими монархистами, для которых даже "октябристы" — злостные революционеры, мерзавцы, заговорщики, не говоря уж о "конституционалистах-демократах".

— Октябрьская революция была уже потом. Главное преступление — Февраль! Подлец Родзянко захотел стать президентом и погубил государя.

Я написал "приходилось разговаривать", но это ошибка. Разговора с этими мастодонтами не получается, они монологисты. Покачиваясь в своих креслах и глядя на порхающих в ветвях ботл-браш-три[3] голубых калифорнийских сорок, они говорят об империи, о святом принципе помазанности и слышать в ответ ничего не хотят, ни возражений, ни подтверждений, — у них своя жизнь.

---

[1] Бурлящий котел. Этим социальным термином часто обозначают американское общество, в котором плавится множество наций.

[2] — Простите, я ищу то-то и то-то...
— Вот сюда, парень. Ты откуда сам-то? У тебя такой акцент.
— Из России.

[3] Bottle-brush-tree — калифорнийское дерево, цветы которого напоминают щетки для чистки бутылок.

Их внуки, конечно, уже больше американцы, чем русские, и родной язык у них английский, а русский — лишь второй родной. Они типичные американские либералы, интеллектуалы, а иные даже и радикалы, даже и марксисты, в основном, разумеется, маркузианского толка. Дедов своих они просто совсем уже не слушают, а только лишь улыбаются в ответ на их речи.

Вообразите себе ливинг-рум, гостиную в одном таком доме. На кожаных подушках и на полу сидят молодые русские американцы и с жаром говорят о проблемах своей страны: о расовых отношениях, об охране среды обитания, об очередном кризисе в кино, об инфляции, о женском освобождении, о наркотиках, о тоталитаризме... проблем для интересного разговора вполне хватает. Тихо поет из разных углов через стереофонику покойная Билли Холидэй. Потрескивает камин. Возле камина в креслах дедушка с бабушкой монологизируют на тему о приоритете монархической власти и России. Не правда ли мило?

Сколько семей, столько и судеб, и временами судьбы невероятные. Многие тысячи людей из так называемой третьей эмиграции, послевоенной, были заброшены в Америку, как щепки в шторм. Другие стремились сюда сознательно.

Один солидный дядька, владелец прачечной возле кампуса, рассказывал, как судьба швыряла его после войны из Германии в Италию, из Италии в Абиссинию, оттуда в Кейптаун, потом в Уругвай, и везде он мечтал о Сан-Франциско. А почему именно о Сан-Франциско? А потому что "сан"; думал, что "санитарный"; что-то похожее на санчасть, а в санчасти завсегда и тепло и сытно, это уж как положено.

В Калифорнии он хлебнул всякого, "на апельсиновых плантациях вместе с чиканос горбатил", но потом, как видите, осел не в Сан-Франциско, а в Эл-Эй, но все-таки вроде бы и по санитарному делу, все-таки стирка. Здесь уже "не дует".

Конечно, среди послевоенной эмиграции есть и грязные люди, быть может, даже и бывшие каратели. Эти вряд ли

отмоются американскими порошками. Грязь всегда будет видна, в какие бы одежды ты ни рядился. Любые демократические песни будут звучать фальшиво в устах человека, хоть однажды певшего осанну Гитлеру.

В целом же, без всяких сомнений, русская этническая группа в США — это большой отряд талантливых людей, вносящих весомый вклад в экономику и культуру страны. Статистика говорит, что у американских русских один из самых высоких уровней образования, чрезвычайно высокий процент ученых и творческих людей. Мало среди русских бизнесменов и финансистов, но это, на мой взгляд, не такая уж большая беда.

Я уже говорил, что встречал за время своей американской жизни очень много соотечественников, и сейчас хочу со всей ответственностью сказать, что большинство, включая даже и тех, кто и язык-то уже плохо знает, выражало самый искренний интерес к своей исторической родине, гордость нашими успехами и настоящее, идущее от сердца внимание к проблемам нашей общественной жизни, культуры, науки, спорта.

...А все-таки самый русский из всех американских городов — это, вы уж меня простите, тот самый Санитарный-город-Франциско.

Дул очень сильный и холодный ветер, а солнце сияло. Тепло было только на площади Юнион-сквер, зажатой небоскребами. Там на углу, в самой толчее, стоял черный саксофонист и наддавал жару. Мы грызли теплые орехи, бросались к каждому автомату hot drinks, чтобы выпить горячего кофе, кутали звезду нашей компании четырехлетнюю красавицу Маршу.

Ах, как дьявольски красиво, как прельстительно, как чудесно было на этих холмах, по которым со звоном тащится старинный кэйбл-кар, канатный трамвайчик, и над которым солнце словно бы кружит, будто бы не может успокоиться, а выскочив из-за очередного алюминиевого гиганта, бьет по крышам машин, словно бикфордов шнур, поджигает от вершины холма до подножия.

Джек-лондоновские места, пуп мирового приключения... "В последний раз я видел вас так близко, в пролете

улицы вас мчал авто, и где-то там в притонах Сан-Франциско лиловый негр вам подавал манто...“

Ни притонов, ни лиловых с манто вокруг мы не видели. Мы шли к океану, к рыбачьим причалам есть лобстера.

На причалах возле знаменитого ресторана “Алиото“ в огромных чанах варят крабов, креветок, и тут же развеселая толпа их поедает. Многоязыкая толпа, в которой то и дело почти так же часто, как delicious, слышалось “вкусно“.

Все в толпе оборачивались на наших красавиц, на Маршу и ее маму, тоненькую смуглую Эсси с серебряными искрами в кудрявой голове. Лик чудесной Эсси сиял красотой и добротой.

Давно я уже заметил, что у всех негритянских женщин лица отличаются добротой. Мужчины-негры бывают разные, как и подобает мужчинам, и добрые, и злые, и приветливые, и резкие. Женщины же все, и наша Эсси не исключение, выражают добро и привет, как, собственно говоря, и подобает женщинам.

Мне всегда нравились черные люди, но в Африке я еще не был и до приезда в Америку не предполагал, как много среди них настоящих красавцев и красавиц. Наша Эсси даже в этой среде была ультра!

— Эх, красивая женщина! — говорила по ее адресу довольно бесцеремонная толпа на рыбацких причалах.

— Не только она! Не только мамми! — кричала, подпрыгивая, маленькая Марша. — Я тоже бьюти, хотя и кьюти!

Лобстера ели не в таком шикарном, как “Алиото“, но в чистеньком ресторанчике, за окнами которого качались мачты сейнеров и ботов, точно таких, на каких бесчинствовали устричные пираты Джека Лондона. Официант-итальянец то и дело произносил “спасибо“, “добро пожаловать“, “кушать подано“.

— Нет, сэр, я не говорю по-русски, но все-таки надо знать несколько слов, если живешь в Сан-Франциско.

Вышли уже в сумерках. Над горизонтом висела огненная полоска знаменитого моста Голден Гейт Бридж. Ветер дул все сильнее. Марша и Эсси, обе совершенно одинаково,

повизгивали от холода. Толлер, плечистый, волосато-бородатый мат-лингвист из Беркли, поехал на трамвайчике за своей машиной, которую оставил в паркинге отеля "Хайат". Остальные решили куда-нибудь зайти, чтобы не дрожать на ветру, открыли первую попавшуюся дверь и услышали "Катюшу":

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой...

В безымянном кофе-шоп возле стойки бара сидел на табуретке здоровенный мужлан почему-то в коротких кожаных шортах, тирольской шляпе и с аккордеоном. Конечно, расцветали у него не яблони, а яблоки, но ведь и дома у нас где-нибудь на платформе Удельная в праздники именно яблоки цветут, а не яблони.

— Браво! — засмеялась черная русистка. — Браво! Браво! Браво! Русский артист!

— Для пани, — широко осклабился "артист", получше укрепил свои малосвежие ноздреватые ляжки и заиграл "Лили Марлен".

Так он и пел все время, пока не приехал Толлер, песни по обе стороны фронта, то "Землянку", то "Розамунду", то "Ехали мы ехали селами, станицами", то "Майне либе энгельхен". Вряд ли случайный был репертуар у этого толстяка, должно быть, вся его судьба за этим стояла.

Мы вышли на улицу. Вдруг оказалось, что ветер стих и стало тепло. Тогда пошли гулять по набережной. Луна уже висела.

Луна уже висела. Залив еще рычал. Вода уже блестела. Пальмы еще трепетали. Память еще искала. Рука уже бродила. Луна еще висела. Залив уже молчал.

— А мы пели русские песни, — похвасталась прелестнейшая Эсси перед Толлером.

— Я тоже знаю одну русскую песню, — сказал умнейший мат-лингвист.

— Наверное, "Подмосковные вечера"? — спросил я, ехиднейший.

— Нет, другую. Вот слушай. — И он запел с сильным акцентом, но математически правильно:

Я всю войну провел шофером,
Курил махру и самосад,
Но дым родного "Беломора"
Никак не мог забыть солдат.

— Странное дело, — сказал я. — Первый раз слышу эту песню. А ведь я знаток массовой культуры.

— А я тоже ее знаю, — сказала нежнейшая Эсси. — Ее тут многие знают, в Сан-Франциско, эту песенку. — И она запела вместе с Толлером:

Нет, недаром, скажет каждый,
Популярен с давних пор
Средь курящих наших граждан,
Эх, ленинградский "Беломор".

Вот тебе на, думал я, такую песню прошляпил знаток массовой культуры. Откуда она здесь? Наверное, какой-нибудь морячок ленинградский завез, а здесь, в Сан-Франциско, такая песенка не потеряется.

Тихая ночь. Чудесная ночь. Тихая лунная ночь после буйного солнечного дня. Тишина, хотя залив еще рычит или уже ворчит. Мы в Сан-Франциско, а это далеко от табачной фабрики имени Урицкого, и от набережной Фонтанки, и от Моховой, и от Литейного, но с нами, однако, милая Эсси, прапрапрапрапрадедушку которой привезла сюда в Америку в кандалах какая-то сволочь, а Эсси, нежнейшая, влюблена в русских поэтов, во всех сразу, а потому и в Ленинград, и, значит, нити все сошлись опять в один кулачок земной ночи, плывущей с востока на запад, дающей отдых очам, и, стало быть, не забывай этого ни в Сан-Франциско, ни в Ленинграде, потому что ночь опять приплывет, добрая ночь с ниточками разных историй, с общей судьбой в кулачке.

US

Typical American Adventure
Part VI

НЕУКЛЮЖИЕ РИТМЫ

Он вышел из телефонной будки.
Бульвар Вествуд
был глух,
как лес.
Красивый люд
давно
исчез.
Он пошел через улицу под желтой мигалкой.
Асфальт — как льдина,
скользит
сапог,
И ветер — в спину,
и пьяный
смог.
Он закачался — тревожная ситуация!
Но некто — ловок,
как саму-
рай, —
Подставил локоть.
О'кей?
Олл райт!
Восстановив равновесие, он пересек улицу.

ВОСПОМИНАНИЕ О ПРОЗЕ

Я был там "профессором", то есть лектором, то есть в каком-то смысле действительно профессором. Это был необычный опыт, необычная среда, и я увлекся этой средой, забыл даже о своей любимой тягомотине — о прозе, то есть почти перестал писать и встреч с американскими коллегами не искал.

В середине июня я отправился из Лос-Анджелеса читать лекции в Станфорд и далее в Беркли и Сан-Франциско и неожиданно для себя обнаружил, что еду по следам американской литературы.

Кручу баранку "тойоты" все по тому же Пасифик Коуст Хайвэй, то есть по шоссе Тихоокеанского берега. Восточнее, в глубине Калифорнии, есть три прочерченных по линейке многорядных фривэя, по ним гораздо легче добраться до цели, но эта дорога живописнее, хотя и трудна, как все живописные дороги. Крутой уклон, крутой вираж, и сразу крутой подъем, и сразу крутой вираж, а за ним сразу крутой уклон и так далее. Очень похоже на дорогу от Новороссийска до Туапсе. Смешно получается, дорога-то красивая, но пейзажем не полюбуешься, если не хочешь сыграть с высоты в океан, и уж тем более не запишешь в актив впечатления, и впечатления получаются куцые: рифленая поверхность океана, склон с пластами базальта, далекие сосны на гребне, одна из них похожа на самолет... "ограничение скорости"... "сужение"... "обгон запрещен"...

Ужин в ресторане "Натэнэ". Это греческое слово означает что-то вроде "не грусти". До грусти ли, когда такой голод! Ресторан висит над обрывом к океану. Выясняется, что это не что иное, как бывший дом Орсона Уэллеса. Выясняется также, что красная крыша, видная в зарослях внизу, покрывает жилище Генри Миллера. Старый чудак, классик модерна, и сейчас там обитает. Вилка с куском стейка замедляет свой путь от тарелки ко рту, начинает слегка приплясывать.

Ночью делаю остановку в маленьком городке Монтерее, перед сном вспоминаю: чем знаменит Монтерей? Да, ежегодные фестивали джаза, да-да, а еще?.. Батюшки, да ведь это же город Стейнбека! Да ведь именно здесь он написал свой "Квартал Тортилья Флэт"!

Я встречался с Джоном Стейнбеком и его женой Элен в 1964 году в Москве. Мы все тогда — Казаков, Евтушенко, Вознесенский — ходили со Стейнбеком и драматургом Эдвардом Олби с приема на прием, такая довольно нелепая "светская" жизнь, но как же еще пообщаться писателям? "Биг Джон" шел по Москве в невероятно длинном и огром-

ном твидовом пальто, казалось, там, в карманах, у него большие запасы всего самого необходимого: табак, виски, чернила, бумага, сюжеты, метафоры...

— Для чего человеку пуп? — громогласно спрашивал он и тут же отвечал: — Если вам ночью захочется поесть редиски, лучшей солонки не найти!

Иной раз мы останавливались на каком-нибудь ветреном углу под летящим снегом где-нибудь на площади Восстания полшестого.

— Вот мы, Джон, молодые писатели, а вы один из Большой Американской Пятерки, а мы все о мелочах говорим. Расскажите нам, Джон, о Хемингуэе. Вы с ним встречались?

— Трижды. Первый раз он заказывал, второй раз я, а в третий по очереди. Нам трудно было говорить, ведь меня интересуют рыбы размером не больше сковородки.

До сих пор отчетливо вижу большое лицо Стейнбека с морщинами и синими венозными паучками. Он абсолютно укладывался в образ кита американской литературы, смотрел на всех с доброй насмешкой и говорил только о пустяках:

— Когда загорелась старая ферма на опушке леса, искры и головешки с треском стали перелетать через узкий снежный рукав и поджигать деревья. Я заметил с дороги, как выскочила из леса волчья семейка, восемь голов, матерые негодяи и несколько щенков. Они увидели скопление машин на дороге, слепящие фары, а сзади был загорающийся лес, и тогда они пошли по снежному рукаву между лесом и дорогой довольно гордо, знаешь ли, вполне независимо и даже с некоторым достоинством, хотя и с зажатыми между ног хвостами.

Позже пришло огорчение — странные вьетнамские приключения живого классика. Что это, Джон? Мы не совсем понимали...

Несколько лет назад он умер. Горькая невозможная новость — Джон Стейнбек не вязался с "миром иным".

Помню еще одну такую новость, летом 1961 года, когда умер Хемингуэй. Он умер в разгар нашей русской любви к нему.

Я тогда еще где-то записал, на каком-то клочке: как жаль, что это произошло в век радио. Не будь радио и телеграфа, новость тащилась бы к нам на парусниках и дилижансах не меньше трех месяцев, и мы бы лишних три месяца думали, что Хемингуэй жив, а это немало.

Утром в Монтерее я увидел, что горожане хранят память о Джоне и даже извлекают из нее некоторые материальные выгоды. Ныне Монтерей давно уже не рыбацкий городок, но довольно фешенебельный курорт. Тем не менее все причалы, склады и заводы по переработке сардин сохранены. Сохранены или восстановлены старые надписи. Все вместе это называется Steinbeck country[1] и служит туризму: на причалах ресторанчики, бары, в складах стилизованные мини-отели, магазины сувениров. Все это очень мило и трогательно, а извлечение выгод — дело тоже вполне нормальное и благородное, память от этого не ржавеет.

В конце своего пути я снова натолкнулся на след американской литературы. Это было в Беркли на все той же знаменитой Телеграф-стрит. С друзьями я попал как раз в тот самый зал, где весной 1956 года Аллен Гинзберг читал свою поэму "Вопль", объявившую миру существование литературы beat generation. Слушатели стояли плечом к плечу, а впереди всех, рассказывали друзья, размахивал руками, словно дирижер, Джек Керуак. Здесь были и другие друзья Аллена — Ферлингетти, Корсо, Питер Орловски, но Джек был самый неистовый. Сорвав с кого-то сомбреро, он стал собирать деньги на вино и, когда шляпа заполнилась, вылетел, быть может, даже и над головами, и вернулся уже обвешанный оплетенными мексиканскими бутылками.

Бедный Керуак. Жалко Керуака. Никогда не забуду "Джаз разбитого поколения", тот дикий "кадиллак", которым ребята обколотили все стены в Чикаго. Видимо, что-то гибельное есть в таких вот порывах, в таких вот пролетах над головами, в дикой спонтанной прозе, которую никак не остановить. Я знал и дома таких парней, как Керуак.

Нынешний патриарх битников Аллен Гинзберг лет десять назад приезжал в Москву. Он говорил о наркотиках, о

---

[1] Страна Стейнбека.

заоблачных Гималаях, пел на урду, позванивал маленькими литаврами из штата Керала, которые постоянно носил с собой. Все-таки он производил вполне устойчивое впечатление литератора, профессионала шаманского нашего дела, и, несмотря на необходимые чудачества, в нем виден был вполне надежный и крупный современный поэт.

Странную близость чувствовали мы с американскими писателями нашего поколения. И судьба у нас была разная, и по-разному текла жизнь, но, встречаясь, мы как-то по-особенному заглядывали друг другу в глаза, как будто искали в них какое-то неведомое общее детство.

Мое первое знакомство с современной американской прозой состоялось странной ночью осени 1955 года в Ленинграде. Это была ночь настоящего наводнения, когда вода дошла сфинксам до подбородка. Стоявший тогда на Неве английский авианосец "Триумф" уже начал спускать шлюпки, дабы спасать "и страхом обуялый и дома тонущий народ", но страха не было и в помине, народ тонуть, кажется, не собирался, а наоборот, в эту странную ночь по всему Питеру расползлось какое-то чуть-чуть нервное, но бодрое веселье, и всюду были танцы.

Я, бедный студент романтического направления, как раз шел на танцы, брел по колено в воде по Большому проспекту Петроградской стороны и на площади Льва Николаевича Толстого встретил очень мокрую девушку. Глазищи, помню, были огромные, просто замечательные.

— Я кошка под дождем, — сказала она.

— Похоже, — согласился я.

— Да нет, вы не понимаете, я хемингуэевская кошка под дождем.

В кармане у нее мок довоенный еще журнал с "Кошкой под дождем". Такие девушки тогда встречались на Петроградской стороне.

Через год или полтора появился двухтомник Хемингуэя, и началась его бешеная вторая русская слава. Портреты седобородого красавца в толстом свитере украсили интеллигентские жилища.

Молодая проза конца пятидесятых — начала шестидесятых основательно потаскалась по парижским хемингуэев-

ским бульварам в свите поклонников леди Эшли. "Ты хорошо себя чувствуешь?" — "Да, хорошо". — "А я себя плохо чувствую". — "Да?" — "Да". До сих пор еще встречаю стареющих молодых людей, что лелеют в душе святыню юности, хэмовский айсберг, на четыре пятых скрытый под водой.

Когда я первый раз весной 1963-го попал в Париж, он оказался для меня окрашенным, кроме всех своих собственных очарований, еще и хемингуэевским очарованием, быть может, самым сильным. Это был не только Париж десяти веков, но и Париж тех мимолетных, быстро пропавших молодых американцев. И почему они казались нам так близки?

Потом у нас появились Фолкнер и Фицджеральд, Бабель, Платонов, Булгаков, и начался откат от Хемингуэя. По Москве бродило чье-то выражение, звучавшее примерно так: "Хвост мула у Фолкнера дороже всех взорванных мостов Хемингуэя". Я записал тогда где-то себе на клочке бумаги нечто в таком роде:

"Нам говорит скабрезный Демон Моды:

— Не смешите меня своим Хемингуэем, хоть он у вас и вышит сингапурским мулине по шведской парусине. Подумайте сами, сколько уж лет он у вас висит. Сегодня выносите всех своих Хемингуэев на свалку!

Пришла теперь пора прощаться...

Прощай, прощай, Хемингуэй! Я встретил тебя однажды в ночь наводнения, и ты мне рассказал нехитрую историю про кошку под дождем. Прощай, прощай, Хемингуэй, солдат свободы! Прощай, мы больше не встретимся в Памплоне и не будем дуть из меха вино. Прощай! Я прощаюсь с твоим лихим, солдатским, веселым, южным алкоголем. Увы, нам уже не въехать на джипе в покинутый немцами Париж, нам уже не опередить армию, и я забуду твою науку любви, ту лодку, которая уплывает, и науку стрельбы по буйволам, и науку моря, науку зноя и партизанского кастильского мороза.

Прощай, тебе отказано от дома, ты вышел из моды, гидальго XX века, первой половинки Ха-Ха, седобородый Чайльд, прощай!"

Попрощавшись тогда таким образом, я понял, что это

новая встреча. Никому не навязываю своего вкуса и ослиных хвостов с мостами не сравниваю. Нельзя сравнивать великих писателей — кто лучше, кто хуже. Можно лишь говорить, кто ближе тебе, а кто дальше.

Фолкнера я боготворю и удивляюсь его чудесам, хотя мне немного тесно в его прозе. Хемингуэя просто люблю, всегда вспоминаю как будто своего старшего товарища, в мире его прозы есть простор для собственных движений.

В связи с американской литературой в моей жизни однажды произошел смешной курьез. Летом 1961 года появился мой роман "Звездный билет". Критика по адресу немудрящей этой книги шумела довольно долго, и спустя год после выхода "Билета" то тут, то там стали появляться хмурые замечания: Аксенов-де писал под явным влиянием Джерома Селинджера. Между тем "Над пропастью во ржи..." в исключительном переводе Р.Райт-Ковалевой хронологически появилась позже, на полгода позже "Билета", и я до этого даже не подозревал о существовании замечательного писателя, который "жил тогда в Ньюпорте и имел собаку".

Я сначала злился, а потом подумал, что, может быть, в критических упреках есть некоторый резон. Ведь написанто "Catcher in the Rye..." был гораздо раньше своего русского издания и — кто знает? — может быть, литературные влияния словно пыльца распространяются по каким-то воздушным, не изученным еще путям.

Теперь я читаю по-английски и открыт для влияний и Бротигана, и Воннегута, и Олби, и я, признаюсь, испытываю их влияния почти так же сильно, как влияния сосен, моря, гор, бензина, скорости, городских кварталов. Хочется увидеть писателя, свободного от влияний. Какое, должно быть, счастливое круглое существо!

У нас, кстати сказать, в критике складываются забавные правила игры. Свободна от влияний и подражаний одна лишь бытописательная, вялая, вполглаза, из-под опущенного века манера письма, практически стоящая вне литературы. Все вырастающее на почве литературы так или иначе подвержено влияниям. Все, что помнит и любит прежнюю литературу, использует ее достижения для своих собственных, новых, то — подражание. "Под Толстого", "под Буни-

на"... любое малейшее смещение реального плана — "булгаковщина"... Один лишь графоман никому не подражает. Но, руку на колено, графоманище-дружище, и ты ведь подражаешь Кириллу и Мефодию, используя нашу азбуку!

Итак, я проехал по следам американской литературы, не встретив ни одного американского писателя. Встречал ли я героев?

Помню, десять лет назад в Риме мне все время казалось, что улицы заполнены знакомыми людьми. Мне хотелось здороваться, окликать, махать рукой, но в то же время я понимал, что люди эти знакомы мне лишь отчасти, не понимал лишь, от какой части — откуда? Только спустя некоторое время я догадался, что это типы итальянского кинематографа. Вот это "знак качества", подумал я тогда.

Типы прозы увидеть в чужой стране труднее, для этого надо прожить в ней, наверное, не меньше пяти лет, однако Холдена Колфилда я встречал, и не раз, и в кампусе, и в городе, и на дорогах, и юношу Холдена, и мужчину Колфилда, и старика мистера Холдена Колфилда.

Что такое американская проза для нас и входит ли она в русскую эстетическую традицию? Остается ли она — хотя бы частично — сама собой, теряя свои ти-эйч и инговые окончания, вылетая из своего каменистого русла, создающего быстрое течение, и втекая в просторные наши озера, берега которых поросли щавелем, щастьем, плющом?

Стиль американской прозы, ее пластика, ритм, пульсация для русского читателя в значительной степени оборачиваются качествами перевода, а языки наши исключительно не похожи друг на друга.

Однако и буйволы мистера Макомбера, и утки из Сентрал-парка, и хвост йокнапатофского мула, и тоненькая мексиканочка, встреченная на дороге, и раненый кентавр из Новой Англии — все это входит, вошло уже раз и навсегда в нашу культурную и эстетическую традицию.

Из Лос-Анджелеса через Мичиган и Индиану я перелетел в Нью-Йорк и решил провести там неделю перед возвращением на родину. Я все еще чувствовал себя чудакова-

тым калифорнийским профессором, но с каждым днем все меньше и меньше. С каждым днем все больше и больше я терял ощущения калифорнийского беспечного beach-bum'а[1] в сумасшедшем Нью-Йорке. Помогал мне в этом молодой поэт Джо Редфорд, бывший калифорниец, а ныне искатель литературного счастья в Гринвич-вилледже. Друзья из Эл-Эй дали мне его телефон.

— В Нью-Йорке надо обязательно иметь знакомых. Без знакомых в этом Вавилоне пропадешь. Это страшный, страшный, совершенно дурацкий город, населенный психами.

Так говорил мне наш easy-going, "покладистый" калифорнийский пипл, но это, конечно, было сильным преувеличением. Западный и восточный берега США живут в постоянном соперничестве. Западники считают восточников "э литл крэйзи", то есть "чокнутыми", и наоборот.

В Нью-Йорк-сити, конечно, много страшного, например гарлемские хулиганы или наркоманы из Бауэри, но много и прекрасного, волнующего, а из десяти миллионов по крайней мере девять совсем не "чокнутые".

Забавно, с Редфордом мы встретились почти как земляки. Он патронировал меня, как будто мы были два паренька-одноклассника из маленького калифорнийского города, но один, то есть именно он, Джо, раньше уехал в столицу, уже поднаторел здесь, стал уже тертым калачом и сейчас вот опекает зеленого кореша. Между тем он был моложе на восемнадцать лет и писал сонеты, обращенные к мраморным статуям. Кроме того, он играл на контрабасе в джазовом клубе "Half-note"[2], и, между прочим, с немалым мастерством, но без энтузиазма — копейки ради.

Однажды среди ночи телефонный звонок поднял меня в моем "Билтморе" на 42-й улице. Хриплый и картавый голос Редфорда читал обращение к шотландской королеве Марии Стюарт. Я не понимал и трети — витиеватые архаические обороты вперемежку с американской матерщиной.

---

[1] Пляжный бездельник.

[2] Половинная нота.

— Не понимаю и половины, — сказал я.

— Не важно. Главное — я ее люблю! Это, надеюсь, ты понял. Встречаемся завтра в "Рэджи".

На следующий день я сидел в этом темном маленьком кафе возле Вашингтон-сквер в Гринвич-вилледже. Три девушки хохотали в углу. Официант с равнодушно-презрительной миной разносил по столам кофе-каппучино. Старенькая радиола крутила пластинку Боба Дилана. Передо мной в пепельнице дымила сигарета, которую надоело курить. Я чувствовал странную жажду.

По стеклу скатывались вниз дождевые потеки. Ветер, влетая в улицу, иногда швырял в стекло горсть крупных капель. Пузыри валандались в лужах. Я чувствовал жажду.

Два мокрых негра вошли в "Рэджи", съели не садясь по сандвичу, спросили, который час, и ушли. Стройная и гордая увядающая красавица прошла под деревьями сквера. Ей что-то крикнули из медленно катящего автомобиля. Зубы сверкнули в улыбке — струйка раскаленных электронов в серятине дня. Влажность 99,9 процента. Жажда.

Из-за угла на другой стороне вышел рыжий косматый верзила — Джо Редфорд. По-деревенски открыв рот, куда-то уставился — уж не красавице ли вслед? К нему подбежала собака, села задиком в лужу и подняла острое лицо. Из магазина вышел одышливый толстяк, выставил на асфальт черный пластиковый мешок с мусором, сплюнул и скрылся. Странное чувство вдруг пронизало меня — будто бы я не наблюдатель, а часть этого нью-йоркского мгновения, просто расплывчатый лик за мутным окном "Рэджи". Человек, который сидит у окна в кафе и чего-то жаждет.

Тогда догадался — пора уже было домой и дико хотелось писать. Все что попало, отбрасывать листы, отшвыривать листы, пятнать кириллицей литфондовскую бумагу, пока не доберешься до заветного клочка. Дождливый день в Гринвич-вилледже — воспоминание о прозе.

Typical American Adventure
Part VII

НА ПРОЩАНИЕ

На обратном пути в полупустом салоне гигантского "джамбо джет" Москвич перебирал детали своего приключения и удивлялся: неужели это произошло с ним? Он постепенно приходил в себя и обретал вновь свою подлинную суть кабинетного затворника.

В салоне, похожем на довольно большой кинозал, все уже спали, хотя на экране мелькали всякие киноужасы. Москвич же бродил по проходам, покачивая головой, почесывая в затылке и смущенно улыбаясь. В час, когда над Атлантикой начала разгораться европейская заря, Москвич заметил в самолете еще одного бодрствующего, меня, то есть автора этого репортажа.

— Надеюсь, вы не обижены, старик? — спросил я. — Все было...

— Все было прекрасно! Никаких претензий, — поспешил он заверить. — Одна беда: в самом конце, практически уже после хэппи-энда, кто-то помог мне пересечь Вествуд-бульвар, поддержал, когда я поскользнулся. Увы, я не успел заметить кто. Нельзя ли?..

— Вполне возможно, — ободрил я его. — Я немедленно напишу Дину Уортсу и попрошу вывесить вашу благодарность в кампусе UCLA, в Вествуде, в Санта-Монике, на Тихоокеанских Палисадах, на Уилшире и Сансете, на пляже Венес и на Телеграф-стрит, на Юнион-сквере и в Монтерее, в Лас-Вегасе, в Калико-сити и в Королевском каньоне среди секвой. Где-нибудь, я уверен, она будет замечена.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Прошел уже год после моего возвращения из Соединенных Штатов. Венцом прошлого лета в советско-американских отношениях оказалась космическая встреча. В стыковочном тоннеле Стаффорд сказал, протягивая руку:

— Кажется, полковник Леонов? Я не ошибаюсь?

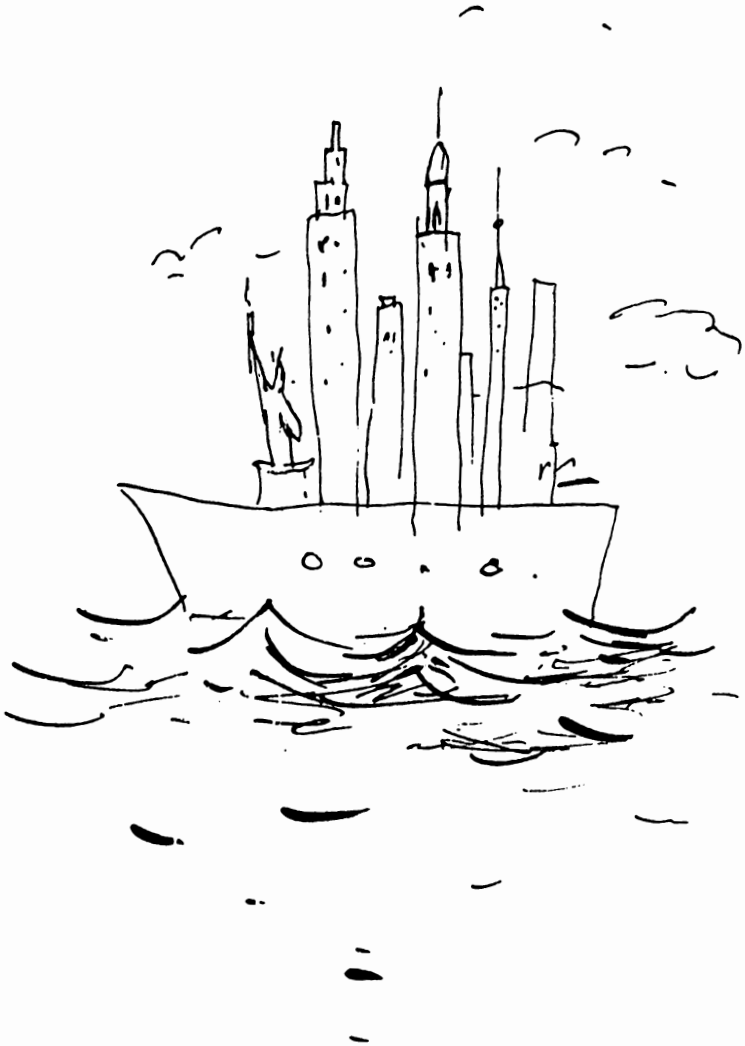
Леонов заразительно рассмеялся.

То было лето улыбок, я чувствовал это на себе. Сейчас, быть может, мы реже улыбаемся друг другу. Современная жизнь бывает слишком сложна, слишком сурова. Быть может, кроме права на улыбку, мы должны признать друг за другом и право на сдвинутые брови.

Главное в другом — в советско-американском взаимном уважении. Альтернативы нет. Семантический спор вокруг слова "detente" — "разрядка" — лишь дым, скрывающий попытку неразумных повредить едва возникший каркас советско-американского взаимоуважения, столь важный в современном здании мира.

Впереди нас ждет, конечно, разное — быть может, и разочарование и раздражение, — но будем лучше вспоминать добрые времена и сохранять надежду на новые улыбки. Ведь альтернативы же в самом деле — нет!

В ПОИСКАХ ГРУСТНОГО БЕБИ



ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Неужели вы всерьез собираетесь жить в Америке? — спросил Клаус Габриель фон Дидерхофен.

— Почему бы нет? — сказал я.

Он пожал плечами.

— Не любит Америку, — подмигнул Серджо Бугаретти. — И знаете почему?..

В этот момент режиссер захлопал в ладоши и попросил приготовиться к съемке. Все участники беседы приосанились, то есть немец водрузил на короткий нос пролетарские очки в железной оправе, итальянец откинул со лба седые пряди, чтобы быть еще ближе, еще понятнее своим читателям, русский эмигрант, иными словами, сорокавосьмилетний писатель, только что выпихнутый из Москвы, еще точнее — я, автор этой книги, — попытался изобразить легкость, приветливость, международный лоск, не очень-то уместные в его нынешнем положении.

Мы сидели на раскладных парусиновых креслицах на вершине идеально круглого и идеально зеленого холма. Внизу, на разных уровнях, в складках предгорья пестрели строения городка, название которого звучит, как флейточка — Кортина-д'Ампеццо. Вокруг, по всему окоему, торчали гребнями, башнями, клыками и круглились глазированными боками Доломитовые Альпы.

В то лето 1980 года я был итальянской знаменитостью. За несколько месяцев до выезда из СССР в Милане вышел итальянский перевод "Ожога". Итальянские журналисты нашли меня в Париже. Муниципалитет Кортины пригласил нас с женой на отдых в свои блаженные края. Сейчас телевизионщики приволокли меня на беседу с участием своего знаменитого соотечественника и знаменитого немца из Гамбурга. Все это смахивало бы на рекламу курорта, если бы не наши подержанные лица и кисловатые мины. Немцу явно не нравилось то, что говорил я. Меня слегка воротило от высказываний немца. Итальянцу нравилась родная речь. Меня не оставляло ощущение, что мы слегка засоряем окружающую среду.

После съемок прохлаждались в маленькой траттории. Немец вернулся к американской теме. Уехать из России и отправиться в Америку? Из одного ада в другой? Да вы, дружище, попросту не понимаете происходящего. Итальянец улыбался: не любит Америку, потому что она опровергает теории Шпенглера. Они были очевидными друзьями, и им, очевидно, было наплевать на меня.

Собственно говоря, я не понимал ни того, ни другого. У меня еще голова кружилась после последних московских недель, когда ежедневно являлись прощаться друзья, группа за группой, вперемешку со стукачами. Эмиграция отчасти похожа на собственные похороны, правда, после похорон вегетативная нервная система все-таки успокаивается.

Что он несет про Америку, этот знаменитый немец? Ведь я же там был каких-нибудь пять лет назад. Вот там мы тогда дали шороху! Даже книжку написал — "Круглые сутки нон-стоп"! Какое сравнение с СССР, если там за сутки включаешься лишь пару раз по получасу, да и то все вокруг заполнено неподвижным грохотом и воем?

— Ну, и немец! Вот когда смотришь на такого, приходит в голову, что Европе все равно было бы несладко, победи на выборах не Гитлер, а Тельман.

— А итальянец? Тоже хорош. Ты заметил, что у него вся шея оплетена золотыми цепочками? Запястья тоже. Эс-

тетика Габриеля Д'Аннунцио. Загадочность этого неороманского декаданса. Что он говорил о Шпенглере?

— Черт его знает. Не очень-то хорошо помню, кто такой этот Шпенглер.

Так, равнодушно обсуждая наших недавних компаньонов, мы с женой как бы избавлялись от них и от их — к нам — равнодушия. Конечно, мы были неправы. Никаким там фашизмом или коммунизмом и не пахло. Оба писателя были почтенными грешниками, философскими неряхами, "дарлингами" Европы и бесконечными страдальцами мужского климакса; словом, талантами. На Америку им было, конечно же, наплевать, как и на наш туда предположительный отъезд.

Пересекали океан самолетом компании TWA. Все почему-то казалось недоброкачественным. Ленч — синтетический, фильм — бредовина, стюардессы — усталые и неприветливые (клячи), сродни советским.

Что происходит? Пять лет назад я пролетал той же самой трансмировой компанией над тем же самым океаном, и все было наоборот: жратва ароматная, стюардессы секси, фильм шедевральный...

Вспомнился рассказ Бредбери об экскурсии в доисторическое прошлое. Туристов предупреждают не ступать ни шагу с искусственной тропы, иначе возникнет опасность нарушения среды прошлого, а это может привести к непредвиденным последствиям в будущем, то есть в том времени, откуда они приехали и куда намерены после экскурсии возвратиться.

Герой рассказа, однако, зазевался и наступил на бабочку, сидевшую на обочине. Ну, думает, ничего страшного, — что изменится из-за какой-то бабочки, жившей миллион лет назад? По возвращении в свое время, он нашел, что и в самом деле ничего не изменилось, за исключением того, что избирательная кампания, в которой он ждал победы разумных положительных сил, приобрела какой-то

необъяснимый иррациональный характер, а язык газет, ставший вдруг малограмотным и хамским, полон каких-то неясных угроз.

Я подумал, что с первого дня прибытия на Запад и потом, во время трехмесячных скитаний по Европе, и сейчас, в американском самолете, меня не оставляло вот это ощущение "раздавленной бабочки". Раньше все было лучше, казалось мне, просторней, красивей; больше здравого смысла; меньше пахло потом и деодорантами.

Может быть, ухудшение это мне лишь кажется, может, всегда так было, может быть, просто мизантропические миазмы пресловутого mid-life crisis одолевают? А может быть, "раздавленной бабочкой" западной цивилизации оказалось эмбарго 1973 года, и вот сейчас все еще тянутся его последствия в виде каких-то мелких, вроде бы почти незаметных ухудшений, что, будучи собранными вместе, как раз и дают запашок сомнительных качеств, халтуры?

Есть идеальная фраза для описаний путешествий, я вычитал ее в русской книжке конца восемнадцатого века, которая называлась "Приключения модистки с Кузнецкого Моста и приказчика из Каретного Ряда" и не была обременена ничем посторонним, не исключая и имя автора. Звучит эта фраза так: "Марш теперь в Сокольники, и вот мы уже в Сокольниках!" Это ли не перл? Увы, современная проза, как свинья, равнодушна к россыпям подобных сокровищ.

Итак: марш теперь в Америку, и вот мы уже в Америке!

К сожалению, подобный лаконизм застревает в аэропорту Джона Фицджералда Кеннеди. Огромные очереди к паспортному контролю, несметные толпы вокруг багажных каруселей, мельтешение трех лучших из миров (с преобладанием третьего) в зале таможни.

На пограничных постах, дорогой господин Клаус Габриель фон Дидерхофен, все-таки чувствуется разница между СССР и США. Если первый гигант свирепо не выпускает людей из своих "священных пределов", второй лишь вяло

и чаще всего безуспешно отбивается от желающих проникнуть под звездно-полосатую сень; а хочешь уехать — катись!

НЕНАВИСТЬ К АМЕРИКЕ

Сейчас, после четырех уже лет жизни в этой стране, я все еще задаюсь вопросом, что вызывает у многих людей в Латинской Америке, в России и в Европе антиамериканские чувства такой интенсивности, что их иначе, как ненавистью, и не назовешь?

Эти чувства всегда носят какой-то особый, несколько истерический характер, как будто речь идет и не о стране, а о женщине, изменившей с другим, унизившей мужское достоинство.

Отставим в сторону (до поры) антиамериканскую пропаганду, входящую в стратегический план противоборствующей стороны, то есть Советского Союза и его идейного штаба Агитпропа.

К эмоциональной сфере эта так называемая война идей относится в той же степени, что и бактериологическая с антраксом бомба. Будем говорить лишь о чувствах, комплексах и подсознательной неприязни.

Один советский поэт однажды спросил у Эрнесто Че Гевары, почему тот столь пылко и искренне ненавидит Америку. Че разразился тирадой по поводу "империализма янки", закабаления экономически слабых стран жадными монополиями, экспансионизма, подавления народно-освободительных движений и так далее. Поэт, надо отдать ему должное, не удовлетворился этим уроком политграмоты и поинтересовался, нет ли чего-нибудь личного в этих чувствах. Революционер осекся, замолчал, покручивая в руках бокал своего неизменного "дайкири" и глядя в сторону Флориды (вообразим, что разговор происходил на борту яхты "Гранма"), потом начал рассказывать любопытную историю.

Не знаю, вошла ли эта история в различные биографии

Че, которыми пестрят витрины книжных лавок, пересказываю ее со слов поэта.

Подростком в своей Аргентине Эрнесто культивировал Соединенные Штаты как страну своей мечты, напропалую смотрел голливудские вестерны и напевал джазовые "хиты". Страсть к путешествиям мальчик удовлетворял бесконечными поездками на велосипеде вокруг Буэнос-Айреса.

Однажды на загородном аэродроме он увидел, как в транспортный самолет грузят скаковых лошадей для отправки в Америку. Революционные задатки юнца сработали немедленно, он решил пробраться в самолет и таким образом бесплатно оказаться в стране мужественных ковбоев и дерзких блондинок. Сказано — сделано, и вот он в самолете, и вот он в Америке.

Лошадок разгружали где-то в Джорджии. Стояла стоградусная жара. Обслуга обнаружила аргентинского искателя приключений, отпустила ему, разозлившись, хорошую порцию тумаков и заперла в пустом самолете.

Три дня провел парень без еды и питья в раскаленной железной коробке. Потом его отправили восвояси.

"Этого самолета, — тихо сказал Че нашему поэту, — я *им* никогда не забуду". Потом снова воспламенился: "Ненавижу всех "гринго"[1], их развязные голоса, их наглую походку, самоуверенные взгляды, похабные улыбки..."

Не исключено, что у многих латиноамериканских революционеров-антиамериканистов, скажем, у сандинистов в Никарагуа, был в прошлом вот такой "самолет", пусть и не столь раскаленный, как у Че Гевары, были еще более случайные и скоротечные, но все-таки удары по самолюбию, шлепки унижений, которые можно было отнести к блондинистому гиганту на Севере. Провинциальные комплексы неполноценности сыграли огромную роль в распространении марксистских идей.

Смешно сказать, но во многих случаях, если не в большинстве, речь идет о чистейшем недоразумении. После четырех лет жизни здесь можно твердо сказать, что амери-

---

[1] Презрительная кличка американцев в странах Латинской Америки.

канцы не любят унижать людей. Их "развязные голоса" — это просто манера их речи, "наглые походки" — просто-напросто выработанная в поколениях фигура передвижения тела в пространстве, "самоуверенных взглядов" и "похабных улыбок" — в массе не встречается, а если они и встречаются, то по большей части происходят от простодушного следования какому-нибудь кино- или телеимиджу.

Ко всему прочему, сейчас этот образ американского супермена все дальше уходит в прошлое, оттесняется на окраины. Интересно и печально было в этой связи наблюдать американских морских пехотинцев, окопавшихся на окраине Бейрута. Советская пропаганда вопила на весь мир, изображая этих ребят как захватчиков, насильников, а они были скорее похожи на простых молоденьких работяг. Вот вокруг них, на улицах разрушенного города и на холмах Ливана, шуровали как раз самые что ни на есть "американцы" в ковбойских шляпах, в джинсах и жилетках — арабские головорезы и террористы демонстрировали "развязные голоса", "наглые походки", "похабные улыбки".

Ненависть к американцу — это по сути дела ненависть к устаревшему стереотипу, фантому целлулоидной пленки.

Интересно было бы проследить корни антиамериканских чувств, возникающих в идеологизированных обществах. Геббельс с искренним изумлением докладывал Гитлеру о допросах первых американских военнопленных, взятых в Сахаре. В них нет никакой идеологии, мой фюрер, то есть по сути дела они лишены каких бы то ни было человеческих качеств.

Я думаю, что и нынешних западногерманских левых бесит отсутствие у американцев идеологического начала. Когда какой-то лидер "Зеленой партии", собрав пробирку собственной крови, выплеснул ее на мундир американскому генералу, со страниц газет дохнуло ранним гитлеризмом, какими-то заклятиями Нюрнберга.

Берусь утверждать, что у русских, несмотря на десятилетия пропаганды, до сих пор еще не выработался антиамериканский комплекс. Недоверие к Америке как к явлению цивилизации существует (или существовало?) у русской послереволюционной интеллигенции, в принципе, как у

части общеевропейской "левой". Уместно, может быть, вспомнить упомянутую синьором Бугаретти теорию Шпенглера: Америка и в самом деле опровергает тезис о закате Запада.

Первым русским революционным писателем, посетившим США, был Максим Горький. Страна вызвала у "буревестника революции" неслыханное раздражение. Нью-Йорк он назвал "городом желтого дьявола", а джаз определил — со столь свойственным ему отсутствием эстетического чутья — как "музыку толстых".

Великолепнейший прозаик двадцатых годов Борис Пильняк написал после своего путешествия в Штаты "американский роман" под названием "О'кей". Увы, этой книге больше бы подошло другое слово из четырех букв — "shit"[1]. Антиамериканизму Пильняка позавидовал бы любой служака из Агитпропа. На каждом перекрестке, бия себя в грудь, этот истинный мастер прозы с неожиданной пошлостью заявлял: я советский человек! Все в Америке отталкивало его. В панике он убежал от голых ножек мюзик-холла. "Не может советский писатель выступать перед голопупыми девками!" — ошеломляющее ханжество для писателя, бесстрашно внесшего в пуританскую русскую литературу натурализм и секс!

Конечно, можно предположить, что Пильняк пытался этой книгой замолить свои прежние грехи перед Сталиным, но все-таки чувствуется и доля искренности в этих эмоциях.

Маяковского в его американском путешествии раздирали восхищение и неприязнь. Футуристическая, художественная часть его натуры ликовала при виде небоскребов и гигантских стальных мостов. Бродвейская "лампиония" бодрила творческие железы. Левореволюционное троцкистское сознание между тем подыскивало негативные аргументы:

Я в восторге от Нью-Йорка-города,
Но кепчонку не стяну с виска:
У советских собственная гордость,
На буржуев смотрим свысока.

---

[1] Дерьмо.

В профетическом откровении поэт предположил, что Соединенные Штаты, возможно, станут последней в мире "крепостью капитализма" перед лицом "атакующего класса".

Примерно те же чувства выразили знаменитые советские сатирики Ильф и Петров в книге 1936 года "Одноэтажная Америка".

Я думаю, все дело тут заключалось в том, что эти русские (читай, левоевропейские) художественные путешественники были ошеломлены полным равнодушием Америки к величайшему потрясению их жизни, Октябрьской революции.

Одни из них могли принимать ее полностью, как Маяковский, другие, как Пильняк, могли испытывать к ней противоречивые чувства, среди которых преобладало отвращение, но и для тех и других она, Революция, была сродни новому потопу. Великий очистительный процесс, мучительное рождение нового общества.

В истории, казалось, все прояснилось после Революции. Теории заката Европы и гибели западной цивилизации пришли в действие. Пусть реакционные правительства Англии и Франции еще упорствуют, все равно и они чувствуют, что приходит новый век, что солнце на востоке уже встало. Пусть многие из нас в душе еще скорбят по старому миру с его элегантностью, вежливостью и изобилием, все равно мы присоединяем свой шаг к громовой поступи атакующего класса, наш голос — к симфонии Будущего... И так далее.

И вдруг выясняется, что за океаном существует огромное общество, которое даже не очень-то отчетливо понимает, о чем идет речь, когда витийствуют пророки нового потопа, а на грандиозное космическое событие революции взирают как на местную российскую заварушку. Общество это, Соединенные Штаты Северной Америки, возмутительно не принимает в расчет ни Маркса, ни Шпенглера, ни Ленина. Оно вовсе и не собирается закатываться, разлагаться, впадать в декаданс. У него просто времени на это нет. С бешеной энергией оно делает деньги, деньги, деньги, и в результате этого недостойного, безобразного дела вы-

растают невиданные в старом мире небоскребы, страна опоясывается невероятной сетью шоссе, рабочие, вместо того чтобы делать революцию, покупают автомобили.

Пильняк, Маяковский, Ильф и Петров подсознательно, очевидно, почувствовали, что в Америке речь идет об альтернативе насильственной революции. Отсюда и возникало вполне искреннее раздражение. Великое дело, к которому они были причастны, оказывалось под вопросом.

Сейчас, в сумерках коммунистического мира, это ощущение еще более обостряется. Думаю, что многим крупным деятелям Советского Союза нынче стало ясно, что они представляют отнюдь не "новый мир", но мир отсталый. Революция с позиций сегодняшнего дня кажется древним актом насилия и бессмыслицы, по сути дела продуктом первично-буржуазного европейского декаданса. Американский же капитализм с его идеей благотворного неравенства на гребне технологической революции вкатывается в какой-то поистине новый, еще неведомый, не вполне достоверный, но *новый* либеральный век.

ЛЮБОВЬ К АМЕРИКЕ

В 1952 году девятнадцатилетним провинциальным студентом случилось мне попасть в московское "высшее общество". Это была вечеринка в доме крупнейшего дипломата, и общество состояло в основном из дипломатических отпрысков и их "чувих". Не веря своим глазам, я смотрел на американскую радиолу, в которой двенадцать пластинок проигрывались без перерыва. А что это были за пластинки! Мы в Казани часами охотились на наших громоздких приемниках за обрывками этой музыки, а тут она присутствовала в своем полном блеске да еще сопровождалась портретами музыкантов на конвертах: Бинг Кросби, Нат Кинг Кол, Луи Армстронг, Пегги Ли, Вуди Герман...

Девушка, с которой я танцевал, задала мне страшный вопрос:

— Вы любите Соединенные Штаты Америки?

Я промычал что-то нечленораздельное. Как мог я открыто признаться в этой любви, если из любого номера газеты на нас смотрели страшные оскаленные зубы империалиста дяди Сэма, свисали его вымазанные в крови свободолюбивых народов мира длинные пальцы, алчущие все новых жертв. Недавний союзник по второй мировой войне стал злейшим врагом.

— Я люблю Соединенные Штаты Америки! — девушка, которую я весьма осторожно поворачивал в танце, с вызовом подняла кукольное личико. — Ненавижу Советский Союз и обожаю Америку!

Потрясенный таким бесстрашием, я не мог и слова вымолвить. Она презрительно меня покинула. Провинциальный стиляжка "не тянет"!

Сидя в углу, я смотрел, как передвигаются по затемненной комнате загадочные молодые красавцы. Разделенные на пробор блестящие волосы, белозубые сдержанные улыбки, сигареты "Кэмел" и "Пэл-Мэл", словечки "дарлинг", "беби", "летс дринк". Парни были в пиджаках с огромными плечами, в узких черных брюках и башмаках на толстой подошве.

Наша компания в Казани тоже изо всех сил тянулась к этой моде. Девушки вязали нам свитера с оленями и вышивали галстуки с ковбоями и кактусами, но все это было подделкой, "самостроком", а здесь все было настоящее, американское.

— Вот это класс! — сказал я своему товарищу, который привел меня на вечеринку. — Вот это стиляги!

— Мы не стиляги, — высокомерно поправил меня товарищ. Он явно играл здесь второстепенную роль, хотя и старался вовсю "соответствовать". — Мы — штатники!

Это был, как выяснилось, один из кружков московских американофилов. Любовь их к Штатам простиралась настолько далеко, что они попросту отвергали все неамериканское, будь то даже французское. Позором считалось, например, появиться в рубашке с пуговицами, пришитыми не по-американски, не на четыре дырочки, а на три или две. "Эге, старичок, — сказали бы друзья-

штатники, — что-то не клево у тебя получается, не по-штатски".

(Замечу в скобках, что в Америке встречались мне эмигранты из тех молодых "штатников". Сейчас они отвергают все американское, ездят в "фольксвагенах", а одежду покупают у итальянцев.)

Та вечеринка завершилась феерическим буги-вуги с подбросами. Я, конечно, в этом не принимал участия, а только лишь восторженно смотрел, как взлетают к потолку юбки моей недавней партнерши. Под юбками тоже все было настоящее! Впоследствии я узнал, что девчонка была дочерью большого кагэбэшника.

В разгар "холодной войны" Соединенные Штаты и не подозревали, сколько у них поклонников среди правящей советской элиты. Мы недавно фантазировали с одним западногерманским кинорежиссером на тему его будущего сатирического фильма. В большом европейском отеле несколько месяцев подряд идут советско-американские переговоры по разоружению. Главы делегаций сидят напротив друг друга. Это мужчины лет пятидесяти. "Они полностью не понимают друг друга, — говорил режиссер, — люди разных миров, совершенно разный "бэкграунд". — "Не совсем так, — возражал я, — возможно, в молодости оба танцевали под рок-н-роллы Элвиса Пресли".

В "низах" проамериканские чувства базировались на более существенных материях. В памяти народа слово "Америка" связано было с чудом появления вкусной и питательной пищи во время военного голода. Мешки с желтым яичным порошком, банки сгущенки и консервированной ветчины спасли от смерти сотни тысяч советских детей.

Коммуникации поддерживались американскими "студебеккерами", "дугласами", "доджами". Без них Советской Армии пришлось бы наступать не два года, а десять лет. Америка посреди тотальной смерти связывала с жизнью, да еще с такой жизнью, о какой советские люди и не мечтали. Присутствие вблизи "американского союзника" будило в

массах какую-то смутную надежду на перемены "после войны".

До войны в народе по сути дела не было никакого ощущения Америки. Бытовали какие-то дикие куплетики, относящиеся не столько к Америке, сколько к странностям и сюрреализму народного юмора.

Америка России подарила пароход.
Огромные колеса и ужасно тихий ход.

Или еще пуще:

Один американец
Засунул в жопу палец
И думает, что он
Заводит патефон.

Любопытно отметить, что при почти полном отсутствии "ощущения Америки" оба эти "шедевра" имеют какое-то отношение к технике. Америка всегда соединялась с чем-то вращающимся, с какой-то пружиной.

Во время войны возникло стойкое ощущение Америки как страны сказочного богатства и щедрости. Встречи в Европе на волне победной эйфории породили идею о том, что мы, то есть русские и американцы, "очень похожи". Если бы вы попробовали уточнить, в чем же мы так похожи, в большинстве случаев ответ бы звучал так: "Они, как мы, *простые* и любят выпить". — "И побезобразничать, что ли, любят?" — попробуете вы еще больше уточнить. "Ну, не то что побезобразничать, но пошуметь не дураки", — будет ответ.

Десятилетия послевоенной антиамериканской пропаганды не поколебали этой уверенности в "похожести". Русские, как ни странно, до сих пор относятся к американцам как к своим. Вот к китайцам они относятся, как к инопланетянам. Происходит нечто парадоксальное. Идеи коммунизма пришли в Китай через Россию, однако русские в глубине души уверены, что уж если кто и приспособлен к коммунизму, так это китайцы, а не они.

В 1969 году, во время боев на советско-китайской гра-

нице, мне случилось быть поблизости, в Алма-Ате. Однажды в ресторане гостиницы я оказался за одним столом с офицером-ракетчиком. Он был вдребезги пьян и плакал как ребенок. "Война начинается, — бормотал он, — а я только что мотоцикл купил. Отличный такой мотоцикл "Ява". Пять лет деньги копил на мотоцикл, а теперь китайцы придут и отберут такую машину..." — "Боишься китайцев?" — спросил я. "Да не боюсь я их, — слюнявился он, — мотоцикла только жалко". Я тут не удержался от "провокационного вопроса": "А американцев ты не боишься, старший лейтенант?" Офицер как-то на мгновение протрезвел и произнес довольно твердым голосом: "Американцы уважают личную собственность".

Официальная цель советского общества — достижение так называемого коммунизма. При отсутствии религиозной идеи эта цель приобретает чисто прагматический и довольно идиотский характер самообслуживания — "удовлетворение постоянно растущих запросов трудящихся". Интересно, что советская производительная статистика на протяжении всего своего существования подтягивается к американской. В 1960 году Хрущев выдвинул две параллельные идеи: к 1980 году перегнать Америку и к этому же сроку построить коммунистическое общество, то есть, в понимании широких масс, общество полного изобилия. Обе цели, разумеется, провалились (обогнали, кажется, только по количеству танков), так что и сейчас торговые ряды супермаркета "Сэйфвэй" далеко превосходят самое-рассамое коммунистическое воображение измученного очередями и нехватками советского гражданина.

Среди всех этих смутных послевоенных проамериканских эмоций и массированной антиамериканской пропаганды возникла и возросла группа советских людей, подсознательно, эстетически, эмоционально и даже отчасти идейно устремленных к Америке. Я имею в виду советскую интеллигенцию моего поколения.

Трудно объяснить все-таки выход этого поколения, так тщательно подготовленного к советской жизни (одни лишь

аресты отцов в 1937 году чего стоят!), за пределы советского круга. В сущности, мы должны были стать еще более идеальными "новыми людьми", чем даже наши старшие братья, советские интеллигенты, уходившие *добровольцами* на Финскую войну, ибо и эту злодейскую вылазку они полагали продолжением великой революционно-освободительной борьбы. Все исходящее из Кремля казалось им благородным и светлым. Интеллектуалы из знаменитого Института философии и литературы оправдывали и "чистки" тридцатых годов, и "антикосмополитическую" кампанию сороковых. Разоблачение Сталина стало для них катастрофическим событием (несмотря на то, что многие с их коммунистическим энтузиазмом оказались в лагерях), а начавшаяся "оттепель" — мучительным процессом переоценки ценностей.

Для нас же это было просто начало карнавала. К черту Сталина! Давайте играть джаз! Как ни странно, мы были подготовлены к этому "about face"[1] повороту еще в сталинские времена. В разгар "холодной войны", живя за нерушимым "железным занавесом", мы как-то умудрились развить прозападное направление ума, и в этом направлении, конечно, преобладал американизм.

После войны в Германии в руки советских властей попало немалое число так называемых трофейных фильмов. В большинстве своем это был сентиментальный хлам или нацистские антибританские поделки, но было также несколько фильмов из американской классики тридцатых годов. Странным образом власти в поисках источника дохода пошли на идеологический компромисс и пустили эти фильмы в прокат. Странность усугубляется еще и тем, что советская кинопромышленность в те времена сократила свое производство до трех-четырех лент в год как раз под давлением немыслимого идеологического груза.

Прокат "трофейных" фильмов был незаконным в правовом отношении, поэтому они шли под другими названиями. "The Stage-coach", например, назывался "Путешествие будет опасным", "Mr.Deeds goes to Washington" — "Под

---

[1] "Кругом!" *(команда)*

властью доллара", "The roaring Twenties" — "Судьба солдата в Америке"... К этим слегка идеологизированным названиям добавлялась страничка-другая достаточно идиотских вступлений вроде того, что "Путешествие будет опасным" рассказывает о героической борьбе индейцев против империализма янки, обрезались все титры, так что мы не знали имени ни Джона Уэйна, ни Джеймса Кегни, и в таком виде фильмы выпускались на экран.

Я смотрел "Путешествие будет опасным" не менее десяти раз, "Судьбу солдата в Америке" не менее пятнадцати раз. Было время, когда мы со сверстниками объяснялись в основном цитатами из таких фильмов. Так или иначе, для нас это было окно во внешний мир из сталинской вонючей берлоги.

Кто-то первым записал песенку "Грустный беби" на рентгеновскую пленку, и с тех пор среди теней ребер и альвеол уже поселилось откровение о том, что: "Every cloud must have a silver lining..."[1]

Один из моих сверстников, будучи уже высокопоставленным офицером советских ВВС, как-то сказал мне: "Большую ошибку допустил товарищ Сталин, разрешив нашему поколению смотреть те "трофейные" фильмы".

Джаз в те времена был и в самом деле американским "секретным оружием". Радиостанция "Голос Америки" в Танжере каждую ночь передавала двухчасовую джазовую программу. Мечтательные русские мальчики пятидесятых годов росли под звуки эллингтоновского "Take train A" и под бархатные перекаты голоса джазового комментатора Уилиса Кановера. Музыку записывали на допотопных магнитофонах, а потом играли сами на полуподпольных джазовых вечерах, нередко сопровождавшихся драками с комсомольской дружиной и вмешательством милиции.

Клочки музыки, обрывки информации создавали золотое свечение ауры, поднимавшейся над горизонтом на закате, над недоступным и таким желанным Западом и над

---

[1] "Есть у тучки светлая изнанка..." *(строка из песни)*.

самым западным западом, над Америкой. Одежда из Америки фетишизировалась. По Невскому проспекту в Ленинграде ходила толпа стиляг. Дергая конечностями (так, им казалось, должны были вести себя американцы на Бродвее; кстати, и Невский проспект они называли "Бродом"), они пели: "Я девушку встретил прекрасней зари, зовут ее Пегги Ли!" В самом первом фельетоне о стилягах говорилось о парнях, разгуливающих по Невскому в галстуках со звездами и полосами. Стиляги, можно сказать, были первыми советскими диссидентами.

Ленинград в этом западничестве в те времена был впереди. Система его каналов выводила на большую воду. Распространился тип ленинградского "всезнайки", у которого вы могли получить информацию по любому "американскому" вопросу, начиная от всех ранних советских и позднее запрещенных публикаций Дос Пассоса и Хемингуэя и кончая последним концертом Диззи Гиллеспи, который состоялся в Гринвич-вилледж, в клубе "Половинная нота" в прошлую субботу... нет, вру, старичок, это было в пятницу, а в субботу-то там играл Чарли "Берд" Паркер, там был тогда сильный дождь... вообрази себе дождь в Гринвич-вилледж, старичок... уссаться ведь можно, правда?

Так возникал в воображении нашего поколения странный, немыслимо идеализированный, искалеченный, но и удивительно истинный, если говорить о каком-то нервном, астральном ее контуре, образ Америки.

Анализом этого явления тогда мало кто занимался, да и сейчас, кажется, не очень-то занимаются. Не претендуя на анализ, а только лишь глядя с расстояния в тридцать лет, могу сказать, что культ Америки возник в нашем поколении благодаря его стихийной, поначалу совсем неосознанной антиреволюционности.

Так называемая романтика революции к возрасту юности нашего поколения почти уже испарилась. Звучит неправдоподобно, но уже начала возникать "романтика контрреволюции", глаза молодежи стали задерживаться на образе офицера-добровольца.

В отличие от Горького, Пильняка, Маяковского мы под-

сознательно отказывались видеть в революции некий очищающий вселенский потоп, потому что вместо очищения он приносил столь же кровавый, сколь и тоскливый быт сталинщины.

Америка возникала в тумане как новая альтернатива древнему и тошнотворному делу социальной революции, то есть восстанию рабов против господ.

Прошедшие тридцать лет развеяли многие мои иллюзии, но вот в этом я не поколеблен. Напротив, сейчас я гораздо яснее вижу, что в противовес тоталитарному декадансу в мире может возникнуть (или уже возникает) свежий мир либерализма и благородного неравенства. Слава Богу, во главе этого движения стоит могучая Америка.

ШТРИХИ К БУДУЩЕМУ РОМАНУ

Никто естественнее и легче Пушкина не сказал о приближении к роману: "...И даль свободного романа Я сквозь магический кристалл Еще не ясно различал".

Даль моего "американского романа", как бы сплющенная и растянутая широкоугольной оптикой, "различается" от странной точки (на нее же и проектируется), от урбанистического уголка Америки, где выпадающая таинственным образом из числа пронумерованных улиц Бетховен-стрит проходит под бетонными кружевами развязки фривэя и обрывается в виде автомобильного паркинга, асфальтовой лужи над слепящим пространством то ли Тихого, то ли Атлантического океана, где пара пальм... (или три?)... где три-четыре пальмы колышат свои потрескивающие под ветром ветви... хотя может оказаться, что пальмам здесь вовсе нечего делать... так или иначе герой моего романа стоит на краю паркинга и... Кто таков?

Герой Моего Романа, ГМР, Hero of my Novel, HMN, Her Majesty Navy...

Предусматривается бренчание какой-нибудь старой американской музыки, и в связи с этим неожиданно выплывает название будущего романа — "Грустный беби".

Must every cloud have a silver lining?

Вдруг эта мелодия стремительно выносит нас в наше собственное прошлое, в "казанское сиротство", в волжский город под властью Сталина...

1952

Девушек с факультета иностранных языков называли "будущие шпионки". Иначе зачем учить иностранные языки, как только не шпионить?

В кассовом зальчике паршивого клуба Мехкомбината, где вечно пахло мочой (хулиганы мочились там прямо в углу), кучка девушек в очереди на "трофейный" фильм "Судьба солдата в Америке". Шпионки из малого состава местных "хороших семей". Одна, черноглазая веселая (через тридцать лет встреча в магазине "Блэк Си" на Брайтон-Бич), говорит:

— А знаешь, как этот фильм на самом деле называется? "Ревущие двадцатые".

Какой блеск, подумал ГМР. Похоже на "Ревущие сороковые широты". Хотите снимать кино, научитесь подыскивать названия.

Приходи ко мне, мой грустный беби! О любви, фантазии и хлебе... (пардон, это уже несколько позднее — 1955-й, и не из той оперы). Будем говорить мы спозаранку — Есть у тучи светлая изнанка...

Есть ли у тучи светлая изнанка?

1980

Кондоминиум "Пацифистские палисады", где ГМР снимает так называемую студию за триста "баков" в месяц.

Сосед, опытный американец Гагик Саркисян, однажды заметил, что ГМР пересчитывает двадцатки: первая зарплата в "Колониал Паркинг".

— На вашем месте, — сказал он задумчиво, — я бы отдал эти деньги мне, то есть вложил бы их в надежный

бизнес засахаренных фруктов. Что бы ни говорили врачи, люди любят сладенькое...

ГМР почесал в затылке.

— Под этим же девизом я потрачу их на "гавайский уик-энд".

Гагик вздохнул.

— Тоже правильно. Feel rich[1]. В этой стране это очень важно.

1955–1980

Кронштадт — Оаху, Гонолулу.

Далекой молодости блики
Перед грозою на Вайкики...
Когда-то дерзок был и юн,
Носился в молодежном раже.
За дерзость сослан был в гальюн.
Гальюн Морского Экипажа!
Бунтарской жаждою томим
На сто "очков" ангар за кухней.
Входи смелей, гардемарин,
Располагайся, словно Кюхля!
В тот год Кронштадтский гарнизон,
Границу запечатав глухо,
Был всеми яйцами влюблен
В красотку Машку-фармазон,
С бензоколонки злую шлюху.

1956

Опорный пункт комсомольской дружины Васильевского острова. Мы тебе, падло, покажем американские танцы с польским ревизионизмом! Сейчас увидишь Дальний Запад, пятый угол! Мы тебя, плохой краснофлотец, научим родину любить!

---

[1] Чувствовать себя богатым.

ГЛАВА ВТОРАЯ

— Нью-Йорк похож на чувака, который заботится о своей прическе, но не пользуется туалетной бумагой. Увы, мы живем у него не на макушке, а в заднице, — так говорил нам русский музыкант, с которым мы нередко прогуливались в первую неделю нашей американской жизни.

— Некоторое художественное преувеличение, Вова?

— Боюсь, что художественное преуменьшение. Обведи глазами этот потрясающий высотный силуэт, а потом спикируй взглядом на мостовую. Выбоины, ямы, лужи... Для полного сходства с Миргородом не хватает только пары свиней. Впрочем, вглядись в толпу, ну, вот этот, например, джентльмен... чем тебе не свинья?

Одно из самых сильных впечатлений первой недели. На Седьмой авеню, которую называют улицей моды и где выходящая из лимузина шестифутовая красавица манекенщица столь же обычное явление, сколь в Москве неизменная бабушка с сумкой-авоськой, возле потрескавшейся вазы с чахлым цветком остановился некто серокожий, расстегнул ширинку, вывалил свое хозяйство, отлил, заправился и дальше заколебался.

— М-да, Вова...

— А не напоминает ли тебе, Вася, поездка в такси по Медисон-авеню путешествие по бездорожью Рязанской области в поисках затоваренной бочкотары? Впрочем, такого тлетворного запашка там, наверное, не чувствовалось, а? А вот эти клубы пара неизвестного происхождения, валящие из трещин асфальта по соседству с бриллиантами "Тиффани"? Здесь говорят, что это нью-йоркские черти сигнализируют: "Мы здесь, мы здесь!" А грязь в углах на Пятой авеню? Ее уже брандспойтом не отмоешь, нужно скрести, но никто не скребет...

— Что же ты тут живешь, Вова? Ведь ты же после

эмиграции и в Париже, и в Иерусалиме, и в Лондоне, и в Берлине, и в Риме, где только не побывал.

— Только в Нью-Йорке можно жить, — убежденно сказал критик антисанитарии. — Это как раз то самое место, куда я эмигрировал. Поездив по миру, я убедился, что жить можно только в Нью-Йорке... — После секундного молчания он добавил: — ...или в Москве... — после еще одной паузы: — ...но туда уже хода нет...

Вова снимет огромный "лофт" в доме с перекосившимся фасадом на одной из улиц Сохо. Он облюбовал эту улицу, прокопченную каким-то вековым пожаром, и дом, чудище коммерческой архитектуры конца девятнадцатого века, еще до того, как началась бурная мода на Сохо, и потому платит за свой "лофт" немного. Там у него стоит рояль рядом с газовой плитой, и в двух минутах ходьбы от рояля разбито лежбище из надувных матрасов, над коим по стене с подтеками выведена надпись: "Укрощение строптивых".

В Нью-Йорке осело немало советского артистического люда из новой эмиграции — и мастера, и подмастерья, и голоштанная богема. Образ жизни этих людей мало изменился в сравнении с Москвой или Питером, разве что не нужно с утра рыскать по городу в поисках пива. В прежнем стиле бытуют ночные кочевья из квартиры в квартиру, из мастерской в мастерскую, из подвала на чердак, который, правда, нынче именуется "пентхаус".

"Мы здесь иной раз и забываем, что переехали из Москвы, — признались нам как-то раз два молодых русских журналиста. — Знаете, то к Вовке едешь, то к Гришке, то к Аркадию, и девушки вокруг почти те же самые. Иной раз, правда, американцы оказываются в компании, но и в Москве ведь были американцы..."

В Бруклине на Брайтон-Бич образовалась большая русская колония "Малая Одесса", но артистический люд Москвы и Ленинграда предпочитает Манхэттен. Есть несколько очажков, вокруг которых происходит концентрация, — редакции двух газет, галерея Эдуарда Нахамкина, культурный центр в Сохо, кафе "Руслан" на Медисон, ресторан "Кавказский" на Третьей авеню... С последним произошла

забавная этническая накладка. Вывесили вывеску "Caucasian"[1] и долго не могли понять, чего от них хотят возмущенные негры и китайцы.

Этническая пестрота Нью-Йорка в 1980 году меня поразила. То ли она усугубилась за пять лет, то ли в 1975-м в качестве советского визитера я ее просто не заметил. Может быть, это легче замечается, когда сам становишься этническим меньшинством.

Лицо Америки в Нью-Йорке — отсутствие общего лица. Крах при любой попытке обобщения. Десятки престраннейших акцентов, самый недоступный — филиппинский. Бесчисленное число сногсшибательных имен совершенно непонятного происхождения вроде Джима Гангуззы и Ричарда Зиззы...

Милейший мадагаскарец скромно рекомендуется: "Меня зовут Намелетронкуонтрантариса, но это, конечно, невозможно, поэтому называйте меня попросту мистер Дезире".

Пожалуй, самая обычная нью-йоркская фамилия — Плоткин. Имя Уитни вызывает уже просьбу сказать ее по буквам.

"Вот, по сути дела, где нужно жить в Америке литературному беженцу", — сказал я Майе. Она согласилась. "Наверное, ты прав. — Потом возразила: — Не хочу здесь жить". Мне и самому почему-то не хотелось основаться в Нью-Йорке.

Вроде бы хорошо не выглядеть белой вороной, болтаться среди своих, среди эмигрантского отребья, в городе, где половина жителей плохо говорит по-английски, как и ты сам... Не правда ли, здесь есть ощущение хоть и бивачного, но прочного быта, чувство опасности соседствует с уверенностью, что не пропадешь... Цепляемся друг за дружку по этническим, по возрастным, по профессиональным, по межполовым признакам...

---

[1] В английском языке существует понятие "кавказская раса", т.е. белые.

*

— Почему русские писатели облюбовали Нью-Йорк? — спросил меня интервьюер из "Ньюсвик" мистер Вудворд. Мы ехали в такси в Колумбийский университет, и интервьюер, один из немногих попавшихся мне в первые нью-йоркские недели "настоящих" американцев, продолжал свою работу, то есть вострил карандаш.

Я начал было обдумывать свои соображения, когда таксист вдруг высунулся в окно и заорал на чистейшем ВМПС, то есть на "Великом-Могучем-Правдивом-Свободном", как мы вслед за Тургеневым называем наш русский язык:

— Еб твою мать! Распиздяй сраный! Взял мой зеленый!

Мы с Майей от неожиданности расхохотались до брызг, сползли с сидений.

— Вот вам ответ на ваш вопрос, — сказал я интервьюеру.

— А что он кричал, что он кричал? — спрашивал журналист.

Пришлось мне переводить американцу язык нью-йоркских улиц.

В принципе, присутствие такого люда, как русские таксисты, художники, магазинщики, музыканты, рестораторы, все это многонациональное варево, немыслимый город, полный блеска и мрака, любовных историй, чудодейственной наглости, смертей, неожиданных встреч, политических авантюр, греха и преступления, всевозможной жратвы и выпивки, — разве это не рай для писателя? Город, где все американские издательства и журналы кучкуются, как сообщил "Нью-йоркер", в зоне действия даже не атомной, а простой тринитротолуоловой бомбы, — разве это не соблазн для писателя?

И все-таки мне чего-то важного не хватало в Нью-Йорке. Я не сразу понял, в чем ущерб, но тем не менее мы стали обдумывать план отъезда, углубления в континент.

Вообще-то на удивление мало русских писателей-беженцев осело в Нью-Йорке, вдруг сообразили мы. Взгляни, Майя, все рассеялись. В Большом Яблоке[1] не возникло русской литературной столицы. Многие предпочитают Европу, другие разобрались по университетским кампусам... Конечно, основная причина рассеяния — экономическая, поиски заработка, однако нью-йоркских возможностей наши писатели почему-то почти не используют.

Мы объясняли сами себе наш отъезд из Нью-Йорка поразному. "Знаешь, если останемся здесь, так и окажемся посреди Нью-Йорка в русской деревне. Засосет трясина. Даже английскому-то не научишься. К тому же: малоприятно жить в одном городе с "Х" и "У", двумя отвратными мегаломанами. К тому же: взгляни на эти цены — полторы тысячи за "двухбедренный апартмент"; дорого здесь ценится общество манхэттенских тараканов".

Итак, поедем! Сначала в Мичиган — там хотя бы есть озера и русское издательство "Ардис", — потом в Лос-Анджелес — там хотя бы океан и резиденция в Университете Южной Калифорнии.

Мы с Майей хоть все-таки что-то здесь знали, бывали раньше. Калифорния и Мичиган все же не были для нас пустыми красивыми звуками. Можно себе только представить замешательство тысяч людей, отправлявшихся из Нью-Йорка в разные концы США. Для них, впервые в жизни покинувших свои Мински и Двински, все эти американские названия звенели одинаковым высокопробным серебром: Кливленд — Огайо, Пеория — Иллинойс, Ричмонд — Виргиния. Потом многие взвыли в этих "пеориях" и "ричмондах".

Прошло порядочно времени, прежде чем я понял, что решение уехать из Нью-Йорка было вызвано у нас прежде всего эстетическими причинами, эстетическим ущербом (то ли Нью-Йорка, то ли нас самих), а может быть, еще и глубже — непричастностью или малопричастностью к американской ностальгии.

---

[1] Символ Нью-Йорка — яблоко.

Никогда не мог подумать, что вид пожарных лестниц на кирпичной стене может погрузить в столь глубокое уныние. Кажется, печальней печали не найдешь, когда видишь кварталы старых квартирных домов в Бруклине, в Манхэттене, в Квинсе, в Филадельфии или Чикаго. Узкие оконца с поднимающейся наверх рамой — лицо за таким окном не может не быть лицом неудачника. Трудно представить себе в этих домах счастливую любовную пару, вкусный обед, заманчивую книгу. Их строили, чтоб деньги гнать, качать монету в полном пренебрежении эстетическими железами человека, то есть едва ли не в глумлении над ним.

Надо сказать, и вся прочая американская урбанистическая старина, все эти "браунстоуны" и "таунхаусы" с высокими крыльцами и аляповатыми колоннами, массивные коммерческие билдинги конца прошлого века, первые небоскребы с шишечками и козьими ножками на карнизах, явно инспирировавшие стиль сталинских "архитектурных излишеств", мало что давала душе, кроме поводов для дальнейшего уныния.

Разобравшись в своих ощущениях, я пришел к выводу, что мне в Америке не хватает города, вернее, *моего* города, еще точнее — европейского города, исторически сложившегося и обязательно с прикосновением (хотя бы малым) "ар нуво".

Этого стиля или того, что перед первой мировой войной возник в Петербурге как "поздний русский модерн", в Америке вы почти не найдете. Тот эстетический период (столь важный для нас) здесь как бы и не существовал — в те времена Америка была (или так казалось мне) отдаленной периферией, эстетической пустыней, фабрикой жира и мыла, долларовым стойлом.

Мне нравилась современная американская архитектура, вся построенная на присутствии свободного тела в свободном пространстве; что-то еще шевелилось в душе перед домами эпохи "Великого Гэтсби", остальное, из более отдаленного, вызывало в лучшем случае молчание. С недоуме-

нием я смотрел, как в Вашингтоне при реконструкции Пенсильвания-авеню бережно сохраняют и реставрируют дом с двумя безобразными башенками, относящийся к 1910 году, когда даже в Казани или Нижнем Новгороде такого урода купцы уже не решились бы построить.

"Здесь нет городской ностальгии, — говорил я себе, — к городу относятся чисто утилитарно, поэтому так пусты после заката солнца "даунтауны" Чикаго, Лос-Анджелеса, Детройта, поэтому так запущены мостовые Нью-Йорка".

Позднее я понял, что ошибался, а ошибка шла от поверхностного знания, от почти полного непонимания *американской ноты*, от непонимания грусти этой страны, ее провинциализма, склонности ее городов к быстрому загниванию.

Недавно пришлось мне смотреть "The American Pop", отличный рисованный фильм (кажется, его сделал Бакши). Я вдруг заметил, как подчеркнуто выписано там все то, что мне казалось недостойным внимания, все эти явления антиэстетики — пожарные лестницы на фасадах, унылые проулки с мусорными баками, "порчи" с пузатыми колоннами, поднимающиеся вверх рамы узких окон. Вспомнился какой-то американский роман. Герой возвращается из Европы после войны, с борта парохода видит на пирсе красные ящики с кока-колой, и вид этих ящиков вызывает у него патриотический пароксизм.

Чтобы почувствовать эту американскую урбаническую ностальгию, надо сделать ее частью своей жизни. Даже российские американофилы оказались здесь в отчуждении от местной поп-культуры; выяснилось, что мы все-таки европейцы.

Еврею нужно было уехать из России, чтобы оказаться "русским" в Тель-Авиве или в Нью-Йорке. Русскому нужно было предпочесть Штаты Парижу или Риму, чтобы ощутить себя европейцем.

Вот почему мы выбираем Вашингтон после годовых скитаний. Здесь на Капитолийском холме, между Конгрессом и Библиотекой, когда сквозь деревья со всех сторон просвечивают колоннады, ты можешь вспомнить Санкт-Пе-

тербург, перед раскрашенными фасадами Джорджтауна поймать ощущение отчужденной, но присутствующей Британии, в открытых кафе Дюпон-серкла нельзя не уловить дух Парижа и, наконец, среди новых стеклянных поверхностей "даунтауна" поймать пульсацию современной космополитической эстетики.

Чужая ностальгия особенно властвует в Лос-Анджелесе. Город без силуэта. Бесконечные торговые бульвары вроде Пико, Линкольна или Вентуры — улицы без архитектуры. Низкие, удобные, уродливые строения тянутся миля за милей, подпирают бесчисленные рекламные щиты. Странно застраивался этот город — будто и не существовало для его планировщиков никакого мирового опыта. Какие могли бы возникнуть грандиозные уступы на склонах холмов, какие линии шикарных отелей могли бы выстроиться вдоль океанских береговых линий; между тем здесь все разрозненно, утилитарно, случайно. Впрочем, может быть, и это отражает иную в сравнении с нашей урбанистическую концепцию, иную ноту, которую мы еще не слышим?

Поймать, ощутить, уловить — жалкие попытки выброшенного из своего мира беженца построить вокруг себя новую жизнь, хоть чуточку напоминающую старую.

АМЕРИКАНСКИЕ РАЗОЧАРОВАНИЯ

Однажды отправились в Бронксвиль (штат Нью-Йорк) в колледж Сары Лоренс на концерт русской камерной музыки. Получасовой путь от вокзала Гранд Сентрал до Бронксвиля достоин нескольких строк.

Поезд довольно долго тащится по каким-то бесконечным туннелям, а потом выныривает в... руинах Сталинграда. Это Южный Бронкс — зияющие окна обгоревших в неизвестно каких боях домов, поросшие бурьяном пустын-

ные улицы, дикая кошка, пересекающая свалку, — содрогнешься, представив себе ее жизнь; мелькнет иной раз какая-нибудь жалкая лавчонка, косая вывеска: "cold beer", скособочившиеся у входа разноплеменные "калики перехожие"...

Вот иллюстрация для самой оголтелой антиамериканской пропаганды. Вообразим человека в Советском Союзе, никогда не верившего ни одному слову этой пропаганды. Чудесным образом он вдруг переносится в Южный Бронкс, где ему и говорят: перед тобой Америка! В ужасе он закрывает глаза руками: значит, *они* не врали, значит, все так и есть, как *они* говорят?

Успокойтесь, милостивый государь: все-таки *они* врали. Через полчаса поезд прибывает в Бронксвиль, в реальную Америку ухоженных маленьких городов, идеальных бензозаправок и супермаркетов, пространных торговых "плаз" и белых дощатых домиков. Процветание страны сразу становится очевидным, когда покидаешь большие города. В России, между прочим, как раз наоборот: ее ресурсов, свободных от милитаризма, еле-еле хватает, чтобы поддерживать кое-какой уровень приличия в больших городах; провинция и село — сплошная гниль.

Южный Бронкс демонстрирует самым лучшим образом пресловутый и малопонятный русскому эмигранту "кризис городов", кроме того, он совершенно парадоксальным образом показывает странный провал советской антиамериканской пропаганды.

Дело в том, что, с точки зрения беженца из Советского Союза, такое явление, как Южный Бронкс, просто не может существовать (во всяком случае как реальность, а не фантом советской пропаганды); в равной степени не могут существовать никакие другие негативные явления американской жизни.

Советская пропаганда за десятилетия своего существования настолько завралась, что начинает давать обратные результаты. Советские люди определенного сорта, а именно к этому "критически мыслящему" сорту относилось большинство эмигрантов, не верят ни одному ее слову — ни лжи, ни клочкам правды, необходимым для усугубления

лжи. Поэтому они не верят ничему плохому об Америке из того, что сообщают советские газеты и TV.

К примеру, если речь идет о безработице в США (а эта речь, собственно говоря, ни на минуту не смолкает), критический советский человек обычно реагирует таким образом: эх, хорошо бы нам жить так, как живут эти американские безработные! Отчасти, между прочим, это соответствует действительности, отчасти не соответствует, но этой второй части для КСЧ (критический советский человек) благодаря советской пропаганде просто не существует.

При упоминании трущоб в американских городах КСЧ скептически улыбается: хотел бы я посмотреть на эти трущобы! Дворцы, наверное, в сравнении с нашими "хрущобами"! Это уже совсем не соответствует действительности. Советские "жилплощади" в большинстве своем хоть и тесны, но вполне доброкачественны, оборудованы удобствами и в сравнение с Бронксом не идут.

Когда советская печать пишет о высокой преступности или наркомании в США, КСЧ просто отмахивается: это все *их* враки, это все они нагло преувеличивают, лишь бы обосрать Америку!

В Москве стало уже привычным издеваться над советским телевидением, которое если и показывает какие-либо новости из США, то только лишь пожары, взрывы, авиакатастрофы, в лучшем случае стихийное бедствие. Люди не знают, что и американское телевидение именно такого рода событиями озабочено больше всего и меньше всего или совсем не заботится о "положительной информации". Ну, посмотрите на них, улыбается КСЧ в адрес советского экрана, по ним, так в Америке вообще ничего нет, кроме несчастий.

Таким образом в результате антиамериканской пропаганды в воображении КСЧ складывается образ Америки как идеального общества всеобщего процветания и романтики, он и едет сюда как в страну "Звездной пыли" и "Голубой рапсодии".

Тысячи советских эмигрантов, оказавшись в Америке, испытали жестокие разочарования.

*

Как-то мы с приятелем остановились перед красным светофором в восточной части Вашингтона. Влажность воздуха в тот день приближалась к ста процентам. Мутное солнце висело над обвисшими, словно грязные юбки, деревьями, над унылым рядом частично заколоченных, частично полуразрушенных "таунхаусов". Тротуары и палисадники были забросаны хламом. Медлительно в мареве перемещались фигуры негритянских подростков в баскетбольных чулках. Прошла немыслимой толщины женщина. Жуткий бродяга сидел на обочине. Меж мусорных баков проскочила крыса. "Знаешь, — тихо сказал мой приятель, — я просто не мог себе представить, что в США может существовать такое".

Многие русские не могли понять сути вооруженного грабежа. Иные при виде направленного на них пистолета поднимали возмущенный шум и получали паническую пулю. Иные атаковали в ответ и обращали непривычных к такому обращению бандитов в изумленное бегство.

Прошло немало времени, прежде чем русские научились не удивляться тому, что динамичный, цветущий район города может соседствовать с кварталом маразма и гниения, что из массы улыбающихся вежливых людей вдруг может выйти ублюдок с ножом.

Многие эмигранты признавались, что они были совершенно ошеломлены феноменом американской скуки. Я уже упоминал о том, каким серебром звучали для русских (так, кажется, и для многих европейцев звучат) названия американских городов. Скука — это была последняя вещь среди их опасений, если это слово вообще приходило в голову. Как может быть скучно в городе с именем Индианаполис или в штате со свистящим, словно ветер приключений, названием Миннесота?

И далее — полыхающие в ночи рекламами острова сервиса: PIZZA HUT, BURGER KING, EXXON, K-MART, GRAND UNION, огромные паркинги, редкие фигуры, иду-

щие к машинам, движение светящихся фар, и вдруг выясняется, что все это — рутина, глухомань, одиночество.

Лос-Анджелес — Калифорния, Голливуд, Сансет-бульвар... воображение, даже не особенно развитое, бьет копытами, готовится в полет, как конь Пегас, и вдруг опадает мокрой тряпкой — вымершие после заката улицы, "эффект нейтронной бомбы", уныние, рутина...

Люди в роскошном и полном чудес городе Ангелов вывешивают на своих домах предупреждения: "armed response"[1]. Перед ними замкнутый круг: они избегают гулять по ночам, опасаясь нападений, потому что пустынные улицы — соблазн для преступников. Гуляйте же больше, черт возьми, и преступники стушуются. Сидите в открытых кафе, как на Елисейских полях народ сидит, оживляйте свой город! Открытых кафе в Лос-Анджелесе нет (а где им еще быть, как не в Калифорнии с ее климатом), люди сидят во мраке в закрытых ресторанах, будто заговорщики (откуда взялась эта престраннейшая традиция ресторанного мрака?), а гуляют только между кинотеатрами Вествуда, будто по тюремному двору.

Одним из самых основательных сюрпризов для меня оказался американский провинциализм. Издалека, из-за "железного-то занавеса", думалось, что Штаты с их открытыми границами, с двунадесятью языками, с их мировой политикой — самый что ни на есть перекресток универсального космополитизма. Казалось, например, что сводка погоды на TV непременно сообщает о температуре воды в Ницце, о глубине снежного покрова на Килиманджаро, а в новостях рассказывается о новых ботинках испанского короля, о придворных интригах при ЦК компартии Китая, о продвижении марксизма в глубь Новой Гвинеи и т.д. Увы, если эти важные международные события и сообщаются, то лишь в конце программы, второпях, мимоходом, а главным событием дня становится признание миссис Керти в том, что она была девятнадцать лет назад соблазнена директором местной школы. Директор, пожилой носатый болван,

---

[1] "Вооруженный ответ" — предупреждение о том, что грабителям будет оказано вооруженное сопротивление.

решительно отвергает это обвинение, хотя и заявляет, что сексуальная практика в школах — вопрос недалекого будущего.

АМЕРИКАНСКОЕ ОЧАРОВАНИЕ

Число этих последних, конечно, превышает число первых, то есть разочарований; и значительно. Русский эмигрант, особенно на первых порах, попадает, например, под грандиозное очарование еды. Это не значит, что он оказывается в плену американской кухни, каких-либо изысков вроде "Тибон стейк" с абрикосовым вареньем, початком кукурузы, куском арбуза, соперничающим с куском ананаса под соусом "Тысяча островов", он просто очарован изобилием и разнообразием имеющихся в наличии пищевых продуктов.

Американцы обычно не очень-то ясно представляют себе картину, когда читают в газетах сообщения о пищевых трудностях России. В зависимости от политической ориентации они воображают себе либо чистый голод, либо перебои в доставке свежих омаров. Ни того, ни другого не существует: голода нет, потому что кое-какие продукты все-таки есть, перебоев с омарами тоже нет, потому что советские люди в лучшем случае знают о существовании этого зверя из художественной литературы.

О положении с продуктами в СССР можно судить по такой истории, недавно приплывшей из Москвы, города с самым лучшим в стране снабжением. Некто просит своего влиятельного друга достать ему килограмм "швейцарского" сыра. Влиятельный друг вздыхает: "Сейчас, мой милый, уже не существует ни "швейцарского", ни "костромского", ни "голландского". Есть продукт, именуемый "сыр", и я постараюсь его тебе достать. А хочешь, раздобуду тебе и "синюю птицу", то есть курицу".

После этой скудости прилавки супермаркетов кажутся советскому эмигранту чудом, воплощением коммунистической мечты. Голова немного кружится, возникает стойкий

комплекс вины по отношению к оставшимся *там:* они лишены всего этого.

С некоторыми продуктами русский эмигрант знакомится в США впервые, он даже не знает толком, что с ними делать. В одной киевской семье существовал миф о чудодейственном *орехе* "авокадо". Покупая в супермаркете эти плоды, они очищали их, выбрасывали мякоть и молотком разбивали твердую внутренность.

Только разобравшись и освоившись в мире изобилия, эмигранты вспоминают о деликатесах русской кухни, критикуют американцев за недостаток гурманства и выискивают в русских лавках *настоящий* творог и *настоящую* селедку. Потом уже начинают считать калории.

Другое грандиозное и одно из самых первых американских очарований — это автомобили. Машина в СССР — до сих пор знак жизненного успеха и даже в некоторой степени дерзновенности, какого-то вызова принципам коллективизма; недаром владельцев машин называют "частниками", как когда-то крестьян, не желавших вступать в колхозы, а ограбление автомобилей именуют "раскулачиванием".

Я до приезда в США десять лет водил машину и даже роман написал о превратностях российского автомобилизма. Майя, моя жена, в связи с прошлой принадлежностью к советской элите вообще больше двадцати лет провела за рулем, но мы — нетипичная пара; большинство прибывших машин не знают, руль держать в руках не умеют, и бесконечно текущие автомобильные реки Америки их ошеломляют.

В Лос-Анджелесе нам по приезде рассказали историю о том, как один русский парень купил большущий "Форд ЛТД" 1971 года выпуска, с грехом пополам научился нажимать педали, выехал на фривэй Санта-Моника и... пропал. Боясь перейти со своей полосы движения на другую, не зная слова "exit"[1], да и вообще не умея читать по-английски, он катил в глубь Калифорнии до тех пор, пока не кончился бензин в баке. Так он оказался в маленьком ка-

[1] "Выход".

лифорнийском городке, где последовательно: нашел работу, научился английскому, женился, купил дом, разбогател. Сейчас он подвизается на почве купли-продажи недвижимости и лихо пилотирует BMW.

К числу непреодолимых и почти неоспоримых очарований относится природная красота Америки. Разнообразие и сохранность этих красот до сих пор еще нас поражают. Осенние холмы Виргинии, Кентукки, Теннесси, береговая линия Флориды с деловито пролетающими пеликанами и застывшими в таинственном жеманстве цаплями, зеленые склоны Вермонта, напоминающие то Грузию, то Карпаты, огромные уступы Скалистых гор, секвойи Калифорнии, ее необозримые пляжи, миражные горизонты Аризоны, да и плоскость Канзаса — все это наполняет ощущением Большой Благодати.

Мы дважды пересекли страну на машине, и всякий раз, когда перед нами открывались новые дали, мы вспоминали американских пионеров, для которых продвижение в глубь континента было сродни открытию новой планеты. Это ощущение "новой планеты", как ни странно, еще живо на просторах Америки.

Поражает малозаселенность материка, даже его восточной части. Северная Пенсильвания, где на протяжении пятидесяти миль мы не увидели ни одного дома, напомнила нам Сибирь. Берусь утверждать, что Америка меньше заселена и уж гораздо меньше загрязнена, чем Россия в ее европейской, кавказской, среднеазиатской и южносибирской частях. О Северной Сибири говорить нечего, там, можно сказать, и нет никого, но вот Украина (однажды я пересек ее с юго-востока на северо-запад на машине) загрязнена тяжелой индустрией, химией, продымлена бесчисленными грузовиками так, как не снилось в дурных снах ни Мичигану, ни Массачусетсу.

К очарованию американского пейзажа относится и открытость американских границ. Боюсь, что американцу этого не понять, но советский человек наполняется особым чувством, когда, глядя на горизонт, понимает, что за ним

во все стороны открытое пространство, никто тебя не сторожит, можешь идти на все четыре стороны.

Закрытость, непроницаемость государственных границ тоже сообщает пейзажу особую краску, но это уже из другой оперы; русская классика вне темы этой книги.

Говоря о великом обществе, подобном американскому, трудно оперировать обобщениями. Только обобщишь что-нибудь, как тут же сядешь в лужу. Любое обобщение только на первых порах напоминает красиво сшитую подушку. Не успеешь подсунуть ее себе под голову, как начинают выпирать углы, сыпаться какая-то труха, высовываются то нос, то хвост противоречий.

И все-таки можно сказать об американском населении, что оно очень приветливо. В России преобладают сумрачные лица, что неудивительно. В Америке до сих пор царит улыбка. Если человек не улыбается, его могут спросить: "What's wrong?"[1] Иные мизантропы утверждают, что американская улыбка формальна. В этих случаях мне вспоминается, как моя мать однажды сказала в ответ на подобное же утверждение в адрес французов: "Лучше формальная любезность, чем искреннее хамство".

Рискуя опять же впасть в сомнительные обобщения, скажу, однако, что американцы любезнее французов. Во всяком случае по отношению к чужакам. В Париже однажды (впрочем, в плохом районе) буфетчик начал передразнивать мой ломаный французский, причем в такой отвратной манере, что пришлось обложить его русским матом. Между прочим, подействовало — извинился.

В Америке такое просто немыслимо. Иностранный акцент никогда не вызывает здесь раздражения, но только лишь желание понять. Ну, скажет скептик, это вовсе не от добрых свойств характера идет, а просто от специфики — ведь все происходят от приезжих, и в недалеком поколении. Так или иначе, но новоприбывших это подкупает и очаровывает.

Как-то раз я расплачивался кредитной карточкой в большом магазине. Продавец заинтересовался: "Польское

---

[1] "Что случилось?"

имя, сэр?" — "Ов" — это русское окончание, — сказал я. — Для поляков типичнее "ский". Продавец и трое его коллег вежливо удивились — надо же, какие на свете бывают имена!

"А вы кто будете?" — спросил я своего продавца. "Я — Густаво Салазар", — сказал он. "На испанца вы не похожи", — сказал я, имея в виду его раскосые глаза. "Я — филиппинец, с вашего разрешения", — сказал он.

Коллеги его оказались — один иранец, вторая — из Тобаго, третий, наконец, урожденный американец сицилийского происхождения. Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись.

Так мы здесь и живем, беженцы со всего мира. Один от голода драпанул, другой от пули, третий от литературной редактуры. Этническая пестрота Америки не имеет равных в мире. Мы к ней привыкли. Иной раз даже в Европе кривили нос — экая, мол, здесь этническая монотонность. Очень важно ощущать, что ты прибился к этим берегам не один, что вас много, что вы — "комьюнити", еще важнее чувствовать, что местные люди не ворчат в ваш адрес: "Проклятые иностранцы, мы вас тут всех кормим".

У Америки есть много недостатков (иногда они вдруг оборачиваются достоинствами), есть и достоинства (иной раз они кажутся вздором), но в целом эта страна от ксенофобии отдалена больше, чем любая другая, в целом она все еще ревностно придерживается своей традиции давать приют и защиту изгнанникам и беженцам всего мира.

Это ли не очарование — прибывший после разного рода мук потный и суматошный беженец оказывается в обществе приветливых, умеренно благожелательных, физически весьма здоровых и чистых людей. Стирка и чистка — национальные "перпетуум-мобиле"; "джогинг" и "аэробик"[1] придают любому американскому городу сходство с тренировочным лагерем. Нация красивых, отменно стройных... У-у-п-с, опять расползается подушка обобщений, потому что нигде, пожалуй, не увидишь такого количества ожиревшей молодежи, но об этом ни слова в этой подглавке.

---

[1] Jogging — бег; aerobic — комплекс спортивных упражнений.

Иные скажут, что в тренировочной одержимости американцев сказывается их прагматизм, заземленность, гедонизм, нарциссизм и т.д.; я не исключу в этой страсти и религиозного начала: тело — транспортное средство души.

Очаровывает, вернее, просто восхищает отсутствие у американцев брезгливости к ущербному телу. Забота о калеках — уникальное свойство нации.

В этом же ряду восхитительной и очень земной религиозности я вижу и отношение к старикам. Чудесно уже и то, что их называют "синьор ситизен". Яркость старческих одежд, все эти знаменитые клетчатые штаны и шляпки с цветочками, то, что европейцы полагают американской безвкусицей, может быть, тоже имеет религиозно-ренессансное значение.

Как-то в Сиэтле мы наблюдали бал стариков. Они танцевали фокстроты и джиттербаги и явно наслаждались жизнью. Вспомнилась очередь в ленинградском магазине молочных продуктов. На бабушку, пытавшуюся взять без очереди бутылку молока, тетки помоложе стали орать: "Тебе на кладбище пора, бабка, а ты по магазинам ходишь!"

О, Господи, барахтаясь в обобщениях, как бы нам избежать параллелей, хотя бы такого рода.

Церкви всех существующих на земле религий — вот грандиозное американское очарование. Основная масса прибывших из СССР людей вследствие советского воспитания оказалась полностью нерелигиозной. С усмешкой старомодного позитивизма они смотрят, как по молебственным дням заполняются синагоги, мечети, соборы. Потом они начинают задавать себе вопросы — быть может, на религии здесь все и стоит?

Позитивисты настаивают: это вздор! Все здесь, господа, держится на экономике, на бизнесе, на долларе.

Не вдаваясь в этот спор, отмечу нечто, имеющее отношение и к духовному, и к материальному. Американское общество, сдается мне, построено на принципе благотворного неравенства. "Реакционность" моя зашла уж так далеко, что я пою хвалу неравенству!

Обратите внимание, социалистические начинания в этой стране очень быстро приводят в загниванию. Они про-

тиворечат основной американской идее "романтического неравенства". В неравенстве всегда динамика, страсть, в равенстве — отсутствие надежды на изменение жизни.

В Советском Союзе в своей сфере ты обречен влачить жизнь государственного служащего, и, если ты не вор, ничего никогда в твоей жизни не изменится, ибо все равны (за исключением, разумеется, тех, кто равнее равных). В Америке, в обществе неравенства, в хаосе экономической свободы где-то ждет тебя твой шанс. Пусть ты его не поймаешь никогда, но его присутствие всю жизнь твою окрашивает иначе.

— Взгляните, — говорит эмигрант, — раньше я жил в городе Ворошиловграде, в Ленинском районе на улице Дзержинского — какая безнадежность. А сейчас, взгляните, я живу на Земле Мэри, у Серебряного Ручья, по улице Сад Роз — какие паруса!

ШТРИХИ К РОМАНУ "ГРУСТНЫЙ БЕБИ"

1980

— Good morning!

Она не отвечает. Бернадетта Люкс, сногсшибательная баба на двести фунтов (плюс фунт презрения), полдня щеголяющая в бигуди и кружевном пеньюаре. С ее данными ей бы воплощать вековечный советский идеал Матери-героини, но она управляет кондоминиумом "Пацифистские палисады".

Отчего же такая суровость и неподвижность в мой адрес, удивлялся ГМР. "Good morning", — говорю я ей в лифте или в лобби. Молчание. Повторяю приветствие. Ноль внимания.

Наплевать, конечно, но все-таки всякий раз при виде героической женской фигуры, либо статично просвечивающей сквозь пеньюар, либо возбуждающей волнообразное, в стиле соцреализма, движение тканей, становится чуть-чуть тошновато.

Однажды решил попробовать новшество, соединив два братских земных наречия:

— Good morning, Жопа-Новый-год!

Бернадетта Люкс в ответ на этот тип приветствия неожиданно расплывается. "Доброе утро, сэр! Приятная погодка сегодня, не так ли? Не угодно ли жменю жевательного табачку-с?" Вот что значит неформальный подход, даже и на незнакомом языке.

Кто таков наш Her Majesty Navy и как он оказался в Америке? Сделаем его писателем, господа? ГМР — русский писатель в изгнании. Б-р-р, а не получится ли, господа, что мы как бы пишем сами о себе, а ведь мы никогда не были такими гордецами и зазнайками...

Пусть он будет театральным режиссером, о'кей? Недурной ход — вроде бы и не писатель получается, а? В СССР он был страшно известным, а в Америке его никто не знает.

Гордец никому не навязывается. Обидев ранее немало женщин, сейчас живет в одиночестве. Работает "аттендантом" в "Колониал Паркинг". Скопив несколько сотен на чаевых, отправляется на Гавайи.

...Только бы не подумали, что мы отождествляем этого пятидесятилетнего мужика с образом "грустного беби". Хорош беби — с плешью и с этой вечной миной сарказма.

Может быть, все-таки взять героя помоложе? Пятидесятилетние мужики основательно надоедают окружающим. Еще в Союзе (типично эмигрантское "еще в Союзе") он заметил вдруг, что здорово всем надоел. Надоело все, что относилось к нему, без исключения — и его примелькавшаяся в "творческих кругах" фигура, и его дерзкие постановки, не говоря уже о "творческих замыслах", "безукоризненном вкусе", "профессионализме высшей пробы"... Надоел, и все!

Однако, если мы сделаем героя помоложе, наша хронология тогда не сойдется, испарится и тема "грустного беби", дребезжащее пианино. Придется ему остаться пятидесятилетним, хотя и стыдно в этом возрасте работать "аттендантом" на автостоянке возле ресторана "Эль Греко".

Мерзейшая ирония заключалась в том, что ресторан

гордился датой своего основания — 1955-й, когда ГМР уже служил в советской морской пехоте, тренируемой для высадки на американском побережье именно в этом месте.

1955

Кронштадт. Урок штыкового боя в морском экипаже

Учитесь штыковому бою!
Втыкайте, пацаны!
От русского штычка завоют
Империялисты-сатаны!

Америка, наш враг коварный,
Весьма, товарищи, богат,
Хотя койфициент товарный
У ей захапал плутократ.

Куда ты тычешь штык, Петруша?
Ведь Джек высок и знает бокс!
Ты тычь его пониже, в грушу!
Вот это будет самый сок!

За океаном не в почете
Марксизм, наука всех наук.
Борцы за мир все на учете,
А ЦРУ — большой паук!

Чем глубже ткнешь ты на ученье,
Тем веселей тебе в бою!
. . . . . .
В морской пехоте развлеченье
Один лишь мат. Егиттвою!

1980

В ночной лавке на Вествуд-бульвар можно купить майку с изображением Ленина. Трюк заключается в том, что вождь и сам изображен в майке с надписью KAZAN UNIVERSITY. Вновь, как зубная боль, возникает вопрос — почему юноша выпал из своей alma mater? Спросите об этом у продавца маек. Он подмигнет:

— Мы тут, сэр, пока что начинающие.

COMPANY

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Итак, мы отправились на Запад, то есть со Среднего Запада на Дальний, из Анн-Арбора, Мичиган, в Лос-Анджелес, Калифорния. Дело было в январе.

Незадолго до отъезда мы совершили наш первый американский патриотический поступок. Речь шла о покупке колес. Выбор стоял между "вольво" и "омегой". Первая была мечтой всех московских жуликов, а потому и нам была известна. О второй никакими сведениями мы не располагали, за исключением того, что она принадлежит к семейству "олдсмобилей" и сколочена компанией "Дженерал Моторс" в черный год американской автоиндустрии 1980-й (вперед на 1981-й) по европейскому стандарту, то есть не в виде огромного крокодила.

"Надо поддержать американскую промышленность, — сказал я Майе, — ты же видишь — она задыхается". — "Странное соображение, — сказала она. — Неужели ты думаешь, что покупка одной "омеги" что-нибудь здесь изменит?"

По телевизору каждый день рассказывали об огромных увольнениях, о кризисе компании "Крайслер", об ужасных убытках.

"Наша "омега" может оказаться решающей каплей, — сказал я. — С падением этой капли система качнется в другую сторону, и начнется медленное выздоровление".

Так и получилось, между прочим. Мы вошли в магазин "Олдсмобиль Дилершип", выписали изумленному торговцу чек на полную стоимость (о "моргейджах" мы тогда и понятия не имели) и сели в милое авто. Я до сих пор уверен, что наша "капля" (четырехдверный, шестицилиндровый автоматик) оказалась решающей, и никто меня в этом не разубедит.

*

Мичиганская зима мало чем отличается от русской; странно, что в этом штате до сих пор не построили коммунизм. Не для того мы эмигрировали, в конце концов, чтобы барахтаться в снегу. Решено было бежать порезвее к югу — Иллинойс, Миссури, Канзас, Оклахома, Техас — и пробираться дальше самым южным путем через Нью-Мексико и Аризону вдоль государственной южной границы с единственной целью — обойти стороной снега в горах.

Ну вот, мы едем через Америку. В "омегу" вместилось все, чем мы здесь располагаем, включая и недвижимость — рукопись неоконченного романа "Скажи "изюм".

Сколько раз уже описана по-русски эта дорога! Еще в 1936 году Илья Ильф и Евгений Петров пересекали США в маленьком сером "фордике". Уже тогда существовали эти тысячемильные бетонные линии с двухполосным односторонним движением в обе стороны, бензозаправки, где протирают стекла машины, шкафы с холодными напитками, мотели и кафе. В России же и тогда автомобильных дорог не было, да и сейчас ее дороги в контекст цивилизации еще не вписываются.

Советскому читателю, если таковой у этой книги когда-нибудь найдется, могу предложить к списку чудес, описанных Ильфом и Петровым, еще одно — поджопное бумажное полотенце. В кабинках задумчивости на канзасских зонах отдыха я это диво встретил впервые — экий декаданс! В добавление к пипифаксу проезжающим предлагается достаточной ширины лист с перфорацией в форме груши. Невольно вспомнишь станцию Зеленый Гай на Днепропетровщине по дороге к волшебному Крыму, где водители грузовиков вольготно располагаются "орлами" вокруг заколоченного в прошлую пятилетку сортира.

На юге штата Иллинойс снега кончились, и больше мы их в ту зиму не видели. Надо сказать, что никаких особенных сентиментальных чувств к этому виду осадков мы и не испытывали. Снег в его эстетическом чистом виде существует за всю зиму в Москве каких-нибудь несколько дней,

все остальные шесть месяцев это снег-уродина, свалявшийся, грязный, надоевший, как вся советская власть.

Едем, едем, едем... ровное движение впереди, по бокам от нас, позади, навстречу. Мы меняемся за рулем. Майя жалуется: "Меня усыпляет это вождение". — "Ну и спи! Посмотри, все вокруг давно спят".

Очень скоро мы стали знатоками мотелей. Набоковского "Приюта зачарованных охотников" в пути не попалось, зато мы по достоинствам оценили и "Говарда Джонсона", и "Вестерн", и "Холидей Инн", и "Рамада". Мы даже спорили об их достоинствах. Майя почему-то отдавала предпочтение "Джонсону" — дескать, там и завтраки лучше, и в телевизоре больше программ, и вот еще то-то и то-то. Я почему-то держался "Холидей Инн", уверяя, что эта фирма бьет все рекорды. Случай подвернулся, чтобы доказать упрямому приверженцу "Г. Джонсона" свою правоту. На окраине Сент-Луиса мы остановились в "шикарнейшем" "Холидей Инн". Окна номеров выходили в гигантский закрытый патио с искусственным светом, где журчали фонтаны и низвергались водопады, где по романтическим мостикам путешественники могли прямо от огромного бассейна перейти к внушительной аркаде видеоигр. Принюхиваясь к запаху хлорки и прислушиваясь к посвистыванию электронных жучков, мы уже больше не спорили: Майя молча признала поражение, я благородно молчал.

Границу Техаса мы пересекли ночью, не заметив ее, и остановились в городе Сладководске (как еще иначе переведешь Sweetwater-city) в мотеле "Говард Джонсон". Утром мы вышли к завтраку, не подозревая, что мы в Техасе. Подавальщица притащила нам "наши яйца" плюс целую поленницу бекона, плюс блинчики с джемом, по куску арбуза и грейпфрутовый сок. В салат-баре мы отоварились еще овощами. Майя ничего не сказала, только лишь со скромным торжеством озирала стол: таков, мол, мой старый "Говард".

"Посмотри лучше вокруг, — сказал я. — Какая отменная здесь собралась публика. Того и гляди, начнут сейчас стрелять в пианиста или за неимением такового — в проезжего русского писателя".

Вокруг нас сидели настоящие персонажи вестернов, краснолицые, голубоглазые, в огромных шляпах, кожаных жилетках и сапогах на высоком каблуке, техасцы.

Нынче, всяческими способами убегая от клише, мы иногда удивляемся, как точно некоторые явления им соответствуют. Вот ведь при слове "техасцы" именно такая картина возникает в воображении, но, когда ее видишь воочию, поражаешься — могут ли так совпадать реальные люди (в данном случае в основном водители грузовиков) с образцами кино?

Подавальщица вдруг спросила нас:

— Интересно, фолкс[1], на каком это таком языке вы между собой разговариваете?

— А вы как думаете, что это за язык? — спросил я в ответ.

— Звучит как немецкий, — сказала она.

— Нет, это русский, — сказал я.

— Вот я и слышу что-то похожее на русский или немецкий, — сказала она.

— Однако это совершенно разные языки, — сказал я. — Немецкий и русский не похожи друг на друга.

— В самом деле? — искренне удивилась она. — Вы, стало быть, русские из Германии?

— Нет, мы из России.

— Немцы из России?

Для этой средних лет техасской дамы "русские" и "немцы" были соединены какими-то нерасторжимыми связями. В двух словах мы объяснили ей противоречивость немецко-русских связей, историческое преобладание византийской над готической культурой (или наоборот) и подчеркнули, что, несмотря на изобретение немцами крана к русскому самовару, в России до сих пор бытует поговорка: "что русскому хорошо, то немцу плохо"...

В замешательстве покачивая головою, она отошла к "ковбоям" и, как бы убирая что-то со стола, рассказала им, какие странные в мотеле оказались постояльцы — из России, но не немцы.

---

[1] folks — *здесь:* братва, братцы.

"Ковбои" пошевеливали большими плечами, иногда чуть поворачивали головы, чтобы глянуть на нас, однако, столкнувшись с нашими взглядами, деликатно отводили глаза, как бы интересуясь лишь погодой за окном.

Тут подавальщица снова приблизилась, лицо ее выглядело озабоченным.

— У нас тут, оказывается, в газетах много пишут о России, и все какие-нибудь гадости. Наверное, врут?

— Увы, не врут, — сказали мы.

— Вот ребята говорят, фолкс, будто в России такое правительство, которое не позволяет книжки писать, какие хочешь. Это тоже правда?

Я даже подскочил — вот так вопрос в городе Сладководске! Может быть, кто-то из них видел мой портрет в "Вашингтон пост" или в "Нью-Йорк таймс" и узнал? Но это просто немыслимо — пара-другая снимков, промелькнувшая в потоке тысяч и тысяч?.. Так или иначе, но вопрос оказался более чем по существу.

— Увы, мэм, это тоже правда. Я как раз являюсь писателем, и именно за сочинение неугодных книг меня выгнали из моей страны. Именно поэтому мы и оказались здесь, мэм!

Подавальщица из Сладководска вдруг широко раскрыла руки и сказала с такой теплотой, которую и сейчас, четыре года спустя, я вспоминаю как одно из лучших американских очарований:

— You are welcome to America![1]

Ковбои сдержанно улыбались.

ДЕНЬ, КОГДА Я ПОТЕРЯЛ ГРАЖДАНСТВО

Последний день этого путешествия стал довольно важной вехой в моей биографии: 21 января 1981 года после захода солнца я узнал, что не являюсь больше гражданином СССР.

---

[1] Добро пожаловать в Америку!

Проснулся я в тот день еще гражданином СССР в мотеле города Юма, что на стыке границ Аризоны, Калифорнии и Мексиканских Штатов. С достоинством, как и предписывает инструкция Управления виз Моссовета, пронес высокое звание гражданина Страны Советов в столовую. После завтрака мы взяли старт на Лос-Анджелес, куда рассчитывали прибыть к вечеру.

Аризонская пустыня сменилась калифорнийской, которая в этих местах лежит ниже уровня моря. Горизонт еще больше раздвинулся. Пески и кактусы по обе стороны прямого, как линейка, хайвэя. "Омега" что-то сильно разошлась, обгоняла чуть ли не все попутные машины. При обгоне очередной я увидел рыжие усы патрульного офицера. Положив локоть на борт, он внимательно и серьезно смотрел на меня. Потом привычным движением поставил себе на крышу пульсирующий красный фонарь. Несколько секунд я еще делал вид, что не понимаю, что это значит, что ко мне это вроде не очень-то относится, потом пошел к обочине. Патрульный "кар" встал сзади. Мы вылезли из машин — я и стройный офицер в униформе цвета хаки с пистолетом на боку. В ярком пустынном небе над нами, словно наши alter ego, парили два орла.

Я подумал: сейчас начнется цирк! У меня нет ни одного американского документа. Как оказался советский гражданин посреди калифорнийской пустыни рядом с мексиканской границей? Если бы американца изловили в Туркмении, в двух шагах от Ирана, подняли бы по тревоге весь КГБ. Представляю себе реакцию патрульного на советский паспорт, а потом и на еще большее чудо — советские водительские права! Как все это ему объяснить? Не рассказывать же в самом деле историю романа "Ожог" и независимого альманаха "Метрополь". Пока что попробую придуриваться, как в России делал в подобных обстоятельствах.

— Скорость? — спросил я.

Патрульный кивнул. Я начал хныкать в той манере, которую выработал в общении с московскими гаишниками.

— Клянусь, офицер, я всегда вожу в рамках правил. Вот только тут... знаете ли... в пустыне...

— Да, здесь трудно держать лимит, — согласился он.

Я обрадовался: кажется, клюет! Согласно московскому опыту нужно выделить его участок как особый, ни на что не похожий, исключительно опасный и важный — такова психологическая задача. В случае успеха офицеру и мои исключительные советские обстоятельства не покажутся столь уж подозрительными.

— Впервые еду через пустыню! — воскликнул я. — Удивительное ощущение! Сам не замечаешь, как скорость поднимается до шестидесяти пяти миль в час!

— До семидесяти пяти миль в час, — сухо поправил он, посмотрел на номерной знак и пробурчал. — Ага, Мичиган...

Что это значит? Может быть, с Мичиганом тут у них особые счеты? Может быть, здесь мичиганцам круче приходится, чем советским? Так или иначе, нужно раскрывать национальную принадлежность. Ведь не может же его не насторожить мой акцент!

— Вообще-то мы из России, офицер, из Советского Союза... Это особая история...

— Ваше имя, сэр, — прервал он меня.

Я сказал и добавил вполне нелепо:

— Это, понимаете ли, русское имя. Мы здесь оказались при необычных обстоятельствах...

— Как спеллингуете свое имя? — в ровном тоне патрульного мелькнула легкая досада. Очевидно, мои "обстоятельства" мешали ему осуществлять закон.

Я заученно протараторил свое имя по буквам. О, эти американские "спеллинги", сколько эмигрантских языков вывихнуто было на них!

Офицер на минуту отвлекся от своей записи.

— Значит, из России приехали, сэр?

— Да, мы из Советского Союза, но мы оказались здесь в силу совершенно особых, исключительных обстоятельств, которые я мог бы объяснить, если бы...

— А вы знаете лимит скорости в Америке? — снова прервал он меня.

— Пятьдесят пять миль в час.

— Вот именно, — сказал он. — Водительскую лицензию, пожалуйста.

Я уныло полез за своей видавшей виды "корочкой". Необычный вид документа наверняка возмутит патрульного, ведь советские права отличаются от американских не менее разительно, чем "Правда" от "Нью-Йорк таймс". Наверняка он признает мои права недействительными.

— У меня пока еще советская лицензия, — мямлил я, — однако, если учесть особые обстоятельства, о которых я упоминал выше, то при известной снисходительности...

Он невозмутимо рассмотрел мои права и, не задав никаких вопросов, записал семизначный номер. Я присел на горячий капот его "шевроле". Неясное ощущение судьбы витало в воздухе пустыни. Рыжий молодчик, похожий на киногероя, которому абсолютно наплевать на мои советские "обстоятельства", осуществляет американский закон об ограничении скорости. Многозначительное парение двух орлов над нашими головами.

— А вот в СССР нет ограничения скорости, — зачем-то соврал я, хотя уже и понимал, с каким бесстрастным центурионом имею дело.

Тут вдруг патрульный сильно обиделся, оторвался от бумаги и посмотрел на меня выцветшими голубыми глазами.

— Вы ведь сейчас не в России, сэр, правда? Вы сейчас в Америке, так? А у нас здесь скорость ограничена, о'кей?

Точно так же когда-то на меня ворчал киевский милиционер: "Здесь вам не Москва... тут Киев, понятно?.. Здесь работают киевские правила, так?"

— Оштрафуете меня? — спросил я.

— Не я вас оштрафую, а суд вас оштрафует, — он протянул мне копию бумаги. — Так и быть, поставил вам шестьдесят пять вместо семидесяти пяти. Поосторожнее в дальнейшем. Всего хорошего!

Он отвернулся, потеряв ко мне малейший интерес, и до меня наконец дошло, что я для него вовсе не подозрительный иностранец, а просто нарушитель скоростного режима, то есть человек как человек.

*

Есть некоторая все-таки странность в том, что этот знаменательный для меня день начался с волнений по поводу моего сомнительного гражданства и ненадежных водительских прав. Продвигаясь дальше к Тихому океану, я думал о том, что теперь надо ждать еще какой-нибудь гадости (закон парности) и что вторая гадость будет в том же роде, то есть связанная с бумагами, с какими-нибудь провалами, с недостатком каких-нибудь прав или с полным их отсутствием; ведь не с избытком же прав, этого сейчас нигде не допросишься.

К вечеру мы достигли гостеприимного дома в Санта-Монике, и хозяин после первых же приветствий сказал:

— Тебя весь день разыскивают журналисты. Прошу прощения, но Указом Президиума Верховного Совета СССР ты лишен советского гражданства.

После ужина мы пошли на мой любимый еще с 1975 года Океанский бульвар и остановились там в молчании под королевскими пальмами. Внизу, под обрывом, катились огни прибрежного шоссе.

Почему госмужи СССР так поступили со мной? Неужто сочинения мои так уж сильно им досадили? Разве я на власть их покушался? Пусть обожрутся они своей властью.

Я подумал о друзьях в Москве. Сегодня они услышали эту новость по "Голосу Америки" или по Би-би-си — какая реакция?

Старинный друг мой, внутренний эмигрант Фил Фофанофф, которого в Москве называют помесью Печорина с Обломовым, вероятно, утешил бы меня таким образом:

— Не фетишизирую красную картонку с плотной розовой бумагой внутри, ничего священного и символического в этой дряни нет, простое "средство полицейского контроля", согласно словарю Брокгауза и Эфрона. Бедняга Маяковский, которому очень хотелось еще раз в Париж, пропел серенаду советскому паспорту, а между тем, сам сознался, что носит ее в штанах... "Я достаю из широких штанин

дубликатом бесценного груза"... Разве нечто любимое, священное, гордое носят в штанах по соседству с гениталиями?

Так, вероятно, упражнялся бы в остроумии московский шутник Фил Фофанофф. А все-таки идеологические дядьки-аппаратчики не только ведь книжечки говененькой меня лишили. Это они в своих финских банях постановили родины меня лишить. Лишить меня сорока восьми моих лет, прожитых в России, "казанского сиротства" при живых, загнанных в лагеря родителях, свирепых ночей Магадана, державного течения Невы, московского снега, завивающегося в спираль на Манежной, друзей и читателей, хоть и высосанных идеологической сволочью, но сохранивших к ней презрение.

"Дружище, — сказал бы устало Фил Фофанофф, — фактически они нас всех давно уже лишили советского гражданства, потому что его просто не существует. Здесь нет гражданства, а есть подчинение. Честь мы бережем не для гражданства, а для родины". Иногда он может шутить и таким образом.

В темном небе тактично гудел "джет", возвращающийся из Японии. Шелестела ветками огромная пальма. Пахло своими плодами лимонное дерево. Рождалась новая луна. Калифорнийской ночи было наплевать на мое советское гражданство в не меньшей мере, чем патрульному на "интерстейт" № 8.

Возвращаясь к хозяйскому дому, мы увидели, что он полон людей. Оказалось, что многие старые друзья из Калифорнийского университета, где я в 1975 году на семинаре красноречивыми недомолвками подчеркивал свою принадлежность к Совдепу, приехали нас приветствовать. За шесть лет, что прошли после моего месячного визита в 1975-м, они совсем не изменились, и немудрено — Калифорния, в ней не только кинозвезды консервируются, но и профессора университетов.

Законсервировались мои друзья и в своих так называемых левых взглядах. Для советских делишек у них в луч-

шем случае припасена ироническая улыбочка, нападать на СССР на очень-то рекомендуется, иначе ведь и не заметишь, как примкнешь к "правым".

В разгаре шумной и спонтанной, вполне в русском стиле, вечеринки из Нью-Йорка позвонил Крэг Уитни, бывший московский корреспондент, а в тот момент заведующий иностранным отделом "Нью-Йорк таймс". Он хотел узнать, как я себя чувствую после лишения советского гражданства, есть ли у меня эмоции в адрес советской власти. "Пошли бы они все к черту!" — заорал я. Крэг захохотал, и в утреннем выпуске "Нью-Йорк таймс" появилось:

"Having been informed about the Soviet government's decision Aksyonov said: "To hell with them!"

Окончив этот разговор, я вернулся в гостиную и обнаружил там основательную ссору. Русские интеллектуалы ругались с американскими интеллектуалами, причем речь шла даже не о России, а об американских заложниках в Тегеране, которые в это время были освобождены и направлялись домой.

— Теперь все это будет превращено в националистическое шоу, устроят огромный шовинистический шабаш, — говорили американские друзья.

— Ваши дипломаты были захвачены бандитами, — кипятились русские друзья. — Нарушены были все международные нормы!

— Во время революций всегда бывают эксцессы, — отвергали этот аргумент американцы. — Посольство и в самом деле занималось шпионажем.

— Все посольства занимаются шпионажем, разве дело в этом, — взывали русские. — Неужели вы не понимаете, что Америка противостоит тоталитаризму, что это последняя крепость свободного мира, что любое унижение Америки идет на пользу коммунизму?..

— Вы говорите, как наши "ред нек", — возражали американцы. — Как наши крайние правые, реакционные люди.

— А вы, — парировали русские, — говорите, как либеральные олухи, пораженцы, вы не понимаете, с кем имеете дело. Опомнитесь в советском концлагере, господа!

Тут один из американских друзей не выдержал и слегка позеленел, что бросилось всем в глаза, потому что прежде во время таких споров он только розовел.

— Мои предки, — закричал он не своим голосом, — приплыли в эту страну четыреста лет назад!.. (Тут все быстро в уме пересчитали, могло ли такое случиться, и выходило, что почти могло.) Мы... (далее следовало имя, содержащее и "th" и "gh")... здесь живем из поколения в поколение, а тут приезжают всякие из стран, не знавших даже запаха свободы, и берутся нас учить, как защищать демократию!..

Тут он смутился, все краски на лице смешались, и стал извиняться за свою вспышку: он вовсе никого не хотел оскорбить, просто и в самом деле немного нелепо получается.

Нелепость некоторая, увы, налицо. В Советском Союзе мы считались "левыми", смутьянами, ненадежными элементами, а нам противостояли несметные полчища "правых", официальных коммунистических пропагандистов и аппаратчиков. В Америке же мы с нашим антикоммунизмом оказались ближе к "правым". Левая, правая, где сторона? Улица, улица, ты, брат, пьяна...

СЕНО И СОЛОМА

Однажды, уже в Вашингтоне, прогуливая в садике на Колумбия-роуд своего щенка Ушика, я познакомился с хозяйкой сенбернара Джулией — дамой, приятной во всех отношениях. Она жила неподалеку, на одной из маленьких улиц, пересекающих Коннектикут-авеню. С того дня мы встречались нередко, наши собаки стали друзьями, и в конце концов Джулия пригласила нас с Майей на ужин.

Мы пришли в ее элегантную квартиру и нашли там весьма симпатичное общество, персон эдак около пятнадцати. Старшим там был муж Джулии, красавец с седыми кудрями и плавными движениями. Если бы не рокочущая американская речь, его можно было бы отнести к известному российскому типу адвоката-краснобая. Кстати, он и оказался адвокатом, как потом выяснилось. Гости были моложе хозяина дома, нам почему-то показалось, что это в основном друзья Джулии по университету, хотя мы и понятия не имели, училась ли она когда-нибудь в университете. В общем, это был народ от тридцати пяти до сорока, красивый, одетый небрежно, лица неординарные, жесты свободные, однако без киношного нахальства. В общем, они были похожи на людей нашего круга в Москве, если исключить из него заведомых стукачей.

Очевидно, они давно не видели друг друга. Каждого новоприбывшего встречали веселыми восклицаниями. Разговор (поначалу за коктейлями) шел довольно сумбурный и "внутренний", нас он мало касался — что-то о переменах в работе, в жилье, в семьях, все как будто принадлежали к тому типу, что нынче называют "яппи"[1].

Потом вдруг стала мелькать тема Сальвадора. Кто-то из них, оказывается, там недавно побывал, делал какое-то исследование для какой-то частной организации. Вот, кажется, повод вставить пару слов, чтобы не сидеть тут чучелом в качестве "хозяина друга нашей собаки".

"Сальвадор, — сказал я глубокомысленно, — это очень серьезно".

Все со мной охотно согласились.

"Очень уж близко к дому", — углубил я свою мысль.

Все вновь с энтузиазмом поддержали меня. Сальвадорская тема разгорелась. "Близко, очень близко, слишком близко уж к нашему дому..." — говорили гости, как вдруг я заметил, что они совсем не то, что я, имеют в виду. Я-то имел в виду, что вот-вот еще одно тоталитарное марксистское государство возникнет на этот раз слишком близко к американскому дому, а они, гости Джулии, вели речь о

---

[1] young professionals.

том, что Пентагон и ЦРУ втягивают страну в "новый Вьетнам", на этот раз слишком близко к американскому дому.

Дальше — больше. Мы вовлекались в разговор, и раз за разом наши ремарки оказывались по меньшей мере неуместными в этой компании. Кто-то из присутствующих, например, упомянул имя сенатора К., а меня будто кто за язык потянул. "Третьего дня, — говорю, — этот К. напугал меня до смерти".

Несколько человек повернулось ко мне: как так?

"Да вот, — говорю, — проснулся утром, включил телевизор и сразу увидел сенатора К., и первая фраза, которую он произнес, то есть первая фраза, которую я услышал в то утро, звучала так: "Если я стану президентом США, первое, что я сделаю, позвоню Юрию Андропову!" Согласитесь, господа, можно перепугаться".

— А почему же? — недоуменно спросил близко сидевший ко мне молодой почти красавец в рубашке с галстуком и в ковбойских сапожках.

— Ну, ведь это все равно, господа, что услышать, будто кто-то собирается звонить Берия, — сказал я.

— Что же вы против переговоров, что ли? — спросила подруга почти красавца, совершеннейшая красавица.

— Нет-нет, простите, я вовсе не имел в виду никаких переговоров, я просто хотел сказать, что вот это желание позвонить Андропову не относится к числу тех эмоций, с которыми хочется начинать день.

Те из гостей, что услышали этот разговор, переглянулись. Кто этот человек с таким неопределенным акцентом? — говорили их взгляды.

— Простите, сэр, мы здесь все друг друга знаем, — сказал почти красавец, — а вот вас видим впервые. Откуда вы?

— Из Советского Союза, — сказал я, и тут уже чуть ли не вся гостиная повернулась ко мне с неподдельным интересом.

Далее последовал разговор с нарастающим количеством вопросительных знаков.

— Как вы очутились здесь?

— Меня выгнали из Советского Союза.

— Выгнали из Советского Союза?? За что???

— Ну, понимаете, я писатель...

— Писатель, которого выгнали из Советского Союза??? За что???? On Earth???

— За книги.

— ???????

Тут вдруг поток вопросительных знаков иссяк; не пошел на убыль, а просто оборвался. Тема изгнания писателя из СССР "за книги" больше не развивалась, и на протяжении всего ужина мне об этом больше не задали ни одного вопроса.

Я начинал догадываться, что мы оказались в обществе самых что ни на есть "левых". Джулия во время наших прогулок в обществе взрослого сенбернара и щенка-спаниеля, видимо, как-то неправильно меня вычислила, почему-то решила, что я принадлежу к "их кругу".

Интересно, догадалась ли Майя? Я оглядел комнату и увидел ее в дальнем конце. Разгоряченная, она что-то доказывала хозяину, а тот как-то от ее доводов обмяк, седые кудри замочалились. Красивой ладонью он как бы пытался размешать густоту Майиных аргументов.

— ...однако вы же не будете отрицать, что он выдающаяся личность, — услышал я.

— Он выдающийся подонок! — атаковала Майя. — Я там была и видела, как они, эти вожди, там живут, в какой роскоши посреди пустоты, я и его самого видела — наглый тиран!

— Они там ликвидировали проституцию, безграмотность, всем дали жилье... — говорил адвокат.

— Как в концлагере, — парировала Майя с излишней, о, несколько московской пылкостью.

Речь шла об одном диктаторе одной островной страны.

"Вечер может кончиться тем, что нам укажут на дверь", — подумал я и тут же сморозил еще одну бестактность, высказавшись по поводу марксизма, что он хорош только для установления диктатур на задворках мира, а в цивилизованных странах устарел...

Мне было бы неловко высказывать эти, с московской точки зрения, общие места, если бы не изумленные взгляды гостей Джулии.

Марксизм устарел?

Нет, нас не выставили за дверь, однако несколько гостей довольно выразительно посмотрели на хозяйку дома (кого, дескать, привела?), и Джулии ничего не оставалось, как пожать плечами.

В дальнейшем ужин проходил и завершился вполне светски. Употреблялись хорошие вина, креветки, сыры и салаты, обсуждались новые фильмы и книги, политики во избежание новых недоразумений больше не касались ни свои, ни чужие.

В светской беседе, между прочим, выяснилось, что у доброй половины этих американских интеллигентов дедушки и бабушки, а то и родители прибыли на этот материк из России. "В каком-то смысле, — подумал я, — их марксистские убеждения — вещь наследственная. Дедушки и бабушки привезли с собой свою антиимперскую и антибуржуазную "крамолу", и здесь она как бы законсервировалась. Как же можно усомниться в марксизме, если и папа в него верил, и дедушка?"

Глядя на этих приятных людей, внешне вроде бы таких уж "наших", а на самом деле совершенно глухих к нашим проблемам (как, возможно, и мы кажемся им глухими к их проблемам), я думал о той хитрой ловушке, в которой оказалась интеллигенция всего мира, об этой пресловутой "левой — правой" примитивке, разделившей людей по дурацким категориям, о наглом ее давлении, как бы полностью исключающем всякую возможность негоризонтального движения.

В конце семнадцатого века русский царь Алексей Михайлович начал формирование армии европейского образца. Вдруг выяснилось, что рекруты, деревенские пареньки, не знакомы с такими понятиями, как "левое" и "правое". Что делать, как направлять движение марширующих колонн? Какой-то фельдфебель придумал: на левое плечо солдатам под погон засовывали пучок сена, на правое — пучок соломы. "Сено!" — кричал фельдфебель, и рота поворачивалась налево. "Солома!" — и рота исправно двига-

лась в правом направлении. Таким образом абстрактные в контексте вселенной понятия получили вещественное наполнение. "Левая" и "правая" в современном мире лишены какого бы то ни было вещественного наполнения.

Однажды в Вашингтонском международном научном центре имени Вудро Вильсона мне случилось быть на докладе о польской "Солидарности". Это было за месяц до военного путча. Царил энтузиазм. Докладчик, только что вернувшийся из Варшавы, рассказывал о руководителях удивительного профсоюза, кто из них профессор, а кто сварщик, как они проводят дискуссии, и просто, как они живут, как одеваются и т.д.

Я тогда задал вопрос: а кем они себя считают, левыми или правыми? Вопрос этот озадачил докладчика, аудиторию да и меня самого.

В самом деле, кто они? Коммунистическая пресса называет их "правой контрреволюцией". Стало быть, те, кто им противостоит, "левые"? Эти партийные бонзы, окруженные стражей, перевозимые в бронированных лимузинах?

Покажите на кампусе американского университета и тех, и этих и задайте загадку: кто здесь "левый"? Не сомневаюсь, руки студентов потянутся к тем, кто похож на них самих, — к парням в замызганных джинсах и паршивеньких свитерках, дерзко смеющимся, с традиционной рогулькой V над головой.

Позвольте, позвольте, но какие же это "левые"? Молятся, кладут кресты, причащаются на коленях перед священником... Мда-с, не вполне марксистской веры эти товарищи... чем-то от них попахивает чуждым...

В Центре Вудро Вильсона разгорелся спор, в ходе которого решили, что "Солидарность" все-таки следует считать "левыми" или, точнее, "левыми правыми", хотя, может быть, и не столь "левыми", сколь "правыми" по сути... и "левыми"... тоже по сути. Тут время дискуссии истекло.

В мире в виде фона для вполне отчетливой и наглой политики царит терминологическая, семантическая, лингвистическая и эстетическая неразбериха.

В шестидесятые годы в СССР гуляла двусмысленная песенка: "Левый крайний, милый мой, ты играешь головой" — вроде бы про футболиста. Противостояли нам сталинцы во главе с Кочетовым, Грибачевым, Софроновым. Их почему-то называли "правыми", как бы объединяя таким образом с республиканцами в США и с "тори" в Англии, как бы ставя рядом жутчайшего банщика Грибачева и вполне приличного сэра Антони Идена. Московскому "левому" обществу Софронов казался правее генералиссимуса Франко. Мало кому приходила в голову абсурдность этой диспозиции, никто почему-то не думал, что для Франко сталинцы — "левые".

На Западе изгнанники с Востока нашли не так много друзей среди "левых". Привычно, из поколения в поколение, и отчасти комфортабельно в условиях демократии сопротивляясь капитализму, эти люди морщились, когда мы говорили о нашем жизненном опыте в антикапиталистическом обществе.

Неужели западный левый интеллигент уже частично втянут в систему тоталитаризма? Мы не хотели в это верить, не хотелось терять привычный романтический образ свободомыслящего чудака, бросающего вызов предрассудкам и филистерству. Все-таки в комплексе "левизны", казалось нам, идея личной свободы и чистой совести должна преобладать над идеологическими стереотипами...

Парижские "новые философы" оказались первыми среди тех, кто преодолел круг заклинаний. Все они пришли с баррикад Латинского квартала 1968 года для того, чтобы назвать себя "детьми Солженицына" и заявлять, что слово "справедливость" для них дороже двухмерного измерения.

А вашингтонские молодые консерваторы?.. Строгие костюмы с хорошо подобранными галстуками, пуговки вниз, волосики на пробор, наследственная "реакционная" мимика... "правые", тут уже не ошибешься, однако то, что движет сейчас этим направлением ума, а именно отрицание тоталитарного цинизма, роднит наших "preppies"[1] с парижскими бунтарями, да и с нами, изгнанниками.

---

[1] выпускники частных школ.

Ситуация, может быть, слегка прояснилась бы, если бы стало ясно, что ЦК — КГБ не имеет отношения ни к "левым", ни к "правым". Ошибетесь, судари мои, если и к "центру" их отпишете. Они находятся в других измерениях. Казалось бы, это очевидно, однако ситуация не проясняется.

Ситуация настолько темна, что позавидует "театр абсурда". Почему "левые" и "правые", а не "верхние" и не "нижние", не "внутренние" и не "внешние"? Почему мы всегда должны танцевать от печки, то есть от расположения кресел в каком-то старинном зале для заседаний? Может быть, даже забытое сейчас деление на "материалистов" и "идеалистов" внесло бы больше ясности. Пока что свифтовские "остроконечники" и "тупоконечники" спорят, а население спрашивает: где же наши яйца?

С темой "революции" в современном мире ежегодно происходят удивительные парадоксы, трансформации, перевертывание идей, понятий, зрительных образов. Символ левого движения, вдохновенный лик Че Гевары (после пяти рюмочек "дайкири" на борту конфискованной яхты) оборачивается растленной физиономией Муамара Каддафи или кабаньим рылом Иди Амина. Постоянно приходится сталкиваться с тем, что в американском языке с приятной точностью называется blockhead[1]. Благородное слово "либерал" нынче изрядно испохаблено марксистскими доктринерами. Стыдясь этого слова, левый интеллигент бодро прошагал в область "стройных общественных теорий", от которых за версту разит если не концлагерем, то казармой. В походке этого некогда свободного человека засквозила солдатчина.

Вот, скажем, нобелевский лауреат Габриель Гарсиа Маркес, талант и левак, левее некуда. Левее, если перегнуться, можно увидеть только живот его личного друга Фиделя Кастро.

---

[1] тупица.

Нобелевский комитет, награждая и определяя заслуги Маркеса, заявил, что он всегда "политически на стороне *бедных*", а также "против внутренних репрессий и иностранной экономической эксплуатации".

Казалось бы, как тут не поаплодировать, а про увлечение террористами можно и забыть: мало ли чем может увлечься романист? Хочется забыть... но, увы, вспоминается... экран московского телевизора и на нем Г.Г.Маркес, полный провинциального высокомерия.

— Я дал зарок, — вещал он, — ничего не печатать из своих художественных произведений, пока не падет жестокий режим Пиночета в Чили.

Аплодисменты. Кому приятна военная диктатура? И все-таки, товарищ Маркес, не лишайте человечество столь большого удовольствия, как чтение ваших романов. Он улыбается. Дальнейшее показало, что зарок был не так уж тверд.

В те дни десятки тысяч вьетнамских беженцев, "boat people", тонули в море, пытаясь спастись от новых коммунистических хозяев. Весь мир шумел об этом, и Маркес был спрошен московским телевизионным человеком:

— А что вы скажете, товарищ Маркес, по поводу шумихи, раздуваемой буржуазными средствами информации в связи с проблемой вьетнамских беженцев?

(Не исключаю, между прочим, лукавства со стороны советского телевизионщика: они не так просты.)

У Маркеса на лице появляются следы марксистского анализа. Он объясняет советским телезрителям:

— Это естественный процесс классовой революции. Проигравший класс должен исчезнуть, уступить свое место победителям.

Не правда ли, привлекательно звучит эта фраза в устах "политического сторонника бедных" и врага "внутренних репрессий"?

В Москве, помнится, многие тогда дали зарок ничего не читать маркесовского до падения коммунистов во Вьетнаме. В шутку, разумеется. К чести наших "либералов", надо сказать, что они еще не развили в себе маркесовской "звериной серьезности".

Все-таки нужно обладать какой-то особенной вульгарностью, для того, чтобы быть настолько заблокированным дешевой и *устаревшей* левой идеей. Увы, иногда такая вульгарность может сочетаться с художественным талантом.

Достоевский сказал, что ради "слезинки ребенка" можно пожертвовать счастьем человечества. Может быть, эта метафорическая "слезинка" как раз и есть то, что отведет писателя наших дней и от левой, и от правой самоцензуры...

ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ

Недавно мне удалось совершить путешествие в недалекое прошлое, а именно в милое всему нашему поколению десятилетие шестидесятых годов. Увы, это были все-таки не наши, не советские шестидесятые, а здешние, американские, но тем не менее все это было очень близко и даже лирично, напомнило мне поездку в Англию осенью 1967 года и другие поездки на Запад.

Я говорю о массовом празднике с куклами, который каждый год устраивается на холмах Северного Вермонта и называется "Bread & Puppet Show", что, собственно говоря, в перекличку с римской традицией означает "Хлеба и зрелищ". Народ сюда стекается со всей Новой Англии, из Бостона, Нью-Йорка и Вашингтона, можно заметить даже машины с номерными знаками далекого Юга и Дальнего Запада. Любопытно, что в толпе слышна не только английская, но и французская речь. Сначала я подумал, откуда здесь так много французских туристов, потом догадался — это были канадцы из франкоязычной провинции Квебек.

Мы отправились на праздник большой компанией: вермонтский житель, писатель Саша Соколов, его жена Карен, их соседи Барбара и Скип, израильтяне Нина и Александр Воронель и мы с женой. Прошу прощения, забыл упомянуть двухлетнего спаниеля по имени Ушик.

Собак вообще было множество, и вели себя они в толпе вполне непринужденно. Еще более непринужденно чув-

ствовали себя здесь крошечные дети. Иные из них ползали нагишом, ибо стояла жара. Собак кормили повсюду. Расползающихся детей передавали из рук в руки поближе к родителям.

В толпе преобладали те, кого очень условно можно обозначить термином "левая интеллигенция". Все напоминало обстановку подобных сборищ в конце шестидесятых и начале семидесятых годов: джинсы, длинные волосы, значки, гитары... Устаревшие идейные хиппи, надо сказать, довольно живучи в США и благополучно соседствуют с безыдейными панками. Молодежь, стареющая молодежь и совсем уже старая молодежь... Очень быстро возникла типичная для подобных ситуаций обстановка естественных, так сказать, отношений. К нашему пикнику подошла девушка и сказала:

— У вас тут, братцы, я вижу очень много пива, а у нас не хватает. Можно я возьму несколько банок?

Периодически приближался некий странствующий рыцарь и запросто, не спрашивая, прикладывался к нашей галлонной бутыли красного вина, одаривая окружающих вслед за тем смутной улыбкой, поблескивающей из зарослей его лица. Хлеб здесь всей многотысячной толпе выдают даром, это традиция праздника, и хлеб, надо сказать, очень вкусный, деревенский, из муки крупного помола. Бесплатно выдается также поджаренная кукуруза.

Праздники эти начались как раз на стыке шестидесятых и семидесятых, когда германский кукольник Питер Шуман осел в Вермонте. За это время его труппа "Хлеба и зрелищ" приобрела даже некоторую международную известность. Они гастролируют и в Европе, и в Латинской Америке, и в Индии, но штаб-квартира их по-прежнему остается на зеленых холмах Гловера, которые образуют здесь как бы естественный амфитеатр, в то время как подступающие к долине рощи образуют как бы естественные кулисы.

Когда приближаешься к месту действия и видишь эту долину, и многоцветную толпу, собравшуюся на склонах, и хвостатые флаги, расставленные на шестах, невольно думаешь: вот так в средние века, должно быть, выглядело поле боя перед какой-нибудь битвой Алой и Белой Розы.

Между тем то, что нас ждет, по отношению к войне носит совсем противоположный характер. Кукольные представления в Вермонте — это грандиозная пацифистская демонстрация. В устройстве ее принимают участие такие американские пацифистские организации, как "Корни травы", "Зеленый мир", да и сама труппа Питера Шумана известна как активная пацифистская колонна. Согласно раздававшимся информационным листочкам они как раз планировали серию выступлений в Европе против размещения там "першингов" и "крузов".

Вначале была чисто развлекательная, идеологически ненагруженная программа. Римский цирк — император, патриции, рабы, гладиаторы, дикие звери, пляски масок, кувыркания, песнопения, смешные декламации. Долина обладает удивительными акустическими качествами — без всяких микрофонов немудрящие тексты разносились по огромному пространству.

Затем, когда солнце стало уже склоняться к холмам, началось основное, антивоенное действо. Из леса появилась процессия в белых одеждах. Она несла огромную, этажа в три, куклу, символизирующую как бы солнце, то есть мирную жизнь. Кукла была установлена в центре амфитеатра, и вслед за тем фигурки в белых штанах и рубахах как бы улетали в соседнюю рощу. Из-за холма появился и спустился в ложбину большой духовой оркестр, тоже все в белом. В округе разлилась мирная деревенская музыка, и на проселочной дороге появилась другая процессия, несущая гигантскую супружескую кровать. В кровати, оказалось, возлежат Дед и Баба, трехэтажные мирные пейзане. Мало-помалу эти фигуры-символы стали подниматься из кровати и двигаться к центру долины, где белые фигурки уже устанавливали огромнейший стол, стул для Бабы и кресло-качалку для Деда. Засим появился чугунок, величиной с избу, в котором Баба начала варить Суп. Фигурки, танцуя, изображали картошку, лук, перец, порей, петрушку, пастернак, помидор, капусту и т.д. Все было мирно и чудно, когда началось нечто зловещее — вторжение абсурдных сил милитаризма. Из леса вывезли стилизованное чучело сверхзвукового истребителя-перехватчика,

верхом на котором сидел стилизованный человек-робот, военный бандит. Вспомнилась боевая советская песня тридцатых годов:

> Там, где пехота не пройдет, где бронепоезд не промчится,
> Тяжелый танк не проползет, там пролетит стальная птица.

Символ войны приблизился к символу мира и вторгся в мирную жизнь. Самолет и летчик разговаривали друг с другом неразборчивыми машинными командами на непонятном языке. Задним числом это напомнило демонстрировавшиеся в Совете Безопасности пленки электронного прослушивания, на которых ночные мазурики, пилоты SU, принимают команду сбить пассажирский самолет с двумястами шестьюдесятью девятью мирными людьми на борту.

От вторжения милитаризма Дед заскучал, а потом упал носом на стол, как будто от хорошей бутылки самогона. Бабка тоже отключилась, и Суп (с большой буквы) протух. Наивно, но убедительно, ничего не скажешь. Стальная птица продолжала разговаривать сама с собой, никаких эмоций не выражая. В этом, кстати говоря, видна характерная черта современных агрессоров: захватывая какую-нибудь очередную страну, они даже как бы и не радуются, как будто знают заранее, что на пользу не пойдет.

Злодеяние завершилось как раз перед заходом солнца, но вот, едва оно закатилось за круглые холмы, в ранних сумерках появились легкокрылые посланцы доброй воли — правильно, голуби мира! Один из них, как бы походя, сунул под стальную птицу толику огня, и чудовище сгорело, крякая, ухая и все еще продолжая отдавать механическим голосом команду самому себе.

Сумерки еще сгустились, и тут начался апофеоз — ленты, шары, светящиеся мотыльки. Проплыл торжественный Ковчег, символ спасения человечества.

Толпа побрела к своим бесчисленным автомобилям, запаркованным на несколько миль в округе. Все были довольны — и воздухом подышали, и искусством насладились, и сами были как бы участниками какого-то старинного действа, и посильный вклад внесли в дело предотвраще-

ния войны. Мы смотрели вокруг — неплохие в самом деле лица: ни жадности, ни хитрости, ни лукавства не написано на них. Скип и Барбара встретили одного знакомого из труппы "Бред энд паппит", молодого бородатого паренька. Паренек был возбужден. "Скоро едем в Европу протестовать против размещения "першингов" и "крузов", — сказал он. "А против других моделей ракет вы не собираетесь протестовать?" — спросили мы его. Он несколько смешался, но потом сказал, что протесты против восточных типов ракет — это дело восточной общественности. "Мы на Западе протестуем против западного милитаризма, а восточная общественность протестует против восточного милитаризма, — сказал он. — В Советском Союзе тоже существует большое движение сторонников мира". Мы посмотрели на его славное лицо и подумали, что от идеализма такого рода в наши дни уже попахивает какой-то мерзостью. "Дорогой Ник, вы смело можете считать советское движение сторонников мира частью вашего западного движения сторонников мира, потому что оно никогда не протестует против восточных ракет и ядерных боеголовок, а только лишь и всегда против западных ракет и боеголовок".

Ник был поражен. Неужели в Советском Союзе не существует независимого пацифизма? Мы тоже были несколько удивлены. Что же вы, Ник, дружище, газет не читаете? Ничего не знаете о "Группе за установление доверия", которую осмелилась организовать московская молодежь вне рамок тоталитарного и целиком подчиненного ведомству пропаганды Совета мира? Ничего не слышали, как навалилась на них каменным брюхом советская политическая полиция, как в течение короткого времени из полутора десятков основателей несколько человек оказались в "психушке", несколько в тюрьмах, иные принуждены были "раскаяться", иные эмигрировать?

Молодой человек был обескуражен и подавлен. "Неужели никогда в Советском Союзе не было вот такого, как наше, независимого от правительства "ралли"?" — спросил он.

Не нужно было особенно напрягать память, чтобы ответить на этот вопрос. Независимые от правительства "рал-

ли" и митинги в Советском Союзе немыслимы, как цветы на Северном полюсе.

Вдруг кто-то из нас воскликнул: "А ведь было однажды! Вспомните, братцы, сентябрь 1974 года и парк Измайлово!" И мы все вспомнили тут немыслимое событие в жизни Москвы, день, пробудивший столько надежд и вдохновений.

Тогда, после знаменитой "Бульдозерной выставки", на которой комсомольские дружины под охраной милиции жгли картины художников-нонконформистов, а бульдозеры в лучшем стиле сталинских танкистов наступали на зрителей, власти вдруг уступили и разрешили независимую выставку на поле служебного собаководства в парке Измайлово.

Стоял блаженный день бабьего лета, и несколько тысяч человек — неофициальная артистическая Москва — собрались на зеленых холмах, слегка напоминавших вот эти вермонтские, чтобы смотреть картины, шутить и ободрять смельчаков-художников.

Незабываемый день. Больше он никогда не повторился. Сейчас по крайней мере половина тех художников, устав от бесконечного тупого преследования, переселилась за границу, да и из толпы, наверное, треть отправилась туда же. И все-таки нельзя забыть то удивительное состояние доверия и надежды, что царило тогда в Измайлово.

Вот это, пожалуй, и был единственный истинный акт в защиту мира в Советском Союзе, сказали мы Нику, хотя на нем не упоминались ни атомные бомбы, ни ракеты. Что же касается всех этих тщательно разработанных и обеспеченных целой армией стукачей и агентов маршей, митингов и велопробегов, то они направлены на совсем противоположные цели — перехват пропагандистской инициативы и в конечном счете обман.

Вермонт... пейзаж... лица... что я могу этим людям доказать? Парадокс в том, что без их присутствия Америка не была бы Америкой.

ШТРИХИ К РОМАНУ "ГРУСТНЫЙ БЕБИ"

1980

Бойфренд Бернадетты, агент страховой компании Рэндолф Голенцо, прослышав о новом жильце, задумался о России, которую — он знал это достоверно — называют еще Советской Грузией. "Это страна огромной мощи, она расположена между Китаем и Германией. Не все русские — грузины, моя дорогая. Грузином был Никита Хрущев. Грузины — это элита страны, вроде как наши "осы" (WASPs)[1]. Но жалят сильнее, ха-ха-ха! В своих партийных синагогах они уже целое столетие обсуждают вопрос о грузинофикации Африки. Наивные люди возмущаются оккупацией Афганистана, но я не поручусь, что этот вопрос не был окончательно решен на совещании в Атланте, моя дорогая".

Водопроводчиком и надзирателем холодильных установок в "Пацифистских палисадах" работает беглый вьетнамский генерал Пхи весом не более ста фунтов. Гирлянда ключей и отверток побрякивает у него на поясе, который он носит по-ковбойски, на бедрах. Бернадетта Люкс сочувствует генералу. "Маленький Пхи отступал с оружием в руках", — говорит она своему Рэнди. Тот явно ревнует. "С оружием в руках надо наступать, ханни".

Часто можно видеть генерала в вестибюле возле стилизованного глобуса. В задумчивости он вращает миниатюрным пальчиком это чучело нашей планеты. Внимание его сосредоточено на Арктическом бассейне, что отчасти понятно.

Нельзя сказать, что окопавшийся в "Пацифистских палисадах" ГМР не сталкивается с жизнью "реальной Америки". Сталкивается ежедневно и ежедневно черпает определенную "пищу для обобщений". Вот несколько примеров.

---

[1] Игра слов: аббревиатура, обозначающая "белые англосаксонские протестанты", совпадает по написанию со словом "осы".

...Однажды утром сосед Robert Redford-look-alike[1] сказал своей жене Victoria Prinsipal-look-alike: "Всем ты хороша, дорогая, но запах изо рта у тебя невыносим. Ну-ка, прими таблеточку "Клорет". Видишь, действие мгновенное и надежное. Теперь твой ротик пахнет ароматом экзотических цветов, как тогда на Бермудах. Задерни шторки".

...На паркинге после делового дня сталкивается соседка Linda Evance-look-alike с соседкой Joan Collins-look-alike. "Вы что-то выглядите утомленной, душечка". — "Ах, слишком напряженный день. Сначала, разумеется, мой босс, потом двое приезжих из Огайо, за ленчем встретился партнер по теннису, а после работы я нередко заезжаю к французу-кондитеру..." — "Ах, душечка, вы устаете оттого, что не пользуетесь тампонами Freshcotton. Взгляните на меня — я совершенно свежа после семи "аппойнтменов"!"

...Смеркается. Обитатель пентхауса Burt Lancaster-look-alike со своим "лонг дринком" на своем балконе. Ласково, пожалуй, даже нежно, посматривает в глубь спальни, где его жена Schirley McLain-look-alike ублаготворяет дивное лицо свое благоуханным кремом Oil of Ole. "Время подчиняется этой тайне, — думает он. — Жаль только, что я сам не могу приобщиться к этой благодати".

...Пара холостячков бодро, как мальчики, встречаются поутру. "Все в порядке, Даг?" — спрашивает Burt Reynolds-look-alike. "Все в порядке, Стив! Сначала, как всегда, чесалось по-страшному, а после того, как последовал вашему совету с этим дивным Prep-H[2], все сошло, готов к новым подвигам!"

...Торговец автомобилями Lee Iacocca-look-alike по пятницам впадает в какое-то странное состояние.

— Все распродам по дешевке, когда я в таком странном состоянии! — кричит он.

— Ты нас разоришь, когда ты в таком странном состоянии! — кричит супруга.

---

[1] Точная копия Роберта Редфорда. Здесь и далее названы имена знаменитых американских актеров.

[2] Мазь от геморроя.

— Не исключено! — ревет он. — Спешите покупать мои автомобили, когда я в таком странном состоянии!

1955

Кронштадт, морская пехота

Морская крепость. Склянок звоны.
Гудит стальной левиафан.
Забыты дни, когда с амвона
Взывал Кронштадтский Иоанн.
Собор вместил дворец культуры,
Программу просвещенья масс,
И гарнизонные амуры
Гнездятся в помещеньях касс.
Афиш парад под вечер мглистый.
Любитель знаний входит в раж.
Вот лекция "Империялисты
Готовят атомный шантаж".
Обзор успехов Казахстана...
Животный мир полярных вод...
Певец приехал Глеб Романов,
Лауреат и патриот.
Седьмая рота Экипажа
В награду за большой успех
Черна, как утренняя сажа,
Парадом прется в зал потех.
Эх, зарубежной песни ноты!
Певец поет, как патефон.
Про то, что "беби" без работы
Паучьим долларом пленен.
Седьмая рота Экипажа,
К седьмому небу воспаря,
Забыв казарменную лажу,
Сосет водяру втихаря.
Сей культпоход за доблесть плата,
За службу верную, без дум,
За усмирение штрафбата
Крутыми пулями "дум-дум".
. . . . . .
Здесь к покаянию с амвона
Весь мир священник призывал,
Но гвардии матрос Семенов
Про это дело не слыхал.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В июне 1981-го мы снова собрались в путь и снова через всю страну, своим ходом — из Лос-Анджелеса в столицу нации. Срок моей "резиденции" в Южнокалифорнийском университете истек, а тут как раз Институт Кеннана при международном центре Вудро Вильсона пригласил на годичный "феллоушип".

Честно говоря, мы уже устали от скитаний. Хотелось осесть, можно было найти какой-нибудь заработок и в Калифорнии, однако мы почему-то даже и представить себе не могли, что останемся насовсем в этом блистательном городе, где "ягуары" и "роллс-ройсы" столь же заурядное явление, сколь мотоциклы в Москве или норковые шубы в Нью-Йорке, последние в свою очередь столь же в ходу, сколь кроликовые "под ондатру" шапки в Новосибирске, которые там так же привычны для глаз, как, скажем, велосипеды в Пекине, встречающиеся в этом городе, конечно же, не реже, чем "ягуары" и "роллс-ройсы" в Лос-Анджелесе; благодарю за внимание к этой замысловатой фразе.

Помимо глубинных эмоций вроде упомянутой уже "городской ностальгии", было нечто и более поверхностное, что отвлекало нас на Восток. Странным образом в этом городе (Лос-Анджелесе), где аккумулировано немало творческого потенциала, возникло ощущение отрыва от культуры, да и вообще от современной жизни. В 1975 году, когда я попал сюда впервые и ненадолго, я был увлечен мифологией Южной Калифорнии, не успел заметить ее реальности. После нескольких месяцев быта я стал ловить себя на том, что всячески стараюсь избежать прискорбной мысли — "живем в глубинке".

Даже кинообщество не убедило нас в обратном. Случайно попав раза два-три на голливудские "парти", мы были удивлены какой-то странной томительной деловитостью собравшегося артистического народа, которому вроде бы полагалось быть легким, раскованным, "заводным". Где же весь этот голливудский карнавал? Даже эрос как будто был

отчужден от этих сборищ. В глазах читался один лишь немой вопрос — бюджет.

В таких случаях, впрочем, всегда стараешься себя убедить, что ты не на ту "парти" попал, не на основную, что основные дела где-то идут своей дорогой. Я уже говорил о том, как трудно в Америке сшить подушку из обобщений. Не сошьешь себе подушки и из Лос-Анджелеса.

Так или иначе, собрались в дорогу и двинулись. Двинулись и пересекли: Калифорнию, Аризону, Юту, Колорадо, Канзас, Миссури, Иллинойс, Огайо, Западную Виргинию и Мэриленд. Пересекли и прибыли — в неотмеченный звездочкой на флаге дистрикт Колумбия. Въезжая сюда, мы еще не предполагали, что наша американская цыганщина завершается, что именно здесь мы и поселимся с претензией на оседлость.

Майя родилась в Москве, а я двадцать пять лет жил в столице, прежде чем меня из нее выгнали. В Лос-Анджелесе нам говорили: только не думайте, что Вашингтон — настоящая мировая столица. В некотором смысле это просто небольшой южный город. Сочувствуем от всей души, целый год провести в такой глухомани.

Не без содрогания мы представляли себе место, которое выглядит глухоманью по сравнению даже с вымершими улицами Лос-Анджелеса, на которых слышится лишь шорох тысячных шин, да из окон доносится бульканье "джакузи"[1].

Как ни странно, мне понравился Вашингтон с первого же дня. Какой-то комплексочек из эмигрантского букета комплексов был удовлетворен. Уж не столичный ли призыв, не причастность ли к империи?

Иные московские друзья плавают, как трепанги и каракатицы, в болотной воде нью-йоркского Сохо. Что касается меня, то я всегда подозревал в себе нехватку богемности. В официальных кварталах Вашингтона я вдруг обнаружил странную гармонию, которой мне как раз не хватало.

"Может быть, тебя тоска грызет по родной импе-

[1] Водяное устройство для массажа.

рии?“ — спросил нью-йоркский приятель. В перспективе сбалансированных современных контуров мне нравилось увидеть готику Святого Доминика. “Родную империю“ это как-то мало напоминало. “Родная империя“ скорее предпочла бы развалиться, чем поставить между своими министерствами и святынями абстрактные скульптуры, иные даже загадочно двигающиеся с некоторым застенчивым призывом к философскому восприятию жизни, то есть к отказу от безобразных имперских претензий.

Любопытно развивалась в Вашингтоне наша “городская ностальгия“. В поисках жилья мы поначалу отвергли престижный Джорджтаун. Викторианские домики нам тогда еще ничего не говорили. Мы поселились на Юго-Западе. Что ж, это разумно, говорили нам наши здешние друзья, разумно с точки зрения близости к Вильсоновскому центру. В самом деле, разумно, когда ищут жилье поблизости от Вильсоновского центра, хуже, когда Вильсоновский центр находят по принципу близости к дому. Задним числом, однако, мы поняли, что нашли этот район по принципу его безликости, то есть по принципу его похожести на иные жилые районы Москвы. Мы даже стали называть этот район на советский лад “Звездным городком“, так он напоминал офицерское поселение под Москвой, где обитают космонавты; многоквартирные дома, чистые пустые улицы, клумбы, эдакая функциональная жилая зона.

Круг вашингтонских знакомых тоже напоминал нам московскую жизнь: дипломаты, журналисты, специалисты по славистике и по изучению Советского Союза, то есть как раз те, кого мы у себя дома привыкли называть “американцами“ или “иностранцами“. Русские эмигранты, между прочим, во всех странах рассеяния полагают коренное население “иностранцами“. С комплексом великой нации самих себя вообразить чужеродным элементом — выше всяких сил.

В Вашингтоне, пожалуй, больше, чем где бы то ни было, американцев, говорящих по-русски, людей, тем или иным образом связанных с “русской темой“. В обществе принято даже щеголять русскими словечками (как в Москве английскими), вставлять в разговор разные “mezhdu

prochim" или "chudesno". Обозреватель Стив Розенфельд в статью о текущей политике, напечатанную в "Вашингтон пост", вставил красивое слово "задница", набранное кириллицей. Без преувеличения можно сказать, что это был праздничный день для всех русских читателей этого влиятельного органа.

На вашингтонских "парти" иной раз происходили удивительные встречи. Высокий дипломат вдруг обращается, словно старый московский приятель:

— Привет, Вася! Помнишь 1966 год?

— Помню, помню, это как раз тот самый, что наступил после 1965-го и закончился 1967-м?

— Неужели ты не помнишь, как в 1966-м весной мы пошли большой компанией на пасхальную службу в Новодевичий монастырь, а за нами все тащился бородатый субъект, и мы называли его к-г-битник?

Памятный год занимает свое место, и выплывает имя старого приятеля — Билл, сколько лет — сколько зим! Бесконечные "парти" наших первых месяцев в столице почти слились в одну сплошную "многопартийную систему". По гостеприимству вашингтонцы бьют даже калифорнийцев и приближаются к Грузии со столицей в Тифлисе (не путать с Атлантой). Грузинские же хлебосолы еще в отдаленные времена покорили меня заздравным тостом:

— Выпьем за нашего знаменитого писателя Напомни-Мне-Свою-Фамилию-Дорогой!

Вашингтонцы пока что постоянно напоминают друг другу, что они живут в столице нации, однако город развивается столь энергично, что вскоре, вероятно, не будет нужды в этих напоминаниях. Пока что близость Нью-Йорка придает теме "столичности" некоторую особую чувствительность. Однажды на большой "парти" общество было озадачено, когда один из гостей сказал, что на его вкус Нью-Йорк провинциален в сравнении с Вашингтоном. Ну, это уж слишком, сэр, попытались было урезонить дерзкого вашингтонца. Нью-Йорк все-таки мировой перекресток, там вся наша литература, весь театр, там рождаются моды, там все кипит... Дерзкий вашингтонец только лишь улыбался: скоро все поймут, *что* я имею в виду...

Соперничество двух столиц — знакомая русскому тема. Москва и Петербург долгое время были непримиримы. В 1905 году московские миллионеры даже подняли восстание (известное теперь как первая русская революция) против петербургских аристократов. Восстание было подавлено гвардейскими полками, но соперничество не прекратилось. Большевики предпочли Москву, поскольку она подальше от границы. Помпезность великого византийского города соединилась с крикливой безвкусицей коммунистического самовосхваления. Нынче, впрочем, многие ученые считают, что обратный перенос русской столицы из Москвы в Петербург неизбежен.

В Америке, к счастью, до таких метаний дело не доходит. Спор идет, как я понимаю, лишь о переносе столичного настроения.

В Вашингтоне на самом деле есть места, где напоминай — не напоминай, все равно не поверишь, что находишься в столице Америки, а стало быть, и всего "свободного мира", а стало быть, и всего современного человечества. Полуразвалившиеся низкие домишки, свисающие над ущербной мостовой вялые ветви пыльных деревьев... пыльный ржавый блюз Богом забытого Юга... Все это, однако, отодвигается все дальше и дальше от сердца города, уступает место новой столичной архитектуре, столичному ритму, меняющему даже походку горожан.

Изменения происходили на наших глазах. В даунтауне вырастали дома с зеркальными стенами. Вдруг исчезали целые районы трущоб. Прибрежный район Джорджтауна день за днем превращался в стильный, полный какого-то особого, может быть, даже приключенческого духа "плейграунд" наподобие Гринвич-виллидж (только лучше) или Латинского квартала (пока еще хуже). Вокруг "Дюпон-серкла" плодились кафе парижского стиля со столиками на тротуарах.

На глазах менялся и образ жизни города. Объехав много американских городов, могу сказать, что в Вашингтоне нынче самая оживленная уличная дневная и вечерняя жизнь. Как-то мы оказались после десяти вечера в даунтауне на перекрестке М-19 вместе с поэтом Биллом Смитом.

Билл несколько лет назад жил в Вашингтоне, будучи штатным поэтом при Библиотеке Конгресса. Теперь он стоял на перекрестке и разводил руками. Не могу узнать этот город. В прежние времена по ночам тут только кошки бегали, да изредка темные тени появлялись и прятались, боясь друг дружку. А сейчас, позвольте, да это же просто Сен-Жермен де Пре...

И впрямь, по проезжей части двух улиц медленно двигался поток машин, по тротуарам поток людей. Все столики в открытых кафе были заняты, а в singles-bar "Rumours"[1] стояла большая очередь молодежи. Это местечко, где еще недавно мухи дохли на лету от скуки, стало настолько популярным, что открыло филиал несколькими кварталами ниже. Между главными "Слухами" и дополнительными, минуя десятки других ресторанчиков, курсирует "шатл".

В принципе достаточно построить в городе хоть одно здание с такими острыми углами, как у восточного крыла Национальной галереи, чтобы в нем стала расцветать космополитическая столичность.

Не хватает еще своих Елисейских Полей, но и они на подходе: завершается реконструкция Пенсильвания-авеню — плиточные тротуары, фонтаны, стекло, реставрированная старина вроде Старой городской почты или отеля "Виллард".

Для парадов достаточно будет места, но вот удастся ли вдохнуть в эту улицу, столь великолепно завершающуюся Капитолием, "елисейскую" жизнь, — это пока что под вопросом.

Пока что можно сказать, что от прежнего провинциализма в Вашингтоне в основном остался только его отвратительный климат, провинциально липкая влажность воздуха. Увы, для столицы в свое время была отведена самая влажная, глухая и заросшая часть нового континента. Может быть, и в климате теперь прибавится космополитического ветерка.

Разумеется, все в Вашингтоне пахнет политикой, даже чужак очень быстро улавливает ее запах. Среди "джогге-

---

[1] Бар для неженатых и незамужних "Слухи".

ров", трясущих вдоль Мола, нет-нет да замечаешь лица TV-звезд, политических комментаторов и конгрессменов. Деятелей такого масштаба в Москве без штанов не увидите: они предпочитают перемещаться в лимузинах с задернутыми кремовыми шторами окнами. Любопытно наблюдать, как в толпе перед концертом в Центре Кеннеди происходят политические перемещения. Второй помощник, скажем, третьего подсекретаря элегантно дрейфует по направлению к старшему заместителю младшего менеджера. В китайском ресторане за соседним столиком вы рискуете услышать разговор об экономических санкциях против режима Ярузельского. На "парти" в джорджтаунском доме разговор может легко соскользнуть на сравнительную стоимость американского танка (в рублях) и советского (в долларах). В этом последнем случае к вам обязательно обратятся как к эксперту, и вам ничего не останется, как посоветовать интересующимся джентльменам либо взять на вооружение курс черного рынка, где за один доллар идет четыре рубля, либо пересчитать сравнительную стоимость танков по стоимости джинсов.

Таков этот город. Вот дом, где обсуждают полеты Space Shuttle, вот дом, где печатают доллары, вот дом, где все эти доллары считают, вот отель, ночной сторож которого может записать на свой счет захват трех стран и избиение коммунистами одной трети населения Камбоджи, вот стена крупной каменной кладки, прижавшись к которой подозрительный "Ромео" новой формации ждал президента...

My God, катя по фривэю, ты видишь дорожные знаки "Пентагон" или "ЦРУ". В Советском Союзе этими словами пугают детей, а здесь это всего лишь выходы с фривэя.

СОСЕД

Жизнь в Америке развивает в человеке особого рода дух соседства, связанный, очевидно, с пилигримской традицией, с форпостами европейцев на незнакомом континенте. Вот и я научился симпатизировать тем, кто живет поблизо-

сти. Есть тут у меня сосед, можно сказать, притча во языцех по всему миру. Повсюду его вспоминают, и не всегда добрым словом: несдержан, мол, на язык, жестковат, ничего, мол, удивительного — ковбойское прошлое. Мистеры Г. и Ч. в отдаленных краях, те так просто ярятся при его имени. А вот для меня он прежде всего сосед, а это важнее всего остального.

Вот иной раз под вечер некая Морин Баньян, особа известная в околотке тем, что ежедневно в 6 часов рассказывает "что, где, как, зачем", но никогда не говорит "почему", то есть не обобщает, сообщает про нашего соседа, что он только что вернулся из очередного путешествия. Сосед выходит из самолета и первым делом смотрит, откуда на него направлена кинокамера; профессиональная привычка — вторая натура. Мы с женой, конечно, как и все остальные обыватели, пытаемся сделать выводы — еще больше постарел или еще глубже помолодел? Сосед никогда не забудет бросить на ходу по дорожке от самолета до вертолета пару оптимистических фраз; вот этим он мне определенно нравится.

Мы едем в кино по улице Конституции, а он как раз перелетает эту магистраль по направлению к своему дому. Живот его вертолета скользит над нами, а если вовремя загорится красный свет, можно увидеть, как летательная машина садится на зеленую траву возле белых колонн. Сосед выходит, салют всему миру, и домой — на боковую! Работа у него нелегкая, но "лаун" перед домом, надо признать, всегда в хорошем состоянии.

Вопрос такого соседства, как ни странно, весьма интересует моего московского друга, внутреннего эмигранта Фила Фофаноффа, с которым мы переписываемся из Москвы в Вашингтон и обратно посредством почтовых голубей.

Знаешь, пишет мне Фил, *мой* сосед очень зол на *твоего* соседа. Понимаешь ли, он разозлился сразу же после того, как твой сосед перешел в нынешний дом, что нынче по соседству с тобой, и заявил во всеуслышание, что мой сосед всегда все врет, что ему нельзя верить на слово, что он резервирует за собой право на любое хамство. Такого раньше про моего соседа никто не говорил (странно, неужели

не замечали?), и потому он ужасно обиделся, как будто был оскорблен в лучших чувствах, и теперь всему миру несет, что твой сосед — грубый, нехороший человек, реакционер.

Мы здесь, в Москве (надеюсь, не забыл), привыкли к тому, что нас уже давно и стойко тошнит от нашего соседа. Как еще относиться к тому, кто вечно вваливается в твою личную жизнь и командует, какую картину на стенку повесить, какую книгу читать, а какую нельзя, каких гостей принимать, а каким от ворот поворот. А вот скажи, Василий, как обстоит дело в Америке, где, как ты говоришь, столь развит дух соседства?

Мне мой сосед, отвечаю я другу, вообрази, Фил, совсем не мешает.

Ну, хорошо, пишет Фофанофф, внутренний советский эмигрант, а не мешает ли тебе этот "дух соседства" смотреть на твоего соседа критически? Замечаешь ли ты, например, что он довольно жилист, довольно стар?

Эх, признаюсь, отвык я уже от московской диссидентщины. Что ж, отвечаю, Фил, готов признать, что мой сосед немолод и довольно морщинист, и пуля у него побывала в боку, однако на лошади, смею уверить, скачет он довольно лихо.

Проходит первый вашингтонский год, и мы все больше убеждаемся, что этот город в нашем вкусе. Мы оставляем наше временное пристанище на Юго-Западе и переезжаем в более постоянное, в двухэтажный пентхаус на холм Адамс-Морган с видом на крыши столицы. Вся американская демократия перед нами — Капитолий, Монумент Вашингтона, памятник Линкольну. Лучшего места не найти для созерцания фейерверков 4 июля.

Что ж, говорим мы себе, ничего особенного не произошло: как жили в столице, так и живем в столице, в самом деле ничего особенного, просто-напросто — Capital Shift[1].

---

[1] Смена столиц.

FLAG TOWER (ФЛАГ-БАШНЯ)

Смитсоновский замок в центре Мола не показался мне незнакомым. Он, очевидно, относится к тому типу зданий, что застревают в памяти при разглядывании почтовых открыток и туристических буклетов, хоть и не обращаешь на них особого внимания. Я только лишний раз подумал о поворотах судьбы: если бы мне сказали еще пару лет назад, что я буду здесь работать, да еще и сидеть в главной башне этого странного сооружения, идея показалась бы мне не менее вздорной, чем предложение написать роман в Спасской башне Кремля.

В Вильсоновском центре работают ученые и писатели со всего мира, каждому здесь дают кабинет, пишущую машинку, помощницу для исследований и достаточное количество долларов для умеренного пропитания во время работы. Народ трудится, спектр тем широк: ну, например, "Зависимость колебания цен на табак в Австралии от устойчивости цен на рис в Бразилии" или "Сравнение общественного поведения и моды молодежи в России шестидесятых годов прошлого века с шестидесятыми годами этого века в Америке". Иной раз попадают в научную среду и романисты, привносящие в исследовательский процесс еще большую иррациональность. Я, например, подал заявку на проект под названием "Бумажный пейзаж", роман о том, как под влиянием бумажных делопроизводств у жителя советской империи Велосипедова, помимо его физического тела, его астральной сути и его души, возникло еще четвертое, *бумажное* тело, которое и расположилось в кулуарах бумажного пейзажа. Явившийся с таким проектом в научное учреждение в принципе не должен ни удивляться, ни обижаться, если ему укажут на дверь. Вместо этого меня отправили в башню: терпимости американского академического мира нет границ.

В этом узком сооружении с часами и флагом один над другим располагались три офиса. Мой был в середине, подо мной сидел француз, надо мной китаец. Я не знал, о чем они пишут, но предполагал, что что-нибудь близкое "Бу-

мажному пейзажу", что-нибудь о построении социализма во Франции и капитализма в Китайской Народной Республике.

Передвижение вверх и вниз осуществлялось при помощи древнего лифта с раздвижными дверцами. Сидящая у подножия башни Лиз Диксон уверяла, что это самая надежная машина в своем роде, однако каждый раз, поднимаясь на лифте в свой офис, я думал о ядерной войне. На всякий пожарный случай в полу каждого офиса и соответственно в потолке каждого нижеследующего был проделан люк, то есть в случае ядерной войны китаец должен был свалиться мне на голову, а потом мы с ним вместе на голову французу.

Шутки в сторону, год, проведенный в Институте Кеннана при Вильсоновском научном центре, оказался приятным, плодотворным и интересным. Замечательно находиться там, где ты никому не жмешь на мозоль, где и тебя никто не теснит, приятно быть целый год в обществе милых, интеллигентных людей, в меру любопытных, но никогда не нахальных, привыкших к космополитической пестроте вокруг и к звучанию имен, диковатых англоухому персоналу.

С директором центра историком Джимом Биллингтоном мы были, как ни странно, знакомы уже шестнадцать лет. В 1965 году в тридцатиградусный мороз в Москве появился высокий краснощекий профессор в тонком черном пальто, оксфордском шарфе и светлой кепке, которую он называл "всесезонной" и которая, кажется, и в самом деле подходила для всех сезонов, кроме текущего.

Морозный пар сопровождал наши прогулки по Москве. Я отдал Джиму одну из своих бесчисленных меховых шапок, он подарил мне свою кепку. Уезжая, он показал мне большой чемодан и сказал, что там лежит рукопись его капитального труда по истории русской культуры "Икона и топор". Чтобы не быть голословным, он открыл чемодан и вытащил ворох страниц. Порыв морозного ветра вырвал ворох из его рук и закружил в воздухе над памятником основателю научного коммунизма Карлу Марксу. Мы прыгали с Джимом, пытаясь спасти труд, вырвать его из пасти безжа-

лостной русской зимы. Марджори Биллингтон и трое маленьких детей с интересом следили за этой, пожалуй, символической сценой.

Любопытна судьба головного убора, который я в духе того десятилетия называл "Всепогодной Кепкой имени Джеймса Биллингтона". В самом начале Пражской весны, когда только-только еще началась капель с крыш, я подарил ее пианисту в пражском баре "Ялта" — очень уж хорошо играл. Пианист подарил ее скандинавскому саксофонисту, тот кому-то еще, кепка побывала в нескольких странах, прежде чем вернулась ко мне в Москву с запиской от японского борца дзюдо. Потом ее сорвало у меня с головы ураганным ветром на острове Сааремаа в Балтийском море.

Ни Джим, ни Марджори за истекшие шестнадцать лет не постарели, а вот трое их детишек подверглись сильному воздействию времени, превратившись в высоких и умных студентов.

Институт Кеннана при Вильсоновском центре занимается "продвинутым изучением России и Восточной Европы". Три комнаты и библиотека с овальным столом; в наличии все эмигрантские и советские издания. Чтение "Правды", как сказал парижский писатель Виктор Некрасов, — это хорошее лекарство от ностальгии. Еще лучшее средство от этой напасти — визиты советских научных гостей и дипломатов с их скованными осторожными повадками. Один из них, мой в прошлом неплохой приятель, сидел на семинаре в двух метрах от меня, однако не замечал меня до такой степени, что я даже стал ощущать некоторую бесплотность.

Директор Института Кеннана в тот год, профессор Глисон, что ни неделя, собирался в дорогу "поднимать фонды", иными словами, клянчить деньги. Это довольно привычное для любого американского начинания дело оказалось для меня сущим сюрпризом. В СССР выпрашивание денег представляется, разумеется, делом зазорным. Впрочем, там и клянчить-то не у кого, только лишь у государства. Разветвленная система частных фондов, грантов, по-

жертвований — явление совершенно необычное для пришельца из СССР, и я, честно говоря, не без изумления наблюдал, как иные из бывших соотечественников быстро к этому явлению приспосабливались.

В мою бытность в Вильсоновском центре мир социализма был представлен двумя персонами, причем обе были окружены какими-то облачками двусмысленности. Одна из персон, профессор Варшавского университета, после военного путча в декабре 1981 года, пребывал в некоторой растерянности — кем себя считать, по-прежнему обычным визитером или политическим эмигрантом.

Второй соцперсоной был мой сосед по Флаг-башне, видный работник министерства иностранных дел КНР. Что с китайцами нынче происходит — ума не приложу! Вчерашние "синие муравьи" азиатского коммунизма цивилизуются в темпе "Великого скачка". Своего соседа я впервые увидел на коктейле. Облаченный в элегантный костюм от "Братьев Брукс", он с конфуцианской невозмутимостью попивал шерри "Бристольские сливки". Директор представил ему меня и заметил, что я был лишен советского гражданства за мои книги. Похоже, что он ставил некоторый эксперимент: проверим, мол, какова будет реакция китайца. На невозмутимом лице соцперсоны появились следы благородной эмоции. Дипломат и, конечно, крупный партиец, он выразил мне сочувствие, а попутно и недоумение в связи с бессмысленным актом, словом, он повел себя так, будто у него за плечами Британский парламент или по крайней мере Российская Государственная Дума третьего созыва.

Ритуал распития шерри в "Ротонде" — составная часть вильсоновского процесса. Ежедневно в полдень сотрудники и коллеги — "феллоуз" — собираются здесь, образуя более-менее кругловатую (что более-менее естественно для "Ротонды") толпу. В центре этой сравнительно круглой толпы имеется отчетливо круглый столик, на нем — бутылки шерри и пластиковые стаканчики.

Русский ученый-эмигрант, случайно оказавшийся на одном из таких сборищ, в изумлении спрашивает меня, что все это означает. "Час шерри", — отвечаю я и на правах

старожила объясняю новичку британскую традицию употребления напитка шерри.

"Вот так они доупотребляются шерри", — с философским пессимизмом вздыхает бывший советский специалист. Еще недавно он работал в каком-то институте АН СССР и исправно посещал партсобрания, на которых шерри явно не подносят, а теперь крепче антикоммуниста не найдешь. "Вот так они доиграются! — продолжает он. — В такое тревожное время, когда тоталитаризм надвигается на нас отовсюду, они стоят себе, болтают и попивают шерри". Успокойтесь, сударь, увещеваю я его, ведь это в самом деле всего лишь маленькая традиция, далеко не столь существенная, как первомайская демонстрация трудящихся СССР. Кончится час шерри, и вся компания немедленно разойдется по кабинетам чистить дедовские карабины. Тоталитаризм не пройдет!

Надо сказать, что критиканское и даже несколько пренебрежительное отношение к американской академической жизни имеет хождение среди эмигрантов-интеллектуалов, особенно среди тех, которым еще недавно за железным занавесом все американское казалось образцом экстра-класса.

Я говорю в данном случае о славистике и об изучении политики Советского Союза и коммунизма. Иные эмигранты думают, что американцы "ни черта не понимают", что они "дико наивны", что у них даже не хватает сообразительности прислушаться к их, эмигрантов, мудрым советам.

Между тем за год, проведенный в Институте Кеннана, да и вообще будучи постоянно связанным с "комьюнити" американских славистов, я пришел совсем к другим выводам.

Что касается американской славистики, то она по своему размаху, безусловно, является сильнейшей в мире, включая, как это ни странно звучит, и Советской Союз. Далеко не всегда эта разветвленная структура "славянских" департаментов при университетах, языковых школ и центров может похвастаться глубиной исследований или качеством преподавания, но по своей широте она не имеет равных в мире. Съезд всеамериканской ассоциации слави-

стов AAA SS в вашингтонском отеле "Кэпитал Хилтон" напоминал конвент Демократической партии.

Среди эмигрантов (да и не только среди них) распространено мнение, что американская советология ниже уровнем по сравнению с советской американистикой. Я склонен предположить обратное.

На протяжении года я каждую среду слушал в Вильсоновском центре доклады о делах Советского Союза. Московскому Институту США и Канады можно только мечтать о разносторонности американских исследований, не говоря уже об их беспристрастности. Толковые "всезнайки" из этого института скованы идеологическими ограничениями, невозможностью путешествовать (иные из них никогда по причине неполной благонадежности не посещали США), а главное — необходимостью подготовки *той* информации, какую от них *ждут* в Центральном Комитете.

Главным ограничением для американских исследователей Советского Союза является стоящая на грани идиотизма советская секретность. Буквой "N" в прессе СССР обычно обозначается то, что не разрешается называть по имени. Сатирики Ильф и Петров когда-то писали: "Мы сидим в Ялте, на берегу N-ского моря". Американские исследователи умудряются все же проникать и в эти N-ские сферы, а самое главное, что и "секретность" сама по себе становится темой академического изучения.

В принципе можно считать, что ни одна сторона ничего не знает о другой, но американское незнание все-таки выглядит активнее по сравнению с советским.

Итак, я провел год в этом несколько загадочном здании из красного кирпича с витражами, башенками и пущенным по стенам плющом. В конце концов китаец завершил свою работу и уехал в Пекин, француз отправился в Париж, и я, поставив точку в "Бумажном пейзаже", стал собирать свои манатки, предполагая покинуть центр, но остаться в Вашингтоне на оседлом местожительстве. Тут как раз секретарша центра Френи Хант сказала мне, что в Флаг-башне постоянно находится еще один обитатель. Его "офис",

если можно так выразиться, располагается выше всех других, на чердаке башни. Это, собственно говоря, старая сова, сказала миссис Хант. Говорят, что она прилетела сюда с юга, когда это здание построили, то есть сто пятьдесят лет назад, и с тех пор покидает башню только по ночам, чтобы полетать над Вашингтоном.

В самом деле, ночью, когда флаг сильно хлопает под южным ветром, можно увидеть старика, выбирающегося из амбразуры и плюхающегося в воздушный поток. По всей вероятности, это самый "продвинутый" мыслитель международного центра, а может быть, и всего дистрикта Колумбия.

МНОГОПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА

В пятницу вечером мы, как обычно, отправляемся на "парти"; на этот раз в Джорджтаун, на улицу "О". Мистер и миссис Бенджамен Реджинальд Купер-Кларк (!) запрашивают удовольствие, выражающееся в нашем присутствии на их вечере.

Майя обычно замолкает, когда я начинаю искать парковку в пятницу вечером. Чтобы вдребезги не разругаться, лучше молчать, говорит она. Все-таки в какой-то момент она обычно не выдерживает и говорит: "Почему нельзя было вызвать такси?" Как раз в этот самый момент я нахожу какую-нибудь "дырку" и паркуюсь.

По кирпичикам улицы "О" под столетними деревьями цокали каблучки дам и щелкали подошвы кавалеров. В поле зрения было по крайней мере три ярко освещенных проезда, в которых принимали гостей. Группа людей в смокингах заворачивала за угол. Повсюду "парти"! Мы нашли "нашу" и попали сразу в гостеприимные руки хозяев. "Добро пожаловать!" — "Как поживаете?" — "Выглядите отлично!" Хозяин, взяв под локоть, отвел меня в сторону: "Ну, как вам все это нравится?" — спросил он, подмигивая и бровями показывая направление — куда-то на юго-восток, кажется, в правительственные сферы. "Невероят-

но", — сказал я. "Вот именно", — сказал он. Разговаривая, он все время смотрел мимо моего уха. "Сейчас я вас представлю нашему таланту". Тут вошли новые гости, он извинился, и мы встретились с Майей.

— Ты уверен, что мы на *нашей* "парти"? — спросила она.

— Конечно, — сказал я. — Вон, посмотри, стоят Грэг и Найди, вон Мэл жует, а вот и княжна Трубецкая пьет пиво!.. Это, конечно, наша "толпа", только мы многих здесь еще не знаем.

Гости, очень плотно заполнив гостиную, столовую и кухню, работали дружно, коллективом не менее шестидесяти персон. Стоял концентрированный и напористый, не ослабевающий ни на минуту гул.

Мы выпили белого вина, положили себе на тарелки крекеры, сыр, морковь, порей, редис, картофель, салат, шлепнули по ложке соуса и стали дрейфовать к стене, чтобы там, обезопасив себе хотя бы один фланг, спокойно употребить указанные выше продукты.

Едва мы прикоснулись плечами к стене, как к нам приблизился пожилой элегантный господин и сказал, что он чрезвычайно рад наконец-то с нами познакомиться.

— Вы, наверное, будете удивлены, как я вас узнал. Однако нет ничего проще, сэр. Я видел ваше фото в журнале, и оно мне запомнилось. Прекрасный был снимок, очень впечатляющий, а ваша собака — просто прелесть.

— Собака, сэр? — я пришел в некоторое замешательство.

С одной стороны, наша собака Ушик вполне заслужила слово "прелесть", но с другой стороны, я еще не фотографировался с ней для журналов. Может быть, любезнейший американский джентльмен просто ошибся?

— Нет, нет, — запротестовал он. — Прекрасно помню, у вас была собака на коленях.

Мы заговорили с женой на свойственном нам языке. "У тебя на коленях, кажется, была книга, — сказала она. — Может быть, на обложке книги была собака?"

Наш собеседник с уважением внимал звукам незнакомой речи. Тут кто-то еще подошел, и он представил нас

как уважаемых голландских гостей... м-м-м... фамилию малость подзабыл.

Пришлось его обескуражить.

— Прошу покорно извинить, сэр, но я не голландец, а русский.

Теперь его смущению не было конца.

— Позвольте, но вы говорили с вашей женой по-голландски, не так ли?

— Ни в коем случае. Мы и разговариваем по-русски. Она тоже относится к этому племени.

— Но почему же я вас принял за голландцев? — продолжал недоумевать наш собеседник.

— Ничего удивительного. У русских с голландцами много общего. Во-первых, наши языки отличаются от английского, а во-вторых, они научили нас строить корабли.

В этот момент в глубине гостиной бухнули дубинкой в гонг, хозяин призвал гостей к вниманию, и сразу все выяснилось. Оказалось, что это прием в честь голландца...

— Вот почему я вас принял за голландца, — с милейшей улыбкой шепнул мне на ухо недавний собеседник.

Голландец Эразм Роттербум, лауреат премии нефтяной компании "Эссо", оказался почетным гостем этого вечера.

Поднявшись на маленькую платформу, он поблагодарил за внимание, потом стал рассказывать о своих достижениях и слегка поиграл на скрипке.

Майя бросала на меня боковые взгляды.

— Удивительная все-таки страна, эта Голландия, — сказал я ей. — Хоть и расположена ниже уровня моря, а какой огромный внесла вклад в историю цивилизации: мельницы, коньки, каналы, тюльпаны, торговля, мореплавание, вот этот наш скрипач, наконец... Ведь именно в Голландии нашего Генерального секретаря Петра Великого обучили разным наукам, по слухам, и "наукам страсти нежной"... Достойно сожаления, что русско-голландские связи за последние 250 лет так ослабли. Когда-то ведь наши земляки ездили туда не реже, чем нынче в Венгерскую Народную Республику.

— Все это так, — сказала Майя, — но какое это имеет отношение к *нашему* приему?

Дождавшись очередных аплодисментов в адрес Эразма Роттербума, мы вышли на улицу "О".

— Наверное, произошла ошибка в нумерации, — сказал я. — Должно быть, наш прием происходит вон в том доме с двумя маленькими колоннами и двумя крылатыми псами на крыльце. Видишь, как раз туда направляется наш знакомый контр-адмирал Т.

Мы прошли сотню ярдов вниз по улице "О" и вошли в дом. Здесь среди гостей преобладали дамы бальзаковского возраста. Казалось, в воздухе пахнет кружевным полотном. Мы успели к выносу главного блюда — жиго с бобами в отменном французском стиле. Я поинтересовался у соседней дамы, где же здесь мистер и миссис Купер-Кларк.

— Зови меня Лу, друг, — сказала дама и похлопала меня по плечу. — Право, не знаю, где сейчас старина Купи и крошка Клэр.

Похолодев, я подумал — уж не попали ли мы опять на *не ту* "парти"? Жена призналась, что испытывает такое же чувство, и если бы не присутствие контр-адмирала Т., а также Грэга и Найди, Мэла Дершковица и княжны Трубецкой, то есть все-таки людей из "нашей толпы", она бы в панике убежала домой.

— Что же? — сказала Лу. — Все остается в силе, фолкс?

— Пока что тянем, — неопределенно промычал я.

— Давай, давай, друг, без всяких "пока что", — дерзко, как девушка эпохи буги-вуги, подмигнула она. — Клянусь, не пожалеете! Будем купаться голышом! А как там у вас, в Квебеке?

Жуя жантильное жиго, мы заметили на левой груди нашей собеседницы карточку с надписью: "Лу Смайли. Поцелуй в Лыхайне!" Оглядевшись, мы увидели, что подобные карточки украшают груди и других дам: "Дорис Гарбовски. Смотри в оба, люби до гроба", "Нэнси Тарантайн. На перевале судьбы", "Кэнди Амбиваленштейн. По зову сердца"... Что-то совсем уже комсомольское. Прислушавшись, мы поняли, что находимся среди участников всеамериканской конференции писателей романтического направления.

...На третью "парти" мы успели к десерту. Здесь мы

сразу поняли, что попали *не туда*. Было очень тихо. Общество утопало в креслах. Один лакей катал тележку с тортами, другой обносил ликером. Люди "нашей толпы", Грэг с Найди, Мэл Дершковиц, княжна Трубецкая и контр-адмирал Т., жуя "чиз-кейк", облизывая муссы и заглатывая взбитые сливки, толпились поближе к выходу.

— Это опять не наши, господа, — говорил, потряхивая седыми бровями, адмирал. — Пехота. Общество покорителей Килиманджаро с восточной стороны.

Сдается мне, что мы все запутались в алфавите. Нам нужна не улица "О", а улица "Q"... Точно такой же кружок, но сбоку у него болтается хвостик.

ШТРИХИ К РОМАНУ "ГРУСТНЫЙ БЕБИ"

1975

Сочи. Будущий калифорниец Лева Грошкин "еще в Союзе" решил: никогда не постарею! Глупо как-то получается — из молодого превращаться в старого. Буду против этого бороться, заброшу все, но не постарею, потому что это несправедливо — терять молодость!

"Главное — четко следить за своими рефлексами, ни одному рефлексу не позволять загнивания", — объяснял Лева герою романа "Грустный беби", с которым вместе бегал вдоль сочинской набережной под лозунгом Брежнева "Здоровье каждого — здоровье всех!" Два будущих американца совершали ежедневный забег посреди сугубо советской толпы.

— Здесь я в принципе не задержусь, — откровенничал на бегу Лев. — Слиняю в Америку. Там люди умеют не стареть. Профессор Соутуспик, например, женился на правнучке своего одноклассника, и она родила ему двух малышей.

— А вам сколько лет, Лева?

— Это неважно. Главное, чтобы рефлексы не ржавели.

— Борода у вас случайно не седеет?

Случайный удар по больному месту. Лева раздраженно хмурится, сразу как-то стареет, однако берет себя в руки и улыбается усредненно молодой улыбкой.

— Никаких сведений о бороде, попросту не видел ее никогда. Усы вот густы и пшеничны.

— Are you comfortable in English?[1]

— Это лишнее! — махнул рукой Лева.

1980

Отвечающему за охлаждение воздуха в кондоминиуме "Пацифистские палисады" генералу Пхи менеджер Бернадетта Люкс иногда представлялась чем-то вроде Гренландии, а в те моменты, когда ему удавалось пристроиться к ее тылу, размеры могучей дамы как бы уже выходили за грань обычной физики и принимали символический характер.

Нуклеарным холодком веяло из шахт и кулуаров, склоны поверхностей золотились, будто глетчеры под лучами вечернего солнца, тяжелые "маммарии"[2], ложась в тонкие ручки генерала, жгли смуглую кожу, как лед. "Кулинг, — приговаривал он, — джаста кулинг"[3]... Пхи принадлежал к международному поколению "обожженных" и очень нуждался в прохладе.

Рэнди Голенцо с трубкой в зубах с галереи созерцал это в целом-то совсем неплохое дело. Почему, черт, не произошло такой гармонии на поле брани?

1953

Март. Студенческая местность близ "Казань юниверсити". Двадцатилетние оболтусы Филимон, Спиридон, Парамон и Евтихий на койках в наемной комнате своего дикого быта.

---

[1] У вас хороший английский.

[2] Груди.

[3] "Прохлада, такой прохлада".

Вчера полночи бились на рапирах, в поединках и двоенадвое. Электричество давно уже отключено за неуплату. Источники света, стеариновые свечи, торчат из порожней посуды. Дикие тени мечутся по стенам и потолку. Лязг холодного оружия и лошадиный хохот прорываются через замерзшие окна на улицу. Ночной прохожий оборачивается — что за странная радиопостановка?

Стены расписаны в "футуристическом духе". Еще месяц назад вьюноши называли себя футуристами, теперь в связи с новым бзиком — фехтованием — стали "мушкетерами".

А вот и "чувихи" с факультета иностранных языков, шпионки. Рапиры и маски — в угол! Надрачивается "старенький коломенский бродяга-патефон". Самодельная пластинка из рентгеновской пленки вспучивается, однако придавленная железной кружкой, начинает вращаться, извлекая из замутненных альвеол анонимной легочной ткани кое-какие звуки.

Come to me, my melancholy baby!

Задув свечи, парочки расползаются по углам. Дерзновенные проникновения под лифчик, под рубашечку, головокружительные рейды в штанишки. Позже один из четверых горько жалуется: "Что делать, чуваки, такое отчаяние, солопина мой, собака, мягкий, как колбаса". Двадцатилетнему человеку палец покажи, обхохочется, а тут — "колбаса"! Вторая половина ночи проходит в полном изнеможении.

Утром все делают вид, что будильник, сволочь, сломался, потом кто-то вспоминает, что семинар в университете сегодня "полуобязательный", потом начинают переругиваться, кому сегодня топить печку, в конце концов, разыскав на столе отвратительные "чинарики", футуристы-мушкетеры курят среди убожества своих чахлых одеял.

Тем временем за дверью, в коридорчике коммунальной квартиры, начинают раздаваться громкие рыдания соседок. "Что же теперь делать-то будем, граждане хорошие, братья и сестры? Как жить-то будем без него?" Главная скандалистка Нюрка бьется в истерике. Дядя Петя сапогом грохочет

в дверь к студентам. "Вставайте, олухи царя небесного! Великий Сталин умер!"

Долгая пауза — еколо-мэнэ — у двоих из четверых отцы, между прочим, загорают в лагерях за контрреволюционную деятельность...

1970

Хемингуэй и Фил Фофанофф

Пятерку "Ф" своих лелея,
Советский презирая быт,
Ф-ф читал Хемингуэя,
За что бывал нередко бит
В дискуссиях крутых друзьями,
Которые, уж отшумев
Свои фиесты и усами
Обзаведясь и поумнев,
Читали Фолкнера. Все злее
Славянофильский ветер дул.
Нам всех коррид твоих милее
Простой йокнапатофский мул!
И все ж, как встарь, благоговея,
Чудак, пьянчуга, бонвиван,
Ф-ф читал Хемингуэя,
Врастая задницей в диван.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Не без чувства усталой гордости я представил в Вашингтонский отдел иммиграции толстый пакет со всеми бумагами, необходимыми для получения "зеленой карты"[1] по-

[1] Документ, получивший это название по своему цвету, свидетельствует, что его владелец имеет статус постоянного резидента США.

стоянного обитателя США. Это был уже пятый визит в эту контору. На сей раз я был полностью уверен в содержимом пакета: все наконец-то собрано, подколото, заверено; ни сучка, ни задоринки. Гордость мою поймет всякий иммигрант, потому что этому моменту предшествовало множество унылого бюрократического вздора, который в Америке со столь неожиданной для выходцев из стран социализма красноречивостью зовется "красной лентой".

Все началось еще в Лос-Анджелесе. После того как стало известно о лишении меня советского гражданства, не оставалось ничего иного, как просить у Америки политического убежища. В лос-анджелесском Управлении иммиграции нас привели под присягу, заполнили все бумаги, а потом... просто-напросто их потеряли. Больше года мы ждали в Вашингтоне калифорнийских бумаг, они так и не прибыли. Пришлось снова запрашивать "политического убежища", уже в Вашингтоне. Потом, съездив на европейские каникулы с беженскими документами, мы стали проходить следующую фазу бумажной адаптации в новом мире — оформлять вид на постоянное жительство.

Ирония (она, куда ни кинь, сопровождает нас повсюду) здесь состояла в том, что в Вашингтон я приехал с целью написать роман "Бумажный пейзаж", книгу о том, как барахтается маленький советский человек в волнах бумажного моря.

В течение года мы время от времени отправлялись на Е-стрит, высиживали там по несколько часов в очереди своих собратьев — беженцев и эмигрантов, — предъявляли наши бумаги и отправлялись домой не солоно хлебавши: всякий раз чего-то не хватало или что-то было сделано неправильно; то медицинского свидетельства недоставало, то оказывалось, что оно не там было проведено, где положено, и т.д. и т.п. И вот наконец все препятствия устранены, все бумаги собраны, придраться, кажется, не к чему. Теперь-то уж они примут наши заявления.

Теперь при всем желании к нашим бумагам невозможно придраться: совершенство! бюро-шедевр!

И все-таки по мере приближения к Е-стрит все больше сосало под ложечкой: какой-нибудь капкан и на сей раз,

наверное, ожидает. Всю жизнь я был "тяжел на ногу" в бюрократических делах, ни одна процедура такого рода не проходила для меня без заковырок, недоразумений, попросту опечаток. *Там* все списывалось за счет *их* проклятой системы, здесь, в Америке, оставалось только почесывать затылок.

Кто-то посоветовал мне сделать копии со статей обо мне и моих книгах в американских журналах и присовокупить их к документам. Я был несколько смущен: что ж, саморекламой, что ли, предлагаете заниматься? Ты не понимаешь американской жизни, объяснили мне. Глупо не использовать такую *позитивную* информацию.

Первое, что сделала делопроизводительница Управления иммиграции, когда мы после нескольких часов ожидания предстали перед ней, — отбросила эту "позитивную информацию" в сторону, не читая. Затем она с некоторым, как мне показалось, сладострастием погрузилась в пухлую стопку бумаг, время от времени поднимая на меня взгляд, мягко говоря, лишенный каких бы то ни было одобряющих флюктуаций. Это была красивая черная женщина с большими золотыми серьгами.

— А где же у вас форма FUR-1980-X-551? — спросила она бесстрастно, но мне показалось, что ее бесстрастность дается ей с трудом и что какая-то странная антиаксеновская страсть готова вот-вот выплеснуться и обварить мне ноги даже через толстую кожу английских ботинок.

Форма, запрошенная ею, как раз не относилась к числу обязательных. Никто из ее коллег прежде на ней не настаивал. Для получения информации по этой форме они просто нажимали клавиши своих компьютеров, и немедленно все нужное появлялось на экране.

Чувствуя, что снова тону, но все-таки делая еще беспорядочные плавательные движения, я любезно сказал делопроизводительнице, что форма FUR-1980-X-551 мной утрачена, но для получения соответствующей информации ей достаточно обратиться к компьютеру.

— Вы что, учить меня собираетесь моему делу? — спросила она.

Знакомая интонация советских чиновных сук будто на-

ждачной бумагой прошла по моей коже, но что-то в свирепом тоне делопроизводительницы бурлило и новое, нечто мне прежде неведомое.

Вся моя пачка бумаг была переброшена мне назад с рекомендацией (сквозь зубы) для уточнения отправиться в другой отдел, то есть все начинать сначала.

Не успев еще даже спросить самого себя, почему я вызываю такие негативные чувства, но все еще пытаясь спасти положение, я бормотал что-то еще о компьютере и о том, что раньше эту форму от меня не требовали.

Делопроизводительница тут взорвалась, как вулкан Кракатау:

— Что это вы тут разговорились, мистер?! У вас тут нет никаких прав, чтобы тут разговаривать! Вы просто беженец, понятно?! Правительство США вовсе не настаивает на том, чтобы вы жили в этой стране!

Такого, надо признаться, я еще в Америке не встречал, да и не ожидал встретить.

Я уже знал к этому моменту, что в Америке существует вполне развитая и процветающая бюрократия (в отличие от дряхлой советской с ее комплексами вины, американская компьютерная бюрократия очень довольна собой), но до описываемого случая эта бюрократия всегда была отменно вежлива, в той же степени, в какой компьютер еще не обучен хамству.

Надо сказать, что русское понятие "хамство" с такой же относительностью передается английским словом "boorishness", с какой американское понятие "privacy" объясняется советским оборотом "частная жизнь".

Впрочем, может быть, это и хорошо, что нас с этой чиновницей разделяли кое-какие языковые экраны, иначе мы бы сказали друг другу гораздо больше: у нее, без сомнения, многое еще было в запасе.

— Что с вами? — спросил я. — Вы не слушаете меня, леди... Мне кажется, не принято в порядочном обществе...

Впоследствии я разобрался, что слово "леди" в этих обстоятельствах звучало неуместно. Она вскочила:

— Если вы считаете, что с *нами* трудно иметь дело, можете убираться из нашей страны!

Возникла кинематографическая пауза. Мы смотрели друг на друга. Это был редкий момент. В глазах ее читалась, если и не ненависть, то во всяком случае формула взрыва. Чем я вызвал такое сильное чувство? Даже если глупость какую-нибудь спорол, чего уж так-то сильно яриться?

Я знал, конечно, всем опытом жизни в России, как малые начальнички, все эти "старшие помощники младших дворников" любят глумиться над людьми, от них зависящими, но тут присутствовало, повторяю, что-то новое, прежде мне неведомое и непонятное.

— Друг мой, неужели вы не понимаете? Это была расовая ненависть, — сказал польский беженец, случившийся быть в той же комнате.

— Однако с вами занималась тоже черная и была мила, — возразил я.

— Однако и не все ведь белые расисты. Вот вы ведь, мой друг, не расист?

В самом деле, я никогда не был расистом, однако никогда и не воображал *себя* объектом расизма. Принадлежность к белой расе как бы исключала возможность негативных расовых чувств. Стало быть, подсознательно, я тоже был под влиянием расистских стреотипов: с одной стороны, в системе этих стереотипов как бы предполагалось, что расистом может быть только белый человек, а черный человек уж никогда расистом быть не может, а с другой стороны, как бы само собой подразумевалось, что белый человек не может быть объектом расовой неприязни, а уж тем более жертвой ее. Иными словами, хоть я и приехал из страны, где расовая проблема не столь горяча, как в США, все-таки и во мне сидели комплексочки "белого", некоторая снисходительность по отношению к черным братьям.

Да полно, был ли это расизм? Может быть, просто такая уж сволочь попалась, вне всякой связи с цветом кожи? Поляк сказал:

— У нас, восточноевропейцев, положение в этой стране довольно двусмысленное. Мы похожи на большинство, а между тем, с нашими акцентами и рефлексами "культурного шока", относимся к меньшинствам. Комплексочки отчужденности от черных или снисходительности к ним у нас

сильнее, чем у американцев, которые рядом с ними живут из поколения в поколение. Негры это прекрасно чувствуют.

— Вот вы входите в эту комнату, — продолжал он, — белый человек с акцентом, но акцента этого отнюдь не смущающийся; жена у вас блондинка, то есть вы оба вроде бы принадлежите к доминирующей расе. Как бы вы себя ни держали, легче всего вас заподозрить либо в высокомерии, либо в снисходительности. Даже и унижаясь, вы этого не избежите. Вот, подумает она, даже и унизиться *им* перед *нами* неунизительно! Сознайтесь, было у вас что-то внутри, когда вы смотрели на ее черное лицо?

— Просто думал, что за сволочь бюрократическая, ну, просто, как советская, но ничего не думал насчет расы...

— А если копнуть поглубже?

Пришлось почесать в башке.

— В самом деле, не знаю. Может быть, что-то и мелькнуло: вот, мол, какая начальница, черная...

— Ну вот, видите, дело тут не только в бюрократизме.

Оказавшись в американском обществе, мы стали участниками расовых отношений. Этого не избежать никому из эмигрантов так называемой кавказской расы. Даже прогуливаясь по улице, ты участвуешь в составлении расового пейзажа.

Один из моих черных знакомых (увы, я до сих пор могу сосчитать их по пальцам, хоть и живу в городе, где семьдесят процентов населения черные) как-то попытался разъяснить мне эту двусмысленную позицию со своей точки зрения.

— Я родился в этой стране, — говорил он, — так же, как и мои родители, и их родители. Тот, кто родился в Африке, очень далек, я его не проследил. А вы, старина, здесь чужак, не так ли? У вас сильный акцент. С первого же слова в вас узнают иностранца. Однако пройдет десяток лет, и вы, ну как представитель "кавказской расы", избавитесь от иностранного акцента и станете *одним из них*. Что касается меня, то я никогда не смогу быть *одним из них*. При взгляде на меня первой мыслью у каждого из них будет "вот

черный", а уж потом — кто я таков, как я одет, в каком я настроении и так далее. Причем в моем случае это отношение усугубляется, потому что я *очень* черный. Вообразите, процент пигмента в коже тоже играет роль.

Он и в самом деле был очень черным, этот мой приятель.

— А вообще-то разве у вас есть какие-нибудь основания жаловаться? — спросил я. — Вы — процветающий адвокат, у вас отличный дом в дистрикте, "мерседес-450"... Белые девушки, как я заметил, вовсе не чураются вашего общества.

Он улыбнулся, улыбка его похожа на flash-light[1] на фоне черного лица.

— Мой оттенок, кажется, считается недурным. Вообразите, оттенки черного цвета имеют значение. Приятные оттенки имеют больше шансов на успех в обществе, но наилучшими шансами обладают черные, совсем не черные, те, кого называют high yellow, которые выглядят, ну, просто, как белые после вакаций во Флориде.

— И все-таки ваш пример опровергает многие обобщения, мой друг, — сказал я ему. — В самом деле, вам вроде бы и не на что жаловаться, а?

— Я и не жалуюсь, — сказал он. Мы говорим не о притеснениях, даже не о предубеждениях, а об отчуждении, очень тонком, почти неназываемом; оно будет, вероятно, существовать еще двести лет, не меньше.

Мы пытаемся разобраться в нынешней расовой ситуации со всеми ее тонкостями и грубостями. Собственно говоря, мы не разбираемся, а просто живем среди этих тонкостей и грубостей. В таком месте, как Вашингтон, эта тема волей-неволей возникает чуть ли не ежедневно. Иной раз она оборачивается легкой, юмористической стороной, в другой раз предстает перед нами, чужаками, странной, вывернутой, исполненной смутной угрозы, абсурда ядовитых испарений.

Боб Кайзер, уроженец Вашингтона, как-то рассказывал нам, что еще в начале шестидесятых годов негров не пускали здесь в партер театров, они могли сидеть только на

---

[1] Вспышка магния при фотосъемке.

галерке. Сейчас это трудно вообразить в городе, где мэр и почти весь муниципалитет черные, и все-таки, столь недавно... слишком малый еще срок, чтобы забыть те безобразные унижения.

Из всех жителей Штатов только негры приехали сюда не по собственной воле, хотя — может, это прозвучит кощунственно — именно грязный бизнес работорговцев по иронии истории и привел к созданию общины черных американцев, с прогрессом которой во всех отношениях не может сравниться ни одна страна Африки.

Именно "общины черных американцев", а не "нации негров". Приехав из многонационального Советского Союза, мы не сразу разобрались в том, что нация, собственно говоря, здесь одна — американская — и что корни черных уходят к разным этническим группам Африки в той же степени, в какой белых — к разным нациям Европы.

Я пишу сейчас, собственно говоря, не о "черной проблеме", а о том, как она предстала перед нами, эмигрантами из Советского Союза. Негр для нас с детства был клишированным символом империалистического угнетения, объектом нашей "солидарности", умозрительного сочувствия, чего угодно, только не человеческих чувств.

Позже, в период диссидентских настроений, многие в СССР склонны были думать, что черной проблемы вообще не существует в Штатах, что все это вымыслы лживой советской пропаганды, что на самом деле в Америке уже давно царит расовая гармония.

Мы восхищались черными джазистами и спортсменами, и нам казалось, что это гарантирует нас от расистских чувств. Оказавшись жителями Америки, мы вдруг поняли, что мы большие расисты, чем коренные американцы. Это вовсе не означает, что у нас появились дурные чувства к неграм. Наоборот, наш расизм, может быть, сказывался в том, что мы культивировали *только* хорошие чувства к нашим черным соседям. Резкий тон, скажем, по отношению к негру казался немыслимым. Потребовалось время, чтобы осознать, что черные люди вовсе не нуждаются в нашей снисходительности.

Честнее других, может быть, оказались одесситы с

Брайтон-Бич в Нью-Йорке, которые говорили черным бруклинским хулиганам: "Мы ваших дедушек, мужики, в рабство не продавали, поэтому валите отсюда!"

Ханжеская любезность в отношении черных приводит к недомолвкам и иносказаниям: когда говорят о каком-нибудь районе города "не совсем благополучная "эриа", а имеют в виду, что там живут черные, когда о неблаговидных поступках, совершенных черными, вообще предпочитают не распространяться, поджимают губы и переходят на другую тему. Такой "прогрессизм", конечно, имеет расистскую подкладку. Негров, очевидно, лишь оскорбляет эта снисходительность и приторность.

Почему мы можем сказать, что среди русских или ирландцев много пьяниц, и почему мы не можем сказать, что среди черных подростков нынче немало таких, что склонны к блуду, к охоте за дешевым кейфом?

Черная комьюнити ежедневно оборачивается к нам множеством своих разнообразных лиц: здесь и блестящий молодой джентльмен Карл Льюс, и ублюдок-сыщик, без разговоров застреливший в нью-йоркском дворе отца эмигрантского семейства, здесь и такой благородный деятель, как мэр Бредли, и исламский нацист Фаррахан, здесь и мой next door[1], вечно улыбающийся художник Роберт, и свирепая чиновница из вашингтонского Отдела иммиграции и натурализации... Так или иначе, это наши соседи, наши новые сограждане.

НЕГРЫ ПОД АМЕРИКАНСКИМ СНЕГОМ

В Вашингтоне зима начинается где-то в середине января. Конечно, по сравнению с Россией вашингтонские снегопады выглядят несерьезно, но иногда, милостивые государи, так завалит, что впору вспомнить и остров Сахалин.

В такие дни город преображается. Движение сокращается до минимума. Там и сям видишь брошенные машины.

---

[1] Сосед по площадке.

Забавно выглядят под снегом основные представители населения нашего города, то есть негры. Иные черные мужички, как будто это для них привычное дело, берут лопаты и ходят по иностранным посольствам, откапывают. Другие демонстрируют некоторый эстетический вызов белому засилью. Вот передо мной раскачивается на тонких каблучках красотка фунтиков на двести. Она облачена в серый тренировочный костюм, поверх костюма на округлости натянуты красные шорты, над головой зонтик из желтых, зеленых и синих клиньев. А снег идет, а снег идет, и все вокруг чего-то ждет...

Повсюду житель озабочен взаимовыручкой. Помогают толкать машины, прикуривать от аккумуляторов. У моего друга не заводится. Мы возимся большой толпой. Скрип тормозов, рядом с нами останавливается "вэн", то есть одно из тех многоцелевых во многих смыслах транспортных средств, что пилотирует особого рода народ, так называемые таф — жесткие ребята.

В данном случае из "вэна" выскакивает черный красавец под шесть футов: "В чем дело, народы? Аккумулятор сел? Прикуривателей нету? Я знаю, где достать. Поехали со мной!" Дело было в воскресенье, все магазины в округе закрыты, и я залез в его "вэн", хотя во внешности молодца не было, мягко говоря, кричащей надежности, чем-то неуловимым скорее смахивал он на пирата.

Его звали Стив Паддингтон, что звучит приблизительно как Евгений Онегин. Он лихо гнал через метель и не особенно-то подтормаживал перед светофорами. Кричал мне в невероятном возбуждении:

— Я люблю помогать людям! Обожаю помогать людям! Невзирая на цвет кожи! Мне наплевать на цвет кожи! Главное, чтоб человек был хороший! Верно? Чему нас Мартин Лютер Кинг учил? Помогать людям! Я такой отличный парень! Бабы от меня без ума! Мне тридцать четыре года, а у меня уже семь женщин в разных местах, четверо детей в разных местах! Я мужик что надо! А ты чем занимаешься?

Как ни ответить на редкий вопросительный знак среди урагана восклицательных!

— Книжки пишу, — сказал я.

В восторге Стив сильно хлопнул меня по колену.

— Вот это удача! Давно мне так не везло!

— В чем же удача, Стив?

— Не понимаешь? — изумился он. — Я напишу дневник своей жизни, ты сделаешь из него роман, деньги поделим! Теперь дошло? Мне очень деньги нужны! И знаешь, для чего! Чтобы хорошо жить! Дошло? Чтобы наслаждаться жизнью.

Мы мчались сквозь пургу все дальше и дальше, в какой-то весьма сомнительный район города. Стив развивал, хохоча, идею замечательного предприятия. На вырученные за нашу потрясающую книгу деньги мы покупаем два автобуса и начинаем на них возить игроков из дистрикта Колумбия в игорные дома Атлантик-сити. Сколотив на этих экскурсиях достаточное состояние, мы открываем свой собственный игорный дом прямо в дистрикте. Почему люди должны ездить играть в Атлантик-сити? Почему они не могут играть прямо здесь, в столице страны? Успех обеспечен, потому что все люди хотят хорошо жить! Все хотят наслаждаться. Успех! Деньги! Лайф-де-люкс!

Я его спросил, почему он так уверен в успехе его дневника, переработанного мною? Потому что у него большой жизненный опыт, объяснил он. Три раза сидел в тюрьме за попытку вооруженного ограбления. Нет, никого не убивал, это противоречит его принципам, вообще оружия не любит, но кое-что есть, чтобы защитить себя и своих людишек. С этими словами он показал мне пару пистолетов и здоровенное мачете. "Этот арсенал, — подчеркнул он, — я купил на свои собственные деньги".

Несмотря на все эти восклицания, Стив нашел бустер. Мы вернулись на место происшествия, завели машину, после чего я пригласил Стива и его подружку Кэйт к нам поужинать. Возбуждение его испарялось, он успокаивался с каждой минутой. Оказалось, что он не сторонник алкогольных напитков, а скорее склоняется к хорошей самокруточке. Выяснилась также и вполне мирная профессия Стива — водитель школьного автобуса. Он очень любит свою девушку Кэйт, однако так же сильно любит Лизу, которая пода-

рила ему вот эту кожаную куртку, отороченную мехом койота. Что касается политических склонностей, то он предпочел бы видеть президентом космонавта Джона Глена, а вице-президентом черного священника Джесси Джексона.

Я спросил:

— Стив, а раньше ты русских встречал?

— Не то что русских, — сказал он, — вообще никаких иностранцев никогда не видел, кроме китайцев. Вот именно, кроме китайцев, — добавил он, подумав.

Мы много говорили потом об этом неожиданном знакомстве. Таких парней, как Стив, тысячи на улицах Вашингтона, но вот впервые мы так, случайно соприкоснулись с их жизнью. Расовое равенство с утра до ночи дебатируется на телевидении. Все знакомые американцы говорят, что за последние годы черное население сделало колоссальный прогресс, и это очевидно. В Чикаго, Лос-Анджелесе, Вашингтоне, Филадельфии, Атланте, в десятках других городов черные мэры, повсюду встречаешь черных юристов, правительственных чиновников, богатых бизнесменов, дети ходят вместе в детские сады и школы — нет лучше зрелища, чем группа малышей разных рас, — молодежь вместе занимается спортом, не так уж сильно дискриминируется в любовных утехах, не говоря уже о танцах "брэйк"... И все-таки разделение, во всяком случае психологическое, еще существует, и черные, кажется, помнят об этом лучше белых.

Знакомый черный музыкант однажды сказал нашей общей приятельнице, что собирается в Вашингтон и хочет навестить Аксеновых. Та предположила, что он может у нас остановиться. Музыкант был смущен: не уверен, что это будет хорошо, все-таки мы с Васей "на разных сторонах улицы". Узнав об этом, был смущен и я, потому что полагал себя с ним на одной стороне, on the sunny side of the street...[1]

Трудно ломаются психологические стереотипы, если на них еще наслаивается биологический стереотип. Познакомившись со Стивом Паддингтоном, мы соприкоснулись и в самом деле с "другой стороной улицы", с совершенно чу-

---

[1] На солнечной стороне улицы *(строка из песни)*.

жой жизнью негритянских масс, полной какой-то странно детской и, конечно, марихуанной жажды, пронизанной монотонным ритмом модного "ригги".

...На следующий день опять шел густой снег. Позвонил Стив Паддингтон и прокричал: "Василий, я уже начал писать свою книгу. А ты над чем сейчас работаешь?"

НЕГРЫ ПОД СОВЕТСКИМ СНЕГОМ

Как развивался "образ" негра в советском сознании? В 1937 году, в разгар мрачных сталинских чисток, кинорежиссер Г. Александров создал шикарную музыкальную комедию "Цирк". Помимо трюков, чечеток и "хохм", в фильме была сентиментальная линия, мелодраматическая история американской актрисы варьете, умудрившейся в расистской Америке родить черного ребенка.

Толпа разнузданных расистов несется по железнодорожным путям, пытаясь догнать поезд, на котором спасается наша героиня в исполнении ослепительной блондинки голливудского типа Любови Орловой; так начинается фильм. Впоследствии мать негритенка попадает с труппой варьете в Москву. Она стыдится своего ребенка, прячет его от советского актера, с которым у нее начинается роман, пока не убеждается, что в Советском Союзе все нации равны, все свободны. В апофеозе она поет: "Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!" А ее черного младенца с нежными улыбками передают друг другу советские люди, зрители цирка, случайно представляющие все национальные республики и меньшинства Советского Союза.

Младенца, между прочим, в черный цвет не красили. Его роль играл только что родившийся Джим Паттерсон, сын американских коммунистов-негров. Этот мальчик все свое детство наслаждался неслыханной славой, летними каникулами в Крыму, в привилегированном пионерском лагере "Артек"; когда вырос, стал советским поэтом, увы, весьма посредственным.

Позднее нужда в черных киноактерах стала удовлетво-

ряться менее патетическим путем. Во время войны в Архангельске, куда приходили корабли союзников, пять процентов детей рождались черными. Один из этих негритят играл черного юнгу в фильме "Максимка" по повести Станюковича, в котором проводилась идея о стихийном интернационализме русских людей и о сочувствии к угнетенным.

В шестидесятые годы в театральном мире Москвы был весьма популярен молодой актер Гелий Коновалов. Он родился в русской семье, но был совершенно черным и со всеми признаками "негрипода": курчавостью, толстогубостью, белоснежностью улыбки. Пользуясь "своей спецификой", он читал в концертах стихи с каким-то немыслимым акцентом, хотя не знал никаких языков, кроме своего родного — русского.

Всюду перед ним открывались двери, люди обращались к нему с исключительной осторожностью — как бы не обидеть "представителя угнетенных наций". Так он и шествовал сквозь московские метели, научившись не без цинизма пользоваться своей странной уникальностью. Только лишь в театральном ресторане при приближении к определенному градусу общего подпития Гелий терял свою "специфику" и избавлялся от советского расизма навыворот. Там актерская братия, знавшая гримы всякого рода, к цвету его кожи относилась без всякого пиетета.

В целом же в течение всех советских лет под влиянием "интернациональной" демагогии, фальшивости фильмов и спектаклей, а также не без помощи личностей вроде знаменитого певца — "друга СССР" Пола Робсона в сознании советского человека рядом с другими стереотипами утвердился и стереотип черного человека, который не может быть никогда ни злым, ни хитрым, ни глупым, ни коварным, никаким, кроме как лишь угнетенным.

Даже и "критический советский человек" привозит в Америку этот стереотип и долго носит его с собой, пока реальность не выколотит его, словно пыль из одежды.

По Пятой авеню в "час пик" мирно шествуют плечом к плечу в обоих направлениях и филиппинец, и индус, и мек-

сиканец, и эскимос, и мавр, и ацтек, и грек, и финикиянин, и перс, и ассириец, и галл, и кельт, и скиф, и печенег, и римлянин, и карфагенянин, и "гордый внук славян, и финн, и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык", не исключено, что попадаются тут и атланты, амазонки, кентавры...

Бывший советский человек, хоть он, может быть, по цвету кожи и не отличается от большинства населения, явление на самом деле не менее диковинное в американском обществе, чем, скажем, троянец; в сознании своем он долго носит догмы покрепче, чем мировоззрение идолопоклонника Новой Гвинеи.

Взять пресловутый "национальный вопрос". С детства в нас вбивались понятия так называемой ленинской национальной политики с ее принципами интернационализма и равенства наций, а на деле у нас совершенно не было никакого опыта совместной с другими народами жизни; в принципе мы не знали других наций, кроме советской, хотя внутри оной пресловутый "пятый пункт", то есть национальность, строго контролируется. Показной интернационализм на деле оборачивался диковатыми изоляционистскими клише, привязанными в основном к "освободительной борьбе", к "колониализму" и т.п.

Вот, например, клише "рикша". С раннего детства он сопровождал нас, этот несчастный тонконогий "трудящийся Азии", согбенный под своей конусовидной шляпой, влекущий коляску с восседающим в ней жирным империалистом. У "империалиста" в зубах сигара, кованый каблук упирается в тощий задок желтолицего. Хоть и стали впоследствии клише такого рода предметом юмора, все-таки оказались они довольно живучи и въедливы, иначе не был бы я так удивлен рикшами Гонолулу.

Там, на-Вайкики, велорикши, все, как на подбор, оказались белыми парнями и девушками, загорелыми и белозубыми, напоминающими лучшие экземпляры американской университетской породы. Энергично крутя педали, они катали по Калалахуа японских туристов. Клише оказалось полностью перевернутым.

Мы не знали реальной жизни так называемого третьего мира, она была заменена фантомами "интернационализма".

Америка не прокламирует "интернационализм", она попросту заполняется многоязычной толпой экзотических иноземцев. Помню, как-то ехали мы через снежные холмы Мэна и на одном из этих холмов вдруг увидели ресторан полинезийской кухни. Здесь, в Америке, можно в реальности увидеть "неленинскую национальную политику", то есть реальную жизнь разных народов, узнать, что и как разные люди едят, как они молятся, как они трудятся, как они развратничают...

Вот вам еще одно клише, которое после опыта американской жизни переворачивается в сознании русского эмигранта.

Всегда у нас считалось, что декадентная западная цивилизация является в мире главным источником греха, разврата, наркомании, половых извращений. Советские люди в этом глубоко убеждены, что, впрочем, не только не отталкивает их от западной цивилизации, а, напротив, наряду с изобилием товаров является дополнительным, а иногда и основным соблазном. Существуют иронические клише типа: "Эх, Запад! Как красиво он разлагается!" "Секс-шопы" с пластмассовыми гениталиями, порнографические "нон-стоп" кинотеатры, проститутки обоих полов, алчущие кейфа толпы в клубах марихуанского дыма — вот образ "тлетворного Запада" в сознании советского гражданина.

Признаюсь, после нескольких лет жизни на этом самом декадентском Западе у меня сложилось впечатление, что основным источником декаданса и блуда является "третий мир", который в клишированном идеологическом представлении выглядит как бы невинной жертвой. Именно из "третьего мира" идут на Запад разнузданный секс, мастурбирующие ритмы, одуряющие травы и порошки, всепоглощающая тяга к кейфу.

Ошибочно вообще представление о том, что цивилизация неизбежно влечет за собой падение нравов. По идее, если непредубежденными, "неидеологизированными" глазами посмотреть в глубь истории, можно увидеть, что чем ниже уровень развития, тем выше уровень дебоша. Достаточно вспомнить "художества" австралийских аборигенов. Человеческие группы, не озабоченные задачей цивилиза-

ции, то есть развития, улучшения (к этому относится и религиозный поиск), озабочены в первую очередь жаждой кейфа. Самые изощренные формы половых извращений и наркомании родились не в цивилизованном обществе, а в дикарских группах. Западная цивилизация, особенно в ее англосаксонской форме, является по сути дела последней фортецией здравого смысла.

На эту фортецию из темноты "третьего мира" идут валы кейфомании. Цивилизация, в силу своей либеральной толерантности, не отвергает примитивного гедонизма, но адаптирует, переводит эту всепоглощающую страсть в русла "субкультуры", "шоу-бизнеса", "секс-коммерции", то есть организует, вводя даже эту дикую стихию в систему некоторого порядка.

Говоря это, я вовсе не хочу унизить тех людей "третьего мира", что работают там ради просвещения и благоденствия своих народов. Эти люди не нуждаются в снисходительности, в высокомерном попустительстве, они же, думаю, меньше всего заинтересованы в том, чтобы сваливать все грехи на западную цивилизацию.

Среди так называемых *трех миров* в отношениях друг с другом, по сути дела, находятся только "первый" и "третий". Для так называемого второго мира, из которого мы пришли, "третий" — лишь место приложения марксистско-ленинской, "единственно верной" исторической науки.

ШТРИХИ К РОМАНУ "ГРУСТНЫЙ БЕБИ"

1980 — 81

По выходным дням ГМР мало напоминал "аттенданта" с автопаркинга у ресторана "Эль Греко". Одежда от лучших фирм. Если уж костюм, то "Тед Лапидус". Если уж плащ, то "Берберри". Если уж ботинки, то "Черч". Кто догадается, что куплено на "блошином рынке"? Скорее уж подумают — эдакий "джет-сеттер" в поношенных *любимых* вещах.

...За его приближением со ступеней собора Святого Матвея следил американский нищий, красивый малый лет под сорок, рыжие кудри перехвачены кожаным ремешком, босые гноящиеся ноги — trade mark[1]. Впрочем, может быть, это и не нищий, а просто-напросто осколок "поколения протеста". Просит во всяком случае с достоинством, какому и Боб Дилан бы позавидовал:

— Could you spare one dollar for me?[2]

"Вот он, уровень инфляции, — подумал ГМР, — когда-то ведь, помнится, пели "Браток, подай мне гривенник". Достав видавший виды бумажник "Диор", ГМР отщелкнул нищему точно по запросу однодолларовую купюру.

— Thank you, — удивленно сказал нищий. — I was sceptical about you[3].

— Отчего же, — пожал плечами наш герой, — я даю это вам как нищий нищему. Есть такое слово — "солидарность".

1982

Рэнди Голенцо в связи с продвижением по службе пригласил как-то кучу народа к себе, в наследственный "таунхаус". Накупил гамбургеров, не забыл и про соус А-1. Родственников предупредил, подмигивая: "Будет чудаковатый народ из "Пацифистских палисадов".

И, действительно, явилась троица — закачаешься! Великолепная Бернадетта-декольте сразу же привнесла в "парти" аромат чего-то греко-римского. Генерал Пхи в парадной рубашке хаки со следами боевых наград и с новеньким зайчиком "Плейбой-клаба" тут же принялся за обследование охладительной системы резиденции Голенцо. Скептически покачивал он хорошо причесанной головою — "вот так и мы рассчитывали на нашу стратегическую инфраструктуру".

Третьим в компании оказался русский бегун Лев Грош-

---

[1] Фирменный знак.

[2] У вас найдется доллар для меня?

[3] Спасибо. Вы не внушали мне особого доверия.

кин, с которым Бернадетта недавно познакомилась в Санта-Мелинде во время роликобежных уроков.

Лева в Америке процветал не старея. Получая помощь по программе "вэлфэр" и подрабатывая иногда наличными в транспортной фирме "Голодающие студенты", он обеспечивал себе 120 миль еженедельного набега, что в сочетании с научной диетой и контролем над рефлексами повернуло все процессы его организма в обратную сторону; он выглядел теперь вместо своих полста на чистый четвертак. Таким молодцом он и воспринимался теми, кто не знал его раньше, а тех, кто его знал раньше, Лева старался избегать. "Старая шваль", — думал он о них с понятным презрением.

"Чемпион", — представлялся он новым знакомым. Это хорошее русское слово было понятно местным народам. Дружба с Бернадеттой Люкс внесла в систему циркуляции дополнительную гармонию. "Постарайся понравиться мистеру Голенцо, Лайв, — сказала она. — Рэнди близок к сферам". Лев кивнул. Это нетрудно. Не понимая ни слова по-английски, он хорошо соображал. "Эге, — сказал он, — гамбургеры! — И добавил: — Ого!"

Рэнди такой подход к делу явно понравился. "Вам кажется, что это гамбургеры? — хитро улыбнулся он. — А вот попробуйте-ка покрыть их соусом А-1. Получатся настоящие стейкбургеры!"

Племяш Джейсон цапнул из рук толстенное угощение. Эва, как широко и сокровенно открывается рот у малыша! Гамбургер, а на вкус стейкбургер!

— Эй, это твоего дяди стейкбургер! — вскричал Голенцо, вырывая едальное устройство из рук несовершеннолетнего человека.

Все замечательно захохотали. "Стейкбургер, — подумал Лева. — Государственная котлета, из спецфонда. Бернадетта, видимо, не врет. Рэндольф — важная шишка!"

1953

День смерти Иосифа, увы, совпал с днем рождения Филимона. Вот уже двадцать лет 5 марта безраздельно при-

надлежало ему. В день трагического совпадения он собирался вести всю "кодлу" в ресторан, для чего заложил в ломбарде фамильную реликвию, статуэтку Лоэнгрин.

"Кодла" неделю уже предвкушала поход в "Красное подворье", где играла по вечерам золотая труба Заречья — Гога Ахвелединани, по слухам, входящий в десятку лучших трубачей мира, сразу после Луи Армстронга и перед Гарри Джеймсом. И вдруг такое неприятное совпадение — умер великий вождь народов, знаменосец мира во всем мире, попросту гений человечества. Веселье маленькой группы совпало с несчастьем космического масштаба. Такое, конечно, случается, но, согласитесь, нечасто.

В тот день в стране не хватало грустных прилагательных, траурных мелодий и черного тюля. На лицах был, как сказал поэт, "влажный сдвиг, как в складках порванного бредня". Скандалистка Шура, хватанув с дядей Петей привозного первача, билась за стенкой в истерике: "Жидов-то не добил, жидов-то не добил, отец родимый!"

Вся компания мрачно сидела на койках с учебниками по марксизму на коленях. "Отчего ребята такие смурные, — думал Филимон, — из-за вождя или из-за того, что "Красное подворье" отменяется? Спроси самого себя, — сказал он сам себе, — и без труда поймешь внутреннее состояние товарища". Вслед за этим фундаментальным умозаключением именинник водрузил на голову шляпу, выкраденную из реквизитной оперного театра, где периодически подрабатывал в толпе итальянских карбонариев, забросил за спину шарф и сказал:

— Похиляли, чуваки!

Три панцирные сетки мощно прогудели, три тела выплеснулись из лежбищ, словно морские львы.

— Куда похиляли?

— В "Подворье", еколо-мэнэ!

— Да ведь закрыто же, небось?!

— Не факт!

— Да ведь арестуют же за гульбу-то сегодня, в такой трагический для человечества день!

— Необязательно!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Сидя во Флаг-башне между Капитолием и памятником Вашингтону и озирая прекрасные окрестности, я писал свой — позвольте сосчитать, вот именно, четырнадцатый — роман под названием "Бумажный пейзаж".

Это была в то же время моя первая вещь, название которой возникло сначала по-английски, а уж потом было переведено на родной. Произошло это оттого, что мне нужно было вначале сделать на этот роман заявку для получения стипендии в Институте Кеннана. В замысле была история бедной души, потерявшейся в бумажном мире современной бюрократии, политики, журналистики, литературы; отсюда и возникло словечко "paper-scape" по аналогии с "sea-scape" и "landscape"[1].

Герой романа Игорь Велосипедов, автомобильный инженер, барахтается в потоке различных справок, заявлений, газетных статей, самиздатских рукописей, доносов, анкет, досье... Будучи в курсе (как и многие другие советские интеллигентики) йоговской философии, он размышляет о том, что у человека в современном мире, кроме ниспосланных ему с Небес трех тел (физического, астрального и духовного), появляется еще и четвертое тело, творимое "империей", — бумажное тело на фоне бумажного пейзажа.

Велосипедов бунтует, ему хочется вырваться из фальшивого (как он полагает) бумажного мира, но даже и бунт способствует образованию (в соответствующих организациях) его бумажного образа бунтаря. В конце концов, в результате развития литературной, то есть опять же "бумажной" судьбы, наш герой оказывается в Америке, в Манхэттене, где скопление небоскребов иной раз напоминает ему стопки машинописи самиздата.

Реальность в данном случае иронически улыбалась не только в адрес героя, но и сочинителя. В сравнении с американским бумажным потоком советский оказался всего

[1] "Бумажный пейзаж", "морской пейзаж", "ландшафт".

лишь ручейком. В СССР существует одна лишь государственная бюрократия, в США — множество разных бюрократий, которые и обрушивают на человека несметное количество бумаги.

Советская государственная бюрократия, унаследовавшая от царской всю ее тупость и преумножившая это качество во сто крат, стара, малопродуктивна, терзаема неопределенным комплексом вины. Она неповоротлива, плохо оснащена, процесс изготовления бумаг громоздок, отвратен не только получателям, но и производителям.

Американская бюрократия моложе русской, оснащена компьютерами, энергична и, кажется, очень довольна собой. Проходя через упомянутое уже выше Управление иммиграции и натурализации, а также оформляясь внештатником на "Голос Америки", я заметил, что система продуцирует свои многочисленные формы с отчетливым удовольствием. Иной раз передо мной оказывались устрашающе огромные листы бумаги с многочисленными параграфами, пунктами, клеточками, с крупным шрифтом и нонпарелью, на которых практически нужно было лишь поставить в каком-нибудь углу "yes" или "no".

К счастью, правительство не охватывает всех сторон жизни общества. К несчастью, кроме правительства, имеется множество других бумажных структур, заваливающих обывателя бумажным хламом. Я говорю "к счастью" или "к несчастью", хотя в принципе не вижу альтернативы. В отличие от моего героя — бумагоборца Игоря Велосипедова, я не знаю, может ли общество ограничить свое бумажное обжорство.

Так или иначе, но по мере врастания в американскую жизнь, я становился "реципиентом" все большего количества бумаг. Не зная еще, что существует такое понятие, как junk mail[1], я приходил в отчаяние, глядя, как на моем столе к концу каждой недели вырастает гора конвертов и пакетов. Пытаясь ответить на настойчивое и любезное внимание моих новых сограждан, я в течение первого года жизни в Вашингтоне выписал восемь кредитных карточек

[1] Почтовый мусор.

(четыре из них совершенно ненужные), вступил в отношения с тремя разными компаниями страхования жизни, был втянут в какие-то идиотские sweepstakes[1] и, как полный балда, растирал присланным никелем какие-то посеребренные поверхности, дважды вступал в Ассоциацию спортсменов-любителей и почему-то стал получать по три экземпляра их ежемесячного журнала, присоединился к обществу "За чистый воздух", "За охрану животного мира", стал посылать свою лепту в "Армию спасения", в World vision в Союз Весенних даффоделий, в United Way, выписал шесть еженедельников, некоторые из которых, например, "Таймс" стали почему-то приходить в двух экземплярах, заказал за сто восемьдесят долларов кожаную куртку (за углом такие стоили сто сорок), зажигалку в виде патрона времен первой мировой войны, после чего, вполне естественно, вступил в "Клуб лучшей книги месяца" и получил шеститомную биографию какого-то Адлая Коперстайна, за которую, к счастью, не заплатил ни цента, потому что она, как видно, была послана мне по ошибке...

Срастание коммерческого бюрократа с компьютером придает всем этим отношениям несколько юмористический характер. Предположим, из кредитного общества вам приходит счет, в котором даже вы, бездарный неуч, обнаруживаете ошибку в восемьсот долларов не в свою пользу. С одной стороны, приятно думать, что это не какой-нибудь индивидуум пытается тебя обжулить, а просто компьютер зарапортовался, а с другой стороны, нельзя не вздохнуть: почему машина никогда не ошибется в твою пользу, не насчитает тебе лишнюю сотню, почему она жмет на тебя, а не на себя?

Странное чувство возникает, когда ты вдруг выясняешь, что за тобой идет многомесячная электронная охота. Например, через два с половиной года после отъезда из Калифорнии я получил из Сакраменто категорическое требование немедленно заплатить этому штату должок в размере

---

[1] Вид лотереи.

1.900 долларов. В бумаге сообщалось, что все предыдущие попытки отдельных индивидуумов укрыться от выплаты калифорнийских налогов кончались плачевно, то есть тюрягой.

Надо сказать, что в бытность мою в Калифорнии, то есть в самом начале американской жизни я и понятия не имел об американских налогах и только лишь удивлялся, почему мое университетское жалованье сокращается к выплате чуть ли не вполовину.

Пока я пребывал в недоумении, из Сакраменто пришли с интервалом в один день еще три угрожающие бумаги — компьютерная охота завершилась успешно, жертва на крючке. Тень решеточки уже маячила в отдалении: плати или садись! Платить ни с того, ни с сего не хотелось, садиться тоже. Посадка в американскую тюрьму вызвала бы полное недоумение у "кураторов" в Москве, на площади Дзержинского. Я пошел к своему "аккаунтанту", мистеру Адамсу. Вот такие, говорю, дела, Чарлз, спаси от тюрьмы. Чарлз Адамс ловкою рукою встряхнул калифорнийские угрозы. И улыбнулся: попытаюсь. Через неделю компьютерная охота завершилась совершенно неожиданным образом. Штат Калифорния вернул мне 680 долларов. Оказалось, не я им должен, а они мои должники, а ведь мне и в голову не приходило угрожать им тюрьмой.

Все американское "финансовое" становится на первых порах полнейшей головоломкой для советского эмигранта. В Союзе денежные отношения между людьми и финансовой структурой общества находятся на добанковском уровне: никаких чековых книжек, а о кредитных карточках никто и не слышал. Финансовые отношения между отдельными людьми в принципе держатся на уровне Золотой Орды. О банках советский человек знает лишь то, что банкиры — это империалисты. Фондовая биржа для меня и до сих пор является самым загадочным американским институтом, и я, видимо, просто никогда не пойму, как, почему и для чего происходит торговля всеми этими "commodities"[1], поче-

[1] Товары потребления.

му повышаются или понижаются учетные ставки и что такое "дефицит платежного баланса".

И тем не менее при всей моей финансовой тупости в американской жизни даже я становлюсь маленьким финансистом.

Жизнь в Америке являет на свет, как я понимаю, кроме четвертого "бумажного тела", еще и пятое, "финансовое тело" человека. Деньги, положенные в банк, равно, как и деньги, взятые из банка, это не просто твои сбережения и траты, это как бы твои контуры внутри финансовой реальности. Тратя и вкладывая, оплачивая счета и беря кредит, ты составляешь о себе мнение.

Невинные социалистические души волей-неволей становятся осведомленными в таких понятиях, как "баланс" и "кеш флоу". Банк шаг за шагом вовлекает тебя в какие-то свои таинственные мероприятия, он делится своим мнением о тебе с другими банками и кредитными обществами и еще какими-то организациями. Вначале все это кажется тебе порядочным абсурдом, ты не можешь понять, чего от тебя хотят эти "тузы" и "воротилы" (советская терминология), почему они так заинтересованы в твоих жалких деньгах, потом вдруг осознаешь, что стал, хоть и ничтожным, но элементом этой странной жизни, и что к твоим малым деньгам банк относится с тем же автоматическим уважением, что и к миллионному куску.

Сложность этой банковской жизни, в которую вовлечен рядовой гражданин, поначалу шокирует советского простака. Вначале даже обыкновенная банковская машина, выдающая наличные, вызывала у нас остолбенение. Помню, как мы изумленно наблюдали на Мэйн-стрит в Анн-Арборе: какой-то типчик хипповатого обличья стоит у стены какого-то дома, нажимает какие-то кнопки, и из дома выскакивают ассигнации, и типчик засовывает их в карман. Теперь и я сам с ловкостью, какой тот типчик, может быть, позавидовал бы, отщелкиваю на этой машине различные "трансекшин", беру чистоганом, делаю "депозиты", осведомляюсь, "сколько луидоров у нас осталось", и т.п.

Пока мы научились более-менее шевелить мозгами, чтобы извлекать удобства из банковской системы, мы по-

просту зверели от всех этих "балансов", "кредитов", "дебитов", "депозитов"... Должен признаться, что некоторая система "Чекстра", в которую меня вовлек мой банк, до сих пор кажется мне формой замаскированного грабежа, хотя я и понимаю, что она направлена на мое благоденствие.

Еще более сложным и, кажется, совсем уже непостижимым (во всяком случае на текущий момент) кажется нам соотношение между списанием с налогов, займами в банке и учетными ставками. В этих делах я вряд ли когда-нибудь научусь "шевелить мозгами". Разобраться, почему выгодно (или невыгодно) покупать дом, платить банку огромные проценты или, наоборот, не покупать дом, а платить "рент" за квартиру, представляется мне почти невозможным. Иногда нам с Майей кажется, что мы уже достаточно американизировались и можем теперь хорошо во всем разобраться. Мы садимся за стол и начинаем что-то высчитывать и через некоторое время, полностью запутавшись, бросаем это дело. Иногда нам кажется, впрочем, что и никто в этом не разбирается, включая и тех, что дают нам советы.

О вложении денег — о всяких там "инвестментах" — и говорить нечего. К моменту эмиграции мой адвокат Лен Шройтер собрал для меня из разных издательств некоторую сумму. Мы ее потратили на путешествия в Европу, Океанию, Грецию. Один из новых друзей как-то нам сказал, что эту сумму за это время можно было увеличить вдвое.

Система американских налогов и списаний в ее запутанности и сложности поначалу показалась мне едва ли не идиотской. Только сейчас я начинаю понимать, что эта система стимулирует инициативу, заставляет людей то тратить, то зажимать деньгу, то выискивать всякие лазейки (помню, как мы были поражены, увидев по TV рекламу фирмы, которая помогает гражданам находить получше tax shelter[1], то есть увиливать от налогов), то жертвовать на благотворительность, то начинать какое-нибудь предприя-

[1] Списание с налогов.

тие, то сворачивать; то есть эта система как бы обеспечивает постоянное впрыскивание энергии в камеру внутреннего сгорания национальных финансов, иными словами, эта система рассчитана вовсе не на таких лопухов, как я.

Оглядываясь вокруг, я не без некоторого почтительного содрогания думаю о том, что большинство окружающих нас людей по сути дела — американские финансисты. Иной раз видишь пару мужчин, прогуливающихся вдоль набережной или сидящих в кафе, или загорающих возле бассейна. О чем они говорят, думаешь ты. Ну вряд ли о "Диалогах" Платона или о стихах Эмили Дикинсон, однако, вполне возможно, что о женщинах, о спорте, о политике. Прислушавшись, ты чаще всего услышишь, что парочка, хоть и с некоторой курортной вялостью, но все же увлеченно обсуждает вложения, учетные ставки, списания, поиски бюджета... Впрочем, и те, что толкуют Платона, и те, что иронизируют в данный момент по этому поводу, вовлечены в финансовый метаболизм этого общества.

Среди разительных несходств советского и американского обществ находится отношение к трате денег. *Там* трата денег, щедрые покупки, скажем, или гульба в ресторане всегда являются чем-то не очень пристойным, каким-то щекотливым делом, *здесь* трата денег — почтенное и общественно полезное занятие.

Среди еще более разительных различий находится информация об экономической жизни. Гражданин так называемого "организованного общества" с его "плановой" экономикой не имеет ни малейшего представления о том, что происходит в стране (несмотря на оглушающие радостные крики о победах и достижениях), — будто под ним гигантское мертвое тело.

В Америке ежедневно в газетах и по ТВ мы видим реальные цифры подъемов и падений, а колебания этой таинственной биржи как бы отражают движение могучего брюха, вздутие мышц, раздувание альвеол, эрекцию кавернозных тел этой "неплановой", то есть как бы хаотической экономики.

Почувствовав себя частичкой этого общества, я не мог не подумать о неравенстве. В самом деле, в стране, где проживает миллион (sic!) миллионеров, каждый 240-й из встреченных вами на улице является таковым, в то время как 239 таковыми не являются, то есть страдают от неравенства.

Однажды в Вашингтоне зашел спор на эту тему. Вообразите, он происходил на кухне, то есть в московском стиле. Понятие "кухня московского интеллектуала" уже вошло в литературный жаргон во всем мире. Вариантов спасения человечества было на этих кухнях предложено гораздо больше, чем рецептов пирога.

В Америке кухонный период общественной жизни както выпадает из наблюдений. Здесь дискуссия перенесена в обеденный зал: тысячи тематических ленчей и обедов еженедельно по всей стране. Я и сам не раз побывал на таких мероприятиях — и гостем-спикером, и едоком-дискуссантом уже посидел немало.

Спор, о котором я сейчас говорю, по мизансцене напоминал московскую кухню, но, согласно американской культурной традиции, никто не старался перекричать оппонента или открутить ему жилетную пуговицу.

Речь шла о равенстве и неравенстве. Свеженькая темка, не правда ли? Копий и дров наломано столько, что хватило-бы, пожалуй, на растопку не одной, а десятка цивилизаций. "Вот, Василий, выскажись, ведь ты приехал из общества полного равенства". — "Э, нет, господа, прошу не разводить мелкобуржуазную уравниловку! Конечно, СССР — самое равноправное общество на земле, но, как говорил теоретик Снежок из романа "Скотский хутор": все животные, товарищи, равны, но некоторые все-таки равнее!"

Творческая мысль в СССР признает, что нынешнее самое справедливое все-таки еще не вполне справедливо, еще не вполне совершенно, ибо еще предстоит нам дорога к нашему идеалу — "от каждого по способностям, каждому по

потребностям", то есть к этим зияющим, виноват, сияющим вершинам.

Маршу мешают скептики, маловеры. Каждому по потребностям воздать невозможно, говорят они. Получится безобразное обжорство, глупейшее расточительство, разгул и разврат, никакая экономика не выдержит, крякнет даже самая передовая, та, что нынче такими успехами поражает человечество. Скептики, конечно, неправы. Они танцуют от капиталистической печки и говорят о капиталистических потребностях. Между тем принцип "каждому по потребностям", очевидно, достижим, если как следует поработать над потребностями, то есть снизить их до необходимого уровня или научиться ими управлять в зависимости от возможностей экономики. Таким образом, господа, нам не очень-то следует обольщаться, говоря об удовлетворении потребностей: ведь речь-то идет об удовлетворении иных, не нынешних, коммунистических уже потребностей.

В определенном смысле работа по выработке этих новых потребностей началась уже давно и идет довольно успешно, хотя не без некоторых досадных огрехов и сбоев. Духовные потребности населения, например, доведены до блестящего минимума, и нынешний уровень, конечно, еще не предел.

История дает впечатляющие примеры. До 1917 года в России была огромная потребность в религии, и вдруг она разом в огромном масштабе прекратилась. Нынче эта потребность как-то нежелательно возросла, однако опыт по ее снижению накоплен основательный, и в нужный момент ее, очевидно, можно будет спустить до прежнего минимального старческого уровня. К очень подходящему уровню сведена потребность общественной активности, примером тому многомиллионная организация сторонников мира во главе с Юрием Ж. Этот же товарищ олицетворяет наши потребности в журналистике и политическом активизме. Высылка доброй сотни русских писателей за границу говорит о потребностях в литературе.

Итак, история показывает нам знаменательные изменения духовных потребностей, ну а что касается самой истории, то в ней потребность попросту микроскопическая.

Словом, в духовной сфере советское общество семимильными шагами идет к полному равенству.

Этого пока, увы, не скажешь о потребительской сфере. Тут гражданин еще жаден, капиталистичен. Подавай ему пищу повкуснее да подоброкачественней, одежду попрочнее да поизящней. Экономика, нацеленная на равенство, никогда не справится с этими потребностями неравенства. Как это противоречие преодолеть, да и преодолимо ли оно? Строгими дисциплинарными мерами, конечно, можно добиться желательного снижения потребительских потребностей, ну а экономика уже сама себя покажет. Если невозможно стремиться к повышению качества жизни, то для достижения равенства можно стремиться к снижению качества жизни.

Тут в споре всплыла известная формула Черчилля: "Капитализм — это неравное распределение блаженства, соцализм — это равное распределение убожества". Кто-то тут же сказал, что в наши дни эта формула нуждается в поправке.

Социализм, или то, что называется сейчас "реальный социализм", в самом деле вызывает всеобщее убожество, однако распределяется оно неравномерно. У одних его (убожества) больше, у других (особенно у тех товарищей, что равнее равных) меньше. Исправленная формула Черчилля звучала бы следующим образом: "Капитализм — это неравное распределение блаженства, социализм — это неравное распределение убожества". Однако даже убожество, распределенное не поровну, все-таки больше соответствует человеческой природе, чем утопии равенства, они ужасают и в самых блестящих вариантах.

Равенство, на каком бы уровне оно ни возникло, пусть даже на самом богатом и преуспевающем, быстро приводит к снижению уровня и убожеству. В неравенстве — залог прогресса.

"Мне нравится, что в обществе есть недоступно богатые люди", — сказал один из участников дискуссии. Помните, как у Фицджеральда: "Богатые — это другие". Присутствие элиты делает жизнь интересней, попросту забавней. Мне самому, например, наплевать на золотые часы "Рол-

лекс" или "Конкорд" с бриллиантами, прекрасно обхожусь "Сейкой", работает не хуже, но вот почему-то приятно, что кто-то рядом носит эту бессмысленно дорогую штуку.

Англичане недаром (даже и при лейбористских правительствах) поддерживают институт королевского двора. Это эталон замечательного общественного и эстетического неравенства. Принц Чарлз в интервью с американским журналистом Питером Осносом показал ясное понимание своей роли как общественного эталона "британства". Питер продемострировал удивительное портретное сходство с принцем и схожую манеру одеваться, однако отметил не без удовольствия, что костюм высочайшей особы был в два раза дороже.

Вполне естественно, что в споре зашла речь о другом полюсе неравенства, о бедных и обездоленных. Уж не собираются ли сторонники неравенства представить наше общество идеалом в то время, как пресса и телевидение ежедневно сообщают о тысячах бездомных, об очередях к благотворительному котлу, о нуждающихся и безработных. Какой уж там идеал! Никто пока что в реальном мире и не предвидит идеала. Наличие нищеты и убожества — это одна из главных общественных проблем, "головная боль", как здесь говорят. Убожество, однако, не ликвидируешь, отобрав у богатых их излишки и распределив среди бедных. Надолго не хватит. Динамично развивающееся общество борется за своих бедных гораздо более сложными и многообразными путями. Допустимый уровень бедности соприкасается с уровнем человеческого достоинства. Всякий человек должен иметь свое жилище, за исключением, разумеется, тех, кто не хочет его иметь, а таковых тоже немало. Экономическое неравенство в присутствии человеческого достоинства — вот о чем, собственно говоря, следовало бы вести речь. Не против богатых, но за бедных — таков, кажется, смысл современной экономической справедливости.

Клуб американских миллионеров, если можно так сказать, это сердцевина процветания в этой гигантской стране. Социальная демагогия проваливается в обществе, где каждый хочет стать миллионером, где неравенство вызывает

снизу не желание "отнять", а желание подняться выше, получить и потратить больше.

Любопытно, что, вступив в эру новой технологии, общество потребления предлагает новую форму равенства, основанного не на марксизме или других социальных теориях, а на практике современной торговли.

Спорщик, высказавший эту мысль, приводил примеры из сугубо практической жизни. Ну вот, извольте. Миллионер покупает "роллс-ройс" за сто тысяч, а бедняк покупает "фольксваген-кролик" за пять тысяч. Неравенство, дикая социальная несправедливость как будто бы налицо, однако "кролик" катит не намного хуже, чем "серебряная тень", так же, как "роллс", он дает вам прикурить, развлекает музыкой, рессоры у него отличные, кресла удобные, хоть и не из марокканской кожи, а из пластика, имеются внутри и кондиционер воздуха, и отопитель; транспортные возможности бедного человека приближаются к миллионерским. Кто-то тут попутно рассказывает курьезную историю. Оказывается, гаражи не принимают "роллс-ройсы" на стоянку: очень уж страховка высока. Дискриминация миллионеров.

Ну, вот еще примеры. Появляются, предположим, технологические новинки, какие-нибудь новые модели стерео- или видеосистем. Поначалу они доступны только очень богатым людям, но не проходит и года, как цены на эти товары фантастически падают, а еще через год или менее того они уже становятся доступны практически всем. Это происходит на наших глазах. Промышленность и торговля в жажде продать побольше, то есть в жажде развития, постоянно усовершенствуют свои открытия и удешевляют их массовое изготовление.

Появляется новый стиль в одежде. Шестифутовые манекенщицы демонстрируют тряпки баснословной цены. Проходит месяц, и огромная индустрия начинает выбрасывать точно такие же тряпки на рынок по вполне доступным ценам. Ориентация на богача плавно переходит в ориентацию на середняка, а потом и на бедняка. Не надо делать богача беднее, надо сделать бедняка богаче.

Современному бедному человеку доступны наслажде-

ния, которые были ранее только достоянием богатых. За пятерку можно слушать лучшие оркестры мира, за десятку смотреть великолепные репродукции. Бурно развивающаяся видеомузыка дает еще большие возможности. Перелеты через океан становятся все дешевле, несмотря на инфляцию. Все доступней становится копировальная и множительная техника, домашние компьютеры и прочее.

Так возникает новый мир, и так возникает это странное новое равенство посреди неравенства. С марксистской точки зрения, это, конечно, не подлинное равенство.

Да, скажем мы, к счастью — не подлинное!

От неравенства экономического мне очень легко перепрыгнуть в неравенство политическое, ибо в этой сфере американской жизни у меня пока что нет никаких прав, за исключением права возвращаться в эту страну из заморских путешествий.

Прилежно выплачивая налоги в течение пяти лет, я в конце концов заполучу право гражданства и вместе с ним возможность участвовать в великой борьбе "слона" и "осла", однако, должен признаться, что пока я никаких особенно пылких гражданских эмоций в отношении американской политической структуры не испытываю, за исключением одной — чтобы она держалась.

Американцу, должно быть, редко приходит в голову, что его демократия может покачнуться или вдруг развалиться. Нам, людям из Восточного блока, на первых порах демократия кажется хрупкой и уязвимой, как Красная Шапочка в лесу. Привыкшие к беззаконию наших бывших правительств, к постоянному глумлению над личностью, мы долго еще считаем эти качества проявлением силы, в то время, как американская демократия кажется нам избыточной, и мы за нее просто боимся.

Вот, например, Уотергейтское дело. Американская пресса осуществила свое право на критику любой личности, включая и президента. Газета "Вашингтон пост" изгнала из офиса первого человека страны. С одной стороны, последствия этой кампании оказались более чем трагиче-

скими. Кризис института американского президенства привел к установлению тоталитаризма в нескольких странах Азии и Африки, к уничтожению красными трех миллионов камбоджийцев, к глобальному падению авторитета демократии.

Не без содрогания выходец с Востока думает о том, что может произойти в дальнейшем, если что-то вроде этой истории повторится. Развал Соединенных Штатов, тот самый "последний и решительный бой", о котором *"они"* поют в своем гимне?.. Нелегко нам увидеть вторую сторону этого дела и представить его как один из катаклизмов, необходимых для *укрепления* американской демократии. Нам трудно понять тот факт, что американцы, в гигантском большинстве патриоты, не отождествляют страну с правительством. Коммунисты всем вбили в головы, что они и есть Россия, что их партия это и есть Советский Союз, страна, государство, воплощение национальной гордости и патриотизма. Не чураясь и метафизики, они внедряют в головы людей страннейший постулат "Народ и партия едины!"

Огромность и мощь Америки автоматически вызывают у советских людей предположение, что и здесь происходит нечто подобное советским процессам, что где-то существует единый (может быть, невидимый?) центр, контролирующий всю американскую жизнь. Иначе как, мол, можно все это удерживать и приводить в действие?

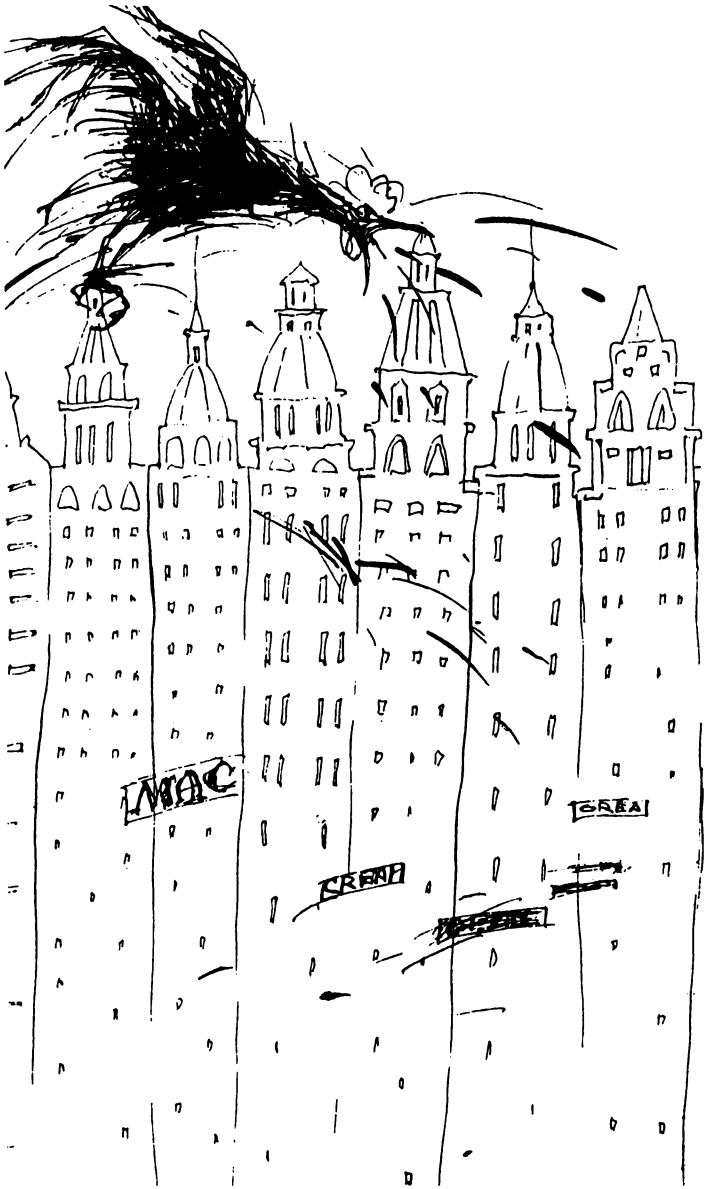
...Прошлой зимой несколько моих студентов университета Джонс Хопкинс и Гаучер-колледжа побывали туристами в Советском Союзе. Масса впечатлений и возбуждение немалое. Один щеголяет в советской флотской шинели, которую где-то выменял на пару джинсов. "Как же вы там обходились, Тим, без джинсов? — спросил я. — Ведь холодно". — "Запасные, сэр, — пояснил он. — Основные-то оставались на мне".

Двадцатилетние американцы были поражены некоторыми вопросами, которые им задавали советские люди об американской жизни. У нас сложилось впечатление, говорили они, что многие там всерьез считают Штаты тоталитарной страной. С неподражаемым сочувствием спрашивают, как в Америке осуществляется "промывка мозгов".

Уверены, что ФБР — повсюду, что университеты, скажем, кишат стукачами, инакомыслие повсеместно подавляется, телефонные разговоры подслушиваются, письма перлюстрируются, и все это направляется президентом Рейганом, настоящим диктатором. "Мы просто руками разводили, — говорили студенты, — видно было, что ничего не докажешь, да к тому же, знаете, как-то смешно защищаться от таких обвинений, находясь в Советском Союзе".

В самом деле, проще всего было бы отделаться замечательной русской поговоркой: "Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала", но все-таки присутствует в этом деле некоторый аспект, который призывает продолжить разговор. Дело в том, что не только те люди, что задавали нашим студентам подобные вопросы, то есть не только те, кто подавлен ежедневной и ежечасной антиамериканской пропагандой или попросту осуществляет оную, но и независимо мыслящая российская публика имеет некоторые сомнения в отношении Соединенных Штатов. В Европе, дескать, это да, настоящая демократия, а вот в Америке все-таки, знаете ли, все сверху управляется, там очень крутая администрация, там военно-промышленный комплекс, ФБР, ЦРУ и прочее. Мало кто по-настоящему понимает, насколько демократично американское общество, как здесь развито не просто инако-мыслие, но разно-мыслие.

Рейгана, особенно в начале его президентства, советская пресса называла чуть ли не "вторым Гитлером" (о Сталине почему-то в этих случаях не вспоминается). Конечно, мыслящие люди в СССР этому не верят, но даже они не представляют себе той простоты, с которой президент располагается в порядках американской жизни. В России народ любит рассказывать анекдоты о своих правителях; кто шепотком, а кто и громко. Здесь устных анекдотов о Рейгане вы не услышите. Почему? Боятся ФБР, так, разумеется, объяснит "Литературная газета". На самом же деле все анекдоты о Рейгане немедленно печатаются в газетах и журналах, изображаются в карикатурах и распространяются в миллионах экземпляров. А между тем прессу в США советские газеты называют "машиной американской пропаганды".


MAC
GREEN

Восхитила меня история с шестнадцатым блоком Пенсильвания-авеню. Однажды в вечерних новостях мы услышали, что Белый дом хочет, по соображениям безопасности, закрыть эту часть улицы для "траффика". После этого в местной прессе печатались бурные протесты. "Пен" принадлежит вашингтонскому люду, а не президенту Рейгану, заявила мэрия города. Хотел бы я увидеть, как Моссовет вот так же осаживает Горбачева.

В Вашингтоне немало магазинчиков с левым уклоном различного градуса. Недавно я шел мимо одного из них (в десяти минутах ходьбы от Белого дома, между прочим) и увидел в витрине сатирический плакат. Он назывался "Анатомия нашего президента". На нем был изображен Рональд Рейган в трусах. Надписи и стрелочки обозначали его органы. Уши президента, гласила одна надпись. Левое не действует, президент внимает только звукам справа. Руки[1] президента чрезмерно развиты. Сердце президента работает ритмично, потому что он спит восемнадцать часов в сутки. Разумеется, чем ниже шли стрелки, тем сомнительнее становились надписи.

Это Америка. Сомневаюсь, что британские смутьяны выставят в таком виде свою королеву, или французы — Миттерана. В Европе еще сохранилось традиционное почитание первого человека страны.

Рейган — американец, и это его не очень-то волнует. Должен сказать, что этот президент вообще, как мне кажется, неплохой парень. Когда пуля ублюдка попала ему в грудь, на лице его не мелькнуло даже тени страха. Это видела вся страна сотни раз в бесконечных повторах. Удар в грудь, и вслед за этим лишь жесткий взгляд — откуда атакуют? Известно, что лидер одной другой большой страны в обстоятельствах менее серьезных сходил под себя. Походкой и жестикуляцией президент почему-то напоминает мне моего покойного друга Статиса, отличного графика и пловца. У него неплохое чувство юмора и даже самоиронии, поистине уникальное качество для государственного деятеля. На последних выборах американцы продемонстрировали

---

[1] Английское слово "arm" означает и "рука", и "оружие".

свое отношение к этому, как один репортер выразился, ultimate product of Hollywood[1].

После пятилетней жизни здесь смешно встречать в советских газетах выражение "американская машина пропаганды", тем более смешно читать, что администрация Рейгана манипулирует этой машиной. Знаю по собственному опыту, как трудно советскому человеку до конца уяснить, что американские средства информации (за исключением только сравнительно небольшого правительственного информационного агентства) не имеют никакого отношения к правительству, а напротив, как бы противостоят ему.

Порой становится не очень-то приятно наблюдать, как газетчики и репортеры телевидения чуть ли не преследуют президента, ловят его на каждом слове, сообщают (даже) результаты его последнего медосмотра, пересчитывая все лимфоциты и эзонофилы, вслед за хирургами лезут президенту в кишки. (В СССР кишки вождя — высшая государственная тайна.)

Комментаторы TV считают своим долгом прежде всего поставить под сомнение любое заявление президента. Сначала усомнимся, а потом поговорим — вот принцип. Например, если президент говорит, что надо улучшить дисциплину в школах, по телевидению тут же сообщается, что в этом нет никакой нужды, что в школах и так все в порядке. Без сомнения, если бы он сказал, что дисциплина хороша, тут же показали бы всякую гадость.

В интеллигентных кругах возник определенный стереотип леволиберального фрондерства. Чтобы сказать в адрес президента несколько положительных фраз, надо в общем-то обладать каким-то уровнем независимого мышления. Русским эмигрантам поначалу все это кажется катастрофичным, но потом они начинают думать, что, может быть, именно на этом разномыслии и зиждется американская мощь с ее гибкостью и взаимозаменяемостью частей.

Любопытно, что в антирейгановском раже советские газеты нередко перепечатывают американские статьи, бьющие по президенту, и на тех же своих страницах убеждают

---

[1] Конечный продукт Голливуда.

читателей, что Рейган задушил малейшие проявления свободы.

Иные из антирейгановских сатирических плакатов в окнах левых книжных лавок бывают не лишены остроумия, другие отличаются изрядной тупостью. Недавно я видел одну такую карту "Мир согласно Рейгану". На ней изображен был, например, огромнейший Тайвань и съежившийся коммунистический Китай. Огромная Польша с надписью "Солидарность" подавляла мелкие страны Европы, охваченные пацифизмом. Отечество для палестинцев было найдено в Северном Ледовитом океане. Над СССР было написано "Страна безбожных лгунов". Простите, ребята, но в последнем случае ваша ирония, как унтер-офицерская вдова, "сама себя высекла".

И все-таки я не все понимаю, если не сказать большего. Американская демократия, видимо, основана на психологических структурах, мне неведомых.

Впервые с самого начала наблюдаю избирательную кампанию. К моменту написания этой строки в ней начинается очередной скандал. Первое в истории страны выдвижение женщины на пост вице-президента вызывает общенациональную эйфорию, а через пару недель газеты и телевидение с азартом начинают выяснять запутанные финансовые дела ее мужа. С экрана ей задается вопрос: "Что вы там прячете, мэм?" Но в то же время многотысячные толпы встречают ее восторженными воплями, а серьезные политики говорят, что, каким бы ни оказалось раскрытие финансовых махинаций, оно не повредит ее шансам на выборах.

Нам, американофилам из СССР, кажется, что демократический процесс должен осуществляться какой-то особой породой безупречных людей, а он между тем осуществляется людьми обычными, среди которых есть и глупцы, и показушники, и честолюбцы, а чаще всего людьми, в которых чего только не намешано. Народу приходится делать отбор среди всех этих качеств. Проблема выбора, столь часто встающая перед американцами, кажется нам, людям,

уставшим от тотального политического обмана, тяжкой ношей. Один огромный всеобщий обман, конечно, проще массы всевозможных маленьких приемов и уловок.

ВАШИНГТОН — МОСКВА С ПОЧТОВЫМИ ГОЛУБЯМИ

(предвыборная переписка)

В кинофильме "Москва–на–Гудзоне" русский беженец падает в обморок не в силах выбрать в супермаркете сорт кофе из дюжин, расставленных на полке. Слишком обширный выбор оказывает слишком сильное действие на нетренированные мозги.

Подобного же рода головокружение я испытывал, наблюдая теледебаты девяти демократических кандидатов на одно место соискателя одного стула. Девять! И каждый лучше предыдущего, и так по кругу, то есть наоборот! Не слишком ли щедрый выбор?

Благодаря мудрым и дальновидным иммиграционным законам, я еще не имею избирательных прав, так что можно не волноваться, однако, мне как-то не по себе в этом году, все время спрашиваю себя, что бы я сделал, будь избирателем?

Намерения всех кандидатов в президенты США столь благородны! Как определить высший уровень благородства?

Я поделился своими сомнениями со старым московским другом по имени Фил Фофанофф, известным в Москве, как смесь Чайльд Гарольда и Санчо Пансы, человеком из нынешнего урожая российской интеллигенции, иначе говоря, внутренним эмигрантом. Мы умудряемся сноситься друг с другом посредством почтовых голубей.

ВАШИНГТОН — МОСКВА

Дорогой Фил, впервые в жизни я наблюдаю американскую избирательную кампанию с самых ее истоков. Сейчас каждый вечер в нашей гостиной шумят отголоски

таинственных событий, именуемых "праймериз" и "кокусы". Эти американские "кокусы" не имеют никакого отношения ни к московским кактусам, на один из которых ты однажды по пьянке сел к полному неудовольствию твоего зада, ни к Кавказу, где мы когда-то с тобой карабкались.

Возможно, ты помнишь, что мы прекратили голосовать еще в 1956 году, когда впервые обнаружили смехотворный обман в советских избирательных бюллетенях. Инструкция на этих листках гласила: "Оставьте одного кандидата, остальных зачеркните". Ты сказал: "Смотри, здесь нет никаких "остальных", здесь только о д н о имя. Они нас принимают за имбецилов". С тех пор слово "выборы" у нас не вызывало ничего, кроме тошноты.

Сейчас волей-неволей я чувствую даже и себя вовлеченным в местную гонку, и я не исключение в нашей эмигрантской общине. Собираясь, мы обмениваемся дежурными фразами об Андропове и Черненко, а потом не без пыла начинаем обсуждать все эти "кокусы", толковать такие вздорные предметы, как "каризма", и вслед за всей нацией выкрикивать:

"Where is the beef?!"[1]

Спрашиваю себя — что это такое: подсознательная потребность человеческой природы или азарт болельщика?

Птахи нынче летают быстро. Вскоре я получил ответ.

МОСКВА — ВАШИНГТОН

Дорогой Василий, вообрази, ваши американские выборы ныне совпадают с нашими советскими выборами!

Как раз когда я читал твое письмо, раздался стук в

---

[1] "Где же мясо?!" — фраза касалась популярных в США котлет-"гамбургеров" и прозвучала в одной из телевизионных передач. Эмоциональность и выразительность, с которой она была сказана, сделали ее крылатой.

дверь. Вошла хорошенькая девушка и сказала: "Привет, я ваш агитатор. Мне нужно зарегистрировать ваше имя, возраст и пол для приближающихся выборов в Верховный Совет".

— Вы появились вовремя, — сказал я. — Не могли бы вы разъяснить мне разницу между советскими и американскими выборами?

Она заглянула в "Спутник агитатора" и разъяснила:

— В американских выборах все кандидаты являются ставленниками военно-промышленного комплекса.

— То есть вы хотите сказать, что и американские избиратели не имеют никакого выбора?

Хорошенькая агитаторша пожала плечами и вздохнула:

— Что вы задаете такие странные вопросы, товарищ? Лучше скажите, что записать в графе "пол". Мужчина?

ВАШИНГТОН — МОСКВА

Дорогой Фил, третьего дня один из этих "ставленников военно-промышленного комплекса" яростно атаковал проект бомбардировщика Б-1. Выступая перед студентами университета, он заверял их, что отнимет жирные куски у ненасытной военной машины и отдаст их им, худощавым молодым людям. Он явно рассчитывал на взрыв аплодисментов и восторга, подобных тем, что когда-то тут получал тот, с которым его сейчас сравнивали, однако, студенты по совершенно непонятным причинам хранили ироническое молчание.

К счастью, все это пока ко мне не имеет отношения. У меня нет прав оценивать кандидатов по их философской мощи или интеллектуальным возможностям. Единственное, что я в самом деле могу оценить, — это их внешность.

Посмотрев на них с этого угла, я нахожу их всех довольно привлекательными — высокие, подтянутые, костюмчики неплохо пошиты, аккуратные прически. Лысины не просматриваются. У лысого человека, похоже, мало шансов на избрание.

Конечно, кандидаты — не самые красивые люди в этой стране, но они и не должны быть "самыми", иначе от них можно было бы потребовать и комбинации других "самых-самых" качеств. Они просто должны быть "fit"[1] *для президентства, вот в чем дело.*

Кроме "каризмы", дорогой Фил, у них еще должны быть "рекорды". Нужно иметь лучшие "рекорды", чем у других, чтобы стать президентом или хотя бы кандидатом в президенты. У меня довольно смутное понятие о том, что это означает, поэтому я продолжаю концентрироваться на их наружности. Например, когда один из кандидатов гордо заявил, что у него лучший "рекорд" по вопросу гомосексуализма, я заметил, что костюм у него в то утро был безукоризненный, но из левого уха торчал пучочек седых волос.

Как выбирать, кому отдавать предпочтение? Возьмем, к примеру, трех парней из девяти, сидящих на сцене. Все они за "nuclear freeze"[2]*, но у одного физиономия самодовольного кота, другой напоминает лося, в то время как третий отличается скользящими, как у морского льва, телодвижениями...*

МОСКВА — ВАШИНГТОН

Дорогой Василий, твой новый "физический" подход к соискателям в американских выборах заставил меня подумать о наших проблемах. Не кроется ли в этом решение наших неразрешимых однопартийных самовыборов? Отягощенный этими мыслями, я направился за советом к могущественному товарищу XYN, секретарю Союза писателей и депутату Верховного Совета.

— Товарищ XYN, почему бы нам не иметь двух кандидатов на одно место. Пусть оба будут членами нашей единственной и единственно возможной партии, но один будет, скажем, кудрявым, а другой хромым. У людей появится шанс сделать выбор, и таким образом мы заткнем

---

[1] Годный.

[2] Замораживание производства атомного оружия.

рот буржуазным клеветникам, говорящим, что у нас выборы без выборов.

— Не пойдет, — сказал мрачный товарищ XYN после продолжительного молчания. — Люди не смогут решить сами, что лучше — кучерявость или ущербная нога. Кроме того, физические данные кандидатов могут затмить неоспоримое совершенство марксистской теории. Наша партия решила раз и навсегда: один — это лучше, чем два. Удовлетворены моим объяснением, гражданин Фофанофф? Не советую вам п о п э р э д б а т ь к и в п е к л о л е з т ь. Всего доброго.

ВАШИНГТОН — МОСКВА

Дорогой Фил, хотя мы и потеряли по пути несколько седовласых парней, американская избирательная кампания грохочет все сильнее. Вроде бы меньше стало кандидатов, а количество черт, из которых надо делать выбор, все увеличивается. Тут у нас и возрастные морщины, и неточная нумерация прожитых лет, оттенки кожи и произвольные движения языка... схожесть с прототипами и несхожесть ни с кем, усы, пробор в волосах, неожиданный набор "новых идей"...

Становится все более очевидным, что идеальная композиция невозможна, а как избрать лучшую? У меня нет навыка к демократии, Фил. Предпочтение одного другому — не кроется ли в этом какое-то аристократическое высокомерие? Все время спрашиваю себя, как примирить все эти противоречия?

МОСКВА — ВАШИНГТОН

Дорогой Василий, вслед за Пушкиным "откупори шампанского бутылку и перечти "Женитьбу Фигаро".

ШТРИХИ К РОМАНУ "ГРУСТНЫЙ БЕБИ"

1982

Бернадетта Люкс, взяв старт от "Центра долголетия", мощно катила на роликах вдоль океана. Волосы за ее спиной развевались наподобие хвоста знаменитого коня Буцефала, мемуары которого вот уже неделю лежали у нее на ночном столике. Трудно было узнать в этом очередном подобии Джейн Фонды некогда ленивую домоуправляющую. "Аэробикс" превратили ее в вечную девушку, агента по недвижимости.

Рядом с ней скользил другой агент по недвижимости, а именно Рэндольф Голенцо, давно уже сменивший пивную рыхлость на мускулы молодого мужчины. Гордые и независимые male и female, имея на головах усовершенствованную звуковую систему, общались друг с другом на фоне "Героической симфонии" мистера Бетховена.

— I made up my mind, — сказала Люкс. — And the answer is "yes"[1].

Голенцо кивнул со сдержанным счастьем:

— Let's go to my place. I have coffee "Better choice" for further ideas![2]

Так образуется новая прослойка населения, известная теперь под именем "яппи".

Надо ли добавлять, что вскоре на горизонте появилась ритмично бегущая пара — Лев Грошкин и генерал Пхи.

1953

Скорбь и мороз сковали город. Светились только вывески аптеки, что еще можно было как-то понять, и ресторана, что было нагло и бессмысленно: кто же захочет сомни-

---

[1] Я окончательно решила... и мой ответ "да".

[2] Пошли ко мне. У меня есть кофе "Лучший выбор" для дальнейших идей!

тельных ресторанных удовольствий в такую ночь, когда все человечество рыдает?

И вот, оказывается, нашлись негодяи! Четверка, задумавшая отметить день рождения Филимона в день смерти Иосифа, пробиралась по пустой и темной улице Карла (Маркса).

Ресторанчик "Красное подворье" пользовался в городе дурной репутацией. Там собирались согласно данным комсомола городские плевелы, трутни, плесень рода человеческого. В этом месте и в обычный вечер можно замарать репутацию, а в такой трагический момент потери человеческого великана можно оттуда сходу "загреметь" в "Бурый овраг", как называли в городе штаб-квартиру местных органов.

Вот уже появилась знаменитая круглая афишная тумба, оставшаяся в городе с тех пор, когда на этой улице, называвшейся тогда Капитальной, преждевременно ликовал капитализм. Порывы морозного ветра треплют край желтой афиши, она тем не менее гласит:

"Республиканская филармония. Всего шесть вечеров. Знаменитый негритянский певец, танцор и художник Боб Бимбо. Сатирические портреты поджигателей войны. Песни и танцы угнетенных народов мира". В овальной рамке на афише портрет молодого чернокожего.

Эта афиша уже несколько дней будоражила город. Посреди замерзших мочевых потоков повеяло "банановo-лимонным Сингапуром". Говорили, что Боб Бимбо одним росчерком грифеля рисует на доске портреты Черчилля, Трумэна и Джона Фостера Даллеса вместе взятых. Университетские циники, правда, шептались, что у Боба Бимбо "яйца белые", но эта деталь, естественно, только подогревала провинциальное воображение.

1983

Лева Грошкин однажды для поддержания своей молодости нашел неплохую ночную работу, три раза в неделю швейцаром в ресторане "Нувориш". Приклеив усы а-ля маршал Буденный, он выдавал себя за сербского князя Он-

то-Потоцкого, личного врача президента Тито в период партизанской войны на Балканах. Хронологическая чепуха никого не смущала, может быть, потому что в "Нуворише" никто толком не говорил по-английски, а может быть, и потому, что все были немножко не теми, за кого себя выдавали.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Несколько лет назад, когда в Европе происходили массовые антиамериканские демонстрации, случилось мне беседовать на эту тему с одним важным лицом в Вашингтоне.

Вообще-то, говорю я, на все эти довольно постоянные антиамериканские чувства в Старом Свете можно посмотреть в аспекте черной неблагодарности. В принципе-то Америка ведь не сделала Европе ничего плохого, кроме хорошего. Дважды помогла выбраться из военных пропастей, помогла отстроиться на руинах, соорудила надежный щит на восточных рубежах. Откуда же берутся негативные эмоции в самых разных, и не только левых, слоях европейского населения?

Все очень просто, сказал мой собеседник, мы богаты, нам завидуют.

"У-у-п-с", — подумал я уже на американский лад (на свой лад я подумал бы "о-о-п-с"). Важное лицо, невзирая на свой сорокалетний возраст, находится в плену клише тридцатилетней давности. "Разве Европа нынче так уж бедна по сравнению с Соединенными Штатами, сэр? Разве "мерседес" завидует "кадиллаку"?" — спросил я.

Конечно, конечно, кивнул он. Они сейчас не так бедны, однако, согласитесь, ведь мы все же гораздо богаче всех прочих; вот отсюда и зависть.

Я подумал тогда об этом до сих пор еще живучем феномене — априорном восприятии своей Америки как "самой, самой"... Не требуется доказательств, чтобы воспринимать

свою Америку как самую богатую и могущественную страну мира (что в принципе так и есть, хотя и требует некоторых доказательств), американскую науку как самую передовую в мире, американское кино как самое увлекательное, американских атлетов как самых сильных и искусных и т.д.

До сих пор еще меня восхищает, как, ничтоже сумняшеся, здесь объявляют бейсбольный финал "мировой серией", хотя никто, кроме американцев, в розыгрыше не участвовал. Подразумевается, что им, чужим, и нечего участвовать — заведомо слабее. Чемпионов NFL и NBA величают чемпионами мира. Скорее всего, и те и другие действительно сильнейшие в своих видах спорта, особенно футболисты за полным отсутствием соперников, но ведь все же чемпионами мира становятся в соревнованиях на первенство мира, а не на первенство Соединенных Штатов, не так ли?

Иные американские интеллигенты склонны видеть в этом проявление американского великодержавного шовинизма, а мне скорее это представляется деревенским простодушием, сродни тому, как суперсилач на ярмарке рвет цепи и орет утробным голосом: "Я самый сильный человек в мире!"

Можно гадать: то ли это априорное, почти не нуждающееся в доказательствах чувство превосходства приводит американцев к определенной изоляции от Европы, или, наоборот, изоляция, оторванность вызывают это чувство — ясно, однако, что оно раздражает друзей. Мы, новые американцы, столкнулись здесь с неожиданным и щекотливым обстоятельством. Из Советского Союза американцы представлялись нам "гражданами мира", полиглотами, космополитами. В реальной жизни они оказались в большей мере замкнутыми на своей стране, на американской планете.

Взять хотя бы все тот же спорт. Будучи болельщиком некоторых видов спорта, я обычно в Советском Союзе негодовал, что телевидение скупо освещает международные соревнования, приписывая это, разумеется, специфике советского общества, его идеологической закрытости. Каково же было мое изумление, когда я обнаружил, что для американской публики международный спорт попросту не су-

ществует. Ожесточенно щелкая кнопками телевизора, я не мог найти не только репортажа о соревнованиях в Европе, но даже сообщения о них в программах новостей. В Америке был какой-то другой спорт, совершенно иная концепция этого вида человеческой активности, к которой я долго не мог привыкнуть.

Помнится, в тот месяц, когда мы сюда приехали, проходили международные соревнования по хоккею на Кубок Канады. В СССР это считается главным спортивным событием: вновь в который раз решается трагический вопрос современности — кто сильнее, славянская "ледовая дружина", составленная в основном из офицеров армейского спортклуба, или "надменные суперзвезды" профессионального хоккея? Напряжение нагнетается с каждым матчем, в подтексте, разумеется, схватка социализма с капитализмом. Все матчи транслируются в Москву, и улицы обычно в эти часы вымирают.

Прорыскав в Америке по всем каналам, я так и не нашел не только ни одного репортажа, но и ни одного сообщения об этом турнире. Вместо хоккея по экрану неторопливо бегали немолодые уже дяди, нередко с отвисшими задами и животами, в форме, напоминающей зимнее белье, махали палками, ловили мячи в кожаную перчатку, осерчав, бросали в судью песком.

Боясь погрязнуть в невежестве, я рыскал по газетам, пытаясь найти хоть какое-нибудь сообщение о Кубке Канады. Наконец, в "Нью-Йорк таймс" в глубинке спортивной страницы я обнаружил несколько строк, из которых извествовало, что русская команда разгромила *все звезды* канадского хоккея со счетом 8:2. Сомневаюсь, что, кроме русских эмигрантов, эти строчки кем-либо были тут обнаружены. Пропали, стало быть, втуне столь могучие усилия доказать преимущества социализма при помощи хоккейных клюшек.

Спустя некоторое время начался внутренний хоккейный чемпионат на Кубок Стенли, и вот тут-то пошли и репортажи, и сообщения в новостях, и интервью в раздевалках, словом, разгорелся "настоящий", то есть внутренний американский спорт.

Однажды вечером в ряду этих сообщений, кажется на Эн-би-си, появился заголовок, от которого я просто ахнул. "Может ли Иван играть в хоккей?" И дальше рассказывалась уникальная история ленинградского игрока Виктора Нечаева, который, женившись на американке, переехал в Штаты и подписал контракт с командой "Лос-Анджелес Кингс". Гляньте-ка, какие чудеса, повествовал комментатор, приехал вот один тут "Иван", и оказалось, что он умеет играть в нашу игру. В невежестве своем комментатор, очевидно, и не слышал никогда о том, что русские уже много лет были чемпионами мира по хоккею и довольно стабильно громили лучшие хоккейные команды мира. Вот, смотрите, господа, удивлялся комментатор, русский, а вот так скользит по льду и клюшкой орудует; где же это он научился, всем на удивление?

Между тем Виктор (я с ним позднее познакомился) несколько сезонов играл в высшей лиге советского хоккея. Когда его спрашиваешь об уровне игры калифорнийских "королей", он пожимает плечами и со свойственным этой профессии лаконизмом бросает: "Это несерьезно".

Я подумал, что, если бы в составе какой-нибудь русской команды появился американский или, скажем, лапландский игрок, с ним бы носились как с писаной торбой. Парадоксально, но в закрытом обществе СССР общественный интерес (и, конечно, не только в спорте) направлен во "вне", в то время как в открытых демократических США он почти целиком устремлен "внутрь".

"Внешнее" гораздо меньше интересует американцев, то ли потому что априорно подразумевается, что оно хуже, то ли потому, что своего слишком много.

В газетах критиковали Эй-би-си за освещение Олимпиады: дескать, насаждали шовинизм, сосредоточившись только на американских спортсменах. В самом деле, за все эти недели (а я очень плотно следил за событиями) я ни разу не видел интервью, проведенного с переводчиком. Казалось бы, какой соблазн, как любопытно, как в конце концов просто забавно проинтервьюировать китайца, индуса, француза. Увы, ничего ни забавного, ни любопытного работники Эй-би-си среди ста сорока делегаций не обнаружили.

Только в последний день, когда португалец победил в мужском марафоне, комментатор, пообещав зрителям удивительный эксперимент, подошел к Гомешу с переводчиком.

Сомневаюсь, однако, что в этом проявились какие-то особые шовинистические наклонности Эй-би-си. Вполне справедливо звучат их оправдания: публике это просто не так интересно. Телевидение старается следовать интересам публики. Публика развивает свои интересы под влиянием телевидения. Отличный возникает порочный круг. Крути его на бедрах день-деньской, будто обруч "хула-хупа".

Вот, может быть, в этом искреннем отсутствии интереса, в тенденции к отгораживанию от жизни мира, в утилитарном восприятии Европы лишь как места летних вакаций и кроется один из источников антиамериканских чувств?

Парадоксально, но, несмотря на идеологический железный занавес, Советский Союз во многих сферах ближе к Европе, чем лидер свободного мира Соединенные Штаты. Советским футболистам, оказывается, легче пересечь железный занавес, чем американским "квортербэкам" и "тэклам" махнуть через Атлантический океан.

ФУТБОЛ БЕЗ НОГ

Любопытно, как все это американское *иное, свое, непохожее,* быстро здесь развивается. Казалось бы, страна населена великим множеством народов, здесь-то и расцветать космополитизму, однако, все эти выходцы, беглецы, перемещенные лица никакими космополитами не становятся, а становятся американцами еще до того, как получают американское гражданство. Я и сам ловлю себя на довольно быстрой американизации вкусов. Быть может, Фил Фофанофф при встрече скажет: "Да ты, мой друг, основательно обамериканился!"

А ведь поначалу многое здорово раздражало. Запах "папкорна" — жареной кукурузы, например, в киношках. Вообще запахи, милостивые государи, все эти "пинат батеры", "кетчупы", "тэкос"...

Тут дело, возможно, в биохимии. "Тоска по родине", возможно, во многом биохимическая проблема. Мы не просто за границей, мы за океаном. Америка и в самом деле немножко другая планета. Меняется (пусть ничтожно, но меняется) химия воды, воздуха, земли, травы, листвы — и далее — хлеба, молока, масла... В ностальгическом катаклизме, возможно, немалую роль играет биохимия. Ученые могут заняться этим, если не лень.

Баланс запахов нарушен, иные выпятились, иные стушевались. Эмигранта часто бесит и общий недостаток запахов. В Америке "клубника не пахнет", "люди не потеют"... — привычные темы эмигрантских разговоров. Видимо, в них есть резон. Прошлым летом в Париже вошли мы в одно собрание и даже вздрогнули от терпкости — духи вперемешку с потом. М-да, переглянулись мы, у *нас* и в самом деле так не потеют.

Футбол, конечно, тоже дико раздражал. Где-то шумели великие побоища Европы, сотни тысяч людей вдували всю свою страсть в малейшие передвижения маленьких фигурок на дне ревущих стадионов, а здесь это даже и не называлось футболом. Какой-то "сокер", как бы развлечение в носочках. Чуть ли не женский спорт, видите ли... А вот привычным и столь волнующим словом "футбол" называют игру, в которой за целый час лишь три или четыре раза бьют "футом" по "болу". Экая все-таки странность: мяч передается руками, но игру не называют "хэндбол", перетаскивается мяч (впрочем, подходит ли для этой *штуки* слово "мяч"?) под мышкой, однако, игра все-таки не называется "армпитбол", а именно гордым словом "футбол", к которому не имеет никакого отношения.

Долгими эмигрантскими вечерами в унылой квартиренке в Анн-Арборе, в мотелях по дороге на Запад, в санта-моникском прибрежном доме, который только тем отличался от мотеля, что там не заправляли постель, я смотрел на перемещение молодцов с утрированными плечами, в свирепых касках... все это описывается в советской пропаганде

как апофеоз американского "культа насилия и жестокости"... и думал: какая скука!

Однажды профессора Штольц и Фонвизин пригласили меня на стадион. Там я наконец-то понял, что означают слова "touch down" и "interference", оценил искусство marching band, проникся экстазом толпы... Впереди нас сидела парочка в ковбойских шляпах с перышками. И ему и ей было лет под шестьдесят. Они страстно целовались и, сияя, оглядывались, как бы приглашая и других болельщиков разделить их счастье. В перерыве матча над стадионом появился самолетик, влачащий красноречивый призыв: "Марджи, давай поженимся! Твой Даг". Парочка подскочила, сияя до невозможности. Он обратился к окружающим:

— Это я! Я — Даг, она — Марджи! Не так дорого, фолкс! Всего двести "бакс", и ваши чувства в небе! Она согласна! Ну и девочка, эта Марджи!

Профессора Фонвизин и Штольц отечески улыбались. Именно в эти массы они несут просвещение.

Признаюсь, "небесное" признание в любви стало кульминацией матча не только для Дага и Марджи, но и для меня. Перипетии "футбола" оставили меня равнодушным. По-прежнему я выискивал на спортивных страницах эмигрантских газет сообщения о настоящем футболе и даже представить себе не мог, что в скором времени стану вместе со всеми жителями Вашингтона жертвой "краснокожей лихорадки".

В воскресенье 22 января 1984 года весь город вымер: все собрались на "парти" вокруг телевизоров. Это был для вашингтонцев день предполагаемого торжества — футбольный матч на Суперкубок по американскому футболу, в котором наша команда "Редскинс" ("Краснокожие") должна была победить калифорнийских "Рейдеров". Уже два года бушует в столице так называемая "краснокожая лихорадка". В прошлом году "краснокожие", разгромив в финале флоридских "дельфинов", впервые стали чемпионами. Мы с женой поехали тогда в веселый старинный район города — Джорджтаун — посмотреть, как будут ликовать болельщики. Ну, право, не ожидали такого неистовства, та-

ких страстей. Наша машина застряла в многочасовой пробке. Толпа плясала на улицах, в окнах домов, на крышах строений и экипажей. Фейерверки с поверхности и в небе, с вертолетов. Все это напоминало конец войны. Слава, слава "краснокожим", чемпионам мира.

После этого триумфа *нашего* города (о, этот американский community spirit![1]) я стал постепенно вникать в футбол и научился разбираться, чем занимаются на поле юркие нападающие бегуны, ударные силы атаки, "квортербэк" и "такелажники" защиты.

В СССР американский футбол изображается как торжество звериных инстинктов, империалистический вид спорта, в котором игрокам только и остается делать, что зубы выбивать у противника или собирать в кулак свои, выбитые. Между тем я с удивлением обнаружил, что в сравнении с хоккеем этот вид спорта даже корректен, на поле дело почти никогда не доходит до драк, несмотря на то, что применяются такие силовые приемы, после которых человек, кажется, больше не встанет.

Через некоторое время я стал настолько разбираться в игре, что даже смог объяснить ход сражения одному советскому визитеру, доставившему в сапоге письмо Фила Фофаноффа. Посмотрев игру, этот человек, в прошлом крупный спортсмен, отошел от телевизора и торжественно заявил:

— Нация, которая занимается этим видом спорта, непобедима!

— Да ведь никто, кроме этой нации, в американский футбол и не играет, — сказал я и добавил, к собственному удивлению: — И это весьма прискорбно.

Наш гость с удивлением на меня посмотрел.

— Я не футбол имею в виду.

Тут уж я удивился.

— Что же?

Он пожал плечами.

— Неужели не понимаете? Все!

В реакции гостя сказался советский глобальный подход

---

[1] Общественный дух.

к вопросам спорта. Мы-то были озабочены другим: повторят ли в новом сезоне "краснокожие" свой триумф?

...Снежным вечером 22 января в Вашингтоне никто не сомневался в победе. По пути к финалу мы обштопали своих самых злейших соперников "ковбоев" из Далласа, легко выиграли у могучей команды "Сан-Франциско-49", буквально разгромили лос-анджелесских "баранов". "С ними невозможно играть, — сказал один из "баранов", — они просто чертовски хороши". В барах Вашингтона гремела рок-песенка "Вашингтон Рэдскин уорлд файнест футбол машин", что-то явно напоминающее знаменитый шлягер "Распутин".

Матч проходил на юге, в Тампе. Команды приехали туда за неделю, переполненные самолеты подвозили болельщиков. Шел бесконечный карнавал. Вашингтонцы снисходительно посматривали на ожесточающихся с каждым днем калифорнийцев — дескать, жаль вас, ребята, да ничего не поделаешь, придется бить. Наши звезды Джо Тайзман, Джон Риггинс, Дэйв Бац позировали перед камерами в привольном настроении. И вдруг...

Мне тяжело говорить об этом, но "краснокожие" позорно продулись. Ничего не получилось у них в тот день. "Рейдеры" выломали все спицы из нашей футбольной машины. Их "квортербэк" посылал такие пасы, что президент Рейган в тот вечер сравнил его с секретным оружием и предположил, что СССР, очевидно, потребует его демонтажа.

Снег засыпал в тот вечер столицу. Печально брели под ним болельщики в головных уборах "краснокожих". Сосед спросил меня: "А вы, наверное, ничего не понимаете в этой игре?" — "Увы, — сказал я, — все понимаю".

Я и в самом деле многое уже понимал, и не только в футболе. После нескольких лет жизни здесь ловишь себя на новых ощущениях. Я обращаюсь к спортивным страничкам наших эмигрантских газет с некоторой уже вялостью: русские и европейские страсти отдаляются, затуманиваются. Космополитический мой пафос испаряется, и не только в спорте. Волей-неволей я втягиваюсь в огромный (в том-то

и дело, что он непомерно велик) и яркий мир американского провинциализма.

Как-то раз я открыл популярный журнал и увидел в нем портрет моего старого товарища, знаменитого советского кинорежиссера, недавно оставшегося на Западе. Ага, подумал я тогда не без злорадства, приходится все-таки иной раз вспоминать и чужих, не только Линдой Эванс и Спилбергом развлекать сограждан. Что ж, от таких звезд, как Т., и в самом деле не отмахнешься.

Текст под фотографией, однако, охладил мое злорадство.

"Т., — гласил он, — знаменитый советский режиссер. В 1962 году его первый фильм получил премию Золотого Льва на международном фестивале в Венеции. В дальнейшем он получил высокие призы на других важнейших международных фестивалях, включая Каннский. Имя Т. совершенно никому неизвестно в Америке..."

Чего в этой неосведомленности больше — невежества или высокомерия? Может быть — ни того, ни другого, а просто лишь огромное, непомерное, неподдельное количество всего своего для того, чтобы еще знать что-то чужое?.. Бесконечный поток американских "celebrities"[1] сбивает обывателя с толку. За пять лет жизни в этой стране я не запомнил и одного процента из здешнего корпуса звезд. Недаром к этому словечку теперь прибавляется "супер"; может быть, хоть оно поможет выделить твой процент из бесконечного ряда этих по-дурацки хлопающих глазами знаменитостей; однако, и суперзвезд слишком много. Сколько раз нужно повториться, чтобы задержаться в общественной памяти, если этот "мусоропровод" можно назвать общественной памятью? Я ведь и сам уже в этом исходящем золотым паром муравейнике маленькая букашка-знаменитость. Эва, сколько уже собралось газетных вырезок, да и на телевизоре не раз уж побывал. Рядовая никому неизвестная знаменитость.

Однажды столичная газета бухнула интервью со мной и портрет отпечатала невероятных размеров, чуть ли не на всю полосу. Неделю спустя где-то познакомился я с журна-

---

[1] Знаменитости.

листом из этой самой газеты. Оказалось, что он никогда даже не слышал моего имени. Его можно понять: защищаясь от потока информации, от бесконечных взломов его дома жаждущими его признания "знаменитостями", человек вырабатывает своего рода спасительное невежество.

Где уж там иностранные, от своих-то задыхаемся! При виде трудночитаемого имени человек немедленно пролистывает журнал. Однако попробуй объясни в Европе, что Америка не знает их кинозвезд и писателей не из высокомерия, а только лишь из самозащиты.

Почему эту странную Америку нужно завоевывать, почему не она должна увлекаться, скажем, балетом, а балет должен понравиться ей, почему не она, деревенщина, должна тянуться к классической музыке, а классическая музыка должна тянуться к ней? Такие вопросы задает себе ущемленное европейское самолюбие. Возникает ксенофобический кризис, столкновение европейской и американской деревенщины. Иначе это именуется "сопротивлением американскому культурному империализму".

И все-таки отдаленность Америки от праматери Европы удивительна. Как-то в порядке эксперимента я стал спрашивать своих студентов, каких европейских кинозвезд они знают. Оказалось, что почти никто из этих "детей хороших семейств" не слышал ни о Феллини, ни о Бергмане, не знают ни Жана Маре, ни Роми Шнайдер, ни даже Мастроянни, не говоря уже об Анук Эме. Вот Софи Лорен они знали, видимо, потому что она рекламировала по телевизору духи "София".

Прогуливаясь как-то по Пятой авеню в Нью-Йорке, я вдруг заметил в толпе невысокого человека с характерным узким лицом, быстрым взглядом смышленых глаз и иронической улыбкой в углу иронического рта. Боже мой, да это не кто иной, как Жан-Поль Бельмондо собственной персоной! Прогуливается просто так, не окруженный ни толпой репортеров, ни любителями автографов, попросту говоря, никем не замечаемый, еще проще — никому неизвестный!

Я приподнял шляпу, то есть то, что было вместо шляпы на голове; кажется, ничего.

— Месье Бельмондо?

Он вздрогнул.

— Откуда вы меня знаете?

— Я видел по крайней мере десяток фильмов с вашим участием.

Бельмондо засмеялся, вытащил пачку "Гитаны".

— Как видно, сэр, вы здесь тоже иноземец.

— Из России, Жан-Поль, с вашего позволения.

— Так я и думал. Меня здесь знают только русские эмигранты.

Я хотел было уже откланяться, но Бельмондо уцепился за меня.

— Вы бы, Василий, не линяли б так быстро. Я бы вам рассказал, как снимаются различные эпизоды кино. Вообще, почему бы нам хорошенько не выпить? В русском стиле, ха-ха-ха, как в Москве на фестивале, с утра... С русским революционным размахом и с галльским острым смыслом, давайте, что ли, пообедаем? Я, знаете ли, очень ценю, что вы узнали меня в американской толпе. Сначала, знаете ли, я даже наслаждался тем, что меня здесь никто не знает, как будто стал невидимкой, а потом, признаюсь, стал нервничать. Что ж, думаю, получается, что все труды как бы просто насмарку, в жопу, иными словами? Сеешь, как говорится, уже два десятилетия разумное, там, доброе, вечное, а в этой наглой Америке никто у тебя даже автографа не попросит. Помогает общение с товарищами, что оказались в таком же положении. Один предприимчивый одессит открыл здесь неплохое кафе "Ненаших звезд". Мы там собираемся. Едим, грустим...

...В самом деле, в кафе "Ненаших звезд" на задах Лексингтон-авеню Жан-Поля Бельмондо знали. Бармен сделал ему пальцем европейский жест от уха в пространство, наше, мол, вам с кисточкой! Официант без фамильярности, но вполне по-свойски, взял его кожаное пальто, шумно

стряхнул с него капли дождя, которые в Нью-Йорке пахнут чем-то двусмысленным.

— Как всегда, Жан-Поль, пожарские котлеты?

Мы разместились в углу.

— Вы кто по профессии, Василий? Наверное, дантист?

С любезностью необыкновенной Бельмондо предложил мне не стесняться при разборе меню.

— Вот, узнал меня на улице местный американский дантист Василий, — гордо пояснил он завсегдатаям, слегка, как видите, приврав.

Свидетель Зевс, вокруг за столиками сидели мировые звезды. Я узнал японского режиссера Куросаву, советского поэта Окуджаву, Шопена Ф., варшавского музыканта, философа из Кенигсберга э-э-э... Канта... были также мелкие европейские нобелевские лауреаты вроде Канетти и Голдинга.

— Кстати, о Канте, — сказал я Жан-Полю Бельмондо. — Вы слышали, что Кенигсберг переименован в Калининград, то есть в город козлобородого большевика Калинина? Так вот, недавно секретарь Калининградского обкома партии назвал Канта "нашим великим калининградским философом". Не знаю, будет ли это приятно Иммануилу?

Назвав великана Иммануилом, я почувствовал, что вхожу в душу этого кафе, в общую атмосферу панибратства. Гости Америки, будь это Клавдия Кардинале или Франц Беккенбауер, попадая в эти стены, вздыхали с облегчением, вместе с каплями дождя как бы отряхивали скверну неузнавания. Кое-кто из них приводил с собой "местных дантистов" вроде меня, за ними с любезностью ухаживали.

Изобретатель пиццы средневековый повар Габрелиус Пицца с улыбкой рассказывал Фолькеру Шлендорфу и Анджею Вайде о том, что в Америке полагают это блюдо подлинным американским изобретением.

Вдруг все смешалось в доме В.Р. Эбэлонских (имя предприимчивого одессита из крепостных евреев князя Степана Облонского). Вбежала некая брюнетка в декольте. Вечернее платье с блестками носило следы жадных рук, под ним угадывались стройные ноги, дрожащие в результате бегства.

— Спрячьте меня, друзья, — задыхаясь, сказала дама. — Меня преследует толпа!

Все присутствующие повскакали со своих мест. Не верилось глазам. Это была она, Алексис, из нашей бесконечной "Династии", наш вариант Сары Бернар и Веры Комиссаржевской, несравненная наша американская Джоан Коллинс!!!

ШТРИХИ К РОМАНУ "ГРУСТНЫЙ БЕБИ"

1985

Не исключено, что в роман может ворваться, будто некий летучий дух Америки, какой-нибудь мистер Флитфлинт из тех парней, что до середины января ходят в "тишорт" и неизменно на матчах superbowl раскачивают над головой огромный картонный палец. На своем вездеходе "Вождь чероки" он может закатить на "остров сервиса" имени Фенимора Купера, что лежит в излучине быстротекущего фривэя № 95, отлить излишки пива "Бад", проверить за четвертак свои биоритмы, прожевать "бургер", подрочить клавиши видеоигры... На все дела семь с половиной минут, и — дальше! Вдогонку бравурная интерпретация "Грустного беби".

1953

Такого покоя, как в тот вечер, ресторан "Красное подворье" не знал со дня своего основания, когда не обладал еще своим эпитетом, но всегда имел в наличии чистые салфетки. Даже встречающий гостей на лестнице двухметровый медведь, переживший и времена капиталистического бума, и троекратную смену власти в период гражданской войны, и "угар нэпа", и все убожество социализма, казалось, как-то изменил свою похабную посадку и порочный перекос морды и преисполнился гражданской скорби.

С таким же медвежьим выражением скорби на лицах поднимались по лестнице четверо студентов. Не схватила бы только "медвежья болезнь"! "Мы просто покушать", — шепнули они старшему официанту Лукичу-Адреянычу. Старый стукач смотрел на них с непроницаемым выражением опустившегося лица. Нынешний вечер напоминал ему короткое затишье весной 1919 года, когда вдруг замолчала канонада над Волгой, после чего в ресторацию ворвалась орда чехословацких офицеров. Тоже хотели "просто покушать".

"Бутылку-то принести?" — спросил он надменно, приняв заказ на четыре пожарские котлеты. "Разве что одну, Лукич", — пролепетал Филимон.

Зная за этими четырьмя тенденцию к сомнительным разговорам, Лукич-Адреяныч соображал — спровоцировать или нет, и решил, разумеется, спровоцировать. "Не знаю, — сказал он, — все ли искренне скорбят нонче по нашему отцу? В Америке, наверное, водку пьют, котлетками закусывают..."

1975

Весной того года ГМР приехал в большой закавказский город. Народный артист СССР и Герой Социалистического Труда Рафаил Байджиев предложил ему поставить в местном театре, где безраздельно главенствовал уже два десятка лет, пьесу Артура Миллера "Смерть коммивояжера".

Первое, что увидел ГМР, выйдя из поезда, был большой портрет Мерилин Монро. Выглядело это как-то неправдоподобно рядом с портретом Брежнева, памятником Ленину и лозунгом "Решения партии — в жизнь!"

У таксиста над щитком приборов также фигурировала фотография Мерилин, этот ее магнетический вид с полузакрытыми глазами и полуоткрытым ртом. "Кто это у вас тут?" — спросил ГМР водителя, армянина лет сорока в типичной для тех мест тяжелой плоской кепке, именуемой "аэродромом". "Артистка, — охотно ответил тот, — фамилии пока не запомнил. Фильм у нас сейчас идет "В джазе

только девушки". Весь город влюбился. Такая женщина! Каждый день хожу ее смотреть, дорогой. Весь город за концы держится. Такая женщина!"

ГМР сообразил: кинопрокат выпустил наконец на широкий экран старую ленту "Some like is hot", которую он смотрел еще лет пятнадцать назад на закрытом просмотре в московском Доме кино.

Плакаты кинотеатров сопровождали их путь. Лицо Мерилин преобразило советский город. Наглядная агитация и монументальная пропаганда пятидесятилетнего социализма как бы задвинулись вглубь. "Как мало, оказывается, нужно для того, чтобы..." — продумал ГМР свою очередную антисоветскую мысль.

...— Если она к нам приедет, я сразу к ней пойду! — говорил шофер. — Мы с женой десять лет живем, хорошо живем, понимаешь, а все же я ей прямо сказал: "Если эта артистка приедет, я сразу пойду!" И знаешь, дорогой, что мне жена ответила? Если, говорит, она сюда приедет, я тебе сама скажу: "Тодик, иди!"

— Она не приедет, — сказал ГМР, — она, видишь ли, умерла еще в 1962 году. Покончила с собой.

Такси дернулось.

— Что ты говоришь?! — вскричал шофер. — Как так может быть?! Я каждый день ее смотрю!

Перед красным светофором он высунулся из окна своей машины и закричал водителю по соседству:

— Арчил, тут человек говорит, что эта артистка умерла давно!

Соседний шофер ответил ему взрывом закавказской речи и характерными, рубящими снизу вверх движениями ладони. ГМР понял из этой смеси грузинского, армянского, азербайджанского и русского, что Мерилин Монро не умерла, не могла умереть, потому что Арчил Сулакаури ходил ее смотреть еще сегодня утром, до работы.

...Народный артист СССР и Герой Социалистического Труда Рафаил Бабекович Байджиев, располагаясь за директорским столом в мягкой манере средиземноморского партийца, положил изнеженную ладонь на экземпляр пьесы "Смерть коммивояжера".

— Друг мой, вы лично не знаете этого... хм... автора?

ГМР солидно крякнул:

— Артура Миллера? Встречались, встречались...

НА СССР и ГСТ Байджиев с досадой поморщился:

— Он что? Ненормальный? Такую женщину оттолкнуть! Не сберечь для... человечества, понимаешь!

— Старая история, — пробормотал ГМР, — так уж все у них тогда сошлось.

Еще большая досада прошла по лицу народного артиста и героя.

— Друг мой, пожалуйста, не обижайтесь. Как художник — да? — я понимаю: пьеска недурна. Как политик — да? — понимаю: важно для прогресса. Как мужчина — да? — протестую! — Он сделал режущий жест ладонью снизу вверх. — Пьесу ставить не будем! На Кавказе Артура Миллера не поймут!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Однажды серым влажным душным утром (худший вариант вашингтонского "плохого климата") плетусь из дома к Треугольнику Калорамы, имея целью пару бутылок содовой и пачку сигарет в магазинчике "7-11". Вдруг — забарабанило!

В глубине Колумбиа-роуд появилось многокрасочное шествие с воздушными шарами, полотнищами, лентами и транспарантами. Это еще что за оказия? Куда идут трудящиеся массы? Чем ближе подходила колонна, тем меньше она напоминала первомайскую демонстрацию на Красной площади в Москве, тем больше вызывала в памяти процессии из фильмов Федерико Феллини. Ага, вот в чем дело: вашингтонская "гэй комьюнити" на марше!

Ничего особенного: мужчины в дамской одежде, розовые платья с оборочками, обнаженные мясистые и мускулистые спины, мучнистый грим с ярко-синими пятнами

глаз, ярко-красными ртами; женщины в мужском наряде вообще выглядели заурядно в свете современной моды.

Среди карнавального шествия проплывали декорированные грузовики с открытыми платформами и шевелящимися гирляндами, напоминающими китайский Новый год. Стройный ковбой, затянутый в черную кожу, в характерной позе, пощелкивая пистолетными курками, высился на одной из платформ. Сзади, однако, у агрессивного самца были обнажены круглые ягодички, которыми он призывно и не без юмора поигрывал, являясь, стало быть, отчасти и самочкой.

Любопытно, что среди этой феллиниевской вакханалии странными выглядели не ряженые "педики", а суровые ряды идеологических гомосексуалистов, то есть людей, которых в обычной толпе не отличишь от "прямых", — обыкновенные джинсы, обыкновенные сникерсы, костюмы, юбки, блузки, галстучки, обычные мужские и женские лица, только лишь исполненные суровой половой идеологии.

Нельзя не удивляться человеческим парадоксам: движение, начавшееся как борьба против общественного ханжества, приобретает черты могущественной идеологии и вместе с ними свое собственное ханжество.

Мне пришлось как-то раз выступать в ночном шоу Си-би-эс. В эфир мы выходили под первые петухи, в четыре часа утра."Кто нас будет смотреть в этот час?" — спросил я молодого корреспондента. "Семь миллионов людей, на которых не действуют снотворные пилюли", — бодро ответил он. (Несколько человек с нездоровым цветом лица помахали мне следующим утром на улице.) Поклевывая носом, я сидел со звукопроводящей пробкой в ухе перед телевизионной камерой и отвечал на вопросы бессонных, касающиеся Советского Союза. Вопросы эти в значительной степени отражали уровень представлений о восточном гиганте, характерный по крайней мере для бодрствующей части населения западного гиганта.

Джентльмен из Буффало спросил меня, например, как советские власти относятся к черной части своего народа, и очень был удивлен, что таковой в СССР не существует.

Постоянные разговоры о "паритете" с Россией, видимо, создали у моего собеседника представление о полной идентичности противостоящего Америке государства.

Вопрос, поступивший из Сан-Франциско, касался гомосексуализма. В какой степени "гэй комьюнити Ю-эс-эс-ар" осуществляет свои права в политической и общественной жизни?

Увы, пришлось ответить мне, что в не очень-то значительной степени, ибо мужской гомосексуализм в стране победившего социализма считается уголовным преступлением и по статье такой-то Уголовного кодекса РСФСР карается тюремным заключением на срок три года.

Странным образом женский гомосексуализм, то есть лесбиянство, такой чести не удостоился и официально не пресекается законом. Представляется загадкой, унижены ли в данном случае права женщин или, наоборот, приподняты над мужскими?

Мой собеседник с западного побережья (его, видимо, нельзя было даже и отнести к разряду страдающих бессонницей, просто, может быть, что-то интересное отвлекло его от своевременного отхода ко сну), кажется, не очень-то мне поверил. Гомосексуализм в Америке дружит с левым либерализмом, а тот почему-то нередко принимает правду о СССР на свой счет и обижается.

Поверил — не поверил, неважно. Важно то, что гомосексуализм считается в атеистическом советском обществе грязным грехом, а в советском законе довольно серьезным преступлением. В этой связи можно только представить себе чувства свежего иммигранта из России при виде всех этих гордых гэйских парадов, шумных митингов и фестивалей, гэйской прессы и открытых обсуждений предмета на телевидении; не говоря уже о журнальчиках...

Америка, конечно, прошла огромный путь от своего исконного сексуального ханжества, а ханжество было здесь, очевидно, еще почище русского, если даже и сейчас в законодательствах некоторых штатов "орал секс" котируется как преступление.

Да, этот "беби" (грустный беби, а?) прошел немалый путь с берегов Миссисипи, из городка Тома Сойера, до книжечек о кровосмесительстве, согласно которым шустрый Том через пять-шесть страниц должен был бы спать со своей тетей.

Как почти во всем, и здесь, в сексуальной либерализации, сделано несколько лишних шагов. Начинание перерастает в одержимость, в массовую свистопляску, новую моду на деревне и, стало быть, в дикую безвкусицу.

Помню, в первый мой приезд сюда я слышал проповедь священника по TV. Он бичевал своих сограждан, скатившихся к массовой содомии. В стране сейчас насчитывается двадцать миллионов гомосексуалистов, гремел он. Куда мы идем?

Этого не может быть, подумал я тогда. Двадцать миллионов? Невозможно. Это просто одержимость устрашающей статистикой.

Увлекаясь статистикой, американцы считают, что она должна ошеломлять. Откуда вдруг берутся сногсшибательные цифры социальных бед, столь охотно подхватываемые советской пропагандой?

Каждое утро в новостях американцев поражают цифрами. Восемьсот тысяч в прошлом году стали глуховаты на левое ухо, зато шесть миллионов в году текущем обратились с жалобами на плоскостопие...

Среди этих цифр иной раз выпрыгивает нечто поистине ужасающее. Два миллиона похищенных детей! Сколько у нас всего детей? Пятьдесят миллионов? Шестьдесят? Каждый тридцатый ребенок, стало быть, пропал, похищен? Да если это в самом деле так, то почему мы все еще работаем, занимаемся гимнастикой, проводим избирательные кампании? Если и в самом деле в этой стране похищены два миллиона детей, нужно бросать все дела и всем выходить на улицы с ружьями. Если же мы не выходим, то, значит, либо мы — равнодушные и тупые ослы, либо эта цифра

дутая, преувеличенная дурацкой статистической одержимостью.

Позднее выясняется из обстоятельного доклада ФБР: цифра действительно... хм... несколько гиперболическая. Пропало не 2.000.000, а 30.000 детей. Половина беглецы, а две трети оставшихся похищены разведенными родителями. Ну, ничего страшного: "ноль" туда, "ноль" сюда, немного перестарались.

Так же вот и двадцать миллионов гомосексуалистов... Эксцессы статистики? Трудно как-то себе представить, что такое огромное число людей с гормональным дисбалансом (то есть вот именно тех, кто является настоящим гомосексуалистом и заслуживает общественного признания как полноправная человеческая личность), двадцать миллионов гормонально разбалансированных людей родилось и взросло в одной, хотя и довольно большой стране. Исходя из этой цифры, можно, значит, предположить, что в СССР — двадцать семь миллионов, а в Китае может оказаться сто миллионов гомосексуалистов...

Насчет Китая одни догадки, но в СССР "голубая дивизия" (так называют там gays) далеко не так многочисленна, иначе, согласно советским законам, возник бы новый гигантский гомосексуальный Гулаг.

Недавно откуда-то выскочила более реалистическая цифра — не двадцать, а всего лишь восемнадцать миллионов насчитывается в американской "веселой общине". Два миллиончика туда, два обратно... Одно лишь ясно — это не настоящие гомосексуалисты, конечно. Большая часть этой многомиллионной армии является участниками очередной американской "одержимости". В этой связи американский гомосексуализм стоит на удивление близко к аэробическим упражнениям.

Может быть, я дико ошибаюсь, но у меня как новосела этой страны складывается впечатление, что массовый гомосексуализм относится в определенной степени к простодушию и неизощренности американских молодых масс, а также к явлению, что всегда сопровождает все эти

"obsessions"[1], — к эстетическому кризису, к провалу чувства меры и вкуса.

Я ничего не имею против гомосексуализма. Напротив, я всегда испытывал сочувствие к тем реальным "голубым дивизионерам", которые становились жертвами общественного лицемерия и ханжества. Однако навязывание гомосексуального образа жизни или, еще пуще, использование этого генитального интима в политических целях ничем, кроме массовой безвкусицы, объяснить не могу.

Когда сенатор С. в ходе предвыборной кампании появляется на огромном ралли "гэй комьюнити" и кричит, что никто другой, кроме него, не имеет столь блестящих характеристик в отношении к гомосексуализму, покрываешься гусиной кожей, ибо волей-неволей воображаешь этого почтенного семьянина в довольно двусмысленной позиции.

У нас тут вокруг Дюпон-серкла, в кафе и книжных магазинах, много молодых людей, так сказать, "с левой резьбой". В кондоминиуме по соседству, этажом выше, живет супружеская пара, черный и белый мальчики-музыканты. Эти люди уже стали для меня как бы неотъемлемой частью нашего Дюпон-Адамс-Морган винегрета, без них как-то было бы уже и скучновато, одно лишь только условие совместной жизни кажется обязательным — не надо навязываться!

Однажды один парень говорит: гомосексуализм — это все равно что другой цвет глаз, ничего больше. Допустим все-таки, что это нечто более существенное, чем "другой цвет глаз", а также вспомним о том, что навязывание "голубоглазия" однажды привело к мировой войне.

Принятие гомосексуализма просто как элемента жизненного многообразия — это одно дело, а пропаганда гомосексуализма, прошу прощения, все-таки ведет к тупику. Тупик на греховной дорожке человеческой расы; листва опадает навеки, и отмирают деревья.

Американская одержимость своими одержимостями очень часто почему-то связана с нижними этажами нашей сути, с проблемами пола. В американской половой жизни,

---

[1] Одержимость, мания.

в отличие, скажем, от французской или английской, покоя нет — вечные, так сказать, поиски.

Вот, скажем, женское движение, то есть движение женского пола против мужского. Спору нет, "беби" прошли долгий путь, чтобы перестать быть "беби". Нынче я уже как-то научился различать взгляды этих "амазонок", поставивших целью загнать в загон уцелевшие еще табуны американских кентавров, но поначалу они были для меня сущей загадкой.

Расскажу о довольно курьезном столкновении с движением феминисток в первый год нашей американской жизни.

МАДАМ СОВЦЕНЗ

На кампусе большого университета проходила международная конференция "Писатель и права человека". Одна из "панелей" была посвящена цензуре. Слово "цензура", как ни странно, в русском языке относится к женскому роду. Английскому уху это, может быть, и смешно, но именно так обстоят дела в нашем "великом-могучем-правдивом-свободном" (как в свое время прокламировал русский язык Иван Тургенев, что дало нам возможность соорудить довольно удобный, хоть и напоминающий слегка военно-морские силы акроним ВМПС); итак, в нашем ВМПС не только среди вещественных, но и среди отвлеченных понятий существует половое различие. Например, "радость" — это женщина, а "восторг" — мужчина. Существуют также и слова, аморфно проплывающие по разряду "среднего пола", например, — "государство"; таковых, леди и джентльмены, великое множество. Большое раздолье для фрейдистских (феминистических или гомосексуалистических) структуральных толкований.

В чешском языке, очевидно, царит такое же безобразие. Иначе почему выступавший передо мной чешский писатель Иржи Груша несколько раз по отношению к "censorship" употреблял местоимение "she"?

Мы сидели за длинным столом, несколько писателей-

беженцев и несколько писателей-хозяев, то есть американцев. Среди беженцев были чех, русский, поляк, южноафриканец, аргентинец и чилиец. С последним, правда, произошла небольшая накладка.

Он был молод и выглядел, как настоящий революционный, левого крыла изгнанник: свитер, продырявленный на локтях, мятежные кудри а-ля Че, взгляд, отражающий блики "пылающего континента". Все этому юноше ужасно сочувствовали, еще бы, вырвался из лап режима Пиночета, как вдруг оказалось, что он "вырвался из лап" только на время вот этой конференции, по завершении которой добровольно в эти лапы возвращается. Оказалось, что юноша — издатель левого литературного журнала в Сантьяго — никакой и не беженец вовсе, а просто гость. Выступит здесь, ударит по цензуре, а потом свободно вернется в свою продолговатую страну продолжать дерзкую литературную деятельность. Мне как редактору разгромленного "Метрополя" это была наука — не сочувствуй по пустякам.

Вернемся, однако, к Иржи Груше, который только что завершил свою речь чем-то вроде общеславянской декларации:

"She would never ever succeed in her attempt to suppress the creative spirit of Central Europe!"[1]

Наши хозяева, то есть американские писатели, поначалу при слове "she" чуть-чуть вздрагивали, но потом привыкли. К их чести надо сказать, что они всегда очень тактичны в отношении наших усилий изъясняться на языке Шекспира.

Настала моя очередь щегольнуть своим английским, который одна журналистка охарактеризовала как epigrammatical rather than grammatical[2]. Подмигнув своему симпатичному товарищу по драпу, я сказал, что если "цензура" в соответствии с нашими славянскими делами — это "она", следует предположить, что это довольно истеричная дама. Когда-то она была молода и некоторые даже находили ее

---

[1] Она никогда бы не преуспела в своей попытке подавить творческий дух в Центральной Европе!

[2] Более эпиграмматический, чем грамматический.

привлекательной. Она сама себе все испортила, требуя от всех без исключения окружающих всепоглощающей и безоговорочной любви. С возрастом, однако, советская цензура, или мадам Совценз, вдруг обнаружила утечку этого единодушного чувства. Появились некоторые люди, которые манкировали своими любовными по отношению к ней обязанностями, а иные стали и открыто нос воротить, выказывая что-то похожее на отвращение. Дама нынче бесконечно мечется, припудривается социалистическим реализмом, устраивает клиентам громоподобные истерики, увы, все напрасно, лучшие годы прошли, любви все меньше и меньше...

Развивая эту вполне сомнительную метафору, я вдруг заметил, что в зале воцарилась тишина, не вполне соответствующая шутливому тону спикера, какая-то густая враждебная тишина, похожая на заседание правления Союза писателей СССР. Дальнейшее развитие негативной ситуации — переглядываются. Завершение развития ситуации — начали шикать и букать.

Вдруг вскочило нечто розовощекое, с коротким и густым чубом, взмахнуло рукой.

— Как вы смеете?! — при резком движении в размахе здоровенного пиджака мелькнуло нечто округлое, как будто девушка. — Как вы смеете сравнивать советскую цензуру с женщиной?!

— Простите, — запнулся я, — мне кажется, вы меня не поняли. Мой говенный английский, возможно...

— Стоп-стоп-стоп, — по-комиссарски, как из советской "Оптимистической трагедии", моя обвинительница выставила руку ладонью вперед. — Мы вас отлично поняли, сэр!

К первой комиссарше присоединилась вторая, кожанка сближала ее еще больше с Ларисой Рейснер.

— Вы сравнили свою паршивую цензуру с женщиной, страдающей гормональным дисбалансом! Вы оскорбили всех присутствующих ребят женского пола! Позор!

В зале воцарился неакадемический шум.

— Позор! Позор мужскому шовинизму!

— Господа, господа, товарищи женщины, — пытался отмахиваться я, — меньше всего я хотел оскорбить жен-

щин, это просто ведь метафора, ничего больше, шутливая метафора.

Незадолго до этого я прочел роман Джорджа Ирвинга "Мир по Гарпу" и сейчас не без пупырышек на коже вспомнил одну из сцен этого сочинения. Шум в зале не затихал.

— Позор таким гадким метафорам!

— Руки прочь от женского движения!

Кто-то из немногих сочувствующих (кажется, одного со мной пола) крикнул:

— Оставьте русского, это у него следы векового рабства!

— Вот именно, следы, — попытался оправдываться я. — Следы векового, господа! Именно в результате векового рабства произошло разделение русских существительных по каким-то странным, пожалуй, метафизическим признакам. Может быть, в связи с этой же причиной у нас нередко именуют советскую власть Степанидой Власьевной, а Государственную Безопасность — Галиной Борисовной, то есть присваивают им имена каких-нибудь московских старух, на которых, по наблюдению одного проницательного иностранца, и покоится весь советский режим, вернее, его нравственная база. В некотором смысле, господа феминисты и все сочувствующие (а к таковым позвольте отнести и вашего покорного слугу), эти явления свидетельствуют, возможно, не об унижении женщин, а как раз наоборот, о преобладании наследия матриархата над показушным патриархатом Политбюро — не кажется ли вам? Прошу понять меня правильно, господа комиссары американского женского движения, неосторожно употребленная мной в отношении советской цензуры метафора и в самом деле явилась результатом векового рабства, однако частично — и это может служить для меня хоть небольшим оправданием — ее можно отнести к временам седого славянского матриархата, то есть к эпохе гармонии.

— Короче говоря, извиняетесь или нет? — примирительно вдруг спросила румяная активистка.

— О, да! — вскричал я. — Извиняюсь всеми четырьмя конечностями и... вообще извиняюсь!

— Ну, хорошо, — кивнула она. — Ваши извинения

приняты. Только уж извольте больше никогда не употреблять вашей несуразной метафоры.

Я поклонился.

— Обязуюсь, мадам. С этого момента метафора изолирована.

Так довольно легко сошло мне с рук выступление на "панели" "Цензура" в рамках международной конференции "Писатель и права человека".

Позже я не раз вспоминал этот эпизод и пытался копнуть поглубже — может быть, и в самом деле в моей метафоре было что-то антиженское, ведь я как-никак имею некоторое негативное отношение к советскому феминизму. Моя теща от первого брака, напористая дама по имени Берта Менделева, в тридцатые годы поступила не в какой-нибудь педагогический или медицинский институт, а в Академию бронетанковых войск, которую и окончила перед началом второй мировой войны. Ее любимой поговоркой было популярное среди советских жлобов выражение: "Порядок в танковых войсках!" Уже выйдя в отставку в чине полковника, она ходила в мерлушковой папахе и офицерской шинели и отдавала распоряжения высоким надтреснутым голосом. В период всенародной критики сталинизма она соглашалась — да, у Сталина были ошибки, и главная ошибка заключалась в том, что он в 1945 году остановил наши танки на Эльбе вместо того, чтобы позволить им прокатиться до Атлантики: ведь американские "шерманы" не шли ни в какое сравнение с советскими "тридцатьчетверками".

Она принадлежала к поколению активного советского феминизма тридцатых годов, символом которого была знаменитая летчица Валентина Г. с лицом хоккейного защитника. Советские женщины тех времен упорно продвигались в такие области, о которых американки тех лет и не мечтали, — в армию, во флот (было несколько "пропагандистских" женщин, капитанов кораблей), в авиацию (несколько сокрушительных сверхдальних перелетов по "пропагандистским трассам"), становились суперзвездами труда, ге-

роями социалистического соревнования и так называемыми слугами народа, то есть депутатами Верховного Совета.

Самыми большими "слугами", то есть хозяевами народа, женщины все-таки не стали. В Политбюро за все эти годы заседала (короткое время) только одна женщина, Екатерина Фурцева, да и та была из этого органа выставлена со свойственным тамошним мужичкам отсутствием элегантности и переброшена на управление культурой, видимо, потому, что культуру полагали делом как бы женским.

Сейчас в Советском Союзе от всех феминистских вольностей, пришедших по наследству от радикалок типа Рейснер и Коллонтай, почти уже и следа не осталось. Ни в войсках, ни на дипломатической службе, ни в правительстве женщин практически нет. Зато на дорожных работах их сколько угодно — перетаскивают тяжеленные шпалы, орудуют ломами и лопатами, а пьяненький мужичок с карандашиком при них бригадирствует. К тридцати годам средняя советская "баба", обремененная семьей, стоянием в очередях и тяжелой работой, почти уже забывает "науку страсти нежной", ей не до секса, тем более не до доминирования в сексе; амазоночкой при таких условиях не поскачешь.

Те, что чуть выше среднего уровня, городские девушки, студентки, артистки и прочий женский люд такого рода, из кожи лезут вон, пытаясь соответствовать западному стилю.

Одна из главных московских тайн — как умудряются секретарши при месячной зарплате в сто двадцать рублей щеголять в итальянских сапожках, которые при редкой удаче найдешь на черном рынке по двести рублей за пару.

Советская женщина озабочена проблемой сохранения привлекательности настолько, что мысли о доминировании над мужчиной ее посещают весьма редко. Прибавьте сюда семейные хлопоты, поиски доброкачественной пищи, которая тоже всегда находится в процессе этих таинственных кружений, и вы увидите, как далеки заботы средней советской женщины от средней современной американки, с ее четко отрегулированным весом, продуманной диетой и половой жизнью, аэробическими упражнениями и общественной деятельностью в рамках феминистских обществ.

Официальное советское женское движение, а именно

Комитет советских женщин с его повсеместными филиалами, имеет малое отношение к реальной женской жизни, являясь лишь малоубедительной деталью в советских потемкинских деревнях. Неофициальное женское движение, начатое в Ленинграде группой энтузиасток, выпустивших самиздатский журнал "Мария", было немедленно задавлено внеполовым полицейским брюхом в его неизменных усилиях учинить насилие над всем, что не получило одобрения "соответствующих органов".

Волна американской одержимости, именуемой "сексуальной революцией", достигла, впрочем, и русских берегов, расплескавшись, однако, среди славянских холмов в довольно причудливых формах.

В стране, где издавна бытовал зов вечной бабьей недодоенности ("Ваня, приходи вечерком, пол-литра поставлю"), сексуальная революция если и принесла женщинам чуть побольше радости, то не принесла им свободы ни на грош.

В России женская половина эротического акта всегда, даже и с лексической стороны, унижена. В английском языке вы можете сказать: "she fucked him", поставив этим "ее" если не в доминирующее, то в равное положение. В России выражение "она его ебала" в обычном порядке не применяется. В обычном порядке, однако, употребляется множество глаголов и глагольных модификаций, унижающих женщину, всегда размещающих ее в распластанной позиции рабыни под всемогущим кобелем.

В принципе сексуальная революция, пришедшая с Запада в СССР, революцией не является, но является дальнейшим расширением российского блядства, распутства, дебоширства.

Вспоминая весь этот советский, так сказать, background[1], я подумал о том, что, может быть, и в мою "цензурную" метафору подсознательно вошло что-то оттуда, может быть, неосознанно пренебрежительное, снисходительно-ироническое отношение к женщине.

Впрочем, подумал я далее, что-то в таком же роде, очевидно, было и у атаковавших меня феминисток. Ведь не

---

[1] *Здесь* — опыт.

придут же в ярость мужчины из-за какой-нибудь метафорической шуточки, связанной, скажем, с мужской импотенцией.

В разгаре феминистской одержимости даже и галантность могла показаться пренебрежительной мужской метафорой. Осенью 1980 года в Чикаго американский друг сказал мне: "Ты зря пропускаешь вперед дам. За такие вещи можно теперь и по морде получить". Увы, привычка — вторая натура, и я постоянно придерживаю двери, всякий раз вглядываясь в лица проходящих дам и ожидая пощечины. Ни разу этого еще не случилось. Больше того, кажется, дамам, даже самым атлетическим, это приятно.

Вот два лица американской сексуальной постреволюционной действительности. Однажды меня пригласили в класс creative writing[1] одного женского колледжа в окрестностях Вашингтона. Предварительно будущие писательницы пожелали ознакомиться с каким-нибудь моим рассказом в переводе. Я выбрал для них напечатанный в "Партизан ревю" "Гибель Помпеи", в котором погребенный под вулканической лавой римский курорт не очень-то отдаленно напоминает советскую Ялту со всеми вытекающими оттуда реалистическими деталями.

На уроке мы говорили о чем угодно, но только не об этом рассказе. Мне казалось, что никто из учеников его не читал. Я спросил учительницу: "А в чем дело? Кажется, вы не давали студентам "Помпею"? Учительница, вполне соответствующая облику американской "передовой женщины", неожиданно покраснела. "Простите, — пробормотала она, — но нашим девушкам вроде бы не стоит читать такие рассказы. Там слишком много секса". — "Помилуйте, Глэдис, — секса? Вы сказали "секса"? Однако мне кажется, что там вообще нет секса в американском его понимании; сплошной лишь советский дебош..." Мы разошлись, пожав плечами и обменявшись неопределенными взглядами.

Глэдис, налив себе чашку кофе из кофейного источника,

---

[1] Писательское мастерство.

пошла в факультетский клуб и стала смотреть TV, где на канале PBS случилась интересная беседа об оргазме. Целомудренные студентки тем временем жевали гамбургеры на фоне объявления о дискуссии по поводу хирургического изменения пола с участием трех трансвеститов. Вот американская сторона проблемы — дискуссионный, почти научный, популярный секс в рамках освободительного процесса.

Я живу среди целомудренных американцев, и таких, кажется, в стране большинство. На углу в лавочке "7-11" среди предметов первой необходимости продаются журналы "Плейбой", "Пентхаус" и "Хаслер", которые для самого грязного развратника в СССР являются символом буржуазного нравственного разложения. Казалось бы, при такой доступности всего "запретного" давно уж все общество должно превратиться в сплошной "свальный грех", однако в окружающей нас повседневной жизни никакого особенного разврата мы не видим; во всяком случае не видели ни в Анн-Арборе, ни в Санта-Монике, ни на Вайоминг-авеню в дистрикте Колумбия.

Между тем советское общество, которое, казалось бы, в силу железных ограничений всего неидеологического (попробуй найти в киосках "Союзпечати" журнальчик с голой натурой) должно было стать полностью пуританским, на самом деле таковым не только не является, а напротив, в жадной охоте за запретными яблочками бьет иной раз все западные рекорды, тяга к "запретному разврату" во много, много раз превышает интерес жителей треугольника Калорама к упомянутым выше журнальчикам в магазинчике "7-11".

Mr. HEFNER GOES TO USSR

В декабре 1983 года журнал "Плейбой" отмечал свой тридцатилетний юбилей. Я неоднократно пытался перевести это название на русский язык и не нашел лучшего слова, чем "Стиляга". По любопытному совпадению, журнал этот появился на свет Божий как раз в те времена, когда в

Советском Союзе процветало молодежное движение, известное как "стиляжество". По всем параметрам этот журнал был "органом" как раз того поколения советской молодежи, хотя она его, разумеется, и в глаза не видела.

Основатель журнала, "великий Хью Хефнер", облаченный в свой неизменный халат из тяжелого шелка, в юбилейные дни появлялся на телеэкранах и рассказывал, как ему пришла в голову идея выпускать журнал с фотографиями голых девушек, в некотором смысле — отражением пресловутых "мужских фантазий". Женское тело для меня, говорил Хью, всегда было и остается воплощением романтики. Мистер Хефнер, безусловно, относится к тем давним и многообещавшим временам, ранним пятидесятым; в его журнале нет — или почти нет — более поздней похабщины. По отношению к женщине он демонстрирует джентльменство едва ли не в стиле романа "Великий Гэтсби".

Как-то на Эй-би-си была устроена дискуссия о "Плейбое" с участием феминисток. Я с интересом ждал избиения, однако вместо криков о "сексплуатации" феминистки снисходительно заговорили о некоторых заслугах "Плейбоя" в деле преодоления ригидности пятидесятых годов, а значит, и в деле освобождения женщин, хотя, конечно, заслуги журнала ни в какое сравнение не идут с мерами по контролю над рождаемостью.

К сожалению, дискутанты не отметили юмор "Плейбоя", а он не всегда плох. Вот, например, славная картинка. Молодая художница в костюме Евы позирует сама себе, стоя перед зеркалом. В дверях ее друг, думает: "В Советском Союзе крошке пришлось бы рисовать трактор".

"Плейбой" в Советском Союзе — это благодатная тема. На черном рынке один экземпляр стоит 50 рублей, в Грузии, возможно, в два раза больше.

Вот вам три истории о приключениях детища Хью Хефнера в стране "победившего социализма". Две из них основаны на собственном опыте, третья на рассказе очевидца.

Однажды я поехал на профилактику своей машины в огромный московский центр автосервиса. Центр-то был ог-

ромный, но очередь машин значительно огромнее. Сразу стало ясно, что тут надо потерять день, а то и два.

Вдруг ко мне с гостеприимной улыбкой направился старший приемщик, за ним с улыбками, еще более яркими, шли два жулика поменьше. Без лишних разговоров они взяли мою машину и провели ее на конвейер без очереди.

Что случилось? Может быть, я узнан как популярный писатель? Вдруг я догадался — "Плейбой"! Кто-то из служащих автоцентра углядел на заднем сиденье моей машины экземпляр "Плейбоя".

Конвейер на некоторое время замер. Рабочие, для которых, как известно, главное — удовлетворить свою "родную коммунистическую партию", сгрудились вокруг журнала, прискорбно забыв о социалистическом соревновании.

Впрочем, по достоверным сведениям, трудовые показатели этого дня неожиданно подскочили на несколько процентов.

Второй случай имел место на священной границе СССР. Я возвращался поездом из Парижа. На станции Брест советские таможенники проводили досмотр багажа. Вдруг — ЧП! У западной туристки обнаружено шесть экземпляров "Плейбоя"!

Не знаю уж, зачем ей понадобилось столько: может быть, она сама в этом выпуске фигурировала в качестве одного из "зайчиков", а может быть, хотела сделать небольшой бизнес... однако — скандал! Нарушение таможенных правил СССР, запрещающих провоз антисоветской и порнографической литературы.

Пока таможенники с неподражаемой важностью и хмуростью заполняли протокол конфискации, один из экземпляров оказался в руках солдата-пограничника. Он замахал своим товарищам: ребята, вали сюда, "Плейбой" полистаем! Вскоре толпа солдатиков собралась в коридоре вагона. Персонажи гедонистического журнала явно приводили их в восторг. Непроницаемость священного рубежа в тот день была нарушена. Надеюсь, что кто-нибудь этим воспользовался.

*

И наконец, третья история, происшедшая за священными пределами, однако на "плавающей территории СССР".

Советский крейсер (назовем его "Стража"), выполняя "визит доброй воли", стоял во французском порту Тулонь. Разбитые на небольшие группы во главе с офицерами, политработниками и комсомольскими секретарями моряки даже и во время прогулок выполняли свою миссию, иными словами, как предписывалось, "гордо несли", "с достоинством представляли" и т.д. и т.п.

На борту возвращающихся с берега прямо у трапа встречал помощник командира по политчасти и специальный наряд, проверявший морские запазухи и даже щупавший промеж конечностей — нет ли чего лишнего.

И вдруг — тревога! — извлечен из штанины агент американского империализма журнал "Плейбой"! Взбешенный "помпа" (так матросы называют политработников) приказал трубить сигнал "все наверх"!

Те, кто был на борту, человек около сотни, построились на верхней палубе. "Помпа" произнес яростную речь против тех, кто пытался запятнать плейбойским позором краснознаменный крейсер, а потом стал вырывать из журнала одну страницу за другой и бросать за борт, в струи средиземноморского ветра.

Матросы мрачно смотрели, как кружатся и улетают прочь фотографии отменнейших девиц, столь любовно отобранных редакцией для всех мужчин планеты, и не в последнюю очередь для личного состава военно-морских сил, а когда "помпа" рванул и швырнул складную главную "фотку" с "Мисс Август" в одних лишь сетчатых чулочках, по строю советских моряков прошло глухое ворчание. Совершалось на самом деле грязное идеологическое надругательство над мечтой моряка. "Мисс Август" могла оказаться детонатором почище пресловутого котла с борщом, взорвавшегося в 1905 году на борту броненосца "Потемкин". Крейсер "Стража" в тот день был на грани восстания. По приказу вернувшегося с берега командира корабля для матросов был устроен просмотр кинофильма "В джазе только девушки".

*

Американское общество уникально. Иной раз охватывает оторопь — на чем держится этот огромный конгломерат при столь малой степени ограничений, при таком попустительстве природным человеческим страстям и страстишкам.

ШТРИХИ К РОМАНУ "ГРУСТНЫЙ БЕБИ"

1953

"Простенько покушаем, простенько покушаем", — повторяли Филимон, Парамон, Спиридон и Евтихий. Между тем котлетки лежали недожеванными, картофельное пюре застыло, как зимняя пустыня Каракум, в то время как третья очередь "хлебного вина", сиречь водки, проходила с завидной легкостью. "Простенько покушаем", — прослюнявился в очередной раз Евтихий, и вдруг вся четверка грянула немым хохотом и так, молча, тряслась, почитай, десять минут: юность, ничего не поделаешь.

Старший по залу Лукич-Адрияныч, глядя на трясущуюся кучку молодежи, решал нравственную дилемму: звонить или не звонить куратору "Красного подворья" майору МГБ Щедрине. Дилемма, естественно, была решена в позитивном ключе, и Лукич привычным шепотом зажарил в трубку:

— Считаю своим долгом коммуниста сигнализировать... Реакция разгулялась... Кощунственно злоупотребляют алкогольные напитки в день всемирного траура... Просьба нанести неожиданный удар, как по белочехам.

С ханжескими физиономиями появились музыканты, мужчины-репатрианты Жора, Гера и Кеша и их выкормыш из местных, юноша Грелкин. Первые трое происходили из биг-бэнда Эрика Норвежского, что возник в недалеком прошлом в международном китайском порту, захваченном ныне красными ордами Мао Цзэдуна. Оказавшись хочешь не хочешь под властью самой передовой теории в китай-

ском варианте, русские джазисты преисполнились патриотических чувств и устремились в объятия исторической родины России-СССР. Увы, объятия были какими-то наждачными, у музыкантов задымилась кожа. Руководителя Эрика Норвежского отправили адаптироваться за Полярный круг, а остальные, теряя американские ноты, попрятались малыми отрядами по местным кабакам.

Что касается юноши Грелкина, то он хоть и из исконной комсомолии происходил, попал под тлетворное влияние "музыки толстых", выказал значительные таланты и был приобщен "шанхайцами" к тайнам запрещенного искусства.

Официально в репертуаре у четверки значились народные шедевры вроде "Березки" и "Голубки", однако за полчаса до закрытия заведения, "под балду", играли они "Сент-Луис блюз" и "Грустного беби".

Увидев знакомых "футуристов-мушкетеров", Грелкин подошел к сверстникам и стал угрюмо лицемерить. "Ах, какая большая лажа стряслась, чуваки! Генералиссимус-то наш на коду похилял, ах, какая лажа..."

"Надо сомкнуть ряды, Грелкин, — сказали ему друзья. — Хорошо бы потанцевать! Вон уж и наши чувишки подгребли — Кларка, Нонка, Милка, Ритка, смотри, не померзли по дороге, только рожи чуть перекосились. Слабай нам, Грелкин, чего-нибудь в стиле".

Бух, маленький взрыв. Помолодевший за время попойки мороз с мясом вырвал из окна форточку. "Заткнуть, заткнуть, не выпускать тепла!" Паника. Кто-то несется с диванной подушкой.

Слово "заткнуть" еще сильнее долбануло, чем "покушать". Филимон, Парамон, Спиридон и Евтихий в корчах стали сползать со стульев. "Кочумай, чуваки, — сказал, задрожав и оглядываясь, Грелкин. — Совесть у вас есть: лабать, кирять, берлять и сурлять в такой день? За такие штуки нас тут всех к утру расстреляют".

Вдруг, матушки, быстро из зала в зал прошел кто-то лиловатый и как бы без штанов. Боб Бимбо, американский угнетенный, в кальсончиках!

1985

Летучий дух Америки, мистер Флитфлинт, в принципе, может преобразиться и таким, скажем, образом.

Сильнейший сплин в тот сезон сковал воображение Ф-Ф. Радости Малибу не помогали — рутина; все как-то приелось.

Марш за моря, и вот мы за морями. Тут вроде поживее. Подразделение пляжных девушек, тридцать три сардинки, ножками к воде, головками к кафе, и все улыбаются Флитфлинту как обладателю карточки "Мастеркард интернэшнл".

Вечерами, подтягивая галстук-бабочку, спускаемся в центр Европы. Устрицы, седло барашка, брюле... вся эта снедь в курсе событий. "Мастеркард интернэшнл", ветер головокружительных приключений.

1983

Однажды ГМР отправился в экспериментальный театр, что под эстакадой Санта-Мелинда фривэя, справа от входа в туннель. В перерыве спектакля послал записку за кулисы:

"Почему бы вашему Ромео по пути к балкону не завернуться в край занавеса и не вздуться наподобие агавы, имитируя неумолимость и трансцендентность своего желания? Почему бы вашему Меркуцио не передвигаться на одноколесном велосипеде, жонглируя факелами как символами Возрождения? Принципиально против появления няни из левой кулисы! Она всякий раз должна парашютировать с колосников..." — и так далее, всего шестьдесят четыре предложения.

В городе вскоре заговорили о новом потрясающем спектакле. ГМР пришел опять. Ромео вздувался агавой. Меркуцио, крутя педали, глотал огонь. Няня с загипсованной ногой висела посреди сцены на застрявшем парашюте.

После спектакля вышел режиссер и показал на человека в зале. Леди и джентльмены, всем этим мы обязаны ему! Перед вами мой учитель, второй Станиславско-Неми-

рович-Данченко, третий Мейерхольд, четвертый Любимов, корифей Московского Театра-на-Бочонке, мистер... м-м-м...

Итак, ГМР опознан и признан! Начинается новая глава его американской одиссеи.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

После летней духоты и долгой прозрачной осени (и то и другое столь непохоже на Россию) наступает середина января, и в Вашингтоне недели на три воцаряется настоящая русская зима: то завьюжит, то вдруг уляжется посреди морозной голубизны. Эмигрантская пара в такие дни, неизбежно напоминающие школьные хрестоматии, бесцельно прогуливается по нумерованным улицам "даунтауна". Воздух попахивает Пушкиным, Бульварным кольцом Москвы. Бесцельное заглядывание в витрины. "Смотри, Майя, хорошие новости — смокинги подешевели!"

Магазин готовой одежды "Бертран Рассел" предлагает пятидесятипроцентную скидку на супербуржуазные одеяния. Хорошего русского слова "смокинг" они, конечно, не знают и называют эти спецовки званых приемов "таксидо". Момент идеологического колебания у дверей магазина.

В СССР со времен нэпа никто никогда не играл в гольф, не ел устриц и не носил смокинг. Приобретение оного — шаг, возможно, не менее серьезный, чем эмиграция. Ну что ж, логика антиидеологии толкает нас перешагнуть порог "Бертрана Рассела".

...Едва мы вернулись с покупкой домой, как прозвучал звонок телефона. Звонили из Нью-Йорка, из писательской организации.

— Господин Аскин... Аксэн... ну, словом, Василий, не хотели бы вы посетить ежегодный гала-прием со сбором в пользу литературных меньшинств Канады?

— Гала-прием? Разумеется, хотел бы, но, позвольте,

как вы догадались позвонить именно сегодня, именно в этот час, когда я оказался так блестяще подготовлен?

— Ха-ха-ха! Немного мудрено, но мы вас ждем.

На следующий день гудела пурга. Видимость вдоль "Восточного коридора" приближалась к нулю, однако скоростной "метролайнер" мчался в Нью-Йорк с лихостью не меньшей, чем у тройки гусара Дениса Давыдова по пути из Москвы в Петербург. "Проспавшись до Твери, в Твери опять напьюся и пьяным в Петербург на пьянство прискачу..."

Глядя сквозь снежные вихри в сторону Атлантического океана, я думал, как и подобает эмигранту, о странностях судьбы и о той американской, некогда мифической художественной сцене, в которую я нынче вхожу пятидесятилетним новичком.

ОТВЕЧАЯ НА ОТВЕТ

Прошлым летом по дороге к вермонтским идиллиям мы завернули в Амхерст, Массачусетс. Я был приглашен принять участие в проводившейся там конференции Группы театральных коммуникаций. В Амхерсте между тем процветала его собственная идиллия: центр города представлял из себя большую лужайку, окаймленную каштанами и "белыми соснами", за стволами виднелись низкие домики с лавками в первых этажах, церковь и здания старого университетского кампуса. Отель, в котором нас ждала комната, назывался "Лорд Джеффри" и напоминал Стратфорда-на-Эйвоне.

Мы прибыли под вечер, а конференция работала уже с утра. Я включил телевизор — как раз время новостей, любопытно, что они расскажут о событии. "Дожидайся, расскажут, — проворчала жена. — Ты думаешь, театральная конференция — для них событие?" Майя настроена скептически к американскому телевидению, несмотря на то — или благодаря тому, — что является ревностным зрителем "Далласа", "Династии", "Бумажных куколок"... Эти се-

рии, между прочим, для многих эмигрантов стали как бы пособиями в овладевании языком Шекспира.

"Позволь, — сказал я, — не каждый день, ей-ей, в Массачусетсе проходит всеамериканская театральная конференция, на которую собираются более чем полтысячи театральных деятелей из более чем двух сотен театров, не говоря уже о таких знаменитостях, как драматурги Артур Миллер, Джон Гуэр, Дерек Уолкотт, Янош Гловацкий, режиссеры Зельда Фичлендер, Питер Селлерс, Тадаши Сузуки, Оливье Чулей...

Возгорелся голубой экран. Первой новостью оказались "расовые столкновения" неподалеку от Амхерста. Выглядели эти "расовые столкновения", впрочем, как обычная русская драка "по пьянке", когда одна часть деревни задирает другую. Затем большой кусок новостей посвятили пожару в отельчике по соседству. Дым, языки огня, трехсотфунтовое мужское тело проламывает раму, шлепается спиной вниз на натянутый брезент. Впечатляющие кадры! На Руси пожар — это всегда праздник, мать Америка тоже любовно относится к этим народным событиям. Основной новостью дня оказалась, однако, не новость о пожаре и не драка, а драматическая исповедь некоей миссис Перкинс. Она призналась в том, что девятнадцать лет назад была сексуально потревожена директором местной школы. Интервью с ней продолжалось десять минут, суть дела несколько затуманивалась псевдоюридической терминологией, которую бойко употребляла жертва. Общественность напустила еще больше дыму. Директор же, печальный носатый мистер Гумберт, сказал, что он был бы рад способствовать установлению истины, однако никак не может припомнить той крошки.

О театральной конференции не было сказано ни слова — ни в тот вечер, ни в последующие. Больше того, за все три дня исключительно интересных дискуссий на конференции не появился ни один репортер.

Пресловутое правило американской mass media[1] показать человека, "кусающего собаку", толкает легион амери-

[1] Система массовых коммуникаций.

канских местных репортеров — колоссальный контраст, между прочим, в сравнении с блестящей школой американской международной журналистики, особенно с поколением, прошедшим Вьетнам, — выискивать в качестве новостей всякие гадости. Если же к очередному выпуску новостей новых гадостей не накапливается, то неизбежно освежаются прежние. Театральные конференции на этом фоне, конечно, не новости.

Актеры школы господина Сузуки говорили, что, оказавшись на сцене, они прежде всего стараются определить, откуда в данный момент на них смотрят глаза Бога. Люди американского театра стоя аплодировали урокам сценической пластики. Я подумал о том, что им, может быть, и удастся определить направление Божьего взгляда, но вряд ли они узнают, откуда на них смотрят глаза Америки. Талантливый и полный жизни театральный мир этой страны прочно выбит на задворки, обращен в бездоходного родственника. Где эти лица, полные мысли, воображения, юмора? Вместо них страна изо дня в день видит на экранах хорошеньких дурачков, наводящих только на одну мысль: есть ли предел бездарности и деревянности?

Кем-то (вот любопытно, кем же?) выработана незыблемая эстетика и пластика так называемого коммерческого телевидения. Постановщик недавней мини-серии "Фиеста" объясняет свое насилие над Хемингуэем тем, что ему пришлось убегать от "импрессионизма" книги. Импрессионистический подход, говорит он, не вытягивает и полутора минут на коммерческом телевидении. Ради Бога, что же он хотел сказать своей работой без "импрессионистического подхода"? То, что, не будь первой мировой войны, Джейк и Брет были бы счастливы? В результате такого приспособленчества мы остаемся в замешательстве, когда фильм перебивается рекламой парфюмерии Эсти Лаудер, принимая ее за продолжение американской классики.

Фальшивый советский лозунг "искусство принадлежит народу" странным образом осуществляется в Америке, потому что именно народ, то есть массы, а не эстеты-одиночки, платит массовые деньги и потому выглядит как бы в роли заказчика. Предусматривается, однако, что народ

"прост", и тут концепция "простоты" нередко скатывается до "простоватости". Запросы народа вырабатываются предложенным товаром. По сути дела ответ на "запросы народа" — это ответ на ответ. Взаимовлияние масс и массовой культуры крутится по замкнутому кругу. Чье влияние первично, на этот вопрос уже почти невозможно ответить. Что было раньше — курица или яйцо?

В этой связи трудно уже говорить об американской авангардной традиции. В журнале "Роллинг стоун" я прочел, что "голливудский гений" Стивен Спилберг долго не мог получить своего первого "жирного бюджета", так как его подозревали в авангардистских наклонностях. Пришлось бедняге доказывать, что таковых не имеется. Пол Мазурский поставил великолепный и не лишенный авангардной романтики фильм "Буря" и провалился в кассе: народ не принял замысловатостей. Следующий фильм — "Москва-на-Гудзоне" — режиссер сделал уже по железным законам "мыла"[1] и огреб кассу. Что остается делать режиссерам, если по результатам "бокс-офиса" нынче уже присуждаются академические награды? В Москве-не-на-Гудзоне мы называли эти дела не "мылом", а "соплями с сиропом".

Вот один из моих американских сюрпризов — зажим авангарда! Издалека, из царства социалистического реализма, нам казалось, что авангардная традиция в Америке попрежнему процветает, что американская литературно-театрально-киношная сцена представляет из себя пульсирующий и светящийся космополитический "плэйграунд". Глядя изнутри, видишь со все нарастающим удивлением, что эта сцена при всем ее гигантском размахе носит черты деревенской лавки — поиски "вернячка", боязнь риска, паника при слове "эксперимент".

Провинциализм, разумеется, не всегда отрицательное качество, особенно если речь идет о национальной литературе. Фолкнер в конце концов провинциальный американ-

[1] Намек на коммерческие телевизионные спектакли, называемые "соуп-оперы" (soap-opera).

ский писатель даже в большей степени, чем Достоевский был провинциальным русским, однако только сейчас, живя здесь, я начинаю понимать до *какой* степени американская литература является чисто американским, а не международным делом. Наше прежнее отношение к ней стояло на мифологии.

Среди космополитических мифов существует — или существовал — дивный миф "Знаменитого Американского Писателя" — ЗАП (FAW). В прошлые годы, в Советском Союзе, мне приходилось с этим типом встречаться, и я предполагал, что знаю, как себя вести при этих встречах. У моей жены опыта в этом меньше, и в связи с этим мы иной раз попадаем впросак.

Как-то раз звонит нам в Вашингтон один ЗАП, называет моей жене свое имя и делает паузу в ожидании соответствующей реакции. "Будьте любезны, по буквам", — говорит жена. К ЗАПу уже тридцать лет не обращались с такой просьбой, ошеломленный, он, запинаясь, спеллингует свое имя. Я прихожу домой, и жена мне говорит: "Тебе звонил американский писатель по имени "вот посмотри"... В ее транслитерации получилось что-то вроде Тутанхамона. Тут он позвонил снова: "Мистер... м... Акселотл, это звонит вам такой-то... — неуверенно добавил: — ...американский писатель". — "Как?! — вскричал я, стараясь восторженной интонацией исправить промашку жены. — Это вы?! Тот самый?!!" ЗАП вздохнул с усталым облегчением: "Да, это я, тот самый..."

В начале литературной жизни моего поколения, которое столь счастливо совпало с развалом сталинского "железного занавеса", пятеро американских писателей захватили наше молодое воображение. Хемингуэй, Фолкнер, Фицджеральд, Дос Пассос и Стейнбек — мы называли их "Великой Американской Пятеркой".

Встретиться пришлось только с одним из пяти. Осенью 1963 года Джон Стейнбек появился в Москве, живая легенда, в длинном и широком твидовом пальто; казалось, что в карманах там покоятся основательные запасы всякого до-

бра, нужного ЗАПу в странствиях: табак, виски, мотки проволоки для скрепления сюжетов, крючки и леска для ловли метафор... Большое лицо в морщинах и алкогольных венозных паучках... Вот он, настоящий кит американской литературы XX века, космополит, бродяга, дон жуан, пьяница, словом, "почти Хемингуэй". Последнее качество Стейнбеку, видимо, не очень-то нравилось.

"С этим вашим Хемингуэем, — говорил он, — я встречался только два раза. Первый раз платил за "скоч" он, в другой раз мне пришлось раскошеливаться. Мы почти не разговаривали. О чем нам с ним говорить? Его интересовали какие-то титанические рыбы, а меня размером не более сковородки".

Посол США Фой Колер пригласил меня (очевидно, как представителя "новой волны") на обед в честь Стейнбека. Классик к моему приходу, должно быть, уже хлебнул и приветствовал молодого писателя сильнейшим хлопком по спине. "Как пишется, Василий?" Я пришел в восторг — вот она, рука ЗАПа!

Он был полностью в "образе" и за обедом нес много очаровательной чепухи, тревожа дипломатов и секретаря Союза писателей Алексея Суркова. "Для чего человеку пуп? Друзья мои, если вам захочется ночью поесть редиски, лучшей солонки не найти!"

На прием в журнал "Юность" он пришел в другом настроении. Мрачно и сердито он задавал молодым писателям какие-то темные вопросы. "Вы знаете, что лес уже горит? Слышите треск сучьев, волчата? Будете драться за свои шкуры или превратитесь в шелудивых собак?.." Может быть, он имел в виду незадолго до этого проведенную партией борьбу с молодым послесталинским искусством? Лучшим ответом на его вопросы стала бы знаменитая песня Владимира Высоцкого "Охота на волков", но она к тому времени еще не была написана. Мрак леса не очень-то соединялся с деревенским праздником нашей молодости — его не смог испортить даже Хрущев. "Расскажите нам, пожалуйста, о ваших встречах с Эрнестом Хемингуэем, мистер Стейнбек!" Он презрительно замолчал, а потом сказал, что ему нужно в туалет, и скрылся.

Джон нахлобучил свой floppy hat[1] и вышел из "Юности" в промозглый сумрак поздней московской осени. Он знал по-русски название одного воровского района здешней столицы. "Мар-р-рь-ина Р-р-рощ-щ-ща", смесь рычания с шипением. Так он и прорычал с шипением таксисту.

По дороге он думал о тяжелой доле нобелевских лауреатов. Повсюду сопровождающие лица, себе не принадлежишь. Русские, словно сговорились, все талдычат о Хемингуэе. Трудно понять, чем живет эта страна. Евтушенко, кажется, не типичный ее представитель. Посмотрим, каково будет в Марьиной Роще, куда рекомендуют не ездить...

Никакой "рощи", разумеется, в Марьиной Роще не было. Унылые строения и битком набитые троллейбусы. Светилась одна неоновая вывеска "Гастроном". Вот здесь, за неимением баров, русские общаются друг с другом. Он уже слышал о широчайшем распространении тройственных союзов. Три персоны скидываются по рублю и берут пол-литра. Почему-то всегда на троих. Почему? — вот вопрос. Что за таинственные тройные ячейки, и почему милиции это не нравится? Надо попытаться проникнуть в этот секрет. Нобелевские лауреаты, конечно, не из числа тех, что предпочитают с дайкири нежиться под гавайским солнышком, должны проникать в глубь народных масс, где бы то ни было, хоть в Северной Дакоте, хоть в Марьиной Роще.

Он вошел в кишащий народом магазин и с высоты своего роста огляделся. Гражданин в хорошо прожеванной одежде, сразу определив в нем единомышленника, делал знаки, показывая из-за пазухи дрожащий палец. Джон тоже выставил свой грешный указательный. Они сблизились. Подскочил третий пальчик. Все трое вынули по рублю.

С бутылкой весело, головка к головке, троица вышла из магазина и прошла в грязный скверик. Хорошо прожеванный гражданин вынул из карманов пальто два стакана. Двое культурно, один — горнистом. "Лады, Большой?" — спросил он Стейнбека. Тот кивнул. "Tell me, — сказал он, — why is it always by three?"[2] — "Глаз-ватерпас, —

---

[1] Мягкая складная шляпа.

[2] Скажите мне, почему всегда на троих?

сказал маленький пальчик. — Каждому по сто шестьдесят шесть граммчиков, два грамма Большому на рост. Вздрогнули!"

После первой бутылки хорошо прожеванный гражданин извлек еще один хорошо прожеванный рубль. Маленький пальчик последовал его примеру. "Большой", то есть Джон Стейнбек, тоже не заставил себя ждать. Вторая бутылка прошла гладко и в темпе. Джон хлопнул друзей по спинам. "You bastards, tell me why is it always by three?"[1] — "Ты много разговариваешь, — сказал маленький пальчик. — Тот, кто много знает, тот мало разговаривает". — "Once more?"[2] — спросил Стейнбек. Вот это дело. Друзья стали выцарапывать мелочь из складок одежды. Джон дал три рубля. "Большой!" — восхищенно ухнули двое. После третьей бутылки Джон Стейнбек тяжело опустился на обледенелую скамейку и закрыл глаза. "This bloody good will mission"[3], — пробормотал он и слегка отключился.

Очнулся он от толчка в плечо. Над ним стоял милиционер и требовал документы. Морозный ветер скрипел в ветвях. Аптека, улица, фонарь. "Что за птица? — думал милиционер. — Кажись, не наша". Стейнбек вспомнил еще два слова, которым его научила переводчица Фрида Лурье:

— Амэр-р-р-рикански пис-с-сатэл, — сказал он. Рычание со свистом.

"Так и есть", — подумал милиционер и взял под козырек: "Добро пожаловать, товарищ Хемингуэй!"

Из этой довольно популярной московской легенды видно, что даже московская милиция в некоторой степени была знакома с образом "знаменитого американского писателя" тех лет, к которому наш замечательный Джон Стейнбек волей-неволей был пристегнут.

В разгаре хемингуэевского бума конца пятидесятых и

---

[1] Вы, отребье, скажите мне все-таки — почему всегда на троих?

[2] Еще?

[3] Эта проклятая миссия доброй воли.

начала шестидесятых "Папа" был идолом российского студенчества и интеллигенции разных возрастов и направлений. Даже так называемые международники, иными словами, гэбэшники, что шуровали на Кубе и в Латинской Америке, были под хемингуэевским влиянием.

Попав впервые в Париж, я нашел, что он окрашен для меня не только своим собственным тысячелетним очарованием, но и промельком тех мимолетных американцев конца двадцатых, пьяной свитой поклонников леди Эшли. В конце бульвара Монпарнас, где сквозь листву платана просвечивает статуя маршала Нея и доносятся звуки пианино из "Клозери де лила", я вспоминал фразы "Фиесты"; магия тех простых фраз.

Культ Хемингуэя возник в России оттого, что его лирический герой совпадал с идеализированным, то есть неверным, а может быть, как раз очень верным, в некотором астральном смысле, образом американца; он воплощал в себе то, чего так драматически не хватало русскому обществу, — личную отвагу, риск, спонтанность. Набоков как-то раз пренебрежительно назвал Хемингуэя "современным Чайльд Гарольдом". Довольно точное определение, но тут надо вспомнить, что и Байрон в свое время поразил русское общество, возбудил дворянскую молодежь. Уникальные таланты Пушкина и Лермонтова начинались по разряду провинциального байронизма. Восстание гвардии в декабре 1825-го было вызвано байроническим вдохновением.

Существенным моментом притяжения был также хемингуэевский алкоголь. Излюбленный недуг России требовал периодической романтизации, каковую в девятнадцатом веке он получал от гвардейских гусар и кавалерийского поэта Дениса Давыдова. Теперь можно было пить на современный, американо-космополитический, хемингуэевский манер. Алкогольные эксцессы нашего поколения, конечно же, имеют отношение к творчеству "Папы", а распутство литературных девочек отходит к эскападам Брета Эшли.

Потом вдруг как-то все устали, все вдруг как-то стало слабеть, тускнеть, и неудивительно: Хемингуэй — ренессансный писатель, и когда ренессанс испаряется, испаряется и "хемингуевина". Этот термин, звучащий слегка как

похабщина, стали употреблять московские снобы, подхватившие чью-то фразочку "хвост мула у Фолкнера стоит дороже всех взорванных мостов Хемингуэя".

Нам говорил скабрезный демон моды: не смешите меня своим Хемингуэем, хоть он у вас и вышит сингапурским мулине по шведской парусине. Подумайте сами, сколько уже лет он у вас висит. Сегодня выносите всех своих хемингуэев на свалку! Пришла теперь пора прощаться... Прощай, прощай, Хемингуэй! Я встретил тебя однажды ночью, и ты мне рассказал нехитрую историю про "кошку под дождем". Прощай, солдат свободы! Мы больше не встретимся в Памплоне и не будем дуть вино прямо из меха. Прощай, веселый твой солдатский, лихой американо-средиземноморский алкоголь! Увы, нам уже не въехать вместе на "джипе" в пустой, покинутый немцами Париж, не опередить армию! В сумерках среднего возраста мы забудем твою науку любви, ту лодку, что вечно отплывает, и науку стрельбы по буйволам, науку моря, зноя и горного кастильского мороза. Прощай, тебе отказано от дома, ты вышел из моды, гидальго XX века, первой половины "Ха-Ха", седобородый Чайльд, прощай!

Попрощавшись с ним таким вот макаром, я сообразил, что это новая встреча.

...Итак, мы едем на литературный гала-прием. Снегу в тот вечер было, как в Москве. Крутило. Таксист-нигериец в ужасе смотрел на несущиеся снежные космы. Доехав каким-то чудом до места назначения, он признался, что всего два месяца, как водит такси в Нью-Йорке, потому что и вообще два месяца, как в Нью-Йорке, и ничего подобного вот этому белому и холодному песку, который так неумолимо сыпется с неба и делает дорогу такой безобразно скользкой, он не ожидал здесь увидеть.

Я стою в толпе на приеме в центре Манхэттэна. Есть что-то античное в этих стоячих американских "парти" — кажется, будто кто-то тут околачивается с парой кинжалов

за складками тоги. Где же Цезарь? А вот и он, автор чего-то "самого захватывающего, самого фундаментального". Знакомых лиц мало, пара-другая — из тех, что когда-то посещали Москву, однако чувствуется, что ты в центре литературного истеблишмента. Поражает число высоких женщин. Высокие красавицы как молодые, так и старые, — отбор, очевидно, идет давно.

Я вдруг подумал не без грусти, что меня сейчас не очень-то интересует современная американская литература. Вдруг я осознал, что произошло какое-то испарение ностальгии. Сигаретные дымки над головами высоких женщин, чуть пониже симпатичные седины и плеши моих американских коллег, окна, охватывающие полнеба, за окном подмигивание стоэтажных финансовых столбов... грустный момент утечки одного из ранних очарований.

Что случилось? То ли сама эта человеческая группа вместе с воплощающим ее образом ЗАПа так изменилась с прежних "хемингуэевских" времен, то ли она просто оказалась не такой, какой представлялась издалека, то ли я сам изменился в брюзгливости среднего возраста, то ли наша человеческая группа, именуемая "современной русской литературой", так основательно изменилась после того, что пришлось хлебнуть... Рассеялась аура отдаленных пространств, открытого мира, рискованного предприятия, нынче для меня американская литература просто встала в ряд других западных литератур.

Аурой рискованного предприятия нынче окружена сопротивленческая литература Восточной Европы и Советского Союза. Может ли современный писатель найти для себя более головокружительное приключение, чем литературное изгнание?

Сказав об утечке *особого* интереса, я вовсе не расписываюсь в равнодушии. Напротив, я полон профессионального любопытства и на правах члена Американской авторской гильдии я постоянно обозреваю уже частично как бы и *свое* профессиональное поле.

Образ ЗАПа и в самом деле престраннейшим образом

изменился под увеличительным стеклом американского быта. В принципе, ведь и везде писатель озабочен созданием и сохранением персонального обличья. В Советском Союзе поэт Островой, автор бессмертной строки: "Я в России рожден, родила меня мать", — ни при каких обстоятельствах не снимает тяжелых очков. "Народ знает меня в этих очках!" — заявляет он. ЗАП тоже не меняет обличья, не запускает бороды или, наоборот, не бреется, если был бородат к моменту своей славы, держит в зубах погасшую сигару, даже если она ему осточертела, живет в отшельничестве, если за ним повелась репутация отшельника.

Общество обожает ЗАПа, он — любимец, такой немножко как бы капризуля; из множества мифов он один из самых обаятельных, он, кроме всего прочего, и сам является персонажем американской литературы. Процент "писателей" из общего числа персонажей весьма внушителен. Начинающий писатель пишет роман о начинающем писателе. Приходит первый успех, и появляется книга о первом успехе. Разочаровавшись в приманках славы, писатель пишет о писательском разочаровании. Начинается период семейных неурядиц, измен, адюльтеров, и появляется роман о писательских разводах, изменах, адюльтерах...

Соблазн велик, знаю по себе. Каждое утро, садясь к столу у окна над крышами Вашингтона, хочу написать: "Мистер Акселотл, писатель в изгнании, сел к своему столу у окна над крышами Вашингтона". Увы, обуживаю свой нарциссизм: надо подумать, господа, и о молодых литераторах.

Первая проба профессионализма — написать не о себе. Начинающий писатель, однако, смотрит на своих старших собратьев: все пишут о собственных геморроях, а почему мне нельзя? В результате в "Атлантиках" и "Харперсах" появляются почти не отличимые друг от дружки рассказы, составленные по такой приблизительно схеме.

Сентябрьским вечером, сидя на крыльце своего дома, Шейла М. ждала гостей. Она была стройна (120 фунтов) и обладала пышной каштановой гривой, парой (!) голубых глаз и смугловатой кожей, залитой закатным солнцем (sic!). Спокойно и грустно она думала о своих литературных успехах и о недостатках своей половой жизни.

Недавно она получила за первый сборник своих рассказов большой приз от Национального фонда искусств, но зато Брюс В., который только что ее покинул, спал с ней не чаще, чем два раза в год, то есть за те пять лет, что они провели вместе, он спал с ней десять раз. Иные спят по десять раз за раз и ежедневно, то есть три тысячи шестьсот пятьдесят раз в год, или семнадцать тысяч двести пятьдесят раз за пять лет. В чем причина нашей странной бессонницы?

В стареньком "фольксвагене" подъехали гости, университетская подруга Шейлы М. Джин С. (несомненно, вторая Шейла М.) и ее бойфренд Гордон Ш. (несомненно, третья Шейла М.). С первого взгляда было видно, что пара наслаждается избытком половой жизни, близким к вышеупомянутой калькуляции.

Втроем они сделали салат из латука и немножечко покушали. Ночью Гордон Ш. пришел к Шейле М. и разбудил в ней женщину. Возможны варианты.

Утром они снова ели салат из латука и обсуждали свои литературные дела. Шейла рассказывала замысел своего романа об одинокой женщине-прозаике, Джин говорила о премии, которую ей обещали в Национальном фонде искусств за новую книгу стихов, Гордон поведал о своих мощных усилиях в Голливуде.

Несколько перемещений в толпе манхэттэнского приема — подальше от Брута, подальше и от Цезаря, — и я оказываюсь рядом со знакомым ЗАПом; книги его читал еще в переводах, а самого встречал на международных конференциях. В разговоре *он* жалуется *мне* на неприятности с цензурой. Вот именно с цензурой, сэр! Вы думаете, только в России существует цензура? Недавно в Миссури школьный совет округа Тмутаракань постановил изъять мои книги из библиотеки. "Их, видите ли, смущают иные четырехзначные слова и некоторые фривольности моих персонажей. Вот вам новое наступление ханжества, как во времена Маккарти! В Советском Союзе мои книги все-таки переводятся и издаются, не так ли?"

Я почесал в башке. "Кажется, сэр, я знаю, как решить проблему со школьной библиотекой в Миссури. Нужно сделать обратный перевод с советских изданий на английский, и, ручаюсь, никаких неприятностей у вас больше не будет".

Он посмотрел на меня в некотором смущении. "Прошу прощения, старина, в самом деле не очень-то уместно было говорить о цензуре с вами".

В одном университете после лекции меня спросили: знают ли в СССР ведущих американских писателей? Не без осторожности я задал встречный вопрос: каких именно писателей имеет в виду студент? Он назвал имена из списка бестселлеров. Пришлось развести руками. Эти имена почти не известны активной читающей публике в России. Я и сам их не знал, пока не приехал в эту страну, а между тем именно они волей-неволей направляют массовый литературный вкус, хотя, возможно, меньше всего думают об этом предмете.

Для читающей публики в России существует другая американская литература. Переводчики, надо отдать им должное, отбирают книги не по количеству проданных экземпляров, а по приметам так называемой серьезности. Конечно, в тех случаях, когда не удается обойти идеологический частокол, переводчики подвергают американских авторов порядочной стрижке с удалением не только излишней волосистости, но и кусочков плоти, но все-таки, благодаря высокому уровню переводческой школы, советские читатели смогли в течение последних двадцати пяти лет познакомиться с рядом блестящих имен.

Особенно четкой границы между "серьезной" и "коммерческой" литературами, как я понимаю, сейчас нет. Иной раз и "серьезные" попадают в золотые списки, другой раз и постоянные обитатели этих списков демонстрируют твердую руку и серьезность проблем. И все-таки ориентировка на списки торговых рекордов вызывает к жизни не только несметное число безвкусицы, но и особый тип пишущего человека.

Однажды я познакомился с романистом, который на вопрос, какого рода книги он пишет, ответил просто: бестселлеры. К сожалению, плоховато продаются, добавил он.

В определенном смысле коммерческая литературная халтура имеет некоторое сходство с идеологической литературной халтурой.

Как-то раз на телебеседе дамочка-писательница делилась секретами своего ремесла. "Прежде чем начать новую вещь, — говорила она, — я тщательно изучаю спрос. Писатель, — она поднимала приятный пальчик, — должен знать литературный рынок". Легко воображаю эту даму в роли члена Союза писателей СССР. Таким же благообразным тоном: "Писатель должен изучать последние партийные документы, быть в курсе решений партии по литературным вопросам".

Кружным путем сообщество авторов бестселлеров напоминает советскую партийную номенклатуру: в нее трудно попасть, но из нее почти уже невозможно выпасть. Нынче в американской литературе книга часто становится бестселлером, потому что она написана автором бестселлеров. Читатели доверяют этим авторам, полагая, что вкладывают деньги в стоящее солидное дело. Авторы стараются поддерживать "торговую марку", выдавать на-гора то, чего от них ждет рынок. Вырабатывается коммерческая инерция, под которую нередко попадает и "серьезная" литература. Тут не до экспериментов.

К внутриамериканской торговой инерции я отношу и равнодушие по адресу иностранных книг. Успех итальянца Эко уникален. Один книготорговец как-то объяснял мне: пролистывая новую книгу и находя в ней иностранные "трудные" имена, наш массовый читатель автоматически откладывает ее в сторону. Забавно, не правда ли, для страны, где добрая половина населения состоит из Джонов Домбровичей и Джейн Дзапарелло. В России, между прочим, наоборот — при виде иностранных имен читатель заинтригован.

Любопытно, что литературная критика очень мало влияет на продажу, она как бы существует вне коммерческой сферы. Вряд ли найдете вы в солидных еженедельниках ре-

цензии на самое "горяченькое", иной раз лишь что-нибудь сквозь зубы, глуховато-ироническое, однако авторы бестселлеров в положительных ревю, очевидно, просто не нуждаются: они уже *в списке*! Воспитание литературного вкуса происходит в замкнутом кругу лиц с хорошим литературным вкусом.

В общем и целом, я раскланиваюсь в любезной позе, насколько могу. В какой-то мере я и сам уже часть этой литературы (и не только на правах "национального меньшинства"), литературы, в которой все еще, несмотря ни на что, крутится хвост йокнапатофовского мула, взлетают в воздух испанские мосты, бренчит джаз бит-поколения, и ковыляет раненый кентавр Новой Англии. Страдает ли литература от сожительства с долларом или что-то от этого выигрывает? — вопрос еще открыт. Увы, человечество пока не придумало системы отношений, более естественной, чем деньги. То, что нам предложил Карл Маркс, на деле оказалось возобновлением отношений доденежной поры. Это, впрочем, не может отобрать у писателя права на когти. Венецианский книжник-лев лицом своим располагает к чтению, к писанию — когтями!

Русские литераторы, вообще русская интеллигенция, выкарабкиваясь, по выражению Солженицына, "из-под глыб" тоталитарщины, рассчитывала на солидарность художественной интеллигенции мира. В шестидесятые годы многие блестящие таланты Европы были еще под влиянием так называемой прогрессивности, то есть если и выражали солидарность, то в адрес литературных бонз социалистического режима. К чести американских писателей следует сказать, что они реже попадали под власть идеологического гипноза.

Жан-Поль Сартр, например, высокомерно назвал Пастернака "строптивцем с Востока", он отказался от Нобелевской премии, не желая следовать за этим "непрогрессивным" писателем, в то время как столь многократно упомянутый выше Хемингуэй просто сказал: "Если Бориса вышлют на Запад, я куплю ему дом".

Уникальный сигнал солидарности пришел к русской литературе из совершенно неожиданного места, из штата Мичиган.

НА ВЫСОТЕ "АРДИСА"

Зимой одного из семидесятых годов на снежные аллеи Переделкино высадился американский десант. Так, вероятно, и воспринималась соответствующими товарищами и их органами эта команда из девяти человек: глава злокозненного издательства "Ардис" Карл Проффер, его жена Элендея, их дети Иен, Крис и Эндрью, брат жены Билл, чья-то мама по имени "бабушка" и две университетские девушки Нэнси и Таис.

Мальчики прыгали, как снегири, в их ярких куртках и "мун-бутсах", Элендея с бодростью и энергией необыкновенной вышагивала под соснами, то распахивая, то запахивая заморское норковое роскошество, сам высоченный мистер Проффер (он в свое время играл в основном составе баскетбольной команды Мичиганского университета) неторопливо шествовал, иногда опуская порозовевший нос в грубые, если не сказать грубейшие, меха своего огромного русского тулупа. Он явно наслаждался: сколько вокруг России, сколько вокруг, черт побери, русской литературы!

Когда после выпуска "Метрополя" социалистический реализм лишил Профферов доступа на русскую землю, они огорчались, может быть, не меньше, чем иные высланные русские писатели. Уникальная русофилия, выросшая на почве Мичигана и Индианы!

В американской русистике, сеть которой невероятно широка, но не так уж глубока, немало есть эрудитов, относящихся к предмету, вроде как к минералогии; есть и такие, которым "русский дух" претит. Рассказывают, например, об одном таком "спеце", который, поддав, однажды высказался в таком духе, что предпочел бы изучать русскую культуру, как древних греков, то есть как литературу мертвых.

Есть и редкие примеры удивительной самоотдачи, обычно всегда связанные с уникальными человеческими качествами и талантами. Патриша Блэйк в своей книге о знаменитом переводчике и ученом Максе Хейворте рассказывает, что Макс очень страдал, когда соцреализм навсегда отказал ему в визе. Однажды Патриша вернулась из Греции и сказала Максу: «Ты знаешь, эта страна напоминает чем-то наш "Анион"». Так они называли между собой Советский Юнион. Луковый вкус слова имел некоторое отношение к традиционным русским куполам, к той России, которую они любили. Через неделю Макс позвонил ей в Нью-Йорк уже из Греции. Он облюбовал там какой-то остров и провел на нем большую долю своих последних лет. Сидя посреди Эгейского моря, он работал над русскими книгами и обсуждал со своими гостями последние московские литературные коллизии.

Благодаря Карлу Профферу в русскую культуру вошел (без сомнения уже навсегда) Анн-Арбор, мичиганский "большой маленький городок", город-кампус с его университетской "так-сказать-готикой", ресторанчиками, лавками и копировальными мастерскими даунтауна, ярко освещенными до глубокой ночи книжными магазинами, толпами "студяр", запашком марихуаны, символизирующим либеральное меньшинство, и пушистыми зверьками, снующими среди поселений стабильного большинства по всем этим улицам Хилл, Спрусс, Лэйк, Элм, проплутав по которым, русский писатель неизбежно в конце концов выезжал на немощеный Хитеруэй, чтобы увидеть там, в глубине, за стволами кленов и сосен большой дом, бывший когда-то загородным клубом, и мягкие скаты поля для гольфа, по которым неторопливо движется высокая сутуловатая фигура, сопровождаемая парой собак и тройкой детей.

Именно здесь, по сути дела, возник новый период русского литературного сопротивления, непостижимыми "воздушными путями" идиллический пейзаж оказался связанным с пресловутыми кухнями московских и ленинградских интеллектуалов, с чердаками богемы.

Из американских славистов никто, пожалуй, так хорошо, как Карл, не понимал русской литературной среды.

Он, в частности, улавливал некоторую этой среды "шпанистость" и даже сам был как бы тронут слегка этой "шпанистостью", во всяком случае никогда не говорил о своем предмете ни с выспренними придыханиями, ни с академической холодностью, а вот артистическим матюком пускал нередко и с нескрываемым удовольствием.

Употребление этих выразительных средств, кстати сказать, и русской-то пишущей братией нередко выглядит курьезно, из предмета стиля они то и дело становятся неуместным попердыванием. Карл с удивительной для иноязычного человека тонкостью чувствовал русский литературный стиль и никогда его не терял.

К середине семидесятых годов Профферы по сути дела стали полноправными членами нашей среды. В Москве говорили о них, не как о каких-то отвлеченных заморских меценатах, а как о своих, как о "ребятах". "На днях ребята звонили, снова к нам собираются..." "Ребята хотят выпустить полного Булгакова..." и т.д.

Проникновение этих двух типичных "мид-вест" американцев в русскую культурную среду было настолько глубоким, что они даже в конце концов почувствовали тот легкий "напряг", который всегда существовал между артистическими общинами Москвы и Ленинграда. Ища в канальных жителях наследников "Серебряного века", Карл и Элендея все же чувствовали и некоторый периферийный ущерб, дымок смердяковщины и вздор иных псевдоклассических претензий. С другой стороны, и Москва ими не идеализировалась с ее склонностью к конформизму, гедонизму и говнизму. Все, однако, поглощалось необъятной страстью к русской литературе, которая (выпуск знаменитой "тишэтки") "лучше, чем секс", не говоря уже о рок-н-ролле. Великие вдовы нашей словесности Надежда Яковлевна Мандельштам, Елена Сергеевна Булгакова, Мария Александровна Платонова были в фокусе этой любви. Уж и Бродский казался Карлу хрупким гладиолусом невского побережья. Соколов был заброшенным птенцом Набокова, сам Набоков подплывал к "Ардису", как великолепнейший айсберг, Лолита наверху, пять лолит под поверхностью; все это, конечно, не совсем так, но и не совсем не так.

Однажды я видел, как Карл разговаривал с двумя московскими писателями об издании их книг. Рядом с затертой второго разбора джинсовостью писателей он выглядел как настоящий заморский книжный делец — отличный костюм в полоску, крепчайший башмак, поза всегда расслабленная, как у баскетболиста в раздевалке, в глазах, однако, светилось полное отсутствие деляческих качеств — светящееся отсутствие, хм, — сопровождаемое присутствием любовного чувства, но не к объектам беседы персонально, а к нашей общей теме. Ключевой момент — беседа с двумя источниками словесности, попытка спасти их от забвения, от загнивания в подполье.

Будь Карл Проффер дельцом, он, наверное, иначе поставил бы свое предприятие и, возможно, прогорел бы на этом. Такой малотоварный предмет, как русская литература, вряд ли выстоял бы на деловой смекалке и на торговой инициативе, ему потребны были иные, более аморфные качества, какие-то неясные сочетания артистичности и университетскости, приверженности к словесной игре, расхлябанного энтузиазма, чего-то еще, назовите это хотя бы среднезападной чудаковатостью.

Я услышал о Профферах впервые от Раи Орловой и Льва Копелева году, кажется, в 71-м. Тогда мы были соседями по лестничной клетке в аэропортовском кооперативе в Москве, теперь мы соседи по изгнанию — они живут на берегу Рейна, я — на берегу Потомака. Они мне показали первый ардисовский сборник "Russian Literature" и первый репринт — кажется, Андрея Белого "Котик Летаев".

— Вот такие ребята, — с энтузиазмом восклицали Рая и Лев, — вот такие американские молодцы! Поставили у себя в гараже наборную машину и открыли издательство, первое американское издательство русской литературы!

— А кто же они такие?

— Молодые профессора Мичиганского университета, оба красавцы, а Элендея просто неописуемая красавица!

Так с массой восклицательных знаков, что в те времена еще не казалось перебором, пришла эта первая информация об "Ардисе".

— Милое начинание, ничего не скажешь, — кажется,

пробормотал я, разумеется, даже не представляя себе, что это "милое начинание" по сути дела предложит альтернативный путь целому направлению, или, лучше сказать, всей волне вольной современной русской литературы.

К тому времени в Советском Союзе уже окончательно установилось то, что принято называть "второй культурой", или "литературно-художественным подпольем". Возникшая на откате "оттепели" пишущая братия уже не пряталась по углам и не закапывала сочинений на садово-огородных участках, а, напротив, собираясь кучками, под портвейн громогласно читала свои вирши и прозаические опусы, провозглашала новых гениев. Среди богемной графомании иногда и в самом деле возникало интенсивное излучение основательных талантов, вроде поэтов Евгения Рейна, Генриха Сапгира и прозаика Венедикта Ерофеева. Да и у официальных "противоречивых авторов" в ящиках стола накапливалось все больше так называемой нетленки, то есть вещей, не годных для советского тлена, предназначенных как бы для другой, более осмысленной литературной жизни; многие писатели, хватившие славы в начале шестидесятых, становились "непроходимцами". Сужу по себе: продолжая, так сказать, развиваться в качестве писателя, я уходил все дальше от поверхности советской литературы, на поверхности же деградировал, там оставалось все меньше "написанного Аксенова" — две трети, половина, треть, узкий месяц... У Битова его лучший роман "Пушкинский дом" кусочками выбрасывался на поверхность под видом рассказиков и эссе, основная же глыба покоилась в глубине. Искандер из своего "Сандро" тоже выкраивал кусочки на прокорм, между тем как эпос все великолепнее разрастался.

Выход для всей этой культуры был только один — за рубеж. "Забросить за бугор" — такое стало бытовать популярное выражение. Однако печататься в русских эмигрантских изданиях вроде "Граней", "Посева" и позже "Континента" означало вставать в открытую конфронтацию к режиму, на это решались только политически детерминированные люди. Художественное подполье колебалось, и не только по своей обычной и вполне нормальной трусовато-

сти, но и по подсознательному отталкиванию от какой бы то ни было политической ориентации, то есть по анархичности самой своей природы.

Появление независимого, не эмигрантского, но американского, да и не просто американского, но университетского издательства, основным критерием которого стала художественность, предлагало уникальную альтернативу.

Позднее, когда скандал с "Метрополем" разгорелся вовсю, цепные псы соцреализма, разумеется, объявили Карла Проффера человеком ЦРУ. Вот, дескать, какой хитрый ход придумали американские соответствующие органы. Для этой своры мир делится очень просто — то, что не КГБ, то ЦРУ.

Сейчас, когда наш друг, спустившись со склонов поля для гольфа, ушел в луга невозвратные, я думаю о том, что его вклад в русскую культуру невозможно переоценить, даже употребляя самые превосходные степени. Для того чтобы это осознать, достаточно обозреть продукцию "Ардиса" за десять лет его существования, однако дело тут не только в перечне названий, но в самом существовании этого холма как определенной эстетической и нравственной высоты, в самом появлении на пространстве русской культуры, в нужном месте и в нужный час этой фигуры, осуществляющей смехотворную по нынешним идеологическим и коммерческим параметрам, но все же существенную миссию артистической солидарности.

Впервые я оказался в "Ардисе" в июле 1975 года, будучи еще советским писателем, на обратном пути из Лос-Анджелеса в Москву. Дом был полон народу, молодых славистов и русских беженцев. Каждый день появлялись какие-то новые лица, охваченные эйфорией эмиграции. На кухне (сказывались российские привычки) рассиживались от зари до зари. Карл и Элендея смеялись: никогда точно не знаешь, сколько народу тут пасется. Переговорить этих русских невозможно. Уходишь спать, оставляя за столом пятерку, скажем, гостей, а утром застаешь их на том же месте, хотя компания разрослась уже до семи, предположим, пер-

сон. Можно с ходу включаться в дискуссию, а можно и не включаться: на хозяев никто особого внимания не обращает.

Несмотря на бесконечное хлопанье дверей, в "Ардисе" продолжалась как семейная жизнь, связанная с произрастанием детей, так и книжное производство — в подвале дома, собственно говоря, и помещалось злокозненное издательство, вмешавшееся в русский литературный процесс без санкции ЦК КПСС. Там функционировала современная американская технология книгопроизводства, все эти "принтеры", "композеры", копировальные машины. Развитие этой техники и ее быстрое удешевление удачно совпали с бунтом в советской литературе. Карл был безмерно увлечен новыми возможностями. Уже будучи безнадежно больным, он как-то долго мне рассказывал по телефону о новом автомате, который прямо читает рукописи, останавливаясь на неясных местах, запрашивает уточнений и тут же производит текст, готовый для печати.

В сентябре 1977-го "Ардис" приехал на Московскую международную книжную ярмарку. Чудеса в решете — их принимали как официальных гостей, у них был свой стенд на ярмарке!.. Я стоял с Карлом и Элендеей возле стенда перед открытием экспозиции. Толпа московских книжников за барьерчиком все разрасталась, дрожа от нетерпения, словно свора борзых. Международные дельцы, представители фирм, проходя мимо стенда "Ардиса", пожимали плечами: что тут происходит? Они не знали того, что знали все эти москвичи: "Ардис" — это особое издательство, не просто американское, частично как бы свое, но свободное.

Разрешено было выставить только книги на английском языке, но в последний момент перед пуском Карл, вспомнив свои баскетбольные дни, с быстротой необыкновенной расставил по полкам образцы и русской продукции — репринты забытых книг, стихи и прозу эмигрантов, внутренних и внешних, только что выпущенное любимое детище альманах "Глагол". И вот, наконец, гордый русский клич: "Пущают!" Книжники кинулись к полкам. Без промедления начался грабеж. Книжки засовывались в карманы, за пазуху. Я заметил одного деятеля, который явно подготовился к посещению стенда "Ардиса" заранее. На нем были

необъятные байковые шаровары, схваченные резинками на лодыжках, и с резинкой на поясе. С невозмутимой миной он просто оттягивал резинку на поясе и бросал книги в эти необъятные глубины.

Вряд ли какой-нибудь грабеж ранее вызывал такой восторг у его жертв. Ни до, ни после я не видел Карла в таком счастливом возбуждении. С сияющими глазами он только и делал, что подбрасывал на полки все новые и новые "Глаголы". Грабители-интеллектуалы тоже ликовали — книги, книги, открылась пещера Алладина, разомкнулись "священные рубежи нашей Родины"!.. Это был редкий момент массового прорыва и вдохновения.

На следующую Московскую международную выставку "Ардис" уже не был допущен. Книги становились главной заботой пограничной стражи. "Букс", "бюхер", "ле ливр", "ксенжки" волновали таможенников больше, чем гашиш и кокаин. "Русская цепочка" все-таки существовала, книги, будто неуклюжие перелетные птицы, пересекали границу — туда в виде рукописей, обратно томиками с эмблемой в виде дилижанса. Так однажды и мои два тома "Ожог" и "Остров Крым" плюхнулись на лужайку в глубине улицы Хитеруэй.

Мы с женой приехали в Анн-Арбор через два месяца после эмиграции из СССР. Карл перебросил мне ключи от своего джипа. Можешь ездить на нем, сколько хочешь, только не забывай оплачивать штрафы за неправильную парковку. Шаг за шагом он и Элендея вводили нас в американскую жизнь; прежде всего это, конечно, касалось такой труднопостижимой вещи, как поддержание баланса банковского счета. Вскоре они выразили нам свое приятное удивление — как это мы быстро научились справляться сами с ежедневными заботами, вот уже и квартиру сами снимаем, и телефон сами устанавливаем, предшественники ваши не проявляли такой прыти.

— Не надоела ли вам русская литература? — спросил я их.

— Даже больше, чем ты думаешь, — засмеялись они и вручили мне приглашение на гала-парад "Ардиса" по случаю выхода "Ожога".

Потом мы уехали из Анн-Арбора, но связь с Профферами не прервалась и на неделю. То и дело ближе к полуночи (окна "Ардиса" обычно сияли в ночи, как сталинский Кремль) раздавался звонок. Карл спрашивал, "как дела", или "хау ар ю" (англизация наших бесед с каждым годом неизбежно увеличивалась), рассказывал какие-то новости из Москвы, и мы обменивались анекдотами свежей советской выпечки, только что поступившими в обращение через Париж или Копенгаген. Каждый раз, когда я слышал в трубке его голос, вспоминалась январская ночь 1979 года, кухня в квартире на Аэропортовской, метропольцы, сгрудившиеся вокруг приемника, завывание глушилки, интервью с главой издательства "Ардис" на волнах "Голоса Америки". Он говорил: "Мы только что получили из Москвы уникальную литературную коллекцию... Не знаем, будет ли она издана в официальном советском порядке... Мы выпустим ее в любом случае..." В отличие от иных наших так называемых собратий, эмигрантских писателей, которые стали сразу искать за инициативой "Метрополя" некий второй корыстолюбивый смысл, этот американец сразу понял его литературную и идеалистическую суть.

Кроме всего прочего, я любил чисто физическое присутствие Карла, как здесь говорят "в нашей толпе". Периодические встречи в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Милане, Париже... голова Карла приветливо маячит над среднеплечием толпы...

Последний раз перед началом его трагического и героического финала мы встретились на атлантическом курорте Рехобо-Бич. Боб Кайзер с Ханной, мы с Майей, Елена Якобсон, Карл и Элендея сидели на балконе над темным океаном. Младшая дочь Профферов крошка Арабелла то и дело прибегала, делала страшные рожи, как видно, под влиянием каких-то мультяшек. Ничто не предвещало беды.

Через несколько дней после этого вечера Карла сразила дикая боль. В таких случаях вспоминается пастернаковское: "Стихи мои, бегом, бегом. Мне в вас нужда, как никогда. С бульвара за угол есть дом, Где дней прорвалась череда..."

Карл Проффер был исключительно американской и ис-

ключительно университетской фигурой, и в своем умирании он продемонстрировал исключительно американский, исключительно университетский, если можно так выразиться, "подход к проблеме". Не было никаких умолчаний или иносказаний. Он говорил, что хочет протянуть как можно дольше для того, чтобы маленькая Арабелла успела его запомнить. Он боролся два года, прошел через несколько операций и циклов изнурительной экспериментальной терапии, а в перерывах даже на больничной койке занимался переводами, писал статьи (сенсацию произвела его собственная статья о болезни в "Вашингтон пост"), работал над своими мемуарами и даже совершал путешествия на тропические острова и в Европу.

Однажды они летели компанией над Карибским морем в Майами. Вдруг в чартерном самолете началась сильнейшая вибрация, пассажиров попросили надеть спасательные жилеты. В чем выражается англо-саксонско-шотландско-ирландская паника? Карл рассказывал:

— Кэтти закрыла глаза и стала вспоминать любимые стихи, Лэн как юрист, чтобы убить время, составлял свое финансовое завещание, Элендея старалась успеть дочитать детективный роман, а я успокаивал соседку слева: не волнуйтесь, самолет не упадет, потому что ваш сосед справа находится на пути к другому финалу.

Болезнь как-то особенно подчеркнула его человеческие качества, в глазах его светились мягкость, доброта, улыбка. Видно было, что он наслаждается каждой данной минутой, что даже простая дружеская болтовня для него сейчас — дар Небес, каждый стакан воды — благо.

Вот теперь он ушел, сорока семи лет, провожаемый не только детьми, но и родителями. Русская литература, американский университет, мировая община писателей потеряли человека позитивного действия, столь редкого в наше время хлопотливой и бессмысленной суеты, когда никто не дослушивает друг друга до конца, когда книги не дочитываются, но лишь приоткрываются с единственной целью дальнейшего "по поводу" словесного блуда, когда творцы бешено колотят по своим пишмашинкам, одержимые возвышенными идеями попасть в коммерческие книжные клу-

бы, огрести лопатой пресловутые "роялтис", захапать очередной "грант", а то и самого "нобеля", ублажить мегаломанические свои страстишки, хапануть-хапануть-хапануть, создать вокруг себя клику подхалимов и отшвырнуть подальше малопочтительных коллег, которые и сами, погрязая в бесконечных пустопорожних интервью, презентациях, публичных дискуссиях, зверея от телефонных звонков, гонят, гонят, гонят круговую безостановочную гонку без промежуточных финишей, стараясь хоть на секунду задержать внимание совершенно озверевших под потоками книжного дерьма читателей, поразить мир злодейством, стащить штаны, продемонстрировать пенис, плюнуть в суп соседу по коммуналке, в наши дни, когда хрипящий в идеологической астме стражник призывает и дальше высоко нести знамя, создавать возвышенные образы современников, в эти дурацкие дни из мира ушел один из немногих людей прямого позитивного действия, учивший студентов, писавший книги, сделавший делом своей жизни спасение униженной и оклеветанной литературы, поднявший свое издательство на уровень этого все-таки довольно высокого предмета.

ШТРИХИ К РОМАНУ "ГРУСТНЫЙ БЕБИ"

1953

Боб Бимбо был настоящим негром из Абхазии, где в восемнадцатом веке неведомыми путями оказалось несколько сот его африканских предков. Звали его по-настоящему не Боб и не Бимбо, а Багратион Апбар. Он говорил на жаргоне черноморских ресторанов, в котором преобладало звучное междометие "блабуду".

«Чувачки, блабуду, Бимбо — мое сценическое имя, блабуду, псевдоним. В солнечной Абхазии есть негритянский колхоз, я оттуда, мой друг Фазыл не даст соврать. Какая нелегкая занесла нас туда, блабуду, скрыто во мраке истории. Барухи в вашем городе, чувачки, однако, не

очень гостеприимные, кинули мальчика без штанишек передком в сугроб. Нет сочувствия к угнетенным народам мира. В такой волнующий день выступаю не в лучшем виде. Тому, кто нальет хоть полстакана, блабуду, скажу "сенкью вери мяч"...»

В "Красном подворье" между тем становилось все оживленнее. Появился известный в городе жуир Вадим Клякса. Далеко не все знали его как эмгэбэшного куратора злачных мест майора Щедрину. С благодушной улыбкой он поманил пальчиком Филимона. "Несколько слов лично с вами, Филя. Присядем".

Он отсел с Филимоном в сторону под картину Исаака Левитана "Над вечным покоем" с ее скорбной одухотворенностью. Почесывая длинным ногтем мизинца пробор набриолиненной прически, стал задавать вопросы. "Ну, как дела в университете, Филя? Хорошие ребята в группе? Держится еще у вас волейбольная команда? А как девчата? Вот эта черненькая твоя подружка Мила, не беременна еще? В Дом специалистов на танцы ходите?"

Лукич-Адрияныч принес майору одну за другой две большие рюмки коньяку, одну "тактическую", другую "стратегическую". Засим майор Щедрина шарахнул кулаком по столу и грозно выдохнул прямо в глаза Филе:

— Где прячешь оружие, свинья?

Обычно от таких вопросов пьяный народ трезвел. С Филимоном этого не случилось. В глазах у него прыгали три вишневеньких книжечки МГБ на фоне трех вариантов линий судьбы майора, то есть в том смысле, что Вадика Кляксы.

— Да, че ты, Вадим, да кончай ты...

— Перед тобой не Вадим, а представитель органов пролетарской диктатуры! Я тебя могу расстрелять еще до утра! Сукин ты сын, неблагодарная тварь! Великого Сталина заблевали, не успел умереть! Кому Родину предаешь, признавайся!

"Вот он, мой последний день рождения, — подумал пьяной головой Филимон. — Невольно хочется пройтись в грустном танго. Эх, чего-нибудь бы напоследок угарного, зыбкого, увядающего..."

Коммунальная жизнь нередко приводит к тому, что хорошие идеи одновременно зарождаются в четырех и более головах. Спиридон, Парамон и Евтихий уже танцевали. Нонна, Рита и Клара сдержанно извивались в объятиях мужской молодежи. Откуда же проистекала музыка, если музыканты в тоске по ушедшему гиганту еще не играли, а только лишь бесплатно употребляли фирменное варево солянку "Кр. подворье"? Музыка стекала с губ самих танцоров, сначала "Утомленное солнце", потом "Кампарсита", затем уже и нагловатая "Мамба итальяна".

Интересно, что число танцующих увеличивалось. К футуристам-мушкетерам присоединились как-то странно (неадекватно!) оживленные венгерские студенты, на которых ведомство "Кляксы" уже подготовило немалый материал. В вихре самодельной "мамбы" мелькал уже и отчаявшийся именинник со своей подружкой Милкой, известной в городе не только своей сногсшибательной попкой, но и парой туфель на каучуке в бродвейском стиле. Танцы напоследок. Хей, мамба, мамба итальяно!

"Что делать? Вызывать наряд? Дежурному по городу звонить? Еще одну "стратегическую" принять?" — Такие мысли, будто вихрь демонов, пронеслись в ошеломленном сознании майора Щедрины. Вдруг к нему приблизился стройный и лиловатый, как поздняя сирень, юноша без наружных брюк. Внутренние брюки, иначе кальсоны, начинали уже оттаивать, и скопившаяся в промежности сосулька готова была отвалиться. "Вы кто такой?" — гаркнул пораженный майор. "Я Багратион Апбар, — признался беглый кавказский колхозник, он же Боб Бимбо, жертва американского расизма." — "Вы танцуете, молодой человек?"

1985

По сообщению телевизионной программы "Интертейнмент тунайт" киноактриса Джейн Фонда сделала головокружительное признание журналу "Стар". Оказывается, она в течение последних двадцати (20!) лет страдала патологическим обжорством и для того, чтобы поддерживать то,

чем сейчас восхищается все прогрессивное человечество, в пристойной форме, ей приходилось по несколько раз в день возбуждать рвоту.

Джейн! На ГМР, который находился в приступе глубокого экзистенциализма, это сообщение произвело впечатление разорвавшегося патрона с горчичным газом. Начались метания со скрипом разладившихся суставов. Значит, и тогда, Джейн, в те времена, гудящие под ветром — они ведь тоже входят в зону вашего двадцатилетнего признания, — значит, и тогда, Джейн, вы по несколько раз в день... блевали, дорогая?

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В течение двух лет еженедельно я выходил в эфир на волнах русской службы "Голоса Америки" с десятиминутной программой под рубрикой "Capital Shift"[1]. В названии рубрики, ясное дело, присутствовала двусмысленность: с одной стороны, речь шла как бы о капитальных изменениях в жизни, а с другой — как бы подразумевалось отсутствие таковых; ничего, мол, особенного не случилось — раньше жили в русской столице, а теперь в американской.

Решив остаться на берегах Потомака с претензией на оседлость, мы стали искать квартиру за пределами функциональной жилой зоны Юго-Запада, поближе к реальной жизни "Новых Афин".

За те деньги, что дерут со съемщиков домовладельцы из дистрикта Колумбия, можно снять целый дом за рекой, в Виргинии, или в мэрилендовских пригородах, однако мы все еще были чужды американской привязанности к suburban life[2] и нас как раз тянуло в самый центр дистрикта, к тому району, что называется здесь "Круг Дюпона", с его

---

[1] Смена столиц.

[2] жизнь в пригородах.

кафе парижского типа и книжными магазинами, открытыми за полночь.

Иные знакомые увещевали нас: да как это можно в даунтауне селиться, опасно же! Дом одного из этих знакомых в пригороде Сильвер Спринг был между тем за последний год ограблен дважды. В первый раз воры вынесли столовое серебро, во второй — телевизор, однако оба раза не тронули бесценных русских икон шестнадцатого века. Может быть, он полагал, что в дистрикте более искушенное жулье? В поисках квартиры сказывается эмигрантская двойственность: с одной стороны, ищешь то, что напоминало бы *прежнее*, с другой — хочется заполучить такое, чего в прежней жизни не было, да и быть не могло. Увы, квартиры, которые мы смотрели, не отвечали этим диким требованиям, а были самыми обыкновенными вашингтонскими квартирами.

Однажды мы приехали по объявлению в газете на робкие склоны единственного в городе холма, на улицу Вайоминг, вошли в дом и сразу поняли, что нашли искомое. Квартира эта, вся белая, двухэтажная, с винтовой лестницей, в прежней нашей жизни существовать не могла, но в то же время она и напоминала нечто *прежнее*, а именно: смутные "заграничные" видения московских сумасбродов.

Из огромных окон нашего нового дома открывался вид на всю американскую демократию, то есть за скоплением викторианских крыш и стеклянными плоскостями центра мы, благодаря расположению на вершине холма, могли видеть и купол Капитолия, и монумент Вашингтона, и колоннаду памятника Линкольну. Над всеми этими святынями простиралось огромное небо, по периферии которого непрерывно проходили самолеты к аэропорту Нэшнл. Грохот их, однако, до нас не долетал, а скольжение дельфинистых очертаний лишь усиливало чувство простора. Решено! Мы поселяемся здесь, на границе двух популярных городских зон — Дюпона и Адамс-Моргана.

Цена, которую мы согласились платить за это очаровательное жилище, оказалась достаточно дикой — двенадцать сотен в месяц. Если пересчитать эту сумму по курсу московского черного рынка 1:4, получится 4.800 рублей, то

есть двадцать четыре средние месячные зарплаты советского трудящегося (по официальному же курсу получится шесть месячных зарплат). Звучит, пожалуй, абсурдно, однако, если вспомнить упоминавшиеся уже ранее сравнительные расчеты стоимости советского и американского танков, все придет к неожиданной гармонии.

Явился менеджер, молодой человек из племени "яппи", мистер Брик. (Позже выяснилось, что он литовского происхождения и по-настоящему его фамилия звучит как Олбрикаскаускас.)

— Я должен вам, наши дорогие русские новоселы, показать одну вещь, которая может вас основательно удивить, но впоследствии, я гарантирую, доставит вам удовольствие и облегчит трудности быта, в частности доставку покупок из супермаркета.

Что это за херация такая, которая так скрасит наше существование, думали мы, следуя за мистером Бриком на лестничную площадку к дверям лифта, у которого он и остановился.

— Вот, посмотрите, перед вами кнопка, — сказал он. — Стоит вам ее нажать, как через непродолжительное время эти стальные двери откроются, и перед вами окажется небольшое кубическое помещение. Входите внутрь без опаски. — Он проделал вышеописанную операцию, и мы вошли в лифт.

— На этой панели, — продолжал мистер Брик, — вы видите кнопки с указанием этажей. Сейчас мы с вами наверху, то есть на четвертом этаже. Вы нажимаете вот на эту нижнюю кнопку, и двери этого кубического помещения закрываются. Не впадайте в панику, друзья, кабина благополучно доставит вас на уровень улицы Вайоминг, где эти двери откроются автоматически. Ту же самую процедуру вам нужно проделать для подъема, только в обратном порядке. Не правда ли, не так уж сложно?

— Дэйв, ради Бога, не говорите нам, будто вы думали, что в России нет лифтов, — сказали мы ему на американский манер.

Мистер Олбрикаскаускас был, очевидно, смущен. Россия с лифтами? Эта новость, должно быть, разрушила це-

лую образную систему. Сделав для себя это революционное открытие, он теперь показывал все прочее оборудование в небрежной, даже как бы пренебрежительной манере: вот, мол, тут вот этот пустячок, вот, мол, еще эдакая фиговина, испокон веков известная в просвещенной России... — а между тем о многом из этого оборудования мы и в самом деле знали только понаслышке.

Во-первых, отопительно-охлаждающая система, автоматически поддерживающая нужную температуру и экономно выключающаяся, когда в ней нет нужды. Во-вторых, стиралка-сушилка, встроенная просто в небольшой шкафчик. В-третьих, электрическая самомоющаяся плита с каким-то там еще "таймингом", в котором мы до сих пор не разобрались. В-четвертых, в-пятых, в-шестых и так далее. Микроволновая плита, вытяжная система, затем машинка, для которой и подходящего-то русского слова не подберешь, разве что блюдо-мойко-сушилка, потом фиговина, полностью пребывающая за пределами русского языка, так называемый "гарбидж-диспозал", поглощающий без остатка пищевые отбросы (может быть, "мусоропоглотитель"?), и, наконец, "компактор", который прессует весь домашний мусор, включая бутылки и банки, в небольшом ведре в течение двух недель, да еще и брызгает на собранную массу специальным раствором, отбивающим запах...

— Ну, вот это, — сказали мы мистеру Брику, — уже похоже на буржуазный декаданс.

Домоуправляющий просиял: все в порядке, фолкс, вы в Америке!

Отвлекаюсь на минуту от бытовых описаний, чтобы окинуть взглядом технологическую цивилизацию. В Америке ты ощущаешь себя в самом ее центре. Может продрать лошадиная оторопь: каждый твой шаг, малейшее движение сопряжено с размахом технологии. Твой белый куб, разделенный перегородками и перекрытиями, со спиральной коммуникацией вверх и вниз, буквально набит технологией. Кроме перечисленных уже машин, он завален кассетами, пластинками, магнитофон вверху, магнитофон внизу,

радио вверху и внизу, проигрыватель внизу, телевизор вверху и телевизор внизу, видеорекордер, копировальная машина, четыре пишущие машинки (одна из них электронная), автомобиль "беби-бенц" под окном, "омега" жены запаркована на улице, фотоаппарат обычный и "Полароид" и, наконец, персональный компьютер с "принтером", не говоря уж об освещении, сушилках для волос, оборудовании ванных комнат, холодильнике, кофеварке, "фудпроцессоре", кофемолке, тостере, автоутюге, пылесосе, щипцах для завивки, электросбивалке, калькуляторе, электрогрелке, массажном душе, тренажере-велосипеде... Это то, что окружает нас, двух немолодых людей и молодого кокер-спаниеля, каждую минуту, попеременно вступая в действие, превращая частично уже и само существование в технологическую акцию.

Есть ли предел этому развитию? Советский ученый Борис Раушенберг (не брат ли американского художника Раушенберга?) считает, что технологическая цивилизация сама по себе не может продолжаться более ста двадцати лет и по прошествии этого срока самоуничтожается. Если отсчитывать, однако, от изобретения парового котла, то окажется, что мы раушенберговский срок покрыли уже дважды. Никто, впрочем, не отрицает за братьями Раушенбергами права на дерзновенные пассажи, ибо оба являются гордостью технологической цивилизации (один сфотографировал темную сторону Луны, другой наклеивал на холсты кусочки других материй), однако, отставив на время в сторону апокалипсические предсказания как необходимый, но несрочный элемент цивилизации, зададимся более скромным вопросом: есть ли тупик, иными словами, есть ли предел всей этой роскоши, ибо как же иначе еще назовешь образ жизни многомиллионных человеческих масс, если не массовой роскошью?

Иной раз можно слышать: американское процветание остановилось. Елки-палки, если оно и приостановилось, то, может быть, лишь потому, что дальше некуда идти. Так называемый капитализм привел людей конца XX века едва ли не в тупик процветания, сделав роскошь достоянием многомиллионных масс. Дальнейшее развитие капитализ-

ма, если он намерен развиваться, может быть, направится в каких-нибудь других направлениях — скажем, в улучшении массового вкуса.

Впрочем, у нас под окном, на задах нашего элегантного дома в дворовом проулке, капитализм пребывал еще в стадии, весьма далекой от совершенства, демонстрируя свою грохочущую суть, столь справедливо осужденную Карлом Марксом. Каждое утро с шести начиналась конкурентная борьба четырех мусорных компаний, одна из которых носит имя лауреата Ленинской премии мира французского поэта Арагона "Aragon Waste". Один за другим четыре огромных трака наполняют наши зады грохотом раннего капитализма.

Наши зады вообще — это особый случай. Несмотря на запаркованные там "мерседесы", "ягуары" и "корветы", они (зады) являют собой разрозненность, корявость, аляповатость, которым может позавидовать и рязанская "затоваренная бочкотара". Каждое домохозяйство асфальтирует кусочек почвы для своих паркингов, проезд, однако, остается ухабистым, как дорога между Ухолово и Покровским; объединяющие действия отсутствуют, или, как поется в песне Окуджавы "Черный кот", надо б лампочку повесить, денег все не соберем".

Есть на этих задах и свой enfant terrible, мрачный, некогда белый дом, крытый бугристым варом с пучками дикой травы, с жутким подвалом, к которому иногда посреди ночи "роллс-ройс" подвозит нескольких оборванцев, черных и белых. Скопление мусора возле этого дома, граничащего с так называемой террасой ресторана "Баобаб", временами поднимается выше человеческого роста. Хозяин отвратительного строения, человек с социалистическими наклонностями, отказывается участвовать в конкуренции мусорщиков. Он абсолютно убежден, что его мусор должно убирать правительство дистрикта. Правительство, очевидно, придерживается другой точки зрения. Кто должен позаботиться о крысах, населяющих подвал, неизвестно.

Сначала мы отказывались верить своим глазам, когда видели, как здоровенные крысы неторопливо пересекают проезжую часть нашего двора. Это, должно быть, просто

особого рода домашние животные, успокаивали мы друг друга, не может быть, чтобы крысы вот так запросто тут бегали, в столице Соединенных Штатов Америки. Потом мы обнаружили одно дохлое "домашнее животное" на своем паркинге; это была явная крыса, черт возьми. Побежали к соседям, побежали к капитану нашего блока, мистеру Бернсу — тревога! Наши соседи — "яппи", народ чистый и спортивный, как с рекламы, только плечами пожимали: подумаешь, крыса, забудьте об этом, не принимайте всерьез. Капитан Бернс пообещал воздействовать на капиталиста-социалиста. Куча мусора исчезла, видимо, заключен был контракт с "Арагоном" об одноразовой очистке авгиевых конюшен. Крысы продолжают бегать. В Советском Союзе в связи с этим была бы объявлена тревога по всей городской санитарно-эпидемиологической службе. Поразительно, что в Америке это никого особенно не волнует. Что уж говорить о тараканах. Обнаружив у себя дома дюжину усатых, поэт Евгений Евтушенко разразился поэмой "Тараканы в высотном доме", полной "гражданского мужества". Здесь тараканы, по всей вероятности, не ассоциируются со Сталиным.

В СССР гражданин часто "берет на горло", обнаружив что-нибудь гадкое: "Да как же это возможно при социализме?! Да вы же позорите наше социалистическое общество!" В Америке никому в голову не придет "качать права" в такой манере, вопить "да как это возможно при капитализме?!" Никому, кроме советских эмигрантов.

Для нас капитализм — это современная технология, здоровые денежные отношения, отличное обслуживание, социализм же без демагогической маски — гниль и перекос. В Советском Союзе люди, чтобы не пропасть, стараются вступить друг с другом в первичные рыночные отношения: ты — мне, я — тебе, услуга за услугу, деньги за услугу, услуга за предмет и т.д., парадоксально, можно предположить, что СССР постепенно врастает в капитализм, в то время как в капиталистическом обществе русский эмигрант удивленно обнаруживает немало черт социалистиче-

ского перекоса: ухудшение сервиса, наплевизм, обезличку, халтуру...

Жена несет мой пиджак в швейную мастерскую по соседству. Дело несложное — укоротить рукава на полдюйма. "Через десять дней будет готово", — говорит приемщица, неприветливая черная девчонка, не отрывающая глаз от музыкального шоу по телевизору. Десять дней, чтоб обрезать рукава?! М-да... В СССР в таких случаях дают приемщице трешку сверх счета и получают пиджак через час. Здесь вроде так не принято. Через десять дней приемщица не может даже найти мой пиджак. В ответ на возмущение жены издевательски ухмыляется: может себе позволить под защитой профсоюза.

Хваленый "мусоропоглотитель" выходит из строя. Звоним в домохозяйство. Там обещают прислать водопроводчика и действительно присылают, но только через неделю. В Советском Союзе в таких случаях появляется человек — чаще всего его зовут Николай — и за пятерку чистоганом тут же чинит все что надо.

Упомянутое выше "кубическое помещение", призванное так ярко скрашивать нашу жизнь, поднимая над уровнем улицы Вайоминг, около полугода бездействовало в связи с диспутом между компанией подъемных устройств и консорциумом владельцев недвижимости. Мы пока, как в древнем Риме (а там тоже, как выяснилось, были четырехэтажные здания), корячились с пакетами на четвертый этаж. В СССР в таких случаях жильцы кооператива складываются и "дают на лапу" тому, от кого что-то зависит. Разрешение диспутов стремительно ускоряется. Социализм это или капитализм?

Замечательный опыт у нас был с торговой фирмой "Хект", вернее, с ее мебельным отделом, еще точнее, с отделом доставки, и еще точнее, с секцией мебельной доставки, а также с анналами этой фирмы, то есть, складами в зоне Большого Вашингтона.

Купив однажды комплект мебели, а именно стеклянный стол на стальных ножках, полдюжины стульев и кресло, мы взялись ждать доставки. Обещано было через две недели. Две недели! В СССР обычно в таких случаях находят

соответствующего человека — обычно его тоже зовут Николай, — дают ему "на лапу", и мебель под чутким руководством этого Николая Второго прибывает на следующее утро. Здесь так не водится, и, может быть, поэтому мы прождали не две недели, а три. Через три недели характерный голос по телефону попросил мистера Эскинтоу не выходить из дому с девяти до пяти. Маленький праздник начался дома — едет! мебель из "Хекта" прибывает! Радость была преждевременной: мебель не прибыла ни в тот день, ни на следующий, ни через неделю. В ответ на мои звонки телефонистки "Хекта" неизменно спрашивали: "What's your name? How'd you spell it?" и, получив спеллинг, говорили: "Hold on"[1]. Затем в телефонии появлялась следующая девица, которая снова просила spell it, тщательно выясняя — "s" as in "soup"? "V" as in "vase"? — только лишь для того, чтобы перепихнуть меня на третью дуру, которая вновь просила spell it, с исключительной дотошностью уточняя: "a" as in "air"? "K" as in "kite"? "S" as in "soup"? "Y" as in "young"? "O" as in "office"? "N" as in "new"? "O" again as in "offer"? "V" as in "vase"[2]? На пятый день подобных переговоров — в конце каждого их этих дней я получал утешительное: "Your delivery is in the process" — я проспеллинговал свое имя таким образом: "A" as in "anapest", "k" as in "kibitzer", "s" as in "surrealism", "y" as in "Yoknapatopha", "o" as in "oratory", "n" as in "nepotism", "o" again as in "orgasm", "v" as in "ventriloquism"[3].

В ответ на это последовало молчание. В глубинах "Хекта" загудел ветер. "Are you with me?" — спросил я осторожно. "Yes, sir, — пробормотал неуверенный голос.

---

[1] Как вас зовут? Скажите по буквам... Подождите.

[2] "A" как в слове "воздух"? "K" как в "воздушном змее"? "S" как в слове "мыло"? "Y" как в слове "молодой"? "O" как в слове "офис"? "N" как в слове "новый"? "O" опять, как в слове "заказ"? "V" как в слове "ваза"?

[3] Ваша доставка в процессе... "A" как "анапест", "K" как в "зануде", "S" как в "сюрреализме", "Y" как в "Йокнапатафе" *(выдуманное название у Фолкнера)*, "O" как в "оратории", "N" как "непотизм", "O" опять, как в "оргазме", "V" как "чревовещание".

"What's your name?" — спросил я "Nancy Roosevelt", — был ответ. "R" as in "Renaissance"?[1] — спросил я. Она повесила трубку.

На следующий день, то есть через полтора месяца после покупки, мебель из "Хекта" была доставлена. От кресла была утеряна подставка для ног, полдюжины стульев оказались из другого семейства, но зато стеклянный стол был в порядке. "Я за эту путаницу не отвечаю, — сказал старый грузчик, — обращайтесь в компанию. Я — просто рабочий". В глазах у него был немой вопрос. Он был очень похож на нашего Николая, несмотря на иную расовую принадлежность. Не пришла ли пора и здесь вернуться к первичным отношениям?

АДАМС-МОРГАН

маленький вавилон в больших афинах

В столице множество улиц названо в честь штатов, большинство остальных идет по алфавиту или просто пронумеровано с учетом сторон света. Исторически тут сказывается некоторый дефицит фантазии. Однако он восполняется изощренностью городской планировки. Вашингтонцы иногда шутят, что план города напоминает небрежно брошенный на тарелку комок спагетти. Улицы текут, загибаются, пропадают, потом появляются снова в самых неожиданных местах. Наш Вайоминг, например, беря начало в районе дипломатических особняков, вдруг исчезает, но если вы пройдете полквартала по Двадцать третьей стрит, вы снова его обнаружите, превосходно пересечете одну из главных магистралей города Коннектикут-авеню, чтобы опять потерять на перекрестке с двенадцатью углами, однако при некоторой настойчивости вы опять его обнаружите за перекрестком, а далее он уже упрется в веселую Восемнадцатую и завершится. Впрочем, не исключаю, что

[1] "Вы здесь?" — "Да, сэр"... — "Как вас зовут?" — "Нэнси Рузвельт"... — "R" как "Ренессанс"?

где-нибудь на востоке он начнется снова, но я в тех местах не бывал и ничего об этом не слышал.

Через два месяца после переезда к нам в дверь постучали, и вошел пожилой господин в плаще "лондонский туман". Он отрекомендовался как мистер Рэй Бернс, капитан нашего "блока", то есть квартала. "Добро пожаловать на Вайоминг, — сказал он. — Мы здесь стараемся быть, как одна семья. Надеемся, сэр, что вам у нас понравится".

С тех пор я вижу мистера Бернса почти каждый день, и всегда он занят каким-нибудь полезным для улицы Вайоминг делом — то постригает газончики, то сажает цветы, то убирает осколки разбитой посуды, и никто ему за это, разумеется, не платит ни цента.

Битые бутылки для меня — все еще одна из больших американских загадок. Ни разу еще не видел самого процесса битья, но осколков полно повсюду. Среди огромных разниц Америки и России есть и эта — в СССР пьющие люди бутылки сдают, а здесь бьют.

Мистер Бернс с понимающей улыбкой осколки эти собирает. Иногда мне кажется, что именно на таких вот стариках, англо-шотландцах, и держится здравый смысл этой страны с ее пестрым космополитическим населением.

Капитан нашего квартала преподнес нам выпуск газеты нашего квартала "Сторожевой листок авеню Вайоминг". Это была написанная от руки красивым почерком миссис Бернс и размноженная на ксероксе штука плотной бумаги. Открывалась она поздравлением по случаю Рождества Христова и пожеланием счастливого Нового года. Затем сержант Джерри Кейгер из третьего дистрикта полиции призывал обывателей включиться в борьбу по профилактике преступлений. Статистика на улице Вайоминг, сообщал сержант, вообще-то благоприятная. За полгода — всего пять непривлекательных случаев: одно ограбление, пропажа велосипеда и три раза из запаркованных на улице машин кое-что слямзили. Сержант просил граждан не оставлять ничего в машинах, чтобы не соблазнять воришек.

Департамент общественного обслуживания полиции сообщил также, что он распределил двадцать пять праздничных корзин с едой для нуждающихся семей. Сообщалось

также о предстоящем детском празднике в школе Святого Павла-Августина. Граждан улицы Вайоминг пригласили жертвовать для этого мероприятия деньги и игрушки.

Затем следовал написанный с определенным изяществом исторический очерк. "В ноябре 1937 года президент Рузвельт начал свой второй выборный срок, продолжая выводить страну из депрессии. В списке музыкальных боевиков оказались песни "Мой забавный Валентин", "В тиши ночи", а также "Леди Бродяжка". В это же самое время Клэр Сайзер и ее муж переехали в дом № 1829 по Вайоминг-авеню".

Звучит это, между прочим, почти как начало романа Эдуарда Докторова "Рэгтайм", который я когда-то перевел для журнала "Иностранная литература".

"Сегодня, сорок пять лет спустя, — пишет мистер Бернс, — я разговаривал с миссис Сайзер, которая продолжает жить по тому же адресу. Она поделилась со мной ломтиком истории.

Дома в нашем квартале были построены между 1910 и 1920 годами. У района была *прекрасная репутация* (эти слова многозначительно подчеркнул мистер Бернс) благодаря его расположению и выдающимся обитателям.

Здесь жил, например, личный врач президента Калвина Кулиджа доктор Стайлс, который лечил от заражения крови младшего из президентских сыновей вплоть до трагической смерти последнего. Здесь также жил — подумать только! — покоритель Северного полюса коммодор Роберт Пири. Памятная доска размещена у входа в его дом, в котором ныне содержится семь отдельных квартир".

Поразительно то, что мистер Бернс выдерживает стиль романа "Рэгтайм" вплоть до помещения одного из героев этой книги на улицу Вайоминг.

"Миссис Сайзер, — пишет он, — в свои девяносто два года все еще милая и живая леди. "Я не хотела бы жить нигде, кроме Вашингтона, — говорит она. — Я здесь родилась, и, что бы ни случилось, хорошее или плохое, я люблю это место".

Далее в "Сторожевом листке" дебатируется проблема одностороннего движения, предлагается вниманию обывате-

лей расположенный поблизости общественный центр, где можно заниматься спортом, рассказывается о мероприятии по добровольному высаживанию крокусов и даффоделий, благодаря которому сделан еще один шаг не только в сторону украшения нашей улицы, но и в сторону развития "духа комьюнити".

Не обошлось и без коммерческого объявления — закон капитализма. Соседка Софья Подольски сообщила, что продает морские ракушки, а также изготавливает из них фигурки слонов, уток и сов.

К образу улицы Вайоминг следует еще добавить, что она застроена в основном трехэтажными домами викторианского стиля. На ней всего два магазина, торгующих самым необходимым. В первом круглосуточном "7-11" можно купить горячую сосиску и пожевать. Во втором магазине продается пища духовная, а именно: оккультные книги и загадочные предметы.

Благодаря тому, что мы расположены на вершине холма, из наших окон можно великолепно наблюдать национальные фейерверки. В День Независимости однажды перед нами открылось фантастическое зрелище. Праздничный фейерверк совпал с колоссальной грозой. Происходило как бы соревнование многоцветных людских шутих с поперечными и продольными небесными молниями. Завершилось это на удивление мирным дождем.

Наша улица расположена таким образом, что ее можно отнести к трем районам города — дипломатической "Калораме", артистическому "Кругу Дюпона" и этническому Адамсу-Моргану, который круто опровергает установившийся в мире стереотипный образ американской столицы с ее торжественными фасадами.

Адамс-Морган получил свое название от слияния имен двух десегрегированных школ, сам себя он называет маленьким Нью-Йорком, что, к счастью для нас, его обитателей, — большое преувеличение. У Нью-Йорка же пока не хватает зазнайства называть себя Большим Адамс-Морганом.

На Нью-Йорк мы похожи прежде всего пестротой своего населения. На субботнем базаре на перекрестке Восемнадцатой улицы и Колумбиа-роуд кого только не увидишь: белые фермеры с внешностью советских хиппи, жители Карибских островов с их "бочечными оркестрами", какие-то странствующие французы, корейцы, китайцы и вьетнамцы, индусы и арабы; Латинская Америка представлена во всех вариантах. С чернокожими тут тоже не все так просто, далеко не все они американские негры, много встречается и иностранцев, в частности нигерийцев — милейший, между прочим, вежливый и веселый народ.

Однажды жена пошла за покупками и сказала черной продавщице, что у нас скоро праздник — православная Пасха. Так ведь это и наш праздник, воскликнула продавщица, мы тоже православные, из Эфиопии бежали от полковника Менгисту.

Основательно здесь также процветает и социальная пестрота, или, как выразился бы советский классик Анатолий Софронов, — контрасты, контрасты. Среди машин, запаркованных вдоль тротуаров, можно увидеть новенькие "ягуары" и "мерседесы" рядом с огромными полуразвалюхами, оставшимися от шестидесятых годов.

Очень много в нашем районе писателей. Из многих окон стрекочат пулеметики пишущих машинок. Однажды пошли мы на "блокпарти", стали знакомиться с соседями и выяснили, что добрая половина из них писатели. Каково же было их удивление, когда они узнали, что и я — писатель.

Немало здесь и бродяг, похожих на знаменитых французских клошаров, но в американском варианте, для которого в здешнем наречии немало имеется словечек, их называют и "трамп", и "бам", и "хобо", все приблизительно соответствуют советскому слову "бич", которое — вообразите — берет свое начало от английского "beach" и определяет людей, предпочитающих отдых на пляже работе на море. Иногда мне кажется, что и эти бродяги — писатели. Один из них, например, всегда просит у меня пять долларов. Явно писательский размах, не правда ли?

Народ здесь нередко настроен на шутку. Собачники

друг друга спрашивают: как часто ваша собака водит вас погулять? Старушка, хихикая, обращается к бегунам, затормозившим у красного светофора: вы что, ребята, хотите пи-пи? Иногда появляется черный красавец в огромном розовом тюрбане, желтом развевающемся халатике и зеленых кисейных штанишках. Скромно потупив глаза, понимая какое огромное удовольствие доставляет окружающим, он прогуливается от моста Дюка Элингтона до кафе "Станция Колумбия".

Среди всех этих пестрот района Адамс-Морган наблюдается и политическая пестрота. Вот, например, два приятеля, владельцы антикварных лавок. Один сбежал из Венгрии в 1956 году, второй — из Румынии лет десять назад. В их разговорах, надо сказать, мало присутствует симпатии к "самому передовому учению". По соседству, однако, располагается и другая лавка под названием "Революционные книги". Хозяева ее с присущей этому типу людей бездарностью навалили в витрину книги наших старых знакомых — Маркса, Ленина, Сталина, портреты Брежнева, обнимающегося с Кастро, Кастро обнимающегося с Ортегой — сандинистским Ворошиловым. Задник витрины выполнен в красках мятежного Октября, то есть красным и немного черным — как бы вихрь.

Раз, проходя мимо витрины "революционных книг", я вспомнил боевой орган трудящихся всего мира, московскую "Литературную газету", в частности, статью некоего Изюмова под названием "США — стоп-кадр" или что-то в этом роде. Статья была преогромнейшая, как бы отчет по командировке, и основной ее темой оказался, как товарищ Изюмов оригинально в духе Анатолия Софронова выразился, "разгул реакции в Америке". Вернулись времена маккартизма, сообщает он советским читателям, простые американцы сейчас находятся под жесточайшим идеологическим контролем. Если что-нибудь читаешь не то, если даже получаешь письма из лагеря мира и социализма, немедленно "пополнишь собой" — ох, нравятся мне эти оборотики! — "ряды безработных", а то и в тюрягу загремишь. Администрация Рейгана, пишет Изюмов, наглухо закрыла доступ к источникам правдивой информации, "Литератур-

ная газета" запрещена повсеместно. Во избежание знакомства американцев с истинами марксизма-ленинизма в стране жестоко возбраняется продажа коротковолновых радиоприемников.

В другой раз как-то остановились мы перед этой витриной с приятелем. "Странное дело, — сказал он. — Почему-то не видно здесь книг Троцкого. По идее, здесь ведь должен быть и Троцкий, не так ли?"

Мы зашли внутрь. Два молодых продавца левоамериканской наружности сидели под огромным в полный рост и в натуральную величину портретом Ленина в кепке и с бантом. Любопытно, почем этот кот? Наверное, не продается. Так и оказалось — святыня! "А какие у вас есть книги Лео Троцкого?" — спросили мы. Молодые люди замялись. "Видите ли, мы не держим книг Троцкого, потому что у него был довольно односторонний взгляд на революцию. Впрочем, есть у нас очень хорошая книга профессора Гаванского университета Реригеса "Порочная сущность троцкизма". Вам завернуть?"

Вдоль стены висели портреты разных людей, отличавшихся разносторонними взглядами на революцию, — Сталина, Ким Ир Сена, Хо Ши Мина, Мао Цзэдуна, Брежнева, Суслова, Чапаева...

— Как вы думаете, джентльмены, кто привлекательнее, Сталин или Мао? — спросили мы.

— В каком смысле? — несколько опешили молодые люди.

— Ну, в смысле мужской красоты.

Молодые люди переглянулись, нахмурились, пожали плечами.

— Неуместный вопрос. В самом деле неуместный, бестактный вопрос.

— А нет ли у вас портрета или какого-нибудь произведения маршала Лаврентия Павловича Берия? — в шутку спросили мы.

Шутка, увы, тоже оказалась неуместной. Нам тут же была предложена книга Берия "К истории большевистских организаций Закавказья" в дивном английском переводе, даже передающем кавказский акцент автора.

Может быть, где-нибудь в других районах и в самом деле реакция, в Адамс-Морган, как видим, революция продолжается.

Шел однажды ночью по Вайоминг-авеню один наш друг по имени Эли Ливайн, в руке нес авоську с двумя предметами, одним авангардистским — рукописью романа "Паласандрия" Саши Соколова, другим традиционным — пирогом с капустой.

Навстречу пружинисто двигался "Че Гевара", горел глазами. Эли Ливайна трудно не ударить: уж слишком интеллигентная наружность. Революционер так и сделал — бенц Эли по башке, хвать авоську, и был таков!

Ночь прошла для нашего друга в зыбких рефлексиях, в мучительных сопоставлениях исторических параллелей. Для революционера, как выяснилось, ночь тоже не прошла даром. Утром, бледный до серости, он появился у порога Эли Ливайна, вернул ему авоську с содержимым и попросил прощения за акт непродуманной экспроприации. Сейчас, бежав из жарких бурь "пылающего континента", юноша все больше склоняется к прохладному влиянию Вермонта. Хорошо подстриженный и чистый, он готовится к поступлению на русское отделение Джорджтаунского университета. Трудно все-таки предположить, что этот перелом произошел у него под влиянием пирога с капустой, скорее всего все-таки под влиянием авангардной русской повести. А еще говорят о "нравственном дефиците" авангарда! Как Маяковский-то писал: "Да будь я и негром преклонных годов, и то без унынья и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин". Что уж говорить о молодом "Че Геваре" из района Адамс-Морган!

В зоне нашего "треугольника Калорама", между прочим, располагается немало советских учреждений: трехэтажный дом советских агентств печати на Восемнадцатой улице, генеральное консульство на Фелпс-Плэйс, торговая миссия в элегантном особняке напротив отеля "Вашингтон Хилтон", у стены которого странный "Ромео" разрядил свой пистолет в президента этой страны.

Мимо этого особняка я пробегаю по своему маршруту едва ли не через день. Однажды вижу: три сотрудника на виду у всего города с лопатами копают что-то в садике под бронзовым хвостом лошади генерала Маклеллана.

Я остановился посмотреть. "Что это вы, ребята, делаете? — спрашиваю. — Нашли что-нибудь ценное или, наоборот, прячете чего-нибудь интересное?" Они мрачно на меня посмотрели. "Ты, видно, сукин сын, забыл, какой сегодня день. Популярно объясняем для невежд: 21 апреля — Всесоюзный Ленинский коммунистический субботник; иными словами, День Всенародного Окучивания. Грядочки копаем для крокусов и даффоделий".

Однажды, прогуливаясь, я, неизвестно с какой стати, купил в книжной лавке Джорджтауна "Одиссею" на английском языке и поплелся к "Дюпону": редкий случай, когда выдался свободный час для предания любимому и на сто процентов неамериканскому занятию — шлянию по городским улицам.

Все кишело вокруг в деловитых пробегах. На углах торговали поросячьими носами к предстоящему матчу наших "Скинс" с чужими "Долфинс". В новоотстроенном полустеклянном "Вашингтон-сквер" открылась еще пара шикарных магазинов. На Дюпон-серкл я был остановлен дамой, которая спросила, почему русские писатели столь склонны к сатире. В целях гармонизации действительности, мэм, ответил я и последовал далее за фонтан. Был серый прохладный, столь идеальный для городского шлянья день. За фонтаном собирали деньги в пользу жертв режима Хомейни. Я дал, что нашлось в карманах, "файф бакс". Далее пара рыженьких требовала демонтажа ракет "Першинг". Им я не дал ни копья. Над пиццерией "Везувий" поднимался тревожный дымок. "Крамер-букс" вывалил в окно очередную свалку книжных шедевров. Проголодавшись, я толкнул какую-то дверь и оказался в заведении, где пахло фаршированным перцем. И только лишь взяв меню, я сообразил, что сижу в греческом заведении, которое так и называется — "Эллада", что гипсовая статуя в углу не кто

иная, как охотница Артемида, и что в сумке у меня лежит не что иное, как "Одиссея", которую я купил час назад по неизвестному побуждению. Заказав стакан "рицины" — неужели Улисс пил такую же гадость? — я стал читать:

...И голосом звонко-приятным богиня
Пела, сидя с челноком золотым за узорною тканью.
Густо разросшись, отвсюду пещеру ее окружали
Тополи, ольхи и сладкий лиющие дух кипарисы;
В лиственных сенях гнездилися там длиннокрылые птицы,
Кобчики, совы, морские вороны крикливые, шумной
Стаей по взморью ходящие, пищи себе добывая...

Так, к Средиземному, к колыбели человечества; остров Калипсо, США.

АМЕРИКАНСКИЙ КРЫМ И ДАЛЕЕ...

Рассказывая о нашем быте в Вашингтоне, нельзя не упомянуть и наших побегов из столицы: ведь если нельзя из столицы убежать, она превращается в гнусную дыру.

Лучше всего из столиц удирается зимой. Из Москвы посреди зимы "рвут когти" в Крым или на Кавказ, из Вашингтона драпают во Флориду или на острова Карибского моря. Расстояния адекватные.

С зимними побегами в Америке мне повезло: январь — блаженный перерыв в академической деятельности, и можно сняться с места с той же легкостью, что и в Москве, где круглый год был блаженным перерывом в академической деятельности за полным отсутствием таковой.

Однажды в январе решили: стыдно не побывать в Ки-Уэсте, и вот мы в Ки-Уэсте, который соотносится с роскошным Майами примерно так же, как излюбленная русскими писателями восточнокрымская деревня Коктебель соотносится с профсоюзным великолепием Сочи. Здесь нет арабских шейхов с гаремами и телохранителями, каждый владеет своим телом на свой собственный риск, нет здесь и международных казино с их специфической публикой, а

любители золота предпочитают добывать его в костюмах для подводного плавания. В центре старого Ки-Уэста на выставке сокровищ экспедиции Мэла Фишера наибольшее впечатление на посетителей производит золотой кубок губернатора провинции Куско, на дне которого лежит перстень. Перстень вправлен в камень, называющийся, кажется, "азурит", это сильнейший антидот мышьяку. Тиран при помощи этого перстня обезвреживал отравленное. Интересно, есть ли такие перстни у современных тиранов?

Первая же прогулка по главной улице Дюваль показала, что приехали недаром: публика здесь кучкуется незаурядная — заповедные хиппи шестидесятых годов, представители половых меньшинств, не пуганные критикой писатели и кто-то еще. Дополнительную остроту придают прогулке надписи на лавках "Heavily armed! You loot, we shoot!"[1]

Собственно говоря, остров Ки-Уэст известен каждому интеллигенту в России благодаря роману Хемингуэя "Иметь и не иметь". Мы тоже не лыком шиты и роман читали, хотя и не помним, что там происходит. Остались в памяти лишь только детали романа, и одна, например, вот такая странная. Хемингуэй пишет, что в Ки-Уэсте всегда стояла какая-нибудь эстонская яхта. Эстонские путешественники почему-то облюбовали остров для стоянок, посылали отсюда корреспонденции в свои буржуазные газеты и ждали гонорара, чтобы продолжить путь. Сейчас в порту Ки-Уэста всяческих яхт навалом, но эстонских мы не заметили.

Хемингуэй провел на Ки-Уэсте десять лет, и это были, кажется, самые его продуктивные годы. Остров гордится им. В его любимом баре, который называется "Неряха Джо", по всем стенам висят его портреты в дубовой раме и постановление мэра, объявляющее 21 июля Днем Папы Хемингуэя.

Открыт для обозрения и дом классика — окруженный пальмами большой двухэтажный дом богатого и стильного человека. В доме и вокруг масса грациозных котов. Я заме-

---

[1] Вооружены всерьез. Вы грабите, мы стреляем.

тил двух рыжих, дымчатого и сиамца, но их там было, пожалуй, не менее десятка; словом, поддерживается эта котолюбивая Хемовская традиция.

По вечерам над ресторанами... В старом Ки-Уэсте на каждом углу кабачки: окна без рам, двери открываются прямо на улицу, везде с гитарами чудаковатые певцы. В "Неряхе Джо" каждый вечер пели песню о Нобелевских лауреатах, в первую очередь, конечно, о Хеме, потом о Фолкнере, Альбере Камю, упоминались также и наши — Пастернак и Солженицын; о Шолохове и Бунине почему-то забыли.

На закате на набережной ежезакатный фестиваль бродячих артистов. Черные ребята методично колотят в тамтамы, белые англо-американские, столь уже знакомые всему миру чудаки на скрипках, цитрах, флейтах исполняют музыку средневековья, над толпой на ходулях проходит жонглирующий факелами циркач... в толпе людей и собак легкие поцелуи, легкие потасовки, здесь же ужинают, сидя прямо под ногами, пьют пиво, покуривают сладкую травку... Жонглер кричит: "Господа, я прямо из Брюсселя, без пересадки из Брюсселя!" Вообразите, в Ки-Уэсте Брюссель — это экзотика... А что, если объявить: "Я прямо из Коктебеля!"?

На набережной стоит плакат "До Кубы 90 миль". Полтора часа езды по морю до "лагеря мира и социализма". Воображаю, если бы советский остров находился в 90 милях от "лагеря империализма и реакции", какую бы там устроили великолепную запретную зону, какие повсюду торчали бы вышки, как бы полосовали море прожекторами, как бы патрулировали все пляжи и бухты, лишь бы никто не сбежал. А здесь — плыви, когда хочешь, на все четыре стороны.

Однажды вечером на улице Дюваль мы встретили загорелую пару с пиратскими платками на головах. "Видишь, Майя, не мы одни такие умные, вон Юз Алешковский с Иркой тоже в Ки-Уэсте".

Товарищ по эмиграции московский писатель Юз сейчас учит студентов хорошим манерам в коннектикутском колледже, Ирина там же преподает бальные танцы, здесь они

тоже на каникулах, медитируют на пляже, по вечерам толкуют труды философа Тросникова.

Мы объединились с дружественной парой, продвинулись в близлежащий устричный бар и заказали по дюжине устриц. Потом двинулись еще дальше и заказали по блюду даров моря под общим названием "Чайна клиппер". Все вокруг дышало мировым океаном и настраивало на философский лад. После ужина мы пошли на пляж и стали толковать Тросникова. Мы сидели впятером, включая собаку Ушика, под крупными карибскими звездами. Вокруг было очень тихо, из глубин океана, казалось, звучала томная гитара Фиделя Кастро. В такой обстановке долго на философии не продержишься — очень хотелось спеть что-то свое, напоминающее о других временах и нравах. И вот, почти не договариваясь, мы впятером запели кое-что ностальгическое. Можно поручиться, что остров Ки-Уэст впервые в тот вечер услышал любимую песню Коктебельской бухты, что у подножия Карадага в Крыму.

Товарищ Сталин, вы большой ученый,
В языкознании познавший толк,
А я простой советский заключенный,
И мне товарищ — серый брянский волк...

Другим студеным январем решили убежать еще южнее, и вот бежим на остров Сен-Мартин, что в Надветренном архипелаге.

Отправились сначала в Нью-Йорк повидать приятелей, читу Нисневичей. "Город Желтого дьявола" поскрипывал от мороза. Таксист сначала думал, что мы советские дипломаты, и был суров, но потом, узнав, что мы на все сто процентов не советские дипломаты, разулыбался и не взял чаевых. Фотограф Лев Нисневич живет в артистическом Сохо в огромном лофте вместе с женой Тамарой и тремя котами — Сашей, Барсиком и Микки. Коты, как видно, сейчас здесь в моде — скульптор Эрнст Неизвестный живет в лофте с пятью котами, однако ни по имени, ни по внешнему виду их не различает. Следует отметить одну немаловажную деталь, вполне достойную занесения в активы современной цивилизации: отсутствие кошачьей вони. Нынче

все котоводы покупают какую-то специальную лажу, похожую на мелкий гравий, она отбивает вонь, коей иногда грешат эти очаровательные создания. Что касается "Желтого дьявола", то если бы основоположник соцреализма Горький имел в виду китайских поваров, город этот и в самом бы деле заслужил эту кличку. Что бы мы тут делали без этих чертей кулинарии?

За ужином в ресторане, куда нас повел Лев, один из этих "желтых дьяволов" спросил: "Вы из какой страны, господа?" "Догадайтесь", — сказали мы. "Ума не приложу", — ответил он. "Мы из той страны, что расположена между Польшей и Китаем", — сказали мы. "К сожалению, я из Тайваня", — сказал он. "Ну, все-таки, вспомните географическую карту, — настаивали мы. — Такая большая странища, напоминающая контурами дракона". Он сильно напрягся и наконец пришел к заключению: "Вы, должно быть, из Новой Зеландии, господа". "Пожалуйста, еще одну порцию этих ракушек со столь загадочной начинкой", — попросили мы. "В конце концов география не моя специальность, — сказал он. — Спросите меня о сортах рыбы и получите исчерпывающий ответ". — "Известно вам, где живет судак?" — "Ну, стало быть, я правильно догадался — в Новой Зеландии!"

Пребывая в этой легкой географическо-гастрономической сумятице, мы отбыли на Антильские острова, и вот мы на Антильских островах. Теперь пришел черед приступить к политико-исторической части нашего рассказа.

Сразу должен признаться в полуневежестве по поводу расстановки сил и распространения сфер в регионе. Хромаю и по исторической части. Известны мне только иные курьезы и особенности некоторых отдельно взятых островов. Известно, например, что остров Куба все продолжает наращивать свою несокрушимую мощь по мере того, как Фидель Кастро приобретает все большее сходство с Фридрихом Энгельсом. С другой стороны, остров Гренада вдруг всему свету на удивление продемонстрировал "обратимость" социалистических изменений обратно в капиталистические изменения. Известно также, что многие острова в последние годы получили полнейшую независимость от

своих метрополий, но, с другой стороны, остров Ангилья после семи лет независимости попросился обратно в Англию, чем подтвердил сложившееся у меня впечатление, что Британская империя в последнее время медленно, но верно возрождается. Ну а вот остров, на который мы только что прибыли, тоже явление из себя представляет уникальное.

В туристских проспектах остров преподносится как "две страны — один рай". Дело в том, что этот гористый и весьма изрезанный клочок тропической земли площадью 34 квадратные мили принадлежит двум странам — Франции и Голландии. По-французски он именуется Сен-Мартин, ну а по-голландски Синт-Маартин. Открыл его в день Святого Мартына во время своего второго путешествия, разумеется, все тот же Христофор Колумб, о котором в туристском проспекте сказано не без некоторой элегантности, что он был самым целеустремленным круизным туристом своего времени. Открыв, объявил навечно, то есть необратимо, собственностью испанской короны. Увы, испанские изменения на острове оказались обратимыми, как и социалистические на Гренаде. В дальнейшем на острове начались франко-голландские потасовки, которые завершились в 1668 году подписанием соглашения о разделе острова на две приблизительно равные части, северную — французскую и южную — голландскую. С того времени соглашение нарушалось шестнадцать раз, но потом снова восстанавливалось, и на текущий момент оно является самым старым из всех международных соглашений, еще сохраняющих силу.

В первое утро после прибытия, отдернув шторы, мы увидели перед собой большой залив идеальной подковообразной формы, окаймленный полосой пляжей, низкими строениями голландской столицы Филипсбург и невысокими горами именно таких очертаний, что привлекали во все времена искателей приключений. На внешнем рейде стояло несколько круизных лайнеров.

Балкон нашего номера на первом этаже выходил прямо на прибрежные камни, там живописно раскинута была небольшая морская свалка, вполне типичная для нынешних морских побережий — обрывки резиновой рыбацкой робы, кое-какое отработавшее свое бельишко, пластмассовый гал-

лон из-под молока, отжатые пузырьки пляжного крема и т.д. Море, однако, в десяти шагах от нас было прозрачным, пара пальм раскачивала свои ветви, в них порхали желтогрудые колибри, среди отходов цивилизации сновали первозданные ящерицы. Решено было сразу после завтрака взять напрокат автомобиль и объехать остров, благо на все это дело, как следовало из туристского буклета, требовалось не более двух с половиной часов.

Итак, отправляемся сначала в столицу голландской части — город Филипсбург — поселение, расположенное на песчаной косе между морским заливом и соленой лагуной. На главной улице Фронт-стрит поражают витрины роскошных магазинов, иные из которых не уступят ни Пятой авеню в Нью-Йорке, ни Елисейским Полям в Париже. Они тем более выглядят удивительно, что мирно соседствуют с полудеревенским убожеством "третьего мира", идиллически процветающим во всех боковых переулках. Снова вспоминаешь крылатые метафоры классика социалистического реализма Анатолия Софронова: "остров контрастов".

В самом деле, число контрастов по мере продвижения в глубину острова нарастает. Дороги, например, преотвратные, узкие, с ухабами, а нередко и просто грунтовые, но по этим отсталым дорогам мчится в больших количествах передовая автомобильная технология Запада, движение на удивление интенсивное, кажется, что все тридцатитысячное население острова целеустремленно мчится куда-то за рулями личного транспорта, хотя непонятно, куда можно так бодро мчаться и какие цели преследует население на острове, что пятнадцать километров в длину и столько же в ширину.

В полное изумление приводит здесь американцев здешняя телефония — оказывается, не очень-то она работает. Надо сказать, что шоколадные голландцы и французы (а именно таков цвет кожи девяноста процентов местного населения) из своей телефонной недостачи тоже сделали рекламу. Наш остров, говорит реклама, в своем бурном росте перерос свою телефонную систему. Лучший совет туристам — забудьте всяческую суету и вообще не звоните никуда, расслабляйтесь.

Мы едем мимо вилл, прилепившихся к склонам гор. Одна из них, белая и с американским флагом на крыше, принадлежит королю джаза Бенни Гудману. Вдруг мы замечаем, что вокруг стали мелькать французские названия, стало быть, мы уже во Франции, а вот и не больше — не меньше как город Орлеан, десятка три домиков и католическая церковь, а вот уже и французская столица Маригот, мирно лежащая на берегу тихой бухты с парусниками и катерами; настоящие французские ажаны в их круглых кепи и в шортах позируют для туристских снимков.

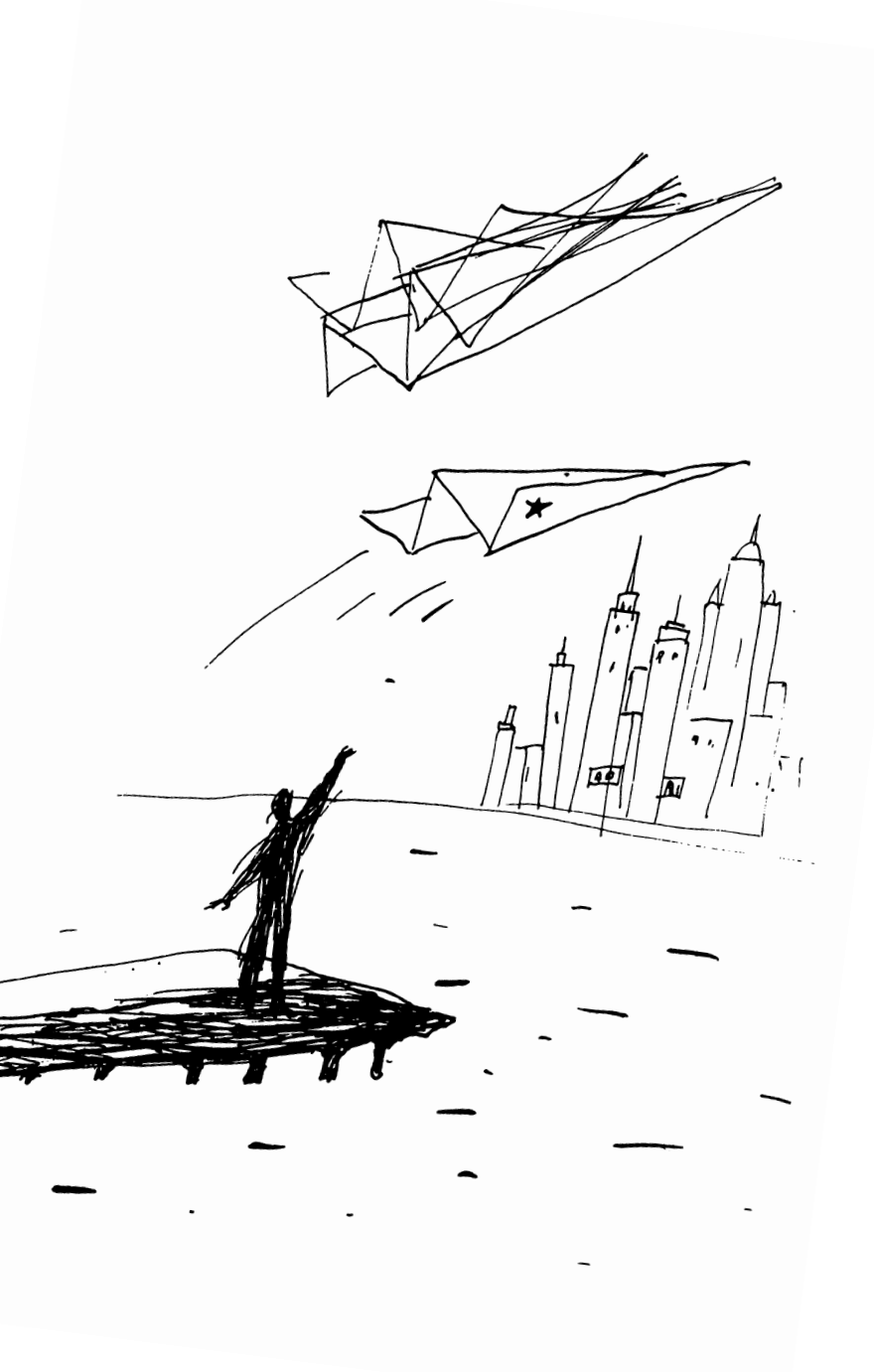
В обеих частях острова, между прочим, поражает немалое количество грязи и хлама. Мусора тут, пожалуй, скопилось больше, чем во всей Голландии и Франции, — брошенные покрышки, гниющие корпуса автомобилей, ржавая проволока, ящики, бесхозные куски бетона, бутылки, банки, тряпье... Колонизаторы, черти, почему-то не научили островитян следить за чистотой. Население здесь явно не бедствует — мы видим вокруг добротные дома с хорошей мебелью, массу машин, детей и подростков в дизайнеровских джинсах и маечках; красотки вообще на высшем уровне, с сигаретами в грохоте музыки "регги", за рулями своих "хонд" и "тойот". Потреблять здесь уже научились, а вот убирать за собой еще нет. Впрочем, многие считают, что вкус к потреблению — это основной путь "третьего мира" к дальнейшему ненасильственному развитию.

В магазинчике на главной улице голландского городка Филипсбурга две продавщицы, черная и белая, на пулеметной скорости общались друг с другом, употребляя довольно странные звуки и словосочетания. Покупателям они отвечали на обычном так называемом международном английском. "Простите, на каком языке вы говорите друг с другом?" — спросил я. "Это язык "папельяменто", — охотно ответила негритянка. Комбинация испанского, английского, французского, голландского, португальского, итальянского, да Бог знает еще какого, все вместе звучит похоже на испанский и является основным бытовым средством коммуникации Нидерландской Вест-Индии, в состав которой входят, кроме Синт-Маартина, то есть его голландской половинки, еще пять островов, включая большой островище

Кюрасао с его почти двухсоттысячным населением. Позднее хозяин бензоколонки рассказал мне еще больше об этом языке. На нем не существует ни литературы, ни газет в связи с отсутствием письменности, но между тем именно он является здесь основным средством коммуникации. Такая лексическая ситуация, разумеется, не могла не напомнить мне путешествия на *Остров Крым* с его комбинированным языком "яки".

Интересно было наблюдать за жизнью местного населения. Честно говоря, я был даже доволен, что остров оказался не таким, каким он представлялся в воображении, то есть в соответствии с рекламными буклетиками, — вылизанным полем для гольфа с идеальными современными коттеджами и пальмовыми аллеями. Вместо этой глянцевитой поверхности мы нашли здесь гору мусора, неряшливость, пижонство, шелудивых собачонок и беспризорных овец, красоток в спортивных "мерседесах" и "колхозниц" с ведрами на головах, постоянную и какую-то странную, на наш взгляд, как бы деловую озабоченность местного населения, некий дух причерноморской зоны, особенно Абхазии, переезды туда-сюда, толковища на углах, плутоватые физиономии у отелей и на пирсе, страннейших пластмассовых коней и петухов в витринах магазинов, алебастровые бра в коридорах гостиницы, каковых в западном мире вроде бы не может существовать и за которыми надо снаряжать экспедицию, скажем, в Караганду, продажу чего-то резного, деревянного, плетеного, нанизанного на ниточки, "козла", которого по вечерам в своих двориках забивают "шоколадные голландцы" с неменьшей увлеченностью, чем это делают ветераны армии и госбезопасности на московских бульварах, — словом, мы нашли здесь как бы свой карибский вариант нашей "затоваренной бочкотары".

Самих нешоколадных голландцев на острове раз-два, и обчелся, речь их на улицах почти не слышна, а вот французов не так уж мало — и в северной части, которая без всяких хитростей попросту считается частью Франции, и в южной, где они владеют магазинами и ресторанами. Рестораны здесь, надо сказать, чертовски дороги, но и отменны, в них поддерживаются французский шик и стиль.



Любопытно бывает обнаружить в какой-нибудь маленькой бухточке, среди деревенских дворов с бродящими курами и овцами идеальный французский ресторан и в нем хозяина, эдакого парижского сноба в очках с тонкой золотой оправой, похожего на моего одного приятеля, что путешествует через океаны в первом классе, держа в одной руке бокал сухого "мартини" и томик Платона в другой.

Чтобы создать у читателя некоторое представление о ежедневной жизни островитян, приведу несколько сообщений из местной газетки.

"...Леди Джи-Си-Эм в полночь обнаружила у себя на крыльце незнакомого мужчину. Заметив, что обнаружен, мужчина убежал..."

"Во дворе дома на улице Гвоздик загорелась куча мусора. Подозревают, что причиной пожара стали бенгальские огни. Пожарные загасили огонь..."

"Джентльмен Ви-Пи запарковал свой грузовичок на Франт-стрит, но, вернувшись, обнаружил его полное и удивительное отсутствие. Предполагают, что кто-то решил на грузовичке позабавиться..."

"Леди Эс-Эм-Эс явилась в полицию с жалобами, что джентльмен Эйч во время недавней с ней ссоры дал волю рукам. Правительство, сказала она, должно решительно пресекать подобное безобразие..."

"Иные из новоприбывших требуют на нашем острове предоставления им работы, однако не хотят пачкать руки. Джентльмен Кью, явившись на работу в пьяном виде, даже не представлял себе, в чем заключаются его обязанности..."

"Молодой герой. Четырнадцатилетний Тео Нейлингер спас утопающего в бурных водах Гайана-бич шестидесятилетнего гостя легендарного джазиста Бенни Гудмана, который, будучи бывшим морским пехотинцем, слишком переоценил свои плавательные возможности. Окруженный толпой, молодой герой сказал: "Ол райт. Так поступаем мы, антильцы..."

"Дорогая редакция, я являюсь красивым подростком. Недавно ко мне подошел красивый пожилой господин и предложил совершить на его яхте кругосветное путешест-

вие. Что вы мне посоветуете?“ — “Дорогой красивый подросток, мы советуем тебе завершить образование, получить хорошую работу, заработать деньги и совершить кругосветное путешествие без красивого пожилого господина...“

“Комиссар по туризму, культуре и спорту Сэм Хейзел (на нас смотрит круглая физиономия веселого плута) говорит, что при нынешнем развитии слово “конкуренция“ на острове Сен-Мартин становится абсурдным. В отличие от других островов мы не пытались ни построить социализм, ни развить промышленность, мы просто ждали. Теперь они испытывают кризис, а мы бурно развиваемся. Туризм — вот истинный путь карибской цивилизации“.

Опускается вечер. Начинают стучать “бочечные оркестры“. Признаться, я этот ритм “регги“ терпеть не могу, однако положение туриста как бы обязывает восхищаться экзотикой. Как-то на пляже толпа человек в пятьдесят “шоколадных голландцев“ танцевала часа четыре под одну и ту же песню. “Нравится вам наша музыка?“ — спросил меня полицейский. “Музыка-то хороша, — слукавил я, — но, кажется, с кассетой что-то не в порядке, все время крутится одна и та же песня“. — “Да что вы, мой друг, — удивился он, — это сорок четыре совершенно разные песни“. Цезарю — цезарево, быку — быково.

Продолжаем снова из Блока, как и в Ки-Уэсте: “По вечерам над ресторанами“ какой-то там воздух дик и глух, и правит окриками пьяными весенний и тлетворный дух. Далее из советского фольклора: “Все в порядке, пьяных нет“. Пьяных и в самом деле мы за всю неделю не наблюдали ни одной персоны, и медицинский вытрезвитель, господа, хотя, возможно, это и прозвучит фантастично, попросту отсутствует. В связи с этим отсутствием не чувствуется както тлетворного духа, если только нельзя к этому духу отнести ресторанную дороговизну. Вот тут уж, в этих островных ресторанах, на туристах отыгрываются вовсю, каждый ужин вдвоем подкатывает под сотню. Кухня, впрочем, во многих местах великолепная, особенно во французских заведениях “Эскарго“ или “Журавлиный хвост“, или в заве-

дении с уклоном к международному авантюризму, именуемом "Хемингуэй". Опять он!

Наш хозяин, объяснили нам в этом ресторане, дружит с этой семьей, и внучки писателя, столь мило продолжившие фамильную славу Марго и Мэриель, нередкие здесь гости. "Сегодня вечером не ждете?" — спросил я. "Мы ждем их каждую минуту, сэр", — был ответ. Заиграла музыка из знаменитого французского гомосексуального шедевра "Клеточка с приветом", и началось шоу — танцы трех существ неопределенного пола.

О скольких предметах я уже рассказал в этой серии побегов, но не коснулся пока что одного, из-за которого, собственно говоря, и все побеги возникают, а именно пляжа. Тут, впрочем, особенно-то и распространяться нечего за пределы одного слова — восхитителен! Лежа под пальмами на песке, напоминающем пудру "Макс Фактор", рядом с прозрачной водой — странным образом никаких даже мелких нефтяных катышков не обнаруживалось, — мы посматриваем на сопляжников, американцев пожилого в основном возраста. Любопытно, что среди них немало типов, напоминающих персонажей коктебельского литфондовского курорта. Вот, например, лежит поэт Поженян, читает мемуары автомобильного магната Иакока, хочет стать богатым. Вот с коктейлем "Кровавая Мери" проходит правдист-международник Почивалов, вот раскладывает пасьянс армейская сильфида Юлия Друнина... На пляжах как-то особенно ясной становится конечная неизбежность идеологической конвергенции.

Кончается наш очередной побег, мы грузимся в "джамбо" компании "Пан-Ам" и летим, но не на север, а на юг, на остров Антигуа, чтобы забрать и там группу загорелых. Вслед за этим берем курс на Нью-Йорк, и вот мы в Нью-Йорке. Там свищет морозный ветер. К моменту посадки в поезд на Вашингтон начинается дикая пурга. Объявляют, что на трассе авария и что, возможно, за Филадельфией всем придется высадиться и продолжить путь на автобусах. Американцы в таких случаях никогда не ворчат. Ворчат

только иные русские эмигранты: стоило ли, мол, эмигрировать из метели в метель? Не лучше ли было сразу слинять на Карибы?..

...Говоря о зимних побегах из вашингтонского быта, следует несколько слов сказать и о возвращениях.

Однажды мы приближались к городу с юга, по хайвэю № 95. Был воскресный праздничный вечер. В "омеге" уже работала вашингтонская радиостанция, "интеллектуалка", как мы ее называем. Шла Сороковая симфония Моцарта. При приближении к Пентагону шоссе расширилось до пяти полос. Вровень с нами на одной скорости шла машина других вашингтонцев, многие были загорелыми, видно, как и мы, провели неделю-другую во Флориде.

Открылись за Потомаком освещенные закатным солнцем постройки Мола, все эти святыни нашей уникальной демократии, само существование которой среди свирепого марксизма вызывает некоторое торжественное удивление.

Вдруг мы услышали какое-то восторженное попискивание. Наш двухлетний Ушик, встав на задние лапы и упираясь передними в наши спины, восторженно взирал на Вашингтон. Радостный скулеж его усиливался по мере приближения к Адамс-Моргану. Пес радовался возвращению в столицу, а ведь рожден он был в Канзасе.

ШТРИХИ К РОМАНУ "ГРУСТНЫЙ БЕБИ"

Пресловутая наблюдательность русской литературы! Горлышко разбитой бутылки (Чехов), рой мошкары над головой марширующего штабс-капитана (мое, и Чехову не отдам).

Пресловутый Запад делает вид, что спешит, кокетничает сам с собой: какой я нехороший, развратный, порочный... делает вид, что ему наплевать на русскую литературную наблюдательность; сейчас, мол, не до деталей!

Пишущему человеку впору впасть в транс: нечего уже наблюдать, все наблюдено, все наблядено, продано по двадцать раз на корню в "шоубиз" с учетом колебания биржевых ставок. Классик и тот спасует перед мерами, направленными на подавление литературной наблюдательности как на Западе, так и на Востоке.

Пишите — "вошла девушка"; этого достаточно. Вам кажется, что следует указать на ее несколько английскую внешность — выпуклый лоб, все чуть-чуть сужено, подбородок чуточку вперед, густые волосы малость пеговаты, — но это в самом деле никого не интересует, потому что подразумевается. Может быть, через полгода встреч вы заметите, что зрачок одного ее глаза (какого — забыл) начинает иногда бурно вращаться, но это и в самом деле не имеет отношения к мировому "интертейнменту", это уж из вашей частной жизни.

Отцвели каштаны, скажете вы, проститутки на Бульваре Ланн все как одна похорошели, однако и эти ваши наблюдения вряд ли имеют практическую пользу, поскольку слишком нагло располагаются во времени.

Улицы идут одна за другой в строгой последовательности — 31-я, 32-я, 33-я... Никого, кроме вас, не восхитит тот факт, что между 33-й и 34-й протекает улица Бетховена; ее можно было бы спокойно не заметить.

Пища для обобщений:

...В городе Red Bluff (Красный Блеф?), Калифорния, раскрылась интересная история. Семь лет назад рабочий с лесопилки мистер Хукер похитил двадцатилетнюю особу и с тех пор держал ее в заточении в качестве сексуальной рабыни.

Рабыня днем содержалась в специально для нее построенном ящике, а по вечерам мистер Хукер вместе с супругой (у них двое детей) извлекали ее оттуда, мучили горящими спичками, подвешивали ее к потолку, раскладывали на доске и "имели секс" с нею.

Обобщение: они все эро-монстры!

...Вся страна широко обсуждает главы из мемуаров во-

семнадцатилетней киноактрисы Брук Шилд "Как сохранить и поддерживать свою невинность".

Обобщение: в принципе они все — чистопробные пуритане!

...Мистер Макферленд из Сан-Диего, Калифорния, спрыгнул на рельсы, чтобы спасти своего ирландского сеттера из-под колес подходящего поезда. Сеттер уцелел. Мистер Макферленд лишился ноги.

"Некоторые считают меня чудаком, — сказал этот тридцатичетырехлетний холостяк, — но я полагаю, что ради любящего и преданного мыслящего существа пожертвовать ногой не так уж дико. Я получаю сотни писем со всей страны, и все меня одобряют. Большинство людей любит своих животных гораздо больше, чем мы иногда думаем".

Обобщение тут уже высказано, хотя оно и несколько противоречит лаконизму: No pets[1], существующему в восьмидесяти процентах объявлений о сдаче жилья.

1953

Мрачное утро обезджугашвиленного мира. Филимон, Парамон, Спиридон и Евтихий поют коммунальную арию Каварадоси. Скоро расстрел.

Местная квартира органов пролетарской диктатуры, известная в народе под веселым именем "Бурый овраг", как раз над этим оврагом и располагалась. В последние годы руководство решило пробудить в населении добрые и веселые эмоции по отношению к этому месту, и в овраге был разбит детский парк с фанерными фигурами и аттракционами.

Сейчас, стоя по пояс в снегу, четверо осквернителей памяти почившего могли сказать последнее прости и Деду Морозу, и Снегурочке. Майор Щедрина, он же стиляга Клякса, держал их под мушкой своего браунинга. Десять "стратегических" рюмок коньяку до неузнаваемости изменили внешность "рыцаря революции". Рассыпалась набрио-

[1] Никаких домашних животных.

линенная прическа, съехали в сторону усики. В этот момент он напоминал нечто среднее между хорошо уже известным в СССР Чарли Чаплиным и пока еще не известным Че Геварой.

— Кончай, Вадик, дурачиться! — пищали присутствующие в качестве зрителей подруги обреченных.

— Прощайтесь, белогвардейская сволочь! — гаркнул Клякса.

"Как плохо начинается новый возраст", — пробормотал Филимон. "И новая эра", — прошептал Парамон. "А ведь ожидалась оттепель", — простонал Спиридон. "Не для нас", — зарыдал Евтихий.

Со стен ледяного городка, так ностальгически напоминавшего искусство передвижников, заиграл на аккордеоне юноша Грелкин. Лиловый негр Боб Бимбо запел с английским акцентом:

— Есть у тучки светлая изнанка...

Есть ли у тучки светлая изнанка? Майор Щедрина отшвырнул пистолет.

— Помогите мне, чуваки, пробраться в Западную Германию!

— Да зачем тебе в Западную Германию, Клякса?

— Чтоб в Америку сбежать!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Сент-Петербург во Флориде — может быть, самый странный город из тех, что мы посетили в Америке. Улицы унылого провинциального быта, заброшенные дома, тихо бредущие по корявому асфальту фигурки пенсионеров, и вдруг посреди этого убожества современная галерея с доброй сотней полотен Сальвадора Дали. Набережная с робкими лавчонками, руины розового, в стиле отеля "Великий Гэтсби", длиннейший пирс, на краю которого высится мрачное бетонное сооружение, годное для съемок фильма о

каком-нибудь тоталитарном заговоре против человечества, на деле же не что иное, как вместилище нескольких рыбных ресторанов и видеоаркад... некоторую естественность пейзажу придавали лишь пальмы и паруса в заливе.

Мы ходили по набережной и искали памятник основателю города русскому негоцианту Дементьеву. Дело в том, что этот город — один из робких центров русского присутствия в Америке. Старые эмигранты его иначе как Санкт-Петербургом и не называют в память о своей прежней столице, переименованной в город Ленина с тем же правом, с каким сочинения Льва Толстого могли бы быть переименованы в сочинения Шолохова.

Дементьев высадился на этих плоских берегах в конце прошлого века, чтобы основать город под гордым именем русской столицы, а свое собственное имя для удобства коммерческих операций трансформировать на американский манер и стать Деменсом.

"Деменс-лендинг", то есть "высадка Деменса", — так и называется это памятное место. Мы все оглядывались в поисках бронзовой или чугунной фигуры с какой-нибудь шпагой или ружьем в руке, но ничего подобного не видели. Подошли к группе стариков-рыболовов, черных и белых, тихо увядающих с удочками в руках под белесым жарким небом.

— Вы, кажется, местные, джентльмены? Подскажите, где можно найти здесь монумент "Деменс-лендинг".

Старики замялись. Никто из них такого монумента в окрестностях не замечал.

— Просим прощения, монументами наша местность небогата, а вот высадка вот тут как раз неподалеку имела место, вот за теми пальмами, по слухам, и высаживались, нечистая сила...

Оказалось, что рыболовы полагают исторический пункт местом высадки каких-то флоридских "демонов", а об основателе своего города Питере Деменсе они не слышали ровным счетом ничего.

Монумент, поставленный Конгрессом русских американцев, представлял собой камень размером не более среднего чемодана, найти который за стволами пальм было нелегко.

*

В какой-то степени масштаб и скромность, если не сказать жалкость, этого мемориала отражают состояние русской этнической группы в США.

У русских в этой стране нет ни могущественных финансовых покровителей, ни политического лобби, ни образовательных институтов, ни даже развитой кулинарии, если не считать бруклинского населения в районе Брайтон-Бич, именуемого "Малой Одессой", о которой речь пойдет ниже. Существующая организация, именуемая Конгрессом русских американцев, озабочена как будто только одной темой: время от времени мы узнаем о ее существовании, когда она начинает протестовать против привычки американской прессы называть советских функционеров "русскими".

А между тем русских-то здесь, кажется, пара миллионов, и на протяжении послереволюционных десятилетий они внесли немалый вклад в развитие нашего нынешнего общества: ведь это были русские далеко не худшей породы, достаточно, включая телевизор, вспомнить об инженере Владимире Кузьмиче Зворыкине; подняв голову к пролетающему вертолету — о конструкторе Игоре Ивановиче Сикорском; услышав современные лады музыки — о композиторе Игоре Федоровиче Стравинском...

В отсутствии национальной структуры, в мумификации культурного наследия русской общине никого, кроме себя самой, винить не приходится. Среди прочих других причин, вызвавших нынешнюю расслабленность, есть и идея так называемой смерти России, то есть необратимости большевистских изменений. Идея эта была популярна в русской эмиграции много лет и вряд ли стимулировала у молодых поколений желание оставаться "русскими".

Все-таки, как мы выяснили, приехав, что-то еще осталось. Главной объединяющей силой является, конечно, русская православная церковь. В праздничные дни в храмах Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Вашингтона, Монреаля, Филадельфии мы видели основательные скопления сугубо рус-

ских персонажей, настолько русских и не тронутых той неуловимой и вместе с тем вполне отчетливой советской порчей, какой тронуты мы все, вновь прибывшие, что казалось, будто присутствуешь на съемках фильма о старой России.

Советская "порча", или, если угодно, примета современной России, выделяет нас мгновенно из числа здешних русских. Она сказывается и в походке, и в жестикуляции, и в манере одеваться (кажется, более "западной", чем у наших западных соотечественников), не говоря уже о манере речи и о лексике, загрязненной (или обогащенной) всем советским периодом истории.

По манере речи почти немедленно отличаешь советского русского от американского русского. Как-то раз пожилая дама повернулась к нам в толпе на Коннектикут-авеню: "Ой, здравствуйте, а я иду и слышу, кто-то рядом говорит *по-советски*".

На самом деле речь, конечно, идет не о *советском* языке, а о современном говоре России, огромного языкового океана, в стремнинах которого мы провели всю жизнь, а с другой стороны, о консервированном (в лучшем случае) литературно-хрестоматийном русском, в худшем же случае о немыслимом "воляпюке", составленном из английских, французских, испанских и немецких слов с русскими окончаниями и падежами.

Вот, например, как некий русский, родившийся в Германии, воспитанный во Французском Марокко и проживший последние тридцать лет в Соединенных Штатах, рассказывает о дорожном происшествии. "Еду с супругой по хайвэю в своем вуатюре. Неожиданно перед нами появляется рэклис спидер. Я каширую, супруга — вообразите! — уринирует... Кель кошмар, господа!"

Мы уже привыкли и не удивляемся, когда слышим, что кто-то из знакомых "выбежал из денег", "взял 95-ю дорогу"... Больше того, и сами то и дело ловим себя на таких примерно перлах: "Надо взять иншуранс, потому что он (?) такс дидактабл, иначе с нашим мортгейджем мы не найдем своего шелтер..."

Подлинная жизнь русской эмиграции — это одно из главных открытий, сделанных нами в Америке. Прежнее

"внутрисоветское" представление об этих людях было искаженным. В советской прессе, в литературе соцреализма давно уже установились железные клише в отношении эмигрантов. В худшем случае это законченный мерзавец, предатель родины, циничная "белогвардейская сволочь", в лучшем — опустившийся подонок, алкоголик, рыдающий в каком-нибудь сомнительном баре по чистым березкам России.

Отказавшись от всех советских клише, мы стали воображать себе жизнь наших собратьев за пределами империи совсем в другом ключе, и волей-неволей под влиянием все большего числа книг, просачивающихся из-за границы, перед нами возникал образ российского эмигранта, весьма близкий к полумифической личности Владимира Владимировича Набокова, великолепного писателя, усталого сноба и неутомимого охотника за бабочками.

На деле оказалось, что "набоковых" в среде русских американцев не очень много, что, разумеется, вполне естественно — таких людей не может быть много. Большинство состояло из простых и вполне порядочных дам и господ, из которых пожилые были более "русоватыми", а молодые, конечно, более "американистыми".

Оказалось также, что все наши авангардные писания, рисования и ваяния не имеют почти никакого отношения к *этим* русским. Для большинства из них русская литература если еще и существовала, то лишь в хрестоматийных образцах — "люблю весну в начале мая", "выдь на Волгу, чей стон раздается" и т.д., — а вся наша богемная братия, явившаяся в Америку с московских и ленинградских чердаков и из подвалов, казалась людьми испорченными, непонятными и опасными.

В американских мегаполисах, среди переплетений фривэев и миллионов катящихся автомобилей существовали маленькие русские общины с нравами российских уездных городов начала века.

На наших глазах однажды разыгралась вполне заурядная, но весьма красноречивая любовная драма. Московский художник, основательный пьяница и "ходок", стал встре-

чаться с молодой русской американкой, матерью троих детей и женой респектабельного русско-американского мужа. Скандал разгорелся невероятный.

Мой друг был невольным свидетелем этой истории, он рассказал мне о ее скорее трагикомическом, чем трагическом характере. Все происходило в большом американском городе, полном людей всех человеческих рас, полном всех этих "бизнесов", и малых и больших, сексуального освобождения всех видов, в городе, заваленном книгами, журналами и видеокассетами выше ушей, а между тем в маленькой русской общине царили нравы Пошехонской старины; скандал носил явно ксенофобский характер, кумушки, которые всегда в России были столпами нравственности, возмущались не столько самим фактом развала семьи, сколько вторжением чужака, как бы декадента, как бы *иностранца*.

Кажется, многие из русских пришельцев "новой волны" не очень соответствовали установившимся в Америке стереотипам в отношении русских.

Как-то мы столкнулись на вашингтонской улице с группой друзей, ну, и, разумеется, разорались, расхохотались. Местные жители, сидевшие на крыльце, прислушивались не без удивления, а потом спросили:

— На каком языке вы говорите, фолкс?

— На русском, — сказали мы.

— Хм, — пожали они плечами. — Для русского звучит слишком весело...

С удивлением новоприбывшие обнаружили, что в русско-американской общине, как в капле воды, отражаются и многие гадости, привычные для большой России.

Довольно бодро, например, процветает старорежимный антисемитизм (чрезвычайно странная, между прочим, штука после антисемитизма новорежимного).

Однажды в церкви священник призвал прихожан молиться за спасение Елены и Андрея, то есть за Елену Боннер и Андрея Сахарова. В ответ он услышал возмущенные голоса каких-то теток, которым впору было бы заседать в советских органах: "А чего это нам за жидов молиться?!"

Священник, просвещенный и глубокий в своей вере человек, так в этот момент растерялся, что стал объяснять: Сахаров-де, не еврей, только жена его еврейка...

В закостеневшем невежестве немало здешних русских до сих пор полагают, что Советским Союзом и сейчас правят "жидовские коммунисты". Другие антисемиты, более сведущие в положении вещей, направляют свои страсти-мордасти в адрес диссидентов, говоря, что "жиды опять задумали погубить Россию, едва оправившуюся от их революционных делишек, пусть хоть и советскую, но зато какую величественную, всему миру на загляденье!"

Невежество и ханжество тоже никуда не пропали. Нередко приходится с этим сталкиваться на литературных чтениях в эмигрантской аудитории. Новоприбывшие "модернисты" и "авангардисты" вызывают нахмуренное недоумение и подозрение.

Как-то раз я читал отрывки из нового романа в летней школе русского языка. После чтения ко мне подошла дама, внешним видом как бы олицетворявшая образ советской ханжи: высокая прическа из тех, что в Москве называют "блошиный домик", платье пошива ателье Министерства обороны, поджатые в априорной обиде губки.

— Нам сказали, что будет выступать звезда русской прозы, и вот такое разочарование, — сказала она.

Я знал, что у этой школы есть программа обмена учителями с СССР, и был полностью убежден, что разочарованная дама приехала *оттуда*. Ну и ну, подумал я, вот таких мамаш они теперь в США направляют.

— Чем же я вас так сильно разочаровал, сударыня?

Она брезгливо сморщилась.

— Какая-то у вас в этом романе неприятная дидактика.

Дидактика? Чего-чего, но уж обвинения в дидактике я не ожидал. В том куске, что я читал, излагались страдания стихийного анархиста Велосипедова, в частности, его рефлексы по поводу предстоящего медосмотра в военкомате. Родина, полагал Велосипедов, как и всякая блядь, любит молодых солдат без геморроя. Она заходит сзади и говорит:

нагнись, разведи руками ягодицы, надуйся! Если из заднего прохода не выскакивает шишечка, гордись — ты годен в бронетанковые войска. Ну а что, если выскочит? Свободен! Свободен, как партизан, как кавказский абрек!

— Дидактика, вы сказали?

— Ну а что же еще? Ну зачем вы описываете эти противные шишечки? Неужто без этой отвратительной дидактики нельзя обойтись?

— Вы давно из Советского Союза? — спросил я.

Оказалось, что она там ни разу и не бывала. Настоящая русская американка из семьи послевоенных "перемещенных лиц".

Обобщать, впрочем, и здесь невозможно, потому что, кроме этих теток и дядек, русская община Америки познакомила нас с множеством интересных типов, интеллигентов, чудаков, идейных борцов против коммунизма и безыдейных кутил с гитарным репертуаром цыганских варьете Санкт-Петербурга или просто с людьми, которым мы были интересны, которые в общении с нами пытались составить для себя образ живой современной России.

"...you new arrivals brought up here some fresh air, you gave us a new pace... Thanks to you we the American Russians have realized that "russianness" doesn't necessarily mean a musty backwardness"[1], елки-палки!

Этот тост поднимает all American Ted Stanitz[2], при рождении нареченный Федором Станицыным. В отличие от своих родителей, которые, родившись здесь в русской семье, растеряли и язык, и интерес к исторической родине, Тед стремится теперь вернуться к "русскости".

---

[1] "...вы, новоприбывшие, привнесли с собой свежую струю воздуха, вы дали нам новый ритм... Спасибо вам! Мы, русские американцы, поняли, что "русскость" — это не значит "затхлость" и "отсталость".

[2] Типичный американец.

*

Нам, новичкам, очень трудно было понять феномен "русского американизма". Постоянная путаница со словами "наши" и "ваши". Вначале тех советских, обидчиков и лжецов, мы все еще называли "наши", а этих, американских, давших нам приют в своей стране, называли: "они", "их", "ваши" и т.д.

"...Наши в Афганистане творят черт-те что... Наши сбили пассажирский авиалайнер... Американцы заявили протест... Американцы обогнали наших в космосе..."

И вдруг, раз за разом, я стал ловить себя на том, что употребляю слово "наши" по отношению к Западу, к Америке.

— Видишь, — говорил я жене или приятелю о последних новостях, — в Германии произошел обмен шпионами. Обменено четверо ихних на двадцать наших.

— Это невыгодный обмен! — возмущается жена или приятель. — Когда *они* наконец научатся иметь дело с *нашими*?!

Полная путаница. *Они* в данной интерпретации американцы. *Наши*?.. Кто они? Вдруг жена или приятель спохватываются, что называют *нашими* совсем "не наших", а тогда, значит, обмен выгоден: двадцать душ *наших* за четыре *ихних*.

— Ты говоришь "наши" про "наших"? — спрашивает жена. — Про наших советских или про наших американских?

— Давай договоримся: их наши — это уже не наши, а наши наши — это наши, о'кей?

В таких языковых спотыканиях и проявляется процесс американизации, так мы начинаем понемногу понимать, что означает — быть не просто изгнанниками, но русскими членами западного блока.

РУССКАЯ ПАСХА В ВАШИНГТОНЕ

Недавно православная Пасха совпала и с европейской, и с еврейской. В канун праздника повсеместно в городе слышались приветствия "Хэппи Истер" — "Счастливой Пасхи"! Последним из сферы обслуживания, сказавшим мне эту фразу, оказался черный автомеханик на станции "Эксон", заменивший прокладку в трансмиссии моей машины. "Вам также", — ответил я. Приятно, когда у тебя общий праздник со всем городом.

Ближе к полуночи мы отправляемся в северную часть города, в наш скромный храм Святого Иоанна Предтечи. Скромность вообще отличает все, что связано с русской жизнью в Америке.

В Вашингтоне, например, функционирует отделение Русского литературного фонда, этой уникальной организации, основанной в Петербурге сто пятьдесят лет назад для помощи "неимущим и пьющим литераторам". Советский вариант этого учреждения представляет из себя многомиллионный государственный бизнес, здесь в Вашингтоне под руководством энергичной и элегантной председательницы, профессора Елены Якобсон, Литфонд проводит свои скромные вечера в скромном зале протестантской церкви.

Что ж, может быть, эта скромность является хоть маленьким, но все-таки противовесом гигантомании социалистической метрополии.

Итак, мы съезжаемся на заутреню. В городе два православных собора. В Свято-Николаевском соборе, где настоятель — профессор русской литературы Джорджтаунского университета отец Дмитрий Григорьев, служба идет почти полностью на английском языке. Мы, разумеется, выбрали храм, где молятся по-русски. Немаловажную роль в этом выборе, конечно, сыграла и личность настоятеля Собора Иоанна Предтечи отца Виктора Потапова. Мы с ним и его семьей за нашу жизнь в Вашингтоне хорошо подружились. В жизни отец Виктор — это приятный русский молодой человек, ему немного за тридцать. Трудно поверить, что в юности он говорил по-русски с акцентом, настолько жива и

современна его русская речь сейчас. Родившись в Америке, отец Виктор посвятил свою жизнь русской церкви. Он прекрасно знает литературу, и не только зарубежную, но и за интересными именами в России следит, дружит с Ростроповичем и Солженицыным. Часто в доме Потаповых в вашингтонском пригороде Сильвер-Спринг, душой которого (не пригорода все-таки, но дома) является жена Виктора Маша (трудно назвать "матушкой" молодую хорошенькую парижанку из известной семьи Родзянко), собирается по праздникам многолюдная компания прихожан. Веселые шумные вечера. Однажды отец Виктор известил о радостном событии: в Вашингтон прибывает чудотворная икона Курской Богоматери. Она известна на Руси еще со времен татарского нашествия и вывезена была за границу в составе Добровольческой армии.

Мне нравятся проповеди отца Виктора, как их манера, так и смысл. Однажды я слышал, как он рассказывал прихожанам об иконоборчестве и в связи с этим вспомнил историю царя Авгаря.

Прикованный к постели царь послал придворного живописца в Палестину, чтобы запечатлеть образ Спасителя. Из-за большого стечения народа, а может быть, и из-за других причин живописцу никак не удавалось это сделать. Вдруг Иисус подозвал его, потом попросил кусок холста, так называемый убрус, и приложил его к своему лицу. На холсте отпечатался Его портрет. Это был первый нерукотворный образ Спасителя. Живописец отвез святой убрус своему повелителю в город Едессу. Впоследствии на протяжении веков нерукотворный образ Христа прошел через множество испытаний, кочевал из страны в страну. Поразительно то, что он несколько раз давал с себя отпечатки.

Мне этот рассказ отца Виктора пришелся кстати. Я в то время писал роман о фотографах и думал о непостижимой космической сути фотопроцесса.

Вокруг храма, в прилегающих тихих улицах, под огромными деревьями паркуются машины прихожан. Кирпичной кладки церковь стоит на перекрестке и на холме, маковка и крест по праздникам подсвечены. Церковь не вмещает всех прибывших, народ стоит на ступенях и вок-

руг на склонах холма. В руках у молящихся свечки, огоньки трепещут на ветру, пасхальные ночи почему-то всегда выдаются тут ветреными.

В полночь звучит колокольный звон, и появляется крестный ход. Возглавляют шествие дети, среди них Сережа и Марк Потаповы и пятилетний Филипп, сын писателя Саши Суслова. Я слышу, как, проходя мимо нас, дети тихо разговаривают по-английски.

Что поделаешь, все они умеют благодаря усилиям родителей говорить и читать по-русски, но естественно для них говорить, конечно, по-английски. Передавать язык из поколения в поколение — трудная задача для русской общины в Америке. В газетах можно увидеть приглашения в летние скаутские лагеря — "принимаются дети, хотя бы немного говорящие по-русски".

Все выходят из храма, и на холме собирается основательная толпа, человек не менее четырехсот. Удивительно много литературно знакомых лиц — типы Толстого и Чехова. В этом же старом русском ключе звучат, как ни странно, и фигуры военнослужащих, особенно фигуры русских парней в парадной форме американской морской пехоты, эти выглядят просто как прежние кадеты или нынешние суворовцы.

"Христос воскрес из мертвых смертию смерть поправ..." — поет хор. "Христос воскресе!" — слышится возглас священника. "Воистину воскрес!" — отвечает народ. Невольно думаешь: "Господи, сколько вокруг русских, и полное отсутствие марксизма-ленинизма!" Начинаются троекратные целования.

Американское телевидение теперь каждый год показывает сцены пасхальных служб и крестных ходов в Москве. На экранах все выглядит весьма пристойно, несмотря на присутствие огромного числа милиции и дружины или благодаря ему. Пасха, кажется, становится в России все более нормальным, радостным и значительным праздником, все меньше наблюдается истерического ажиотажа, когда огромные толпы ничего не понимающей полупьяной молодежи крушили решетки церковных оград.

Слово "радость", однако, по отношению к религиозно-

му празднику у советских людей (и у бывших советских тоже) вызывает внутреннее неудобство. Безбожная власть семь дèсятилетий внедряет отношение к религии как к делу темному и затхлому, уделу немощи и уныния. Примитивный позитивизм советского общества, это наследие унылых революционных демократов XIX века (как ни странно, до сих пор еще в ходу в американских академических кругах), религиозное, мистическое чувство считает недостатком образованности, а праздник Воскресения Христова относит к суевериям. Возврат русских к поискам смысла Пасхи — это протест против марксистского примитива и, может быть, шаг вперед, перешагивание негативного опыта.

НОВЫЕ РУССКИЕ ПЛЕМЕНА

В последние годы в этнической пестроте мира произошли не особенно значительные по масштабам, но довольно примечательные изменения. Появились новые русские племена. К курянам, смолянам, вятичам, новгородцам, москвичам, рязанцам и прочим, обитающим на исконной территории, присоединились (парадокс заключается в том, что присоединились, отъединившись) бруклинцы, чикагцы, калифорнийцы, не говоря уже о новом русском племени, расселившемся на библейских холмах.

Речь идет о новой еврейской эмиграции из Советского Союза. Всю жизнь находясь в положении подозрительных чужаков на коренной территории, страдая от всех этих омерзительных "пятых пунктов", эти люди вдруг оказались "русскими", покинув свою родину. В Израиле и в Америке вас назовут русским, даже если ваше имя Давид Пейсахович Ципперсон. Никого не смутит в этом случае ни курчавость ваших волос, ни форма носа, ни картавость.

Не думаю, что это такое уж замечательное приобретение или предмет гордости — замечательным приобретением для этих людей является как раз возможность больше не смущаться своего еврейского происхождения, а напротив, гордиться принадлежностью к своей великой нации —

это всего лишь данность; они не могли стать русскими среди русских, и они стали "русскими" среди нерусских.

Парадоксально в этой истории, однако, то, что, покинув современную Россию, эти люди оказались "русскими" не только номинально. Отряхнув с подошв пыль землиобидчицы, они вдруг почувствовали, что убавили в своей "еврейскости" и прибавили в своей "русскости".

Корни этого парадокса чаще всего уходят в советский опыт новых эмигрантов. В старой России еврейство стояло прежде всего на иудейской религии, в синагогах возникал дух национальной общности и приобщенности к древней культуре. Советские евреи на протяжении долгих послереволюционных десятилетий были фактически оторваны от иудаизма, их религия представлялась им как нечто дряхлое, мрачное и отжившее. Биологическое, генетическое для них неизмеримо важнее, чем духовное.

Религиозные организации американских евреев, очень много сделавшие для вызволения своих предполагавшихся единоверцев из русского (читай "советского") плена и для приема прибывших, были разочарованы весьма слабым энтузиазмом этой публики в отношении синагог. В свою очередь новые эмигранты удивлялись — чего это их в какие-то там синагоги тянут. Один инженер из Свердловска рассказывал нам о беседе, которая была у него по приезде, с координатором еврейского центра в Чикаго.

"Поздравляю, — говорит мне этот "товарищ" (словечко это, между прочим, и по сей день еще в ходу среди советских беженцев), — теперь вы свободный человек и сможете ходить в синагогу, сколько вам заблагорассудится. Вот чудак человек, да на кой она мне, его синагога..."

Подобного рода бездуховность поражала американских евреев, но еще больше их сбивали с толку те интеллигенты, что были в какой-то степени приобщены к так называемому религиозному возрождению в Советском Союзе. Почему-то к иудаизму неофиты в своих духовных поисках обращаются далеко не в первую очередь. Гораздо чаще встретишь среди них буддистов, кришнаитов, эзотеристов всевозможных окрасок, толкователей Блаватской и Гурджиева. Не говоря уже о христианстве. Если уж тянет современ-

ного русско-еврейского интеллигента в храм, то это скорее православная церковь, чем синагога.

Широкие массы новых эмигрантов, хоть их вообще трудно еще пока назвать верующими, тоже тяготеют к исполнению православных обрядов. Обитатели "Малой Одессы" на Брайтон-Бич перед Пасхой отправляются в русские церкви освящать куличи. В России это можно было бы объяснить мимикрией, а чем объяснишь здесь?

Чем объяснишь совершенно поразительную советскую культурную ностальгию, на которой предприимчивые антрепренеры делают здесь неплохие деньги? Когда-то в Союзе за американскими фильмами гонялись — здесь гонятся за советскими. В телевизионном репортаже о жизни эмигрантов однажды показали компанию пожилых евреев, просматривающих на домашней видеомашине старый фильм военной поры и вытирающих глаза при звуках песенки "На позицию девушка провожала бойца".

В Москве это явление, очевидно, подвергается изучению, и из него делаются соответствующие выводы. Иначе как объяснишь то, что в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго, Филадельфии то и дело через эмигрантские развлекательные агентства устраиваются просмотры самых новых фильмов, на которых выступают подчас даже и участники, "звезды восточного блока". Похоже на то, что прокат новых фильмов в американской эмигрантской аудитории стал предшествовать московским премьерам.

Года два назад в эмигрантской печати поднялась было кампания против концерта советской эстрады. На мачту был поднят могучий лозунг "Не будем голосовать нашими долларами за советский коммунизм!" Группы активистов пикетировали концертные залы, обижали публику, идущую на концерт. Публика между тем жаждала увидеть своих прежних кумиров, даже и пошлейшего "патриотического" певца Кобзона. К коммунизму, очевидно, это не имело никакого отношения.

Сейчас уже никому и в голову не приходит бойкотировать советских эстрадников. Сладкоголосый певец с внешностью типичного охотнорядца вызывает массовые всхлипывания бывших одесситов, киевлян и минчан песенкой о

влюбленных лебедях. Евтушенко с присущей ему дерзновенностью читает в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе свои дерзновенности двадцатидвухлетней давности, показывает трехчасовой фильм о своем потревоженном детстве, и наши новые племена принимают его с восторгом и даже в ответ на критические отзывы в газете разражаются письмами — не замай! Однако даже евтушенковские сантименты вряд ли имеют отношение к коммунизму.

Наиболее красноречивый показатель "русского патриотизма" этих новых — это, конечно, гастрономия. Например, тоска о твороге. Долгое время в эмиграции стоял сущий стон — где достать наш, настоящий русский творог, такой, как с Центрального рынка? Десятки всевозможных сортов американского творога в переполненных продуктами супермаркетах не удовлетворяли патриотов. Какая-то хозяйка натолкнулась на решение. Стали покупать некоторый вид йогурта, ставить его на малый огонь, и получался *настоящий* творог. Спустя некоторое время эмигрантские торговцы наладили массовое производство "настоящего" творога.

А уж что говорить о колбасах, как мягкого — ну прямо как настоящая "Докторская" в лучшие годы! — так и среднего, и твердого копчений. Все эти "качества и количества", подвергшиеся столь сильной коррозии в пору "зрелого социализма", расцвели новым цветом в многочисленных русских лавках по всей Америке. В поисках *настоящих*, то есть русских, грибков торговцы бороздят пространства Нового Света, вступая в коллаборацию и с канадцами, и с поляками. Решена проблема и вишни в шоколаде, и зефира, не говоря уже о рыбных копченостях. Из страны победившего социализма вожделенно завозится все, что там еще осталось вкусненького, — консервы осетра и судака, балтийские кильки...

Говорят, что гастрономическая ностальгия связана с самой сутью этого явления, с неуловимыми изменениями биохимического состава, вызванными переменой среды обитания. Так или иначе, но похоже на то, что многим новым американцам — или, если угодно, "новым русским" — возможность удовлетворять эту ностальгию благодаря без-

удержности капиталистического рынка кажется событием более важным, чем возможность отправлять иудаистские ритуалы.

Дело, конечно, не только в биохимии, ибо эстетические порывы к игре молекул все-таки не отнесешь. Посмотрите на названия всех этих новых ресторанов, открытых прибывшими в Америку русскими евреями. Никаких там "Эльдорадо" или "Лоунли стар", одни только свои, родные — "Садко", "Метрополь", "Националь", "Руслан", "Калинка"... А оркестры там играют, а девицы там поют — ну просто сочинский Госконцерт! А уж дерутся там к утру по-настоящему, по-русски — с размахом, с хрустом, "раззудись плечо, размахнись рука"!

Как известно, можно и клопа двумя пальцами растереть с блаженным вздохом — коньячком потягивает! Русский патриотизм еврейских эмигрантов из Советского Союза можно подвести под двоякое, троякое, многоякое толкование. С одной стороны, можно выразить вполне понятную печаль по поводу ассимиляции евреев, по поводу утраты связей с древней культурой и религией, однако, с другой стороны, нельзя не увидеть в этом свидетельства того, как удивительно могут сблизиться народы, несмотря на предрассудки и провокации. Русские и евреи прошли вместе и ГУЛАГ, и великую войну, вместе они построили свой тошнотворный социализм, и вместе содрогнулись от содеянного.

Открыв газету "Новое русское слово", можно увидеть бок о бок последние приветы такого рода.

"Союз старшин Кубанского казачьего войска и чины бронепоезда "Георгий Победоносец" с глубоким прискорбием извещают о том, что такого-то числа Волею Божьей скончался на 95-м году жизни хорунжий Егоров..."

"Такого-то числа ушла от нас после продолжительной болезни Цилечка Ниппельштром. Она была человеком большой души. Родственники в Чикаго, Хайфе и Одессе..."

Можно, конечно, ухмыльнуться и сказать — вот, мол, ирония судьбы, гримаса истории, а можно просто помолиться за две отлетевшие души.

Сталкиваясь с явлением этого, на первый взгляд, странного патриотизма, можно сказать, что евреи все-таки бежа-

ли не от русских, а от коммунизма. Не было бы коммунизма в России, сейчас в отличие от времен погромов, не было бы и бегства; были бы просто переезды.

РУССКОЕ ЛЕТО В НОВОЙ АНГЛИИ

В разгар лета в Вашингтоне температура стабильно подкатывает под сотню, то есть около сорока по Цельсию.

Столичный люд ныряет из кондиционированных автомобилей в кондиционированные офисы и обратно. У университетских же людей, к каковым и я отношусь, все-таки есть преимущество — неоспоримые летние каникулы. Семинар мой закончился в середине июля, и мы стали быстро готовиться к бегству. Куда же? Возникла идея — в Вермонт!

Почему же именно в Вермонт? Разве нет других прохладных штатов? Тот же Мэн, например, с его бухтами, островками и знаменитыми омарами? Та же Аляска, от которой и до родного Магадана рукой подать? Идея Вермонта, однако, преобладала и в наших собственных размышлениях, и в разговорах с русскими знакомыми. Выяснились любопытные совпадения. Не только нас потянуло в Вермонт, многие и другие братья писатели туда отправились. Саша Соколов вообще уже два года живет в этом штате, Солженицын с семейством еще дольше. Вот и Валерий Челидзе, по слухам, купил там где-то землицы, ферму зачинает человек, и Нина Берберова уж которое лето проводит в Вермонте, и Леонид Ржевский, и вот еще такие имена все время всплывали в вермонтских разговорах: Юз Алешковский, Анатолий Вишневский, Михайло Михайлов, Иван Елагин, Игорь Чинов, Ефим Эткинд, Симон Карлинский, Виктор Некрасов, Наум Каржавин, Анатолий Антохин, Виктор Соколов (не путать с однофамильцем, вышеупомянутым Сашей), совсем уж неожиданный молодой московский поэт Бахыт Кенжеев (а я и не знал, что он уже год, как на Западе), Михаил Моргулис, Лев Лосев, Игорь Ефимов... Эге, да это уже получается что-то вроде подмосков-

ного писательского кибуца Переделкино, хотя, конечно, без литфондовской столовой и без циркулирующих по аллеям классиков соцреализма Феликса Кузнецова, Николая Грибачова, Сергея Залыгина.

Вермонт, эта "добрая старая Англия" с ее крошечными белыми дощатыми городками, лежащими в долинах меж не очень высоких и мягких зеленых гор... Многие здесь сходятся на том, что природа и ландшафт Вермонта напоминают Карпаты и предгорья Польских Татр. Нигде, пожалуй, за пределами России не найдешь такого количества белоствольных берез. Куда ни бросишь взгляд, на любом склоне наши "скромные красавицы", в горном воздухе четко рисуются ветви и ствол, как будто бронхи, дающие воздух этим зеленым массивам. Сколько помнится, дома душа сопротивлялась всем этим березовым тучам пошлости, включая танцевальный ансамбль и валютный магазин "Березка" (не назвали же его березой или попросту липой, а вот уменьшительной красивостью наградили), а вот сейчас смотреть на эти деревья приятно, ну и немного грустно, конечно.

Не исключено, что именно эти березы привлекли в Вермонт создателей двух старейших в Америке летних школ русского языка. Иначе с какой стати именно здесь? Так или иначе, уже много лет в двух вермонтских городках — Мидлбери и Норсфилде, разделенных семидесятью милями горных дорог, в июле и августе собираются несколько сот американских студентов, одержимых идеей овладеть "великим-могучим-правдивым-свободным", то есть ВМПСом имени Тургенева.

В старом колледже Мидлбери, кроме основной русской группы, есть еще группы французского, испанского, арабского, китайского и еще каких-то языков. В кафе и ресторанчиках здесь привыкли к группам молодежи, разговаривающим всяк на своей тарабарщине. Провинциальный городишко превращается в подобие олимпийской деревни.

Студенты другой школы размещаются на пустующем летнем кампусе военного университета Норвич, впрочем, о близости вооруженных сил говорит только маленький пузатый танк возле футбольного поля. Кажется, он участвовал в высадке в Нормандии или на Филиппинах. Существует,

правда, одно строгое, почти военное правило — в течение семи недель запрещается говорить по-английски. Этот метод в Союзе, кажется, назывался "погружением", а студенты — "погружантами".

Мы поселились между двумя этими школами, в Шугарбушвэлли, то есть в Долине сахарного кустарника. Сорок минут езды до Норвича через один перевал, час езды до Мидлбери — через другой.

Мы и не представляли, что "русская жизнь" в горах будет проходить с такой интенсивностью, что возникнет даже какое-то странное неэмигрантское ощущение. Поневоле вспомнилась идея "малой России", которая время от времени и не очень интенсивно, но все же дебатируется на страницах американской русской печати.

Идея, как говорят старые эмигранты, не новая, существовала с самого начала русского рассеяния, были даже какие-то эксперименты по созданию русских анклавов в Парагвае, в Югославии...

"Третья волна" все прежние русские идеи основательно взбодрила. Есть люди, которые говорят: нас в Америке очень много, несколько сот тысяч, но все разбросаны на огромных пространствах этой страны. Неумолимо идет процесс ассимиляции, подрастающее поколение теряет язык и т.д. Нужно попросить правительство выделить кусок земли для создания русского этнического округа. Поднимем там рядом с американским трехцветный русский флаг, выберем учредительное собрание, разрешим существование всех политических партий, кроме большевистской.

Помилуйте, господа, улыбаются скептики, а что если жители вашей мини-России, подобно гражданам Острова Крым из одноименного романа, потребуют слияния с Великим Советским Союзом?

Серьезные люди говорят: искусственное создание подобных "стран" всегда кончается вздором, как, например, это случилось со сталинской Еврейской республикой в Биробиджане. Необходима экономическая или культурная почва, а лучше все это вместе взятое. Вот если бы правительство помогло основать Русский университет, тогда вокруг него постепенно мог бы возникнуть русский город. Что ж,

если этой идее когда-нибудь суждено сбыться, штат Вермонт для нее вполне подходящее место. Здесь даже есть городок под названием "Москоу".

Саша Соколов и его жена Карен сняли нам студию в одном из современных поселений в долине Шугар-Буш на высоте примерно тысячи метров над уровнем моря. Едва мы вошли и включили радио, как густой баритон из Монреаля запел: "Средь шумного бала случайно, в тревоге мирской суеты..." — как бы давая соответствующий настрой вперед.

Берут с нас здесь недорого, всего лишь 400 долларов в месяц при всех удобствах, включая плавательный бассейн и сауну. В зимнее время, впрочем, эта цена поднимается втрое, а то и вчетверо, ибо этот "Сахарный кустарник" как раз и является зимним горнолыжным курортом.

Вокруг на дивных склонах тянутся парнокресельные подъемники. В лесах проложены трассы и для равнинных лыж. В последние годы курорт, как, впрочем, кажется, и все курорты на земле, бурно развивается. Там и сям на зеленых склонах видны живописные ультрасовременные деревушки пресловутых кондоминиумов. Рядом с кондоминиумами располагаются спортивные комплексы с бассейнами, огромным количеством теннисных кортов и поля для гольфа.

Я все еще сопротивляюсь гольфу, хотя в моем нынешнем возрасте лучшего спорта, ей-ей, не найдешь. Идешь себе по чудному зеленому рельефу, махнешь палочкой, мячик катится в ямку, такое отсутствие социалистического реализма. И все-таки поеживаешься: это как-то все-таки слишком — гольф; это как-то уж чересчур для бывшего советского человека.

Любопытные все-таки на нас всех лежат печати и стереотипы "передового общества". Вот, например, сборы в дорогу. Три года мы уже живем на Западе, однако всякий раз, собираясь куда-нибудь на каникулы, невольно думаем, чем же нам надо на этот раз запастись, как, бывало, запасались растворимым кофе и мясными консервами перед отъездом в Коктебель. Жена недавно призналась, что у нее до сих пор все-таки слегка, как дома говорят, "не укладывает-

ся в голове", что в далеком Вермонте есть абсолютно все то, что есть в столичных вашингтонских магазинах, в Калифорнии, в Чикаго, на Аляске, в горах и пустынях. Приезжаешь в торговый центр деревушки Вэйтсфильд в долине Мид-ривер, видишь там даже разные стильные магазинчики и "Дары моря" со свежими устрицами, креветками и омарами и понимаешь, что мы, дети сталинской карточной системы и брежневского коррумпированного худосочия, никогда к этому не привыкнем.

Многие ресторанчики и магазинчики летом закрыты. Зимой, рассказывает Саша Соколов, долина преображается, как будто вливается новая кровь, масса лыжников и гуляк толпятся в барах, двери все время открываются, в клубах пара входят все новые гости, среди них много европейских профи.

Саша и Карен окопались здесь два года назад с целью написания романа вдали от "тревог мирской суеты". Карен работает во французском ресторанчике. Саша в основном пишет, иной раз колет дрова, прокладывает лыжню, словом, почти как граф Толстой. За сущие пустяки они снимают две комнаты в мансарде дома, стоящего на отшибе в густом сосновом лесу. Хозяева дома представляют собой что-то вроде коммуны стареющих американских хиппи шестидесятых годов. Для этой славной публики характерны доброжелательность и расслабленность. С мирными песнями они выращивают кое-какие растения и овощи, по вечерам "балдеют" в сопровождении музыки "регги", весьма напоминающей колотун сибирских шаманов. Один из них, по имени Скип, еще и скульптор, производящий небольшие белые формы, которые вдруг видишь в саду и думаешь: а это что за зверь?

Саше Соколову сейчас сорок. Четыре первых года этого срока он провел в Канаде, родившись в семье советского разведывательного офицера. Восемь лет назад он покинул необъятные просторы своей советской не-родины, получил канадский паспорт и теперь представляет из себя характерную фигуру русского писателя-изгнанника. В этом месте можно поставить риторический вопрос — хватит ли двадцати семи лет русской жизни для дальнейшего существова-

ния русского писателя, которого сейчас считают одним из самых многообещающих прозаиков нового поколения?

Помнится, еще при нас в Москве интеллигенция носилась с первым романом Саши "Школа для дураков". Он написал его в Союзе, а издал в Штатах. "Новый автор, новая проза" — так говорили о нем. Владимир Набоков дал высокую оценку. Саша работает медленно, и второй роман "Между собакой и волком" появился едва ли не через пять лет после первого. Говорят, что и эта книга в Москве была принята на ура. В эмиграции читатель пресыщенный, к тому же немало здесь и того, что в Союзе называется социалистическим реализмом, а здесь именуется ханжеством, но тем не менее и здесь репутация "второго вермонтского отшельника" (первый, конечно, Солженицын) все более укрепляется.

Однажды вечером мы отправились через перевал Роксбери-Гэп в гости к профессорам Володе и Лиде Фрумкиным. Там собралась интеллигенция на литературные чтения. В программе вечера Саша Соколов с отрывками из нового романа "Палисандрия". Автор основательно волновался: кажется, первое чтение на публике, представление пятисотстраничного романа, которому и отданы были вермонтские годы.

Герой романа, Палисандр Александрович Дальберг, незаконный племянник, а может быть, и сын маршала Берия, "кремлевский сирота", как определил его автор, что-то вроде "сына полка" в крепости Кремль. Это как бы вневременной, но внутриисторический дух, кочующий в особого рода литературе. Отрывок представлял из себя кусок метафорической прозы, полной языковой игры.

Поразило многих, насколько глубоко внутри русской культуры и языка находится этот человек, который иной раз месяцами не видит ни одного русского, у которого и жена американка, который и сам уже больше говорит по-английски. "Я совершенно не боюсь отрыва от языковой стихии, — говорит Саша Соколов, — мой русский никогда от меня не уйдет". Из этого следует, что молчит он по-русски.

Через неделю после приезда мы получили приглашение на Фестиваль русского искусства в Норвиче. Почетный ди-

ректор русской школы в Норвиче — один из ее основателей, профессор Монреальского университета Николай Всеволодович Первушин. Ему восемьдесят четыре года, он бодр, доброжелателен и любознателен. Если бы мне предложили угадать происхождение этого человека по его внешности, я, наверное, недолго бы думал, прежде чем сказать: Казанский университет. Гадать не приходится, он оттуда и происходит, то есть мы с ним оказались двойными, если не тройными земляками. Самое замечательное, однако, заключалось в том, что Николай Всеволодович был преподавателем моей покойной матери в Казанском университете, он и называет ее до сих пор Женей Гинзбург.

Когда знакомишься с преподавателями Норвичской школы, частенько слышишь благозвучные или, так сказать, основные русские фамилии: Осоргины, Родзянки, Волконские и даже Нарышкины. Ничуть не хуже рядом с ними, во всяком случае для любителей литературы, звучит фамилия Некрасов.

Виктор Платонович Некрасов тем летом прибыл из-за океана, чтобы сеять "разумное-доброе-вечное" среди американских студентов. В последние годы я привык его видеть за столиком парижского кафе в дыму сигарет "Голуаз", поэтому весьма странно было найти его на фоне буколического пейзажа, в шезлонге под чем-то развесистым. "Наверное, от скуки доходишь, Вика?" — спросил я. "Напротив, — ответил он, — блаженствую. Вив ля Вермонт!"

Некрасов принимал гостей и среди них Светлану Гельман, которая когда-то в бытность редактором на киностудии "Ленфильм" работала вместе с ним над фильмом "Солдаты".

Вместе мы отправились в местный театр. Фестиваль уже начался. Хор американских студентов исполнял русские религиозные песнопения.

Танцам в фестивальной программе была отдана львиная доля. Их поставила бывшая солистка Мариинского театра Калерия Федичева. Любопытно было наблюдать, как эта "суперстар", выступавшая на лучших сценах мира, волнуется за своих, прямо скажем, не очень-то профессиональных и иногда просто неуклюжих учеников. Мальчики

и девочки, впрочем, компенсировали все свои недостатки избытком энтузиазма, ну а федичевская хореография была хороша.

Зрительный зал и сцена в этом театре очень были похожи на какой-нибудь заводской клуб или дом культуры в СССР, и иногда под звуки гопака или молдовеняски взгляд невольно начинал искать лозунг "Решения пятидесятого съезда партии выполним!" К счастью, взгляд этого не находил.

Звучали скрипки (Венявский) и рояли ("Картинки с выставки"), забавный долговязый Нэтан изображал русского профессора, девушка из довольно известного семейства Дюпон, работая под простушку, вела конферанс. С успехом были исполнены песенки Новеллы Матвеевой тремя студентками из колледжа Оберлин, где профессор Владимир Фрумкин активно знакомит студентов (в том числе и при помощи собственного исполнения) с творчеством современных советских бардов Окуджавы, Высоцкого, Галича и других. Особым успехом пользовалась песенка Новеллы Матвеевой "Миссури", воспевающая этот, между нами говоря, вполне бытовой штат. В России, да и вообще в Европе, все эти американские названия, все эти "оклахомы" и "миннесоты", звучат как синонимы приключения, увы, многие из них не более романтичны, чем Тульская губерния.

В программе фестиваля были театральные представления Русского домашнего театра. Сначала был показан водевиль В.А.Соллогуба "Беда от нежного сердца". Кари Эйнхаус, Лиз Херд, Пол Нильсен, Кэти Суза и Джим Шинник с товарищами разыграли немыслимой трогательности историю сироты Настасьи Павловны, отца и сына Злотниковых, Марьи Петровны Бояркиной и Катерины Петровны Кубыркиной. Акцент исполнителей в данном случае играл благую роль, придавая тексту нечто многозначительное.

Гвоздем сезона оказалась гоголевская "Женитьба" в постановке молодого драматурга Анатолия Антохина. Я не очень хорошо знаю его историю, но приблизительно она выглядит так. Лет пять назад за выдающиеся успехи в области советской драматургии Антохина приняли сразу в две

отличные организации — КПСС и Союз писателей, а также наградили туристической визой в Италию. Последнее, так сказать, дополнительное отличие, оказалось основным: из Италии Анатолий домой не вернулся. История не столь уж нетипичная. Я знаю одного человека, который в течение нескольких лет делал комсомольско-партийную карьеру с одной лишь целью — получить визу на Запад... и проследовать вслед за многозначительным многоточием. Чего-чего, а историй вокруг хватает. Чуть ли не все наши знакомые русские — это ходячие сюжеты для небольших или больших приключенческих романов. Драматург Антохин, например, недавно женился на принцессе из дома императора Хайле Селассие, и вместе они дали жизнь еще одной эфиопской княжне.

В Норвиче Антохин умудрился с непрофессиональными актерами и — скажем мягко — с весьма ограниченными средствами сделать забавный спектакль. Начинается он прологом в стиле Театра на Таганке. На сцене восемь осуждающих господ в черных сюртуках и котелках и два Гоголя в простых рубашках — один оправдывается, другой молится. Трюк состоит в том, что пролог идет на великолепном английском языке, а затем начинается основное действие на косноязычном русском.

Режиссер ловко приспособился к обстоятельствам. Если в примитивке Соллогуба английский акцент актеров как бы выручает текст, то в замечательной комедии Гоголя акцент как бы еще прибавляет сюрреалистичности. Решая все это дело в буффонадном ключе, Антохин точно разработал движения актеров и даже в костюмах добился выразительности. Удачей спектакля был живой оркестрик с большой трубой, благодаря которому гоголевские герои очень естественно то прохаживались в танго "Кампарсита", то подрыгивались в ритме буги-вуги. Словом, удача!

Следует сказать, что в ту же ночь за двумя перевалами гор, у соперников в колледже Мидлбери другой режиссер Слава Ястремский показывал спектакль по пьесе Евгения Шварца "Тень".

Кончилась программа фестиваля, и послышались призывы: "Господа, теперь к Пападжану!" Имелось в виду ка-

кое-то кафе. Откуда, думаю, армянское кафе появилось в центре Вермонта? Оказалось, что так называют здесь бар "Папа Джо". Все, кто пришел, уселись за длинными деревянными столами под луной и, вняв тосту Некрасова, выпили за три волны эмиграции; пусть они плещутся вместе.

Однажды вечером в программе местных новостей, передающихся из самого большого (и все-таки не очень большого) города штата Вермонт Берлингтона, мы увидели репетицию компании скрипачей и виолончелистов. Это был довольно уже известный в Америке Камерный оркестр советских эмигрантов под управлением Лазаря Гозмана. Сам руководитель выступил и сказал, как им приятно репетировать на берегах чудесного озера Шамплейн, а также пригласил на концерт в собор Святого Павла и добавил: в качестве солиста выступит пианист Дмитрий Шостакович, внук великого русского композитора. "Митя!" — воскликнули мы и сразу решили поехать в Берлингтон, благо, что не так далеко, не более восьмидесяти миль по хайвэю 89.

Несколько лет назад мы встретили Митю и его отца, знаменитого дирижера Максима Шостаковича в Нью-Йорке. Это был, кажется, один из их первых вечеров в "Большом Яблоке", вскоре после решения не возвращаться более в страну, где до сих пор еще официально не отменено сталинское постановление "Сумбур вместо музыки". Компанией бывших москвичей мы сидели в открытом кафе, в том квартале Манхэттена, что называется "Маленькой Италией". Там, между прочим, на наших глазах, будто по заказу для новоприбывших, произошло довольно страшное столкновение двух враждующих клик итальянской мафии.

Митя, тогда девятнадцатилетний мальчик, поразительно похожий на деда, смотрел, широко раскрыв глаза: вот это да, вот это Америка, вот это кино! В самом деле все выглядело похоже на фильм Копполы "Крестный отец", только без выстрелов: работали ножами.

Спустя несколько недель после этого эпизода мы видели Митю и Максима в белых фраках в вашингтонском центре Кеннеди. Они исполняли Первый концерт для фортепи-

ано с оркестром деда и отца. Вот был триумф — дай Боже, не упомню второго такого в концертных залах.

В берлингтонском соборе Святого Павла любителей музыки собралось не менее тысячи. Публика на таких концертах, видимо, везде примерно одна, что в Ленинграде, что в Вермонте, такие специфические лица, явно не худшая часть человеческой расы.

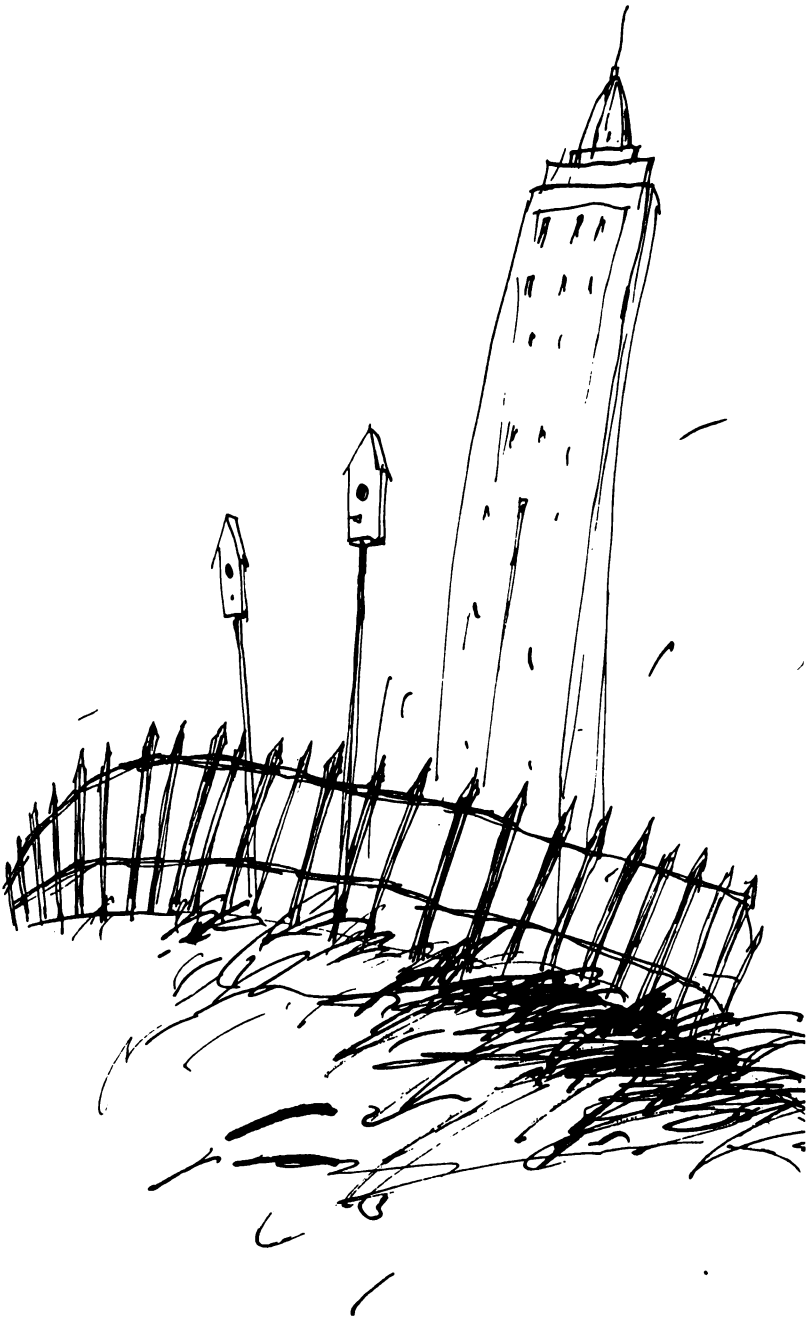
В программе вечера, как объявил Лазарь Гозман, было четыре гения, два английских — Перселл и Бриттен, и два русских — Шостакович и Прокофьев. По поводу последнего Гозман рассказал своей аудитории поучительную притчу.

Сергей Прокофьев и Иосиф Сталин умерли в один день. Газеты в тот день были заполнены всенародной скорбью по поводу отхода великого отца народов и вождя прогрессивного человечества. В них не нашлось места даже для сообщения о смерти музыканта. В марте этого года весь мир, включая и Советский Союз, отметил тридцатилетие смерти великого Прокофьева. В газетах всего мира появилось множество статей о его творчестве. О смерти тирана не вспомнил почти никто.

История красивая, но не совсем точная. Многие газеты мира напечатали статьи к тридцатилетию смерти Сталина, рассуждая на тему, как еще силен сталинизм в Советском Союзе, делая разные выкладки политического характера, и т.д. Другое дело, что никто не вспомнил чудовище добрым словом, это верно.

Оркестр советских эмигрантов (лучшего названия ребята не удосужились найти) составлен по принципу знаменитого баршаевского ансамбля. Сам Баршай тоже эмигрировал, но после эмиграции осел в Европе. Гозман и его друзья, однако, активно пользуются его оркестровками.

Митя Шостакович играл дедовский Первый концерт для фортепиано, ему "сопутствовала" на трубе приглашенная для этой цели Лорэйн Коэн. Концерт этот написан был дедушкой Мити, кажется, в середине тридцатых годов, когда он был близок к возрасту нынешнего исполнителя. Полное фантазии сочинение с вплетающимися джазовыми ритмами и какими-то урбанистическими конструкциями.



Когда концерт закончился, мы пошли в комнату музыкантов. Приятно было услышать знакомый жаргон — "чувак, чувак, эй, чувак". Музыканты эти, Саша Мишнаевский, Дмитрий Левин, Леонид Кейлин и другие, уже лет по восемь-девять живут на Западе, а вот все еще говорят в своем кругу на советском лабухском жаргоне. С одним из них мы слегка повспоминали сезон 1967 года в Коктебеле.

Мы пригласили Митю погостить в горах, он сразу же согласился, и мы поехали. По дороге нас догнала гроза. Молнии освещали белые домики и островерхие церкви. Митя рассказывал о своей жизни. За эти годы он окончил Джульярдскую музыкальную школу в Нью-Йорке и вместе с отцом объездил уже полмира — Гонконг, Сеул, Мельбурн, Токио...

Сейчас собирается на гастроли в Австрию и Швейцарию. "Эх, Гонконг, — говорит он с чудеснейшим мальчишеским восторгом, — вот это город, такая там идет "тусовка"..." Снова выплывает московский жаргончик. "Ну а как, Москву вспоминаешь?" — "Да, вижу иной раз, когда играю кое-что, как идет поземочка по Манежной..."

На следующий день в горах сияло солнце, и при виде ясных небес вспомнили популярное среди русской художественной интеллигенции слово "шашлык". Собралась большущая компания на пикник к Ирландскому озеру. Мы еще не знали некоторой специфики этого маленького круглого водоема, окруженного густым кустарником.

Верховодил шашлыком, разумеется, Юз Алешковский, известный своими кулинарными способностями не менее, чем своей густо наперченной прозой. Нагруженная припасами наша многочисленная экспедиция с женщинами, детьми и собаками медленно продвигалась вверх по горной дороге к озеру Айриш-Понд. Медлительность ее движения была обусловлена бесконечными и довольно увлекательными спорами о... — как когда-то писал поэт Евтушенко — "о путях России прежней и о сегодняшней, о ней". Наконец мы приблизились к озеру, и тут вдруг обнаружилась особенность этого места. Из кустов на шум наших голосов вышли голые люди: здесь, оказывается, располагался лагерь нудистов. Один из них спросил:

— На каком это языке вы разговариваете, народы?

Прошу прощения за повторение своей собственной шутки, но я ответил:

— Пушкин.

— Бушкин? — удивился голый гигант. — Это где?

— Между Китаем и Германией, и далее — повсеместно.

ШТРИХИ К РОМАНУ "ГРУСТНЫЙ БЕБИ"

1980

Боевой революционер Владимирленин Фиделькастро Карл Энгельс в майке Казанского университета по ночам гонял свой голубой "порше" в богатых кварталах. Даже вот и так, даже вот и просто нарушая сон буржуазии, ты приближаешь мировую революцию.

1983

В жизни ГМР произошел странный эпизод. В компании TWA он стоял за тремя японками.

— Пожалуйста, наши транзитные билеты, — сказали японки на понятном английском кассирше.

Та любезно улыбнулась и предложила японкам доплатить по пятнадцать долларов. Те ни слова не поняли и забормотали что-то между собой едва ли не в панике.

— Она говорит, что вам нужно доплатить по пятнадцать долларов, — любезно подсказал ГМР.

Японки просияли — дошло! Кассирша поблагодарила любезного господина за помощь. Последний остался в полном недоумении — на каком языке говорил с японками? Кажется, все-таки по-русски.

Пища для обобщений.

Радио в машине: "...Весь наш приход молится за то, чтобы семья Вильсонов поскорее преодолела трудности с водоснабжением... сгущение транспорта, начиная от выхода

№ 27 на протяжении пяти миль... молимся за то, чтобы Дэвисы выжили после бракоразводного процесса... Мич Снайдер закончил пятидесятиоднодневную забастовку, которую он предпринял с целью убедить правительство открыть в дистрикте еще один приют для бездомных... Меня интересует, Тэд, какая сейчас погода в Бейруте. Такая же, как у нас, или еще хуже?.. Столкновение трейлера и грузовика. По поверхности разбросаны канистры с токсическим материалом. Обсуждается вопрос об эвакуации населения... Сад чудес приглашает на бесплатную пиццу... новая гипотеза связывает происхождение торнадо с правосторонним движением... молимся за Линдона Хукса, начавшего ремонт своей фермы...“

1983

Когда бежишь, тебя никто не тронет. Кому ты нужен в беговом состоянии? Даже самому тупому ясно, что с тебя нечего взять, кроме пригоршни пота. Надо всегда бежать. Если бы я всегда бежал, я бы не попал сейчас в такое дурацкое положение.

Так рассуждал русский бегун Лев Грошкин, стоя под мушкой пистолета на темной улице Санта-Мелинды, возле дома вдовы профессора Девоншира, в котором он снимал за символическую плату альков, гардероб и душ. В гардеробе, между прочим, висели неплохие вещи покойного профессора, и вдова, которая души не чаяла в своем жильце, молчаливом улыбающемся русском, не возражала против их использования. Может быть, как раз из-за твидового пиджака Лева и был остановлен в тот вечер тремя практическими революционерами, направившими на него свой большой пистолет.

— Give me your wallet, man! — сказал старшой. — Or I'll make your jar fixed for good![1]

— Простите, ребята, я не понимаю по-английски, —

[1] Гони кошелек... или я начищу тебе физиономию будь здоров!

улыбнулся Лева революционерам в стиле международной молодежи.

Ствол пистолета красноречиво пошевеливался, модуляции голоса были вполне убедительными, однако Лева и этого не понимал, потому что не понимал по-английски.

— You mother fucker, give me your money, your watch, your jewelery, give all you possess, or I'll squash you on spot![1]

— Неужели непонятно, что мне ничего непонятно? — пожал плечами Лева и даже немного рассердился. — Идите на хуй, ребята, в самом деле!

Он повернулся и пошел прочь, думая о том, как в данном случае сбалансировать уровень адреналина в крови, чтобы предотвратить легкое дрожание лопаток. Над этим в будущем придется поработать.

Выстрела в спину не последовало. Революционеры сообразили, что ошиблись: думали, что пожилой буржуй идет в твидовом пиджаке, а оказалось — свой, молодой и в чужом.

1985

С труппой странствующего театра ГМР однажды оказался на юге Виргинии. Местные интеллектуалы показали ему холмы, на которых сто двадцать лет назад проходила битва Северной и Южной армий. Пока повествовали, впали в крайнее возбуждение, забыли и о гостях в яростных спорах, откуда наступала пехота, когда подвезли пушки, и где сшиблась кавалерия.

А какие же тут были потери, не без некоторой снисходительности спросил ГМР, но, получив точную цифру потерь, только присвистнул: побольше, чем при Бородине!

"Любопытное тут отношение к этой их Гражданской войне, — подумал ГМР. — С одной стороны, с таким пылом о ней говорят, будто она в прошлом году только закончилась, а, с другой стороны, никакой особенной ненави-

[1] Еб твою мать, гони монеты, часы, побрякушки, все, что у тебя есть, не то от тебя останется мокрое место!

стью к противоположной стороне не пылают. Герои, и южные, и северные, почитаются вместе. У нас же *там* (то есть там, у них) все наоборот. Гражданская война для людей едва ли не так же отдалена, как Ливонские походы Ивана Грозного, однако невозможно ведь себе представить в советском городе памятники "белым" Колчаку и Деникину рядом с "красными" Фрунзе и Котовским, как это можно увидеть, скажем, в Вашингтоне, где конные фигуры "северян" располагаются неподалеку от "южан". Советская хромограмма явно несравнима с американской магнитной стрелкой".

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

— Ты не возражаешь, если у тебя сегодня будет outdoor?[1] — спросила Ольга.

Февральское солнце заливало стены ее кабинета. Февральские цветы за окном чуть-чуть колебались под февральским деликатным бризом. Февральские зрелые грейпфруты по соседству отягощали ветви столь весомо и естественно, что, казалось, без них вид из окна будет нелеп.

В такие "зимние" калифорнийские дни "индорное" местонахождение тоже представляется несколько нелепым. Разумеется, я не возражал. Мы покинули департамент русского языка и литературы и пошли по кампусу Южнокалифорнийского университета в сторону лужайки, на которой посреди магнолий и агав возвышалось несколько королевских пальм, из тех, что всегда вызывают в душе некоторый, пожалуй, уже курьезный, романтический сдвиг.

— Я должна тебя предупредить, — сказала Ольга со смешком. — Твои сегодняшние студенты будут немножко необычными.

---

[1] Урок на свежем воздухе.

— Они пока еще все для меня довольно необычные, — сказал я: это был мой первый академический семестр после эмиграции.

— Ну а сегодняшние, пожалуй, будут из ряда вон выходящими, — загадочно произнес мой женский друг, профессор Ольга Матич, и погрузился в свои административные бумаги.

Мы сидели под пальмой. Множество колибри порхали в ветвях. Приятно то, что экскременты этих крошечных созданий совершенно невесомы; падая на тебя, они не оставляют следов, а их запах ничем не вредит всеобщему благоуханию.

— Что-нибудь вроде кентавров? — пошутил я, потому что в этом пункте полагалось пошутить.

— Что-то в этом роде, — буркнула Ольга и подняла голову. — А вот и один из них. Джошуа.

К пальме приближался черный юнец семи футов ростом. Вслед за ним появились два белых богатыря, косая сажень в плечах, Мэтью и Нэтан. Вскоре вокруг пальмы набралось десятка два гигантов и богатырей — Тимоти, Натаниэль, Бенджамин, Джонатан, Эбрахам и прочие, баскетболисты и футболисты спортклуба "Троянцы"; позвольте не продолжать список славных имен.

— Дело в том, что в университете поднялась кампания против наших спортсменов, — шепотом объясняла мне Ольга. — Стали говорить, что парни совершенно не учатся, а только гоняют мяч, превращаются в профессионалов. Президент обязал всех атлетов записаться на учебные программы, и вот, вообрази, почти все они записались на русский факультет. Впрочем, что это я шепчу, они же не понимают ни слова.

Расположившиеся вокруг пальмы в сидячих, стоячих и полулежачих позах "троянцы" являли бы собой зрелище грозное и античное, если бы не их яркие T-shirts и мальчишеские улыбки.

— О чем же мне с ними говорить?

— Ну, расскажи хотя бы об альманахе "Метрополь", — сказала Ольга и похлопала в ладоши. — Ребята, мистер Аксенов, который всего лишь полгода, как уехал из

СССР, расскажет вам о попытке организовать независимый журнал "Метрополь".

— Странно, что вы называетесь "троянцами", — сказал я студентам.

— Что же тут странного, сэр? — спросил Мэтью.

— Странно то, что существует какая-то очевидная юмористическая связь между, казалось бы, космически отдаленными явлениями. Дело в том, что альманах "Метрополь", редактором которого я имел честь быть, в Москве на партийном собрании советских писателей назвали "троянским конем империализма". Словом, у вас, "троянцев", сегодня появилась возможность узнать обо всех этих делах from the Trojan horse's mouth...[1]

Раскаты атлетического хохота качнули стволы пальм. Странно было рассказывать о наших московских вечных непогодах и слякотных литературных страстях этим столь прекрасным организмам, олицетворяющим, казалось, только лишь весь этот "sun & fun"[2] Южной Калифорнии, еще страннее было видеть на их лицах интерес к "метропольской" истории.

— А почему это вас не отправили в лагерь? — спросил Тимоти.

— В лагерь? — удивился Бенджамин. — Ты говоришь "в лагерь", Тим?

— Это не тот лагерь, о котором ты думаешь, — вмешался Натаниэль, — не спортлагерь, а концлагерь, как во времена Сталина.

— В чьи времена, Нат? — спросил Джонатан.

— Сталина. Передаю по буквам — Эс, ти, эй, эл, ай, эн...

Я поинтересовался у ребят, с какой стати они взялись именно за изучение русского. Пригодится, ответили они с весьма неопределенными улыбками. Восемнадцатилетний великан Эбрахам, уроженец острова Самоа и "текл" футбольной команды, сказал, что русский, возможно, понадобится, когда придется играть в футбол в СССР.

---

[1] Из уст троянского коня.

[2] Солнца и удовольствия.

— Однако в СССР, Эйб, не играют в этот футбол, — возразил я. — Там никто даже и не представляет себе этот ваш плечевой футбол.

Юноша нахмурился.

— Вы, конечно, шутите, мистер Аксенов? Давайте лучше поговорим о Достоевском.

С этого февральского "урока" прошло уже около пяти лет. За это время я повидал множество университетских кампусов по всей территории США: Berkely, UCLA, Stanford, Sonoma State, Irvine, Santa Cruz, Occidental, the University of Washington, Indiana University, the University of Michigan, the University of Kansas, Oberlin, Vanderbilt, Miami University, Ohio State, the University of Virginia, the University of Richmond, Columbia, CUNY, Hunter, Amherst, the University of Maine, Dartmouth, the University of Chicago, Boston University, Norwich, Middlebury, Sweetbriar, Princeton, Georgetown, George Washington, Johns Hopkins, and Goucher... по крайней мере полсотни городов американской молодости.

В общем и целом, несмотря на то, что для коровы иронии и в кампусах найдется хорошее пастбище, все-таки можно сказать, что университеты — это чудесная, ободряющая, очень положительная струя в американской жизни.

Само понятие "кампус" как крошечной автономии внутри гигантского государства звучит необычно и вдохновляюще для пришельца с Востока. В России некоторые старинные университеты (в частности, моя alma mater — Казанский университет) еще сохранили некоторые жалкие, чисто территориальные — скажем, ворота, скажем, забор, — следы прежней автономии от тех времен, когда ввод городской полиции на территорию университета вызывал скандал в либеральной прессе, однако это всего лишь жалкие следы, и миллионам советских студентов даже и не снится жизнь, похожая на кампус. Традиции тщательной заботы за счет свирепой дисциплины и комсомольской воспитательной работы, почти все учебные заведения растворены в больших городах, из аудитории в аудиторию часто добираются городским транспортом, да и не в этом дело — понятие университетской автономии звучит в СССР абсурдно.

Никогда прежде не думал, что буду заниматься просвещением юных умов. В Союзе писатель вообще далек от университета, а уж меня-то с моим статусом, который в течение последних лет быстро деградировал от "противоречивого прозаика" до "подрывного элемента", к учебному процессу и на пушечный выстрел бы не подпустили.

В американских кампусах фигура писателя привычна, как кокер-спаниель на лужайке перед домом. Престижная школа обязательно должна иметь одного или даже пару подобных субъектов, которые теоретически как бы облагораживают своим присутствием образовательное пространство, как бы вносят изюминку в тесто, парадокс — в коктейль-парти, чудаковатость — в общую панораму лиц, практически же — сидят на лагуне с отвисшими ушами, с полуоткрытым ртом (желательно, в нем трубка) и с теоретически невинным взглядом.

Кто больше выигрывает от этого симбиоза — университет или писатель? Я выигрываю от этого симбиоза ежемесячное жалованье, которое позволяет мне оплачивать хорошую квартиру в центре Вашингтона. Университет, оказывается, тоже имеет кое-какую экономию, если его писатель более-менее известен. Вот, например, Гаучер-колледж, где я уже третий год состою "писателем-в-резиденции". За рекламное объявление в "Балтимор сан" он платит цену, превышающую мое годовое содержание, между тем в любой статье обо мне или моих книгах гордое имя этого столетнего института упоминается бесплатно.

Отвлекаясь, однако, от "низких" (как в России говорят) материй и не будучи вполне уверенным в том эффекте, который производит на жизнь кампуса мое присутствие, присутствие моей жены и нашего щенка Ушика, вечно проносящегося по школьным полянам с огромными палками в зубах и пытающегося постоянно (писательский пес!) снискать аплодисменты у студенток, могу лишь сказать, что главным своим выигрышем от пребывания в кампусе считаю неизменный подскок настроения, когда обнаруживаю себя среди веселой и здоровой, как правило, благожелательной и любознательной молодежи.

Гаучер-колледж — одно из немногих оставшихся в стране сегрегированных по полу учебных заведений. Тысяча юных девиц — вот наш состав. В президентах у нас тоже женщина, историк Рода Дорси. К этому следует добавить, что вся мужская часть факультета — убежденные феминисты.

Америка, как известно, гораздо юнее России, она обделена многими нашими историческими активами вроде татарских набегов, сражений на льду озер с рыцарями Тевтонского ордена, вроде корабельных побоищ со шведами под многотысячными парусами и тому подобным, однако в смысле университетского образования мы стоим в историческом смысле почти наравне. За исключением средневекового Дерпта, старейшие русские школы ненамного старее американских, так что Гаучеровское столетие, которое празднуется в этом году, и для России звучит солидно.

Кампус расположен возле окружной дороги "Балтимор", и, для того чтобы добраться до него от моего дома в районе Адамс-Морган, что в центре столичного дистрикта, я трачу час с четвертью, катя в неиссякаемом потоке "комьютинга".

Включаясь в программу "advertising"[1], сообщу, что кампус — это 340 акров полян, паркинговых площадок и леса. На нем расположены учебные корпуса, включающие даже собственную астрономическую лабораторию, лекционные холлы, спортклуб с бассейном, библиотеку, экуменический храм; можно отправлять какие угодно обряды, за исключением посещения мумии Ленина, да и то лишь по причине нетранспортабельности оной.

Кроме того, имеются три поля для игры в травяной хоккей и лакросс, шесть теннисных кортов и конный клуб с соответствующими площадками для конкура.

Лошади, надо сказать, весьма украшают наших студенток, да и сами выигрывают в изящности от присутствия на их спинах грациозных юных леди. В довершение ассоциа-

[1] Объявлений.

ции с амазонками надо сказать, что стрельба из лука является здесь наиболее популярным видом спорта.

На этом сходство с мужикоборческими племенами, можно сказать, заканчивается. Особой враждебности к худшей половине человеческого рода мы здесь не заметили. Благодаря консорциуму с университетом "Джон Хопкинс" в наших классах можно видеть и мальчиков, а в автобусе shuttle, курсирующем между двумя школами, общение полов вообще нередко выходит из-под гуманитарного контроля.

Я уже упоминал в этой книге о панической стороне американской статистики. Каждый десятый студент в американских кампусах — алкоголик! Поверьте, господа, за все время своей академической активности, в поездках по всем этим многочисленным кампусам, перечисленным выше, я не видел ни одного студента, который был бы пьян в том смысле, что придается этому слову во Франции или Германии, не говоря уже о России.

Мои студенческие годы в Казани и Ленинграде были неизменно сопряжены с очень серьезными драками. Мы дрались из-за девушек на танцевальных вечерах или по спортивным причинам, или (чаще всего) без причин. Дрались поодиночке, группа на группу, курс на курс, факультет на факультет, институт на институт. Однажды движение на Каменноостровском проспекте было остановлено грандиозной дракой горного факультета Ленинградского университета и Первого медицинского института, в другой раз "электротехи" форсировали городской канал, чтобы неожиданно напасть на бал "Техноложки".

Даже намека на что-либо подобное я не заметил в американских университетах. Трудно себе представить, что когда-то эта публика или, вернее сказать, их молодые родители бунтовали в кампусах и жгли какие-то чучела. Американские студенты (нынче?) весьма благовоспитанные молодые люди. Наши девушки в Гаучер-колледже, пожалуй, сродни благородным девицам из Смольного института, впоследствии, увы, утратившего свое благородство до нулевой степени, когда девиц разогнали, а дортуары заняли большевистские комиссары. Надеюсь, что история не повторится на северной окраине Балтимора, возле beltway 695.

...В поисках "русской комнаты" я прохожу по коридору студенческого общежития. Мое движение по этим заповедным краям вызывает легкую панику. Хлопают двери, высовываются носы и щеки девчонок. Кубарем прокатывается из комнаты в комнату кто-то, не совсем одетый, мелькают розовые пятки и прочие окружности. "Девочки, девочки, мужчина явился!"

Хоть и смущен, а все-таки лестно. Отражаясь в разъезжающихся стеклянных поверхностях, внезапно заявившийся, а значит, интригующий *мужчина* в тренчкоуте, в авангарде несущий пучок усов и трубку, в арьергарде шарф и зонт.

Появляются две панковые панночки, слева фиолетовый клок, справа — зеленый. "Хелло, сэр, не хотите ли с нами проехаться в местный "Трезубец"?" Разноцветные хохлы дрожат от дерзновенности. Мямлю что-то неопределенное: спасибо за приглашение, как-нибудь в следующий раз, когда я немного повзрослею. Тут открываются все двери. Весь состав уже в полном порядке и высокомерен, как Мадонна. Ложная тревога, girls. Это всего лишь Аксенов, наш писатель.

Засим я уже волокусь вдоль стены, стеная, на манер апдайковского кентавра...

Да, пожалуй, невзирая на все эти так называемые сексуальные и наркотические революции, американские студенты на удивление чисты, благовоспитанны и даже — пусть в меня бросят камень — целомудренны. Сладкой травкой кое-где, может быть, и попахивает, но гораздо чаще попкорном. На семинарах вроде бы нет закрытых тем, однако трудно заподозрить наших девиц и парней из "Джона Хопкинса" в чрезмерно открытых отношениях. Скорее, уж можно вообразить "воздух всеобщей влюбленности" — Наташа, Соня, Николя, Денисов, Долохов, весь этот вальс начальных глав "Войны и мира".

Скорее, уж можно сказать, что советские комсомолки более развратны, чем наши "амазонки".

Благодарение Богу, поле американской славистики неи-

моверно широко. Обыгрывая русскую поговорку, можно сказать, что его и за несколько жизней не перейдешь. Пашут по этому полю, может быть, и не так уж глубоко, но с размахом: всходы кустистые. Не рискуя впасть в преувеличение, можно сказать, что американская славистика по масштабам не имеет себе равных в мире, включая и Советский Союз. Съезды двух основных ассоциаций американских славистов проходят в огромных отелях и напоминают атмосферу кинофестивалей.

Советским идеологическим держимордам эти масштабы не очень-то по душе. Среди них бытует мнение, что все славянские факультеты американских университетов — это филиалы ЦРУ. Для этой публики, надо сказать, весьма характерно, что они очень быстро начинают всерьез верить ими же изобретенной лжи. Еще охотнее они выделяют из какой-либо среды "козлов отпущения" и начинают их бурно, всеми своими "партейными фибрами" ненавидеть.

По сути дела все ученые-слависты США под подозрением, но самыми коварными, подрывными и злостными считаются Морис Фридберг (университет в штате Иллинойс) и Деминг Браун (университет в штате Мичиган). Почему выделены именно эти два почтенных ученых джентльмена, сказать трудно. Скорее всего их сочинения когда-то попались на глаза какому-нибудь цэковскому дядьке, скажем Альберту Беляеву, известному в Москве под кличкой "Булыжник — орудие пролетариата". Возмущенный отсутствием марксистского подхода, то есть несогласованностью с вышестоящими инстанциями, БОП вставил мичиганца и иллинойца в свои списки. С тех пор они там и фигурируют как главные враги, хотя за это время немало и других "врагов" появилось, покруче.

Разумеется, ЦРУ участвует в разработке некоторых программ, и некоторые выпускники-слависты идут на работу в американские разведывательные ведомства, однако доля этих государственных дел на поле американской славистики невелика. Количество студентов, "берущих русский", из десятилетия в десятилетие колеблется, и трудно сказать определенно, в зависимости от чего — спутник, детант, "холодная война", культурная эмиграция из СССР,

туризм, обмен женихами и невестами? Количество преподавателей же неизменно увеличивается.

Беженцы из России всегда находили приют в университетских кампусах. Легко ли придумать после всех революций, бегств, тюрем, расстрелов, чекистского любопытства лучший refuge, чем описанный Набоковым. "...Слегка провинциальная институция, характерная своим искусственным озером в центре хорошо продуманного пейзажа, пересекающими кампус увитыми плющом галереями, настенной живописью, представляющей местных ученых мужей в процессе передачи факела знаний от Аристотеля, Шекспира и Пастера". Набоковский профессор Тимофей Пнин вновь появляется в обличье московских и питерских интеллектуалов 80-х годов.

Мне все-таки удалось избежать полного "пнинства", и дело тут не в том, что мне не случалось предлагать аудитории wrong lectures[1], а в том, что университет вообще не был для меня единственным якорем. Можно было найти и альтернативы этому типу существования, однако все эти альтернативы посягали в большей степени, чем университет (во всяком случае мне так казалось), на мое писательское время, и потому они меня раздражали.

Кроме того, по ходу моей так называемой академической деятельности я стал испытывать прежде мне неведомое чувство.

Честно говоря, на университет я поначалу смотрел только лишь как на меньшее зло, однако со временем я вдруг стал получать прежде неведомое удовлетворение своей университетской работой. Раздумывая над этим, я вдруг пришел к вполне старомодному заключению — я нашел свою работу здесь *благодарной*.

Американская молодежь, в принципе, космически отдалена от моего предмета — современной русской литературы. Даже у самой интеллигентной ее части, которая имеет о нашей словесности хотя смутное, но все-таки какое-то

---

[1] Пнин прочел "не ту" лекцию и не в том университете.

понятие, существует подход к этому предмету, как к калеке. Да-да, конечно, имеются в наличии и благородные чувства, и симпатия, и желание помочь, но... — ну, что тут поделаешь... все-таки скучно, ребята, согласитесь, не очень-то весело все время иметь дело с унылыми, пришибленными, ущербными, такими... хм... угнетенными...

Мне важно было показать, что в литературных событиях России трех последних десятилетий кипела такая страсть, какую здесь и не видели.

Вот основные вехи одного из моих первых семинаров "Существование равняется сопротивлению". 1956 год — альманах "Литературная Москва", бунт против литературного сталинизма. Пастернаковский кризис. Первая Нобелевская премия. Глумление над Пастернаком. Противостояние "Нового мира" и "Октября" как отражение духовной борьбы шестидесятых годов. Возникновение журнала "Юность", молодая проза и ее развитие до открытого антиконформизма. "Поэтическая лихорадка", суперзвезды поэзии. Магнитиздат, советские барды, "человек с гитарой" как символ сопротивления. Солженицынский кризис, вторая Нобелевская премия. Изгнание Солженицына, исход писателей, последующие высылки. Самиздат и Тамиздат. Альманах "Метрополь" как последняя попытка прорыва через идеологические надолбы. Эмиграция...

...Когда говоришь с этими мальчиками и девочками из американских пригородов, которые могут быть без риска преувеличения названы страной массовой роскоши и благоденствия, о творчестве своих старых товарищей, говоришь о жизни, прежде им полностью неведомой, когда вместо туманного и пугающего пятна, именуемого Россией, перед ними начинает вырисовываться картина сложной духовной борьбы, сопротивления человеческого достоинства тоталитарному нахрапу, тогда понимаешь, что университет — это не просто тихая заводь, место, где ты получаешь свой ежемесячный чек; понимаешь, что игра все-таки стоит свеч.

Семинар по программе "Писательское мастерство" в большом среднеатлантическом университете. Я прихожу

на первое занятие и получаю от секретарши обескураживающую информацию: на ваш класс записалась одна студентка, но она, к сожалению, сегодня как раз бракосочеталась с другим (то есть не со мной) нашим профессором.

Очень хорошо, говорю я. Получается, значит, меньше, чем единица. В самом деле, какая прелесть. Надеюсь, мой счастливый коллега не будет возражать против наших редких встреч с его молодой супругой. А вообще-то с какой стати юная леди записалась в русский семинар накануне замужества? Перепутала с Индией?

На самом деле я, конечно, злюсь: не хотите ничего знать о моем предмете, ну и не надо. Паршивые *обобщающие* мысли — все, мол, *они* таковы.

Заглядываю в комнату, где должны проходить мои занятия с любознательной молодоженкой. Там, оказывается, двадцать душ меня дожидается. Оказалось, университетский компьютер немножко ошибся.

— Господа, молодые американские писатели, будущие коллеги, скажите мне, что вы знаете о современной русской литературе.

В ответ — девять мужских улыбок и одиннадцать женских: ничего не знаем.

— Ну хорошо, кто в конце концов может похвастаться, что он что-нибудь знает о литературе? Чтобы начать наш разговор, мне нужно хотя бы знать, какие имена современных русских писателей вам знакомы.

Общая молчаливая улыбка. Потом вверх полезла чья-то бровь:

— Как это? Солженицкин?

Я, признаться, многого и не ждал, но все-таки был удивлен, обнаружив, что выпускники университета, берущие уроки по классу писательского мастерства, то есть господа молодые американские писатели, не знают ни Ахматовой, ни Пастернака (тут, правда, кто-то поднял еще одну бровь — ах, да-да, "Доктор Живаго"... Джулия Кристи, Омар Шариф...), ни Мандельштама, ни Булгакова, ни даже наших эстрадных звезд Евтушенко и Вознесенского, не говоря уже об Ахмадулиной, Искандере, Трифонове, Битове...

Меня-то они как раз знали: в ту весну "Ожог" продавался во всех книжных магазинах, и обо мне чуть ли не каждую неделю писали в больших газетах. Потому-то и записались в мой семинар, что я был, как говорится, issue of the day[1].

— Стыдновато как-то, guys, — мягко пожурил я их.

Они мягко согласились: да-да, немножко стыдновато. Я видел, что на самом деле им не стыдновато.

Среди американской публики (тут, кажется, generalization допустимо, и не только в отношении американской, но и вообще западной публики) распространился страннейший снобизм. Если она чего-нибудь не знает, то это как бы означает, что это "чего-нибудь" просто еще недостаточно сильно, хорошо, примечательно, чтобы пробиться к просвещенному вниманию. Не публике должно быть "стыдновато", что она не знакома с предметом разговора, а самому предмету должно быть не по себе.

Слишком много всего, возражаю я сам себе, слишком много вещей, информации, рекламы. Однако, если этот снобизм уместен в отношении сортов шампуня, он все-таки в отношении русской литературы попахивает просто-напросто цивилизованной деревенщиной.

Однажды молодой профессор-славист рассказал мне со смешком о лекции хорошего русского писателя. Он, понимаете, старается вовсю, а в аудитории его никто и не знает, ни разу даже имени не слышали. "Экие невежды", — сказал я. "Невежды?" — изумился профессор. "Ну, конечно, профессор, ничем другим, как невежеством, это не назовешь".

Позднее на семинаре, о котором я сейчас веду речь, снобистская улыбочка как-то естественно испарилась. Ребята вдруг поняли, что и в самом деле оказались невеждами; они, впрочем, в этом не виноваты, просто никто прежде им об этом не говорил, ведь не знать сейчас современной русской литературы — это все равно что не знать литературы американской.

Меня поразило, с какой скоростью они проходили мате-

---

[1] Злобой дня.

риал. Разговор шел о начальных творческих импульсах, о том, что будит воображение и что толкает писателя к перу, о том, что превалирует в разных случаях — эмоция или идея, о мере факта и вымысла и т.п., однако разговор носил далеко не абстрактный характер, ибо он базировался на анкете, которую я провел среди десятка первоклассных писателей еще в 1975 году.

Как из "ничего" возникает "нечто"? На этот вопрос, противореча друг другу (а очень часто и самим себе), отвечали Белла Ахмадулина, Андрей Битов, Андрей Вознесенский, Анатолий Гладилин, Юрий Нагибин, Фазиль Искандер, Валентин Катаев, Юрий Трифонов, Анатолий Найман, Булат Окуджава.

Все эти авторы для моих студентов поначалу были пришельцами из terra incognita. Прошло, однако, не более двух недель, когда я получил первые papers.

Питер Оу написал о романе Фазиля Искандера "Сандро из Чегема", недавно вышедшем в английском переводе в издательстве "Рэндом хаус". Роман этот, по сути дела, нескончаемый эпос, посвященный родине автора, крохотной стране Абхазии, о которой Питер Оу даже и не слышал до нашего семинара. И вдруг, оказывается, наш Питер уже полностью в курсе дела, уже знает, что Абхазия, расположенная на восточном берегу Черного моря, в предгорье Кавказа, не что иное, как страна Золотого Руна, за которым плыли аргонавты. Он уже соединяет Искандера с общими корнями среднеземноморской культуры, уходя и в античные времена, к Гомеру, и к ренессансной традиции плутовского романа, говорит о специфике русскоязычного письма в сочетании с нерусской национальной сутью и о метафизике сталинского злодейства.

Сьюзен Кей взялась за Катаева, восьмидесятисемилетнего патриарха русской авангардной прозы, по сути дела, совершенно неизвестного в этой стране. Она откопала в библиотеке немногочисленные британские переводы катаевских книг и пришла в неописуемый восторг: "Guys, this is something!"[1] Далее она углубилась в весенние катаевские

[1] Ребята, в этом что-то есть!

времена, в "золотые двадцатые", и вышла на Булгакова, чтобы построить свою, вполне оригинальную концепцию: молодые писатели двадцатых годов пытались преодолеть клаустрофобию советского быта.

К концу нашего семинара студенты уже запросто называли Ахмадулину "Беллой", бодро расшифровывали криптограммы ее прозы и сравнивали метафору ее стихов с цветаевской и ахматовской, вникали в рефлексии битовских героев, проникали в трифоновские сумерки, прощупывали космические связи Вознесенского, попутно подвергая грибы и ягоды Евтушенко весьма тщательной инспекции.

На одном занятии мы устроили общую дискуссию на довольно веселую тему: "Есть ли будущее у русской литературы?"

Начал Крис Даблью. В отличие от всех других основных языков мира, а именно: от английского, арабского, испанского, французского, китайского, немецкого и даже португальского, — русский язык является языком только одного государства. Эта особенность роднит его только с японским. Печальная особенность, вздохнул Крис. Из нее проистекает, что русская литература может развиваться только в СССР, правящие круги которого не понимают литературы.

В спор вступила Лиз Кью. Однако, сказала она, русская литература может развиваться и в условиях диаспоры. Мне, например, литература русской диаспоры кажется более интересной, чем литература метрополии. Не исключено, добавила Лиз, что лучшие произведения конца двадцатого и начала двадцать первого века будут написаны как раз в русском зарубежье.

Почему бы нет, сказал Джордж Оу, но, с другой стороны, можно легко себе представить, что диаспора не создаст шедевра и что через поколение русская литература за пределами России просто исчезнет. Давайте взвесим отрицательные факторы. Эмигранты оторваны от единственной русскоязычной страны. Этот момент не может не оказывать отрицательного воздействия на их творчество. Теперь возьмем другую сторону "низкой прозы" — зарабатывать на жизнь пером в таких условиях чрезвычайно трудно. Следу-

ющее: вступает в силу процесс ассимиляции, который особенно интенсивно идет в таких странах, как США или Израиль, менее интенсивно во Франции и Германии. Этот процесс в конечном счете сработает, и второе поколение, ну, в лучшем случае, третье — уже потеряет способность к воспроизводству русской литературы.

Давайте взвесим теперь положительные факторы, предложил Патрик Ди. Литература некоторых народов, евреев, например, или армян неплохо выживала в условиях диаспоры. Кроме того, число русских за рубежом сейчас, возможно, превышает население Англии времен Шекспира. Довольно значительная публика, и процент интеллигенции в ней очень высок. Следующий довод. Если на протяжении семидесяти лет пришли три волны эмиграции, почему нам не ждать четвертую? В шестидесятые годы в наших университетах беспокоились, что случится, когда преподаватели, чей родной язык русский, выйдут на пенсию. Точно вовремя СССР оказал нам братскую помощь путем третьей эмиграции. Может быть, он и еще раз войдет в наши обстоятельства.

Аудитория писателя-эмигранта, заговорил Хью Эм, необязательно только эмигранты. Так или иначе, всегда существуют некоторые возможности перевода на язык страны-гавани, а в случае успеха и на другие языки. Нельзя упускать из виду и возможности распространения книг в Советском Союзе, или с разрешения режима в периоды возможной либерализации, или без разрешения путем радиопередач, самиздата, тамиздата, проникновения через кордон. Развитие современной технологии расшатывает идеологический забор. Космическое телевидение и передача информации в памяти микрокомпьютеров еще более расширяет эти возможности.

Основное преимущество, которое есть у русской зарубежной литературы, сказал Черил Си, состоит в том, что автор не скован нормами социалистического реализма, то есть советской цензуры. Кроме того, все, что он пишет, немедленно выходит в свет, ему не нужно писать "в стол", его не страшат наблюдающие органы.

Ну, хорошо, вступил Мелвил Ар, давайте теперь пого-

ворим о положении внутри Советского Союза. Один западный литературовед недавно писал, что, в принципе, советский режим ничего не имеет против хорошей литературы. (В этом месте, должен признаться, все присутствующие захохотали.) Этот ученый, продолжал Мелвил, пишет, что режим просто требует от литературы полного подчинения, а если такая подчиненная литература будет еще к тому же и хорошей, что ж, тем лучше. Даже при Сталине иной раз появлялись неплохо сделанные произведения, нет оснований не ждать их при Горбачеве или при следующем генсеке. Репрессии, "закручивание гаек" в СССР носят волнообразный характер, нельзя исключить неожиданной и более-менее устойчивой либерализации. В истории было много неожиданных поворотов. Ленин в 1914 году кряхтел, что вряд ли доживет до революции. Поворот в СССР может быть любого свойства: технократический, военный, националистический, а может быть, и без всякого поворота возникнет такая олигархия, которая наконец поймет, что литература — не такое уж серьезное дело, что она даже может быть полезной отдушиной для народного беспокойства.

Я бы тут добавил, сказал Роберт Эйч, что у писателей внутри Советского Союза, несмотря на "закручивание гаек", все еще остаются каналы самиздата и тамиздата. К сталинским временам сейчас вернуться трудно, сопротивляется прежде всего современная технология, магнитофоны, копировальные машины. А что если лет через двадцать и до советского населения дойдут микрокомпьютеры с программированием словесного производства, не знаю уж, как перевести то, что здесь называется word processing? Какой шаг вперед сделает самиздат! А что если в недалеком будущем сама книга как таковая начнет принимать форму маленького мягкого диска?

Вот так они спорили три часа напролет, молодые американцы из среднеатлантических штатов. У всех был чрезвычайно умный и позитивный вид, а я все время спрашивал себя: неужели не возникнет? Все-таки возник! Такова была, видимо, природа предмета, что не мог он не возникнуть, и в конце концов в кондиционированном воздухе американского университета появился русский метафизиче-

ский душок. Вскочил южанин Мэтью Эл и сказал, что, по его мнению, русской литературе необходимы репрессии! Без угнетения, без страдания она лишится свежести и выразительности, перестанет быть в традиционном понимании властительницей дум.

Что будем делать с этим Мэтью? Выгоним из класса? "Дайте ему подумать, дайте ему подумать!" — послышались голоса.

Мэтью с минуту постоял в задумчивости, а потом сказал, что снимает свое предложение. Русская литература и без советских закрутчиков всегда находила свои внутренние репрессии и страдания. Именно они дали ей место в мировой культуре, куда она со временем, рано или поздно, должна вернуться.

ВРЕМЯ ПРОБУЖДЕНИЯ: ВОСТОК И ЗАПАД

...Если бы случился в тот день на территории Гаучер-колледжа какой-нибудь советский визитер, и если бы пришлось ему оказаться возле аудитории Kraushaar, не поверил бы он своим ушам: благопристойное учебное заведение для американских девочек оглашалось хриплым неистовым голосом Владимира Высоцкого, советского полулегального барда, кумира улицы, ставшего после своей смерти в сорок два года народным мифом и символом неофициального единства.

Идет охота на волков, идет охота!
На серых хищников, матерых и щенков!
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты,
Кровь на снегу и пятна красные флажков...

Проходит некоторое время, и в той же аудитории звучат тоже не очень-то респектабельные, но все-таки более подходящие к обстановке песни Боба Дилана, Джоан Баэз, Симона и Гарфункеля.

Так проходил полугодичный семинар на тему: "Шестидесятые — время пробуждения: Восток и Запад".

Перед аудиторией из ста девиц сидели четыре лектора — Фред Уайт, Руди Лентулей, Богдан Сагатев и Василий Аксенов. Нетрудно догадаться, что я на этом форуме представлял Восток. Не будет хвастовством и сказать, что Гаучер-колледж вряд ли нашел бы в окрестностях Балтимора более подходящего человека для этой темы: я и в самом деле типичный представитель "советских шестидесятых", и меня, как и многих моих товарищей по послесталинскому литературному поколению, в советских условиях называли "левым".

Мои коллеги — профессора Фред и Руди, между тем, были типичными представителями "американских шестидесятых". Четвертый же, Богдан, американец русского происхождения, был молод и снисходителен.

...Мне вспомнился август 1968 года, когда внезапно, в одну ночь, за два года до срока, кончились "советские шестидесятые". В партийной газете "Правда" в те дни можно было увидеть очерки собственных корреспондентов из Праги и из Чикаго. Тот, что сидел в Праге, писал: "Советские воины научились различать контрреволюционеров по внешнему виду. Джинсы, длинные патлы, усы и бороды — вот отвратительная примета контрреволюции..." Советский кор из Чикаго сообщал, пылая восхитительным негодованием: "Чикагская полиция, зверски работая дубинками, преследует демонстрантов. Джинсы, бороды, длинные волосы — вот приметы "возмутителей спокойствия"!"

Как видим, было что-то общее между Востоком и Западом, а тот год, который мы называли "шестьдесят-проклятым", в странной степени оказался критическим для обеих частей света.

Некоторые исследователи полагают, что у "американских шестидесятых" прослеживается больше сходства с "русскими шестидесятыми" *прошлого века*, чем с нашим временем. Мне случилось однажды быть на лекции профессора Тома Глисона в Кеннановском институте, когда он успешно сравнивал взгляды и вкусы американских либералов-шестидесятников с базаровыми и рахметовыми российского девятнадцатого века. Столь успешные сравнения, возможно, не пройдут в отношении времен нашего после-

сталинского ренессанса хотя бы из-за путаницы с понятиями "левый" и "правый".

Советский опыт трудно сравнивать с каким-либо другим периодом истории по причине его уникальности. Даже германский нацистский эксперимент несравним, ибо он состоял только из взлета, завершившегося катастрофой, но не содержал в себе бесконечного периода гниения.

Два десятилетия назад Восток и Запад весьма смутно ощущали друг друга, процессы пробуждения Америки и России были различны, хотя временами просто диву даешься, как много было общего, особенно в сфере так называемой молодежной субкультуры.

Помнится, в сумерках Невского проспекта, у подъездов домов, где проходили запрещенные концерты рок-н-ролла, нам казалось, что Америка-то уж вся поголовно от мала до велика отплясывает вслед за Элвисом Пресли. Официальная пропаганда только подливала масла в огонь, изображая "американского империалиста" эдаким дергающимся рок-н-ролльным ублюдком. Вместо Святой Троицы этот жестокий дикарь поклоняется изобретенной им самим тлетворной триаде — "дурманной кока-коле, оглупляющей трудящиеся массы, жвачке "гуинго" и шумовой музыке — "джаст". Разумеется, мы не знали, что столпы пуританского общества не очень-то поощряли свободные ритмы и в самой Америке.

В одном из первых фильмов, показанных на семинаре, я с удивлением увидел эпизод, в котором отцы какого-то провинциального города обсуждают репертуар юного Элвиса. Без большого напряга эта сцена могла быть перенесена в отдел культуры Ленинградского обкома, и, что самое удивительное, — того же периода.

На этом семинаре профессора тоже были учениками. Мне, например, он дал немало пищи для размышлений. От чего пробуждалась Америка в шестидесятые годы? Может быть, прежде всего от своего провинциализма? Может быть, именно тогда великая страна, корчась в каких-то чуть ли не родовых муках, сметала рогатки изоляционизма, пробивала пелену застоя, чтобы стать не только экономическим и военным лидером Запада, но и его духовной

частью, войти в интеллектуальное, нравственное и эмоциональное движение, называемое сейчас "свободным миром", войти и возглавить его не только как самое сильное, но и самое свободное, самое открытое общество?

Чтобы представить себе силу этих родовых мук, надо вспомнить и предшествующее десятилетие, пятидесятые, когда погоду здесь делали консерваторы, и не те современные, просвещенные консервативные либералы, которым нынче я нередко аплодирую, а довольно дремучие ребята.

Речь идет не столько о пресловутой комиссии сенатора Маккарти, число жертв которой за все годы ее существования нельзя сравнить даже с одним днем деятельности славных сталинских "органов", а о всей той атмосфере ханжества и затхлости, которая тяготила выросшую американскую интеллигенцию.

Одним из ключевых моментов семинара был показ фильма "Выпускник". Символическая сцена, в которой юный Дастин Хоффман стальным распятием разбивает двери церкви, чтобы похитить из-под венца свою "настоящую любовь", дочь его "светской любовницы", поразила меня своей наивностью, столь же неподражаемой, сколь и наивность юного московского актера Олега Табакова, рубавшего в каком-то фильме того же времени дедовской кавалерийской саблей дорогую мещанскую мебель в квартире родителей.

Дальнейшие параллели. Литература "битников". Сомневаюсь, что она оказала какое-либо значительное влияние на современную ей русскую литературу нашего времени (то есть на нас), однако весь стиль и синкопированный образ жизни "битников" и в самом деле отразились на образе жизни их сверстников в Восточной Европе, в Москве, Ленинграде и Львове. Проследив же родословную всех этих молодежных нонконформистских движений, мы неизбежно придем к футуристическим группам предреволюционной России. Любопытно, что образ жизни студенческой коммуны провинциального советского университета (все эти Филимоны, Парамоны, Спиридоны и Евтихии, называвшие себя именно "футуристами" и культивирующие "аван-

гард") не очень-то отличался, в принципе, от жизни "битнической" среды.

Марши и фестивали протеста. Явлений, подобных американским, в Советском Союзе, конечно, быть не могло по причинам вполне понятным: там, где в США в ход шли дубинки, в СССР неизбежно пошел бы свинцовый дождь, однако "Бульдозерную выставку" русских художников по ее экстраординарности легко можно приравнять к самым дерзейшим эскападам американских радикалов.

Американская сторона на семинаре вспоминала романы Хеллера, Воннегута, Мейлера, русская (то есть ваш покорный слуга) говорила о Вознесенском и Солженицыне.

От какого кошмара пробуждался Советский Союз в шестидесятые годы? Вот тут уже все параллели растворяются в неевклидовом пространстве, ибо нельзя сравнить ни с чем неописуемые злодеяния революции на ее подъеме и на их вершине, когда под руководством Сталина было создано безнадежное, казалось бы, общество стукачей, жалких конформистов и тупых карателей. Советский "сон" при самом бурном воображении нельзя было сравнить с "American Dream", против которого бунтовали здешние радикалы. Это был кошмар ночных звуков и теней, застойная инерция страха.

В принципе, огромная кровавая работа, проделанная революцией, предусматривала возникновение поколения рабов. "Пробуждение" российской интеллигенции было категорически не предусмотрено, это было просто самое настоящее чудо.

Этот семинар открыл перед двадцатилетними американцами прежде совершенно неведомый мир. Они и свои-то шестидесятые еле различали сквозь калейдоскопическое мелькание ежедневных событий и лиц, а о советских-то вообще не имели никакого понятия. Достаточно сказать, что Никиту Хрущева многие из них полагали просто-напросто героем моего романа "Ожог".

Вдруг оказалось, что в Советском Союзе, стране тошнотворных даже для невинных мэрилендок социалистических соревнований, колхозов и обкомов, бушевала когда-то какая-то странная "поэтическая лихорадка", пели неофици-

альные барды, устраивались выставки запрещенных художников и тайные концерты джазистов, функционировал самиздат, это, пожалуй, уникальное явление мировой культуры, вспыхивали кампании так называемого подписантства, когда тысячи представителей прежде столь послушной советской интеллигенции ставили свои подписи под письмами протеста против возрождения сталинизма.

Карнавал американских шестидесятых принес в страну довольно сильное и продолжительное похмелье, однако и огромные достижения того времени очевидны. В целом можно сказать, что поколение шестидесятых в этой стране добилось своей цели, если видеть этой целью развитие американского либерального общества. Может быть, есть и какое-то разочарование, но там, где у американцев разочарования, у нас, "советских шестидесятников", — крушение. Искоренение вольных надежд того времени — основная забота власть предержащих. Так что для Советского Союза — это время следует назвать не "временем пробуждения", а скорее временем блаженного короткого сна.

ШТРИХИ К РОМАНУ "ГРУСТНЫЙ БЕБИ"

1983

— Ложись! — крикнул ему встречный — джентльмен в костюме "Поло".

— С какой стати? — пожал плечами ГМР.

Комок уплотненного воздуха толкнул его в ухо. При отсутствии опыта уличных перестрелок не сразу разберешься, что мимо пролетела пуля.

Любезный встречный сам уже лежал, засунув голову за автомат "Кока-колы". Все, случившиеся быть в этот момент на перекрестке 19-й стрит и L, тоже лежали, одна лишь бойкая старушка в зеленых тонах сохраняла вертикальное положение, маскируясь кустом пирамидального можжевельника, что призван был придавать этому город-

скому перекрестку идиллический колорит. Только ГМР не лег и не замаскировался, не успев сообразить в течение этих очень важных секунд, что мечущийся по перекрестку черный юнец — вот именно — стреляет куда попало из пистолета.

Взвыли сирены, эти постоянные спутники нашего городского уюта. Черный "мент" прыгнул сзади на черного "урку". Второго "урку" уже выволакивали из подъезда с заломанной назад рукою. Предвидя телевизионное око, он закрывал лицо полой разорванной рубахи. Телевизионщики и впрямь уже неслись, опережая и "скорую помощь", и тюремную карету. Камеры четырех конкурирующих компаний заработали, и все сразу заиграли для вечерних новостей — и комиссар, и детективы, и санитары, и копы оцепления, и публика.

— Восемь человек убиты наповал! — завизжал женский голос по-русски.

Кричала популярная в этом районе нищенка-эмигрантка, которая вот уже три года требует от американского правительства материальной компенсации за вывезенный из Витебска страшный химический секрет коммунизма.

— Что это все такое? — удивлялся ГМР. — Киносъемка какая-нибудь дурацкая или просто экзистенциализм в действии?

— Ни то ни другое, мой друг, — сказал ему тот первый доброжелатель, джентльмен в костюме "Поло", отряхивающий с колен прилипшие пластмассовые вилочки и ложечки. — Просто те два "гайз" решили сделать "холд ап" в ювелирном магазине "Свадебные кольца", а их там ждала засада. Весь беспорядок вызван именно этим недоразумением.

1985

Неудержимое развитие этнической кулинарии порой приводит к какой-то неслыханной дерзости. Чего стоит, например, французский ресторан, представивший на своих стенах панораму города Ла-Рошели с только что выловлен-

ной из портовых вод зеленоватой мясистой русалкой на первом плане? Невольно усомнишься в благочестивости гугенотов.

Ну а в непальском храме еды по соседству можно неожиданно столкнуться с пренебрежением научными законами развития истории. Молодой хозяин вдруг начинает изъясняться с тобой настоящей московской скороговорочкой. Оказывается, пять лет проучился в Университете имени Патриса Лумумбы, но вот вместо продвижения передовой теории в практику "третьего мира" решил посвятить себя пищевому бизнесу в "цитадели капитализма". Знали бы товарищи из ЦК КПСС, куда порой уходят спецфонды.

Курьезы и курьезы. Всему миру Эфиопия представляется полем голода, а у нас, в Адамс-Моргане, один за другим открылись три эфиопских ресторана. Афганские муджахеддины и советские вертолетчики охотятся друг за другом в той далекой горной стране, а в ресторане "Кабул Вест", что в Бетесде, можно порой встретить советских любителей шашлычка.

Это сближает, как говорили когда-то в Москве, это и с толку сбивает: ведь русскому борщу нередко приходится отдуваться за немецкие мудрости с перцем.

1990

Спазмы ностальгии.

Из всего состава астронавтов на орбитальной станции "Америка Спейс" мистер Флитфлинт считался наименее сентиментальным, однако и он расхлюпался на концерте землянина Славы Ростроповича, а когда виолончелист закончил выпиливание своего Бетховена, Флитфлинт попросту попросил:

— А теперь, друг, сыграй нам, пожалуйста, "Грустного беби"!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Однажды мы ехали вверх, из Флориды в Вашингтон. Радио внутри машины без перерыва несло какую-то местную чушь про "суперпиццы" и "гипербарбикю" и передавало так называемую музыку, какое-то будто компьютеризированное варево из "регги" и "рока" с тяжелым грохотом и кошачьим подвыванием. Иногда я переходил на другую волну, но везде было то же самое.

Кончался зимний сезон во Флориде, и фривэй выглядел, как Коннектикут-авеню в час пик, с той только разницей, что все бесчисленные машины шли со скоростью 65 миль в час.

По сторонам неслись символы цивилизованной глухомани, призывы бензина, жареного мяса, сластей и пощипывающих язык напитков.

Как вдруг я испытал острейшее ностальгическое чувство. Будто воочию, я увидел ночные пустынные улицы вокруг старого здания Московского университета, снежные сугробы вдоль тротуаров, луну в морозном кольце... ночная пустынька, конец первой молодости, очередная влюбленность...

В недоумении я даже замедлил бег. Боже правый, что вызвало столь острую московскую ностальгию на границе Флориды и Джорджии? И вдруг догадался — джаз! Станция университета в Джексонвилле пробилась в мое радио с саксофоном Джерри Маллигана. Редкий гость американского эфира, американский джаз напомнил проезжающему по Джорджии эмигранту московскую ночь двадцатилетней давности.

Оказалось, что джаз не так уж и популярен на своей родине. Его едят здесь люди только определенного сорта — подпорченный чувством международного города сорт людей.

Для моего поколения русских американский джаз был безостановочным экспрессом ночного ветра, пролетающего над верхами "железного занавеса".

Почему нацисты и коммунисты ненавидели джаз? Может быть, из-за его склонности к импровизациям? Может быть, если бы все игралось по нотам, они были бы терпимее?

Первые выловленные из эфира на программе "Голоса Америки" в пятидесятые годы звуки "би-боп" распространялись в России на самодельных пластинках, сделанных из рентгеновских пленок. Труба Гиллеспи и кларнет Гудмана проходили через тени грудных клеток, бронхов и потревоженных силикозом социализма легочных альвеол. Подпольная индустрия этих пластинок так и называлась "Джаз на костях".

Вот вам картина из далекого советского прошлого. Юнцы в свитерах с оленями вокруг чемоданного патефона. Придавленная в центре, чтобы не вспучивалась, перевернутым бокалом крутится самодельная пластинка с тенью здоровенной фибулы или мандибулы.

В 1967-м ведущий программы "Час джаза" Уилис Кановер приехал в СССР на первый международный фестиваль джаза. За ним ходили, как за мессией. Бархатный голос американца в невероятном клетчатом пиджаке повергал в сущий трепет, слышался эллингтоновский "Take "A" ...все эти наши платонические рандеву со свободой.

Переносясь в Европу, особенно в ее восточную часть, джаз становился чем-то большим, чем музыка, он приобретал идеологию, вернее, антиидеологию...

В шестидесятые годы второй, после Штатов, джазовой страной мира была Польша, третьей, наверное, Россия.

Вначале играли на танцевальных вечерах, в каких-то занюханных клубах и арендованных школьных спортзалах. Постоянные скандалы с комсомольской дружиной. Потом стали устраиваться специальные джазовые концерты в научных институтах. Комсомол вдруг объявил себя "спонсором" джаза при одном лишь условии — не играть "фирменных", то есть американских тем, развивать "джаз с русским акцентом". Джаз без американских тем, то есть как бы русская тройка без лошадей...

Образ джазового музыканта кочевал из одной моей книги в другую. Больше всего поражала меня преданность русских джазистов своему искусству. Эти немногословные юноши играли джаз без всяких надежд на успех, на деньги, на признание. Порой во времена сильных "зажимов" они, подобно древним христианам, уходили в буквальное подполье, играя в котельных и подвалах. Они как бы и не пытались оправдываться, выискивать объяснения своей преступной страсти, просто уходили, если их гнали, являлись без колебаний, если за ними посылали. Что поделаешь, как бы говорили их не особенно выразительные лица и согбенные фигуры, такой уж мы народ, джазовые.

Отделяясь от основной, здоровой массы, они даже выработали свой "птичий язык". Иные из них старели, другие оставались юношами всю жизнь.

Что я писал о джазе в разные времена?

1970-й. "Нью-Орлеанские поминки на Новом Арбате"...

"...Я посмотрел вокруг и увидел сотни две или три знакомых лиц, музыкантов джаза и наших девочек. Все постарели немного, но все еще были красивы, а некоторые даже стали лучше...

...Все пришли в тот вечер и играли и hot и cool, как будто и виновник тризны, погибший барабанщик, с нами, как будто просто шикарный jam, и только лишь временами из темных глубин заснувшей кухни просвистывал ветерок пронзительной печали...

...Вот так иногда хочется обратиться к широкой публике. Прошу вас, сядьте! Прошу вас, прекратите стучать, хрустеть, цокать, щелкать, сморкаться и ржать! Прошу вас, дайте музыкантам играть: ведь жизнь коротка, а музыка прекрасна!"

1969-й. "...Из полуоткрытых окон несся жуткий вой, это играл на своем баритоне Сильвестр. Он заглушал все звуки и перекрывал аплодисменты... когда он дует в свою кривую трубу, кажется, что это нечистый дух... всю жизнь

ему закрыл джаз... Переоценка ценностей. Как тебе не стыдно все это играть? Никакой ведь это́ не джаз и не музыка. Власть все-таки права — "русских мальчиков" нельзя никуда пускать, ни в джаз, ни в литературу, везде они будут вопить селезенкой и выхаркивать обрывки бронхов, и джаз превратят в неджаз..."

1977-й. "...Майским вечером на открытой веранде литературного ресторана "Набоков" Антон играл на саксофоне для своей беременной жены. Выпросил инструмент у музыкантов — дайте немного поиграть для жены, она у меня очень беременная. Дали, попросили только слюни не пускать... Кумир подземного перехода на станции метро "Шатле" заиграл в стиле "ретро" мелодию "Сентиментальное путешествие"...

...Хватит с меня политического дурмана, забуду все русское, буду на саксофоне играть... есть в самом деле другая, сентиментальная память..."

1963-й. "...Строителям коммунизма джаз не нужен, вся эта херня не нужна. Им песня нужна, романтика!

— Это ошибка, товарищ! Заблуждение! Джаз может помочь и строителям. Джаз ведь это тоже романтика! Я берусь со своим кларнетом за два часа привить вам любовь к джазу!

— Проверьте документы у этого товарища!.."

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Американцам трудно представить размах этого довольно странного увлечения советской молодежи. В этом и в самом деле есть нечто загадочное — почему "русские мальчики" так страстно полюбили музыку столь отдаленной страны? Может быть, отгадка как раз и состоит в ее отдаленности, почти стопроцентной недоступности? "Западни-

чество" русской молодежи уходило за дальний горизонт, Америка вбирала в себя все обертоны и синкопы Запада, американская музыка придавала русскому мечтателю "лица необщее выражение".

МОСКОВСКИЕ ОБИДЫ

В середине семидесятых в Москву приехал Оскар Питерсон со своим трио. В аэропорту его встречали какие-то дубы из Госконцерта, которые, очевидно, никогда ничего о великом пианисте не слышали. Очевидно, они думали, что это просто очередная негритянская делегация, ну а раз негритянская, значит, *прогрессивная*, стало быть, можно не церемониться.

Питерсона и его ритм-секцию отвезли в клоповник по названию "Урал" да еще, кажется, поселили по двое в комнату. Пианист начал волноваться, потребовал другой гостиницы, первоклассной, ибо такой он и заслуживал. Ничего не получив, пригрозил уехать. В Госконцерте ухмыльнулись — никуда, мол, не уедет "чурка". На следующий день еще и другие посыпались удары по самолюбию "звезды" — не пустили репетировать в том зале, где предстояло играть, привезли на репетицию в какой-то клуб, где рояль еле стоял на ногах из-за постоянного выколачивания на нем гопака и молдовеняски. Больше всего Питерсона поражало, очевидно, полное равнодушие Москвы к его приезду — ни прессы, ни телевидения, ни фанов...

Между тем люди полуподвального московского джаз-клуба носились по городу, высунув языки, пытались установить, где живет великий и любимый.

Разъяренный Оскар собирает ноты. Видавшие виды полы гостиницы "Урал" прогибаются под его гневными шагами. Come on, guys! Let's go out of here![1] Квартет, ничего никому не сказав, отчаливает в Лондон, к Ронни Скотту.

---

[1] Давай, ребята, отваливаем отсюда!

Больше в эту слякотную промозглую бездушную Москву ни ногой!

Не знаю, справедливо ли оскорбился пианист или немножко слишком капризничал, может быть, расовое чувство как-то было ущемлено: в Москве нередко негры ловят на себе нехорошие взгляды, но все-таки не думаю, что он вот так запросто улетел, сорвал концерты, если бы увидел тех, кто пришел его слушать.

К вечеру на Берсеневской набережной, вокруг Театра Эстрады, собралось несколько тысяч человек. Билеты были в лучшем случае лишь у одной трети толпы. Остальные "скучковались" только лишь для того, чтобы приобщиться, подышать хотя бы чуть-чуть воздухом мирового джаза. Многие прилетели из других городов, была даже целая когорта из Хабаровска. Грузинские фанаты, конечно, предлагали за билет любые деньги, коня, кинжал, жену...

Когда мы туда приехали с друзьями за полчаса до начала концерта, по толпе уже рябью пошли тревожные слухи. Концерта не будет! Разумеется, предполагалось поначалу, что власти запретили джаз. Опять *они* не дают *нам* слушать музыку. Вот гады, что им дался джаз?! Экое издевательство — пригласить Питерсона, а потом запретить! Вас только это удивляет? Да чем они там думают? Ты что, не знаешь, — чем?

На ступенях у входа в театр можно было видеть массивную фигуру известного в наших кругах пианиста. Зажав в зубах паршивую сигарету, он хранил молчание. Всю жизнь его называли "московским Питерсоном", он даже и похож был немного на черного прототипа. Приученное к огорчениям, его лицо, казалось, медленно сейчас свыкается с очередным фиаско, с крушением надежд увидеть *Его* своими глазами.

Я сказал, что слушал Питерсона в 1975 году в Лондоне в Роял Фестивал-холл. Кто-то рядом услышал эту фразу. Слух быстро распространился — здесь есть человек, который слушал Оскара *живьем*! Толпа вокруг меня уплотнилась. "Расскажите, пожалуйста, как это было".

Я стал рассказывать о том лондонском вечере и отвечать на вопросы.

— Какая там была публика?

— Молодежи было мало, в основном сорокалетняя публика и старше. Треть мест была пуста.

— Слышите, ребята, треть мест была пуста! А что он играл? Товарищ, что он тогда играл?

— В основном классику играл, золотой фонд.

— А ритм-секция в каком была составе? Басист такой-то? Ударные — такой-то?

На эти вопросы я не смог ответить. Они знали джазовые имена гораздо лучше, чем я.

— Там потом появился еще один старый саксофонист, — припомнил я. — Питерсон сказал, что это сюрприз.

— Как?! — вскричали фаны. — Прямо так и сказал?!

— Ну да, встал и сказал: сюрприз для почтеннейшей публики. Он очень хорошо играл, этот старик.

— Кто же это был?

— Да вот что-то не помню, имя как-то вылетело...

— Черный или белый?

— Простите, ребята, — сказал я не без смущения, — что-то не помню, черный или белый... помню только, что с седой козлиной бородою... Колмен Хоукинс! — вдруг вспомнил я. — Да-да, это был именно он.

— Колмен Хоукинс! — вскричали люди в толпе. — Да как можно забыть это имя?! Братцы, этот товарищ в Лондоне слушал Питерсона и Хоукинса *живьем*!

Неожиданно я оказался в центре внимания. Мои не очень-то толковые воспоминания передавались из уст в уста в глубину толпы. Я чувствовал себя неловко, как будто что-то стащил с алтаря джазовой славы. Народ, однако, смотрел на меня с неподдельным восхищением и, как в Советском Союзе говорят, с "хорошей завистью". Никто, кажется, не понимал, что перед ними довольно известный писатель, я был здесь просто "товарищем, который Питерсона и Колмена Хоукинса слушал живьем". Стоявший вплотную к рассказчику провинциальный интеллигент снял шапку и вытер ею потное лицо.

— Ну вот, все-таки не зря прилетел из Саратова, — вздохнул он. — Все-таки хоть вас послушал, товарищ... Ну а в Америке вам не приходилось джаз слушать?

Для сохранения правдоподобия я соврал:

— Нет, не приходилось.

Толпа на Берсеневской набережной, охваченная общим и несколько пьянящим чувством разочарования, не могла разойтись в течение нескольких часов. Через реку на нас, словно бесстрастная стража, смотрела группа кремлевских башен.

В это время Оскар Питерсон в самолете приближался к Лондону. Праздные в тот вечер, его гениальные пальцы чуть-чуть пошевеливались на коленях, как бы нащупывая минорную импровизацию "Московские обиды"...

Среди новых русских иммигрантов в Америке есть некоторое число людей, которые оставили СССР и прибыли сюда не в последнюю очередь для того, чтобы слушать джаз. Удается ли им на родине этого искусства, где легендарные имена их кумиров волей-неволей утрачивают часть своего серебристого звучания, сохранить свой энтузиазм сродни тому, которым, например, всю жизнь пылает мой одноклассник Генка Кваркин, ныне генерал Советских Военно-Воздушных Сил?

СТРАСТЬ ГЕНЕРАЛА

За полгода до выезда из СССР я встретил Генку Кваркина в подземном переходе на Манежной, и он пригласил меня в гости. Надо сказать, я удивился: меня уже тогда далеко не все друзья приглашали в гости, а тут еще советский генерал со здоровенными звездами на плечах. Впрочем, если он и слышал о моих делах, то уж только краем уха. В ушах у него и в самом деле не очень-то много места было для посторонних звуков. Он всю жизнь был джазоманом и всегда напевал, насвистывал или просто пальцами постукивал по столу в такт джазовым мелодиям типа: "I'm beginning to see the light" или "Those foolish things".

В студенческие годы, когда я учился в медицинском институте, а он в военно-воздушном училище, мы оба были вовлечены в увлекательный бизнес "джаз на костях", обменивались рентгеновскими снимками и последними новостями, почерпнутыми из программ Уилиса Кановера и "Радио Монте-Карло"

Позднее, когда я уже стал писателем, а Генка делал свою военную карьеру, мы временами встречались и всякий раз начинали разговор с джаза. Рентгеновский период уже ушел в прошлое. Музыка переписывалась на магнитофонах с контрабандных западных пластинок. С увеличением звезд на плечах Генки Кваркина увеличивалась и его джазовая эрудиция, увеличивался и его энтузиазм. Однажды он даже прочел мне какие-то джазовые стихи, сочиненные, по его словам, каким-то его другом, но не исключено, что и им самим. Что-то в таком роде:

Трубит Армстронг в свою трубу,
А во дворе играют дети...
Предугадавшему судьбу
Не так-то просто жить на свете...

или

...Но Майлзу Девису сказали,
Что вряд ли кто-то в этом зале
Его каденции поймет,
И он, встревоженный и хмурый,
Всю ночь сидит над партитурой,
Ошибку ищет... не найдет...

Любопытно, знало ли командование об этом увлечении офицера стратегической авиации, предназначенной в конце концов для бомбардировки страны джаза, то есть Соединенных Штатов Америки?

В истории советского джаза еще предвоенной поры есть одно удивительное имя высшего морского офицера, флагсвязиста Балтийского флота капитана Колбасьева. Он был, без преувеличения, самым крупным знатоком джаза, к его уникальной фонотеке в квартире на Моховой улице в Ленинграде обращались профессиональные джазисты. Следуя

американской традиции, один из них написал для капитана Колбасьева пьесу "Блюз Моховой улицы". Трудно сказать, как реагировало флотское начальство на увлечение своего флаг-связиста, одно вполне можно вообразить, как реагировали на это чекисты Ленинградского НКВД, в 1937 году арестовавшие и убившие славного капитана.

Времена нынче все-таки другие. Карьера Генки Кваркина развивалась вполне успешно, звезды на плечах через соответствующие промежутки времени увеличивались и числом, и достоинством.

Вот одно из преимуществ военной службы — жизнь отмерена пространством чина. Расхлябанное лицо свободной профессии теряется в годах, путает ориентиры — когда было это, когда случилось то...

Военному несколько легче: это было тогда, когда я был майором, а случилось уже в бытность подполковником... Генка Кваркин, например, может сказать: я встретил своего одноклассника Ваську Аксенова через месяц после того, как получил генеральскую звезду.

"Приходи, — сказал он мне, подмигивая, — есть чем угостить".

Кроме новой квартиры и ужина с армейскими антрекотами, он угощал, разумеется, джазом. Предмет неслыханной гордости — квадрифоническая система. Звуки обрушиваются на гостя из всех углов. Генерал гордо демонстрировал одну пластинку за другой. Торжественная процессия королей и герцогов американского джаза.

Поскольку в магазинах Военторга этот товар не в ходу, постольку совершенно очевидно было, что генерал поддерживает прочные связи с миром музыкальной фарцы.

Подобно многим другим военным летчикам, Генка Кваркин имел страсть к высоким децибелам и не ограничивал звуковых возможностей своей аппаратуры. Никаких разговоров за ужином, разумеется, не велось. Знаками мы спросили мадам Кваркину, как она с этим справляется. Она молча вынула и показала нам на ладони специальной конструкции ушные затычки. Генерал ел мало, только лишь сидел с туманной улыбкой на странном, все еще мальчишеском лице (во всяком случае, мне оно казалось

таким), только лишь глазами запрашивая восхищения в ключевых моментах пьес.

Когда возникла пауза, моя жена неопределенно вздохнула. Генка положил ей ладонь на плечо.

— Не вздыхай, Маечка, это еще не все. Сейчас еще будет Джонни Ходжес, а потом немного Каннонбол Эдерли.

После ужина, провожая нас к машине, он спросил:

— Ну как?

— Здорово, — сказал я. — Между прочим, знаешь, Генка, через месяц я уезжаю из России.

— Слышал, слышал, — кивнул он.

— Не исключено, что я буду жить в этой стране, — сказал я. — Буду слушать всю эту братию живьем...

Он посмотрел на меня, потом отвлекся взглядом в небо, за плоские крыши подмосковного жилого массива, где среди тяжелых ночных туч виднелся вытянутый длинным и нелепым крокодилом проем закатного неба.

— Это не то, — вдруг убежденно сказал он и в ответ на мой удивленный взгляд дал несколько неохотных пояснений. — Я вовсе не хочу их слушать живьем. Я и здесь-то не хожу на их концерты, а уж тем более не хочу, чтобы их было много, чтобы они превратились в живых, таких же, как я сам, субъектов. Это, понимаешь ли, разрушит мой мир. Я хочу, чтоб их было мало, чтобы они были недоступны, где-то там, за закатом, чтобы оттуда шли эти звуки...

...И вот сейчас я живу на этой земле и могу любым вечером без всякой спешки, без всякого ажиотажа отправиться погулять по джазовым местам, скажем, Джорджтауна, могу зайти в "Чарли" послушать Мэла Торме или, пройдя еще пару сотен метров, купить за 15 долларов стул и "дринк" в "Блюз Алли" и сидеть там, едва ли не упираясь коленкой в башмак легендарного Вуди Германа, или, совсем уж по-свойски, завалиться в ресторанчик "Одна ступенька вниз" и поболтать там с Янушем Маковичем и Лэсом Мак-Эном... Меня уже не поражает, что эти супер-

звезды играют здесь запросто в маленьких кафе и здесь никто их не окружает, задыхаясь от восторга, как это происходит в Восточной Европе и в России...

ТАКИЕ КИСКИ...

"Мне приходилось играть в Советском Союзе, — сказал черный музыкант. — Русские — такие кисы"...

Вряд ли он имел в виду физическую красивость или кошачью гибкость нашего народа, подумал я, скорее всего его теплые душевные качества.

Вообще-то поначалу нас в этом подвале почему-то приняли за португальцев, несмотря на то, что среди нас были две блондинки — украинка и финка. Подошла хозяйка заведения — в темноте видны были только зубы и белки глаз, остальное сливалось — и спросила вежливо:

— Вы, наверное, из Португалии, фолкс, или из Бразилии?

Когда недоразумение выяснилось, пианист спустился к нам с эстрады.

— Русские — такие кисы, — сказал он. — Я там играл. Клево было.

Это был известный джазовый пианист, и я вспомнил, что он действительно лет шесть-семь назад гастролировал в СССР в составе какого-то замечательного трио или квартета. У меня тогда не было времени его послушать, и вот случайно наткнулся на этого пианиста вечером в Вашингтоне.

Ну, в общем-то, это не такая уж суперзвезда, не Оскар Питерсон, не Чик Кориа, но все-таки достаточно известный, чтобы создать панику среди любителей джаза и круглосуточную очередь за билетами.

Он стал рассказывать, как было в России. Ему явно повезло больше, чем Питерсону. Еще в аэропорту их встретили советские джазовые музыканты и фаны.

— О, Боже Всемогущий, они нас всех знали по именам, знали, кто с кем и когда играл, названия наших альбомов,

даты выпусков, все клубы, в которых мы когда-либо играли, они и про других лабухов спрашивали, поверьте, они больше знали о джазе, чем мы сами. Среди них были два парня из Сибири, прилетели нас слушать — воображаете? — и одна девушка из Китая...

— Из Китая, Брайант? — переспросили мы его.

— Кажется, из Китая, — кивнул он. — В общем, из Азии. Ташкент, Ташкент! — вдруг вспомнил он со счастливой улыбкой. — Чудо из чудес, все они говорили по-английски, так что нам и переводчики не требовались. Они нам принесли цветы, а один даже вынул из кармана бутылку водки и пустил по кругу, чтобы все сделали по глотку. Такие кисы...

Я подумал, что, наверное, почти всех людей, о которых сейчас, спустя семь лет, рассказывал Брайант, я знал лично. Откуда взялась в России такая страсть к джазу?

— Мы с ними встречались после концертов, — продолжал пианист, — и очень хорошо выпивали и разговаривали. Но нас в гости к себе они почему-то не приглашали. Эта девушка из Ташкента, знаете ли... я спрашиваю — а вы где остановились, мисс? — а она говорит — это не имеет значения... Потом они говорят, давайте играть "джем-сэшн". Мы с восторгом соглашаемся и в свободный вечер едем с ними в какой-то клуб, предвкушаем удовольствие. Однако в клуб нас не пускают. Вокруг толпа фанатиков стоит, а в дверях несколько таких персонажей с красными повязками и говорят: ньет, ньет, ньет.

— Значит, не все русские кисы? — спросили мы Брайанта.

После некоторого размышления он сказал:

— Нет, не все, решительно не все. Впрочем, после этой неудачи один русский, как бы разозлившись, пригласил нас к себе домой, и мы там немного все-таки поиграли, и опять хорошо выпили, и поговорили... Мне кажется, что некоторые русские становились еще большими кисами, когда другие русские показывали себя такими некисами... Вот такое, в целом, впечатление.

Он вернулся на сцену, подмигнул нам и снова бурно взялся за клавиши в своем, как сейчас говорят, "фанкую-

щем стиле". Мы стали делиться джазовыми воспоминаниями. Илья Суслов рассказывал о первых концертах в кафе "Аэлита" на Садово-Самотечной. Боевое было местечко в начале шестидесятых годов. Стерто с лица земли бульдозерами. Алик Гинзбург сказал, что он недавно сфотографировался с Уилисом Кановером. Здесь, в Америке, его мало кто знает, а ведь для нас-то это был просто кумир, думал ли я, сидя в Потьме, что когда-нибудь сфотографируюсь с человеком, который еще в юности из немыслимого далека глубоким бархатным голосом объявлял каждую ночь "Час джаза"?

Почему американский джаз после войны больше всего развился в двух славянских коммунистических странах, Польше и СССР? Один музыкант в Москве считал, что славянину легче понять, чем кому бы то ни было, музыкальную идею негра и в целом формулу джаза как постоянного раскрепощения...

Джаз приходил к нам с Запада, он читался в контексте какой-то смутной свободы. Он был запретным плодом. Играть и любить джаз было, кроме наслаждения, еще и сопротивлением.

Мы вспомнили тех, кого наш новый приятель Брайант назвал "русскими кисами". Стыдно признаться, но наш интерес к тому, что играли они или приезжающие поляки, был острей, чем к первородному "фирменному" американскому джазу, который нынче для нас просто, так сказать, "дверь по соседству". Может быть, общими были только позывные, а потом шла своя музыка, так называемый славянский джаз?

Кончив свою программу, Брайант вернулся к нашему столу. Мы вспомнили, что неподалеку в отеле "Пятый сезон" играет в пиано-баре русский его коллега Борис, такая же, как мы все, "эмигрантская сволочь".

— Мечтаю с ним познакомиться, — сказал Брайант. — Пойдемте туда.

Мы поднялись на поверхность, прошли пару кварталов и вошли в шикарный отель. Из глубины холла доносились очаровательные звуки. В России Борис был заядлым авангардистом, но играть свой авангард там он не мог, вернее,

мог, но редко. Слушателей-то было навалом, спрос явно превышал предложение, но власть авангарда не поощряла. Здесь власти наплевать на авангард, однако, увы, здесь как раз наоборот — предложения превышают спрос, своих авангардистов навалом, вот и приходится Боре играть популярные мелодии, создавать для гостей отеля приятственный фон. Неплохо, в общем-то, зарабатывает.

Едва мы вошли и увидели его огромную полуседую гриву, как Брайант воскликнул:

— Я его знаю, фолкс! Это один из тех, кого мы тогда встретили в России, один из симпатичных кис!

Нынче джаз хоть и жив, но задвинут куда-то (а именно: в надлежащее ему место) в уголок американской жизни гигантским коммерческим роком.

Любопытно, что джаз каким-то образом умудрился не подчиниться требованиям дурного вкуса, тогда как рок почти полностью адаптирован развязной, немытой, мастурбирующей толпой.

Так же как Элвис Пресли сменил когда-то свою молодую кожаночку на дурацкий наряд какого-то африканского марксистского царька, так и коммерческий нынешний рок, предав свинговую эстетику "Битлз", разукрасился блестками, мушечками, перчаточками, оборочками, кружевами, набрал в свой состав бесконечное число бездарностей с огромными губищами, с квадратными задами, с дурной кожей, с жалким вокалом и бездарной хореографией, а самое главное, с полным отсутствием юмора... тычет указательным пальцем в лицо кейфующей от плебейского вкуса толпы, похабным речитативом что-то тупое вопрошает...

Джаз между тем, так и не став достоянием плебса, скромно, но бодро живет в стороне от этой толпы, и для нас, беглецов с Востока, как ни странно, он часть нашей восточной ностальгии.

ШТРИХИ К РОМАНУ "ГРУСТНЫЙ БЕБИ"

1985

Разгар лета. Влажность сто процентов. Наш герой с американской девушкой садится в такси.

Девушка — хорошо тренированное создание лет сорока, поток волос, сокровищница зубов, то ли княжна TV network, то ли баронесса военно-промышленного комплекса. "Ха-ха-ха, дайте-ка я вам галстук развяжу! Если до вас дойдут слухи о моем распутстве, не верьте: я только лишь люблю мужчинам галстуки развязывать".

В доме, где они только что познакомились, произошла кража. Украдена бутылка.

— Этого принципа алкогольной клептомании, моя дорогая, я придерживаюсь еще со времен строительства Академгородка в Новосибирске. Хотите пососать?

— Вы всегда так бесцеремонны со знаменитостями?

— О, нет-нет, только в эмиграции!

Шофером в ту ночь у них оказался Луи Армстронг. Он печально смотрел в зеркальце на два хохочущих рта, один первоклассный, другой сомнительных качеств. Откуда такие?

— Мы с русской парти возвращаемся. Вам приходилось, Луи, посещать таковые?

Мистер Армстронг вздохнул всеми альвеолами:

— I've a Russian party in my soul...[1]

Из непригодившегося набора эпиграфов:

"...Северо-Американские Штаты обращают на себя внимание людей, наиболее мыслящих... Америка спокойно совершает свое поприще, доныне безопасная и цветущая... гордая своими учреждениями. Но несколько глубоких умов... занялись исследованиями, и их наблюдения возбудили вновь вопросы, которые полагали давно уже решенными..."

А.Пушкин

---

[1] Русская вечеринка у меня в душе.

"...Америка представляет образ демократии как она есть — со всеми ее недостатками и достоинствами, предрассудками и страстями... Эта проблема касается не только Соединенных Штатов — но и всего мира..."

А.Токвиль

"США — гл. страна соврем. капитализма... Экономика США подвержена циклическим кризисам... После окончания вт. мир. войны империалистич. круги США развернули "холодную войну" против СССР и др. социалистич. гос-в... В условиях изменения соотношения сил в мире, благодаря гл. обр. росту могущества СССР, США вынуждены были пойти на ряд шагов в направлении нормализации..."

Советский энциклопедический словарь

"...США могут оказаться последней крепостью капитализма..."

В.Маяковский

"...Мы все хвалили (в Америке)... Раз мы едем, а человек полез в мой карман, вынул мою головную щетку и стал причесываться; мы только переглянулись..."

Ф.Достоевский, "Бесы"

1985

Думая однажды о премиях и наградах, полученных его сверстниками и коллегами, которых он почему-то полагал ниже себя, ГМР не без раздражения окинул стены своего жилища. Пустовато.

Вскоре заказана была рамочка красного дерева, и квартира украсилась высшей наградой нашего персонажа.

Указ Президиума Верховного Совета СССР

Учитывая, что NN (т.е. ГМР) систематически занимается враждебной Союзу ССР деятельностью, наносит своим поведением ущерб престижу СССР, Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

На основании статьи 18 Закона СССР от 1 декабря 1978 г. "О гражданстве СССР" за действия, порочащие высокое звание гражданина СССР, лишить гражданства СССР NN (ГМР) N-ского года рождения, уроженца города N, проживающего в США.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Л.Брежнев

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М.Георгадзе

Примечание автора:

Не следует отождествлять эту награду, полученную персонажем, с аналогичной, полученной автором. Первый порочил высокое звание и наносил систематический ущерб, действуя на театральных подмостках, второй — в сфере словесности.

1985

Есть одно явление, ускользнувшее от вездесущей статистики: двуязычие многих собак, зарегистрированных Американским обществом собаководов. Вот, например, наш щенок. При слове "собака" он немедленно бросается к окну; при слове "dog" — та же реакция.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Зимой 1968 года в Крыму, сидя на террасе, висящей над верхушками кипарисов, и предаваясь восхитительному зимнекрымскому пьянству, трое приятелей решили написать "шикарный шпионский роман", советский вариант приключений Джеймса Бонда с красотками, погонями, ЦРУ, КГБ, с различными этническими кулинариями и, ра-

зумеется, с морем разливанным виски, джина, водки и шампанского.

Бикфордов шнур воображения, как витиевато они выражались, должен был ветвиться через Россию, Францию, Вьетнам, ну и, конечно же, через Соединенные Штаты Америки.

Из трех соавторов двое (поэт Г.П. и прозаик В.А., то есть ваш покорный слуга) в Америке никогда не были. Зато третий, автор немалого уже числа приключенческих книг О.Г., был, так сказать, настоящим американистом, знал английский язык не хуже своего родного и нередко, закрыв глаза, совершал мысленно прогулки по Пятой авеню, стараясь не пропустить ни одного питейного заведения, где когда-то сиживал то ли в воображаемом, то ли в реальном шпионском качестве.

В начале работы одному из соавторов, а именно мне, почему-то пришло в голову написать сцену на ипподроме. На американском, разумеется, ипподроме. Конечно, я не имел ни малейшего понятия, какие в Америке ипподромы, где они расположены и существуют ли они там вообще. Направился к нашему знатоку: найди мне, пожалуйста, какой-нибудь подходящий к случаю ипподром в Америке. Он открыл свои справочники. Вот тебе, изволь, самый подходящий — ипподром Лорел, штат Мэриленд.

...Могло ли мне тогда, в феврале 1968 года, на склоне Крымских гор, прийти в голову, что я буду по меньшей мере дважды в неделю проезжать мимо этого самого ипподрома по дороге из дистрикта Колумбия в Гаучер-колледж, что на окраине Балтимора?

Не так давно в журнале "Камментари" некая писательница Фернанда Эберстадт (не исключено, что приятельница Бернадетты Люкс) представила общественности ядовитый разбор моего романа "Ожог", сопровождаемый еще более ядовитым жизнеописанием автора.

В лучших традициях советской литературной "коммуналки" Фернанда поведала читателям некоторые неблаговидные факты моей биографии и представила на обозрение

неоконсервативной общественности мои сомнительные политические склонности и отвратительные черты характера.

Здесь, разумеется, не место говорить подробно ни об обвинениях миссис Эберстадт, ни о том, что ее писания поразительно отличаются от привычного стиля американской журналистики и напоминают скорее словесный блуд иных моих соотечественников — доброжелателей как из эмигрантской, так и из советской среды; уместно, может быть, лишь остановиться на одном эберстадтовском пункте.

После того, пишет она, как Аксенов в 1963 году лицемерно покаялся в "Правде", он в течение двадцати лет наслаждался благоволением Кремля и беспрерывными поездками за рубеж, в том числе в 1975 году в Калифорнию, а именно (очевидно, в соответствии со своими анархическими склонностями — *В.А.*) в пресловутый Беркли.

Тут очень много неправды, которую можно отнести и за счет неведомых мне "русских консультантов" Эберстадт, а можно, впрочем, оставить и на ее совести. Во-первых, с 1963 года ("покаяние") до 1980-го (высылка и лишение гражданства) двадцати лет явно не прошло, во-вторых, в течение этого периода я, по крайней мере три раза, на многолетние сроки становился "невыездным"; даже в Польшу тогда не пускали, гады!

Что касается поездки 1975 года в Калифорнию (в UCLA, а не в Berkeley), то за эту поездку я "бился" едва ли не целый год, писал бесконечные заявления, ходил на приемы к различным "булыжникам" и даже инсценировал что-то вроде истерики в секретариате Союза писателей с криками: "Я вам не крепостной мужик!" Так или иначе — каюсь, Фернанда! — я и в самом деле провел тогда два месяца в США и по приезде написал книгу американских очерков "Круглые сутки нон-стоп".

Любопытно мне было сейчас, когда я завершаю свою вторую книгу об Америке и нахожусь в преддверии своего "американского романа", прочитать те очерки 1975 года. Забавно прежде всего то, что в них, напечатанных в советском журнале "Новый мир", не содержится почти никакой критики американской жизни.

Весна 1975 года в Калифорнии была для меня, может

быть, самым беззаботным временем моей — прости еще раз, Фернанда! — хлопотливой и суетной жизни. Дважды в неделю семинар на родном языке, а потом Санта-Моника-Бич, "многопартийная система", всякого рода шлянья — как будто молодость вернулась. Может быть, эта беззаботность и сказалась прежде всего на карнавальном и — Фернанда! — конечно же, гедонистическом характере книги "Круглые сутки нон-стоп", а может быть, тут что-то присутствовало и посерьезнее, а именно нежелание чужака замечать изъяны здешней жизни.

Подсознательно я как бы отшвыривал стереотипы многолетней антиамериканской пропаганды и, изображая волшебную карнавальную Калифорнию, как бы бил по "социалистическому реализму". Как еще я мог писать тогда о самом западном Западе, после которого снова уже начинался Восток? Вся моя критика тогда направлялась в адрес родины, что и окончилось, как уже было сказано, потерей родины.

Сейчас я уже почти американец. Я привык к тому, что меня раньше раздражало, например, к запаху попкорна в кинотеатрах, к слабому американскому кофе, к тому, что футболом называется не футбол, я привык ставить месяц впереди числа, говорить "у-упс" вместо "оп" и "ауч" вместо "ой", потряхивать кистью правой руки, будто обжегся, если что-нибудь непомерно дорого... Будучи американцем, я уже свободен от безоговорочного восхищения, я вижу не только светлые окна, но и затхлые углы моего нового дома, будучи им "почти", я все-таки временами почесываю себе башку: а не вышвырнут ли меня и отсюда за критиканство?

Вот Фернанде Эберстадт мое ворчание явно ведь не нравится. Сидит, дескать, в Вашингтоне какой-то развязный анархист, бывший "комсомольский хиппи", прохлаждается, да еще и денежки получает за критику американской массовой культуры.

Консервативная дама, впрочем, не высказывает своих соображений по поводу моего правового положения в этой стране, но вот К.-Е. Матиас из Атенса в ответ на мою статью в "Нью-Йорк таймс мэгазин" пишет: "...мы не выбросим Аксенова из нашей страны, но мы ответим более

суровым возмездием на его мрачные размышления о нашей художественной жизни, мы будем игнорировать их!" Это заявление дает мне повод предположить, что, если Матиас вдруг смягчится и воздержится от "более сурового возмездия", меня все-таки выбросят.

Боги! Куда же мне тогда деваться, "куда нам плыть", ведь дальше вроде и некуда, ведь Америка же это вроде как бы last frontier[1], на которой предполагалось отбиваться до конца?..

"Круглые сутки нон-стоп" были напечатаны в Советском Союзе на пике детанта. Теплые капли разрядки шлепались на плеши государственных деятелей, в космосе соединились серпасто-молоткастый и звездно-полосатый корабли, и полковник Леонов, вопреки ожиданиям, не попросил в американском салоне политического убежища.

Теперь таких книг об Америке в Советском Союзе не печатают. В последние, брежневские, андроповские и черненковские годы в советской прессе воцарилась одна лишь черная ложь. Альтернативность американского образа жизни советскому социализму выводит из себя вершителей "исторического прогресса".

Примитивность лжи, очевидно, вполне устраивает заказчиков: новых умов она не заморочит, а призвана заморочить дальше уже замороченных, еще плотнее укрепить в их сознании знак Соединенных Штатов как извечного и окончательного врага.

В принципе та же идея, хотя и выраженная более изощренным способом, живет в антиамериканских высказываниях определенной советской литературно-бюрократической группы, известной теперь под условным наименованием "национал-большевиков".

---

[1] Последнее пристанище.

Для выражения своих идей "нацболы" часто используют жанр литературной критики. В этом поле нередко старается поэт Станислав Куняев, квазирусский (хоть и с татарской фамилией) враг мирового космополитизма. Бдительно он выискивает по страницам советской прессы мельчайших блох американофильства и космополитизма. Постоянное и пристальное внимание С. Куняева приковано к собрату по советскому поэтическому цеху Андрею Вознесенскому, он подкарауливает каждый неосторожный шаг этого "абстрактного гуманиста". Последний в поисках метафоричности, достойной в самом деле лучшего применения, сравнивает Россию и Америку с двумя ладонями, обхватившими лоб планеты.

"Две страны, две ладони тяжелые, предназначенные любви..." Легкий морозец политической пошлятинки пробегает по коже при чтении этих строк, однако не это волнует "нацбола" Куняева. Вознесенский виновен в том, что, оказывается, "предъявляет равный абстрактно-гуманистический счет разным системам", из которых Америка "олицетворяет в сегодняшнем мире культ насилия и террора", а Россия, очевидно, олицетворяет противоположное, то есть культ терпимости и либерализма. Две такие ладони вместе быть не могут, считает Куняев. Планета, стало быть, обречена на одноладонную любовь, б-р-р...

Даже и в лучшие свои времена Америка, продолжает "нацбол" Куняев, не держала среди своих лозунгов идею любви, но культивировала насилие и захват. Вот вам и пример — судьба коренного, то есть индейского населения. В российской истории, стало быть, подобных примеров не найдешь, а завоевание Сибири, Средней Азии, Кавказа, Прибалтики, многочисленные разделы Польши были лишь распространением российской поглаживающей ладони.

Другой советский поэт того же направления Игорь Шкляревский в декларативной поэме тоже не обходит Америку своим вниманием. У него все-таки еще хватает совести вспомнить добрым словом американскую продовольственную помощь во время войны (обычно по этому поводу изрыгается лишь сарказм — мы-де воевали, а они-де только свиную тушенку давали), но и он предъявляет Америке

какой-то, самым мягким образом говоря, дурацкий и наглый счет.

Америка, ты богатая,
На бабах ты не пахала,
Не воевала ты на своей земле,
Наше горе твоим не измеришь.
Сегодня ты все имеешь,
Только — воображения хочу тебе пожелать:
Нас не будет, и вам не бывать.

К американскому "богатству" "нацболы" относятся так, будто оно свалилось на США с неба, а не было создано колоссальным трудом народа, энергией и предприимчивостью дельцов, пафосом строительства принципиально нового в истории цивилизации сильного, *но* либерального общества. Им кажется, что при раздаче "богатства" матушка Россия была просто-напросто несправедливо обделена, а вот Америка при дележе нахапала.

Не лучше ли было бы не злопыхательствовать на чужое богатство, а всерьез подумать о своей бедности: откуда она?

Объявив древнее дело грабежа и разрухи "величайшим событием в истории человечества", задушив собственную демократию в самом зародыше, беспрекословно подчинившись самой лживой и самой неумолимой власти, приняв самую идиотскую систему экономики, став диким пугалом всей земли, они не хотят даже задать себе вопрос: "Кто же пашет на русских бабах?", а вот с рабской наглостью полаять через забор на богатого соседа — за милую душу!

В недостатке воображения, что здесь как бы предполагается Шкляревским, содержится и априорная агрессивность, нацеленность на уничтожение оппонента. Поэтическое же воображение "нацболизма" не выходит за пределы им же созданного обмана.

Вообще в отношении Америки там, за Беринговым проливом, бытуют мифы собственного изготовления редкой устойчивости. Даже и высоколобые интеллектуалы "нацболизма" пребывают (не исключено даже, что и искренне) в

их плену. Для того чтобы расшевелить в данном случае "американское воображение", не мешает бросить взгляд на то, как эти идеологи представляют себе интеллектуальную и литературную ситуацию в Соединенных Штатах.

Согласно "нацболовской" классификации (классификация — это главная одержимость марксизма всех времен; иной раз кажется, разреши ему все проклассифицировать, и он оставит человечество в покое) — итак, согласно этой классификации культурные силы США делятся на две основные группы: "космополиты" и "национально мыслящие". Нетрудно догадаться, к какой группе направляет "нацболизм" свои симпатии.

К "национально мыслящим" критик Селезнев относил таких писателей, как Фолкнер, Фрост, Колдуэлл, Стейнбек, Уоррен, Уайдлер, Гарднер. Критик Петр Палиевский, что слывет вожаком "нацболовской" теоретической мысли, считает Фолкнера чем-то вроде американского Шолохова, хотя и в несколько ухудшенном варианте, ибо он "предлагал не больше, чем мог предложить: старые человеческие ценности", тогда как Шолохов был выше гуманизма, этого наследия "устаревшего девятнадцатого века".

Все-таки Фолкнер хорош как представитель глубинки, истинно народной жизни и, таким образом, как антипод "космополитам-авангардистам" типа Джойса. Выстраивая свою схоластическую схему, дьячки "нацболизма" объявляют суть современного конфликта: космополиты против России, космополиты против Америки, космополиты против мира, космополиты против самого бытия.

В американской культурной жизни, по мнению другого кита "нацболизма" Кожинова, существуют сейчас "здоровые возрожденческие" силы и "темные силы распада"; к последним относятся "постмодернисты". К постмодернистам же, злокозненным, что язвительно противостоят "истинным ценностям американского народа", московский мудрец относит народ такого типа: Ален Гинзберг, Джек Керуак, Лоуренс Ферлингетти, Курт Воннегут, Джером Сэлинджер, Джон Апдайк, Филип Рот, Норман Мейлер, Питер Брукс, Джерри Рубин, Джеральд Дворкин, Пол Гудман, Дениз Левертов, Карл Шапиро. Процент еврейских

имен, как мы видим, в списке "темных сил" весьма высок; так у "нацболов" всегда.

В том факте, что многих писателей из этого списка в шестидесятые и в семидесятые годы публиковали в СССР, Кожинову видится некое звено мирового космополитического заговора. Люди, публиковавшие их, делали вид, что имеют дело с бунтарями против капиталистического общества, а на самом-то деле их бунт направлен "в равной степени — а подчас даже в большей — против социалистического образа жизни".

Постмодернистский бунт, по Кожинову, являлся орудием "заправил мирового империализма", "Бельдербергского клуба (?) и ЦРУ" и способствовал выработке зловещей политики Рейгана.

Чуть-чуть споткнувшись на "неоконсерваторах" — ведь они, настоящие "враги социализма" и друзья президента Рейгана, на дух не переносят постмодернистов, — Кожинов пускается в их перечисление: "Норман Подгорец, Ирвинг Кристол, Роберт Элтер, Чарлз Френкель, Дэвид Рисмен, Натан Глейзер" — ах, как будоражит эндокринную систему "нацбола" само звучание этих имен! — и тут с легкостью и (согласимся) полной естественностью приходит к выводу: и те, и другие являются антикоммунистами, космополитами, действующими в полной стачке друг с другом, сначала одни, потом другие, ибо "перед нами две стадии(!) развития одного литературного и, шире, идеологического явления. Цель и на той, и на другой стадии одна: превратить американский народ в послушное орудие международного империализма и *сионизма*".

Последнее слово·кожиновской аргументации нам следовало бы подчеркнуть трижды, в нем содержится корневая идея всех этих дубовых "нацболовских" построений: "Бей жидов, спасай Россию и Америку!" Главный враг нацизма любой окраски остается все тем же.

Любопытно, что в этих невежественных бреднях впервые как бы проявляется какой-то смутный призыв к "здоровым силам Америки". Раньше предполагалось, что всякая американщина должна быть искоренена ходом исторического прогресса, сейчас у "здоровых сил" появилась сла-

бая, но все-таки надежда на выживание и даже на сотрудничество в борьбе с "темными силами распада"; им нужно лишь отбросить "старые человеческие ценности" да вызвереться антисемитизмом, а потом-де договоримся.

Невежество "нацболизма" в оценке американской культурной ситуации, возможно, является идеальной канвой для примитивного рисунка модернистского, космополитического и в конечном счете еврейского заговора. Выделив почему-то покойного Джона Гарднера в качестве символа "здоровых, национально мыслящих сил", Кожинов не может даже удержаться от намека, что трагическая гибель писателя была не случайна, что за ней можно увидеть "поистине страшный смысл", разглядеть зловещие тени постмодернистов и неоконсерваторов.

Невежество, мифотворчество и вульгарность в оценке американской ситуации, увы, не являются достоянием одних только "нацболовских" умников. Официальная советчина (может быть, даже и специализированные по Америке соответствующие учреждения и личности вроде спецкоров и обозревателей) также не очень-то ясно представляют себе американскую жизнь. Охотно берутся на веру самими же изобретенные стереотипы лжи. Массовый агитатор, говоря об американской прессе, употребляет выражение "машина американской пропаганды", но даже такой эксперт, как Георгий Арбатов, сдается мне, не понимает степени независимости здешней прессы от правительства.

Придушив у себя в стране всякие открытые проявления инакомыслия, советские аппаратчики хотят и Америку представить тоталитарным царством, а главное, они сами хотят поверить в это, всячески избегая мысли о том, что если бы меру непокорности, нужную в СССР для определения "антигосударственности", можно было приложить в США, "антигосударственным" оказалось бы едва ли не все американское население.

Среди советских чинов в моде высокомерное презрение в адрес Соединенных Штатов, идущее, без сомнения, от определенного комплекса неполноценности. Это высокоме-

рие, между прочим, — сравнительная новинка стиля. Когда-то на Америку (хотя бы в производственном смысле) равнялись; Ленин призывал сочетать "русский революционный размах с американской деловитостью", всю жизнь слышались призывы из-за кремлевской стены "догнать и перегнать Америку", Хрущев даже отмерил для этого дела двадцатилетний срок и к этому времени как раз и приурочил построение вожделенного коммунизма. После падения Сайгона, однако, Америку как мировую силу как бы уж и списали со счета, тогда-то и появился этот стиль взгляда свысока, разговора с темной презрительной ухмылочкой. (В скобках замечу, что этот стиль, который практикуется и сейчас, все-таки был в последнее время, а именно, сдается мне, после Гренады, несколько поколеблен.)

Вспоминается, как однажды на прибалтийском писательском курорте появился крупный цэковский чин, только что вернувшийся из Америки. Основательное брюшко товарища нависало над новенькими стоявшими коробом джинсами Levi's, "молния" застегивалась только на полхода. На груди товарища висела американская камера "Полароид". Время от времени он фотографировал свое полностью американизированное семейство и с довольной улыбкой превосходства над окружающими (большинство из которых никогда не видело в глаза полароидного чуда) держал двумя пальцами быстро подсыхающий снимок.

После обеда, за коньячком, он рассказывал писателям об Америке. Эта страна идет в ложном направлении... Презрительно выпяченная нижняя губа... У них кишка тонка... Смешок... Все, что они выдвигают, просто несерьезно... Misleading and misled country[1], добавлял он почему-то по-английски...

Пренебрежение силой Америки и вообще Запада весьма характерная (и очень опасная для всех) черта "нацболизма". С Европой вообще для них вопрос как бы уже решен — надо будет, сдуем, как пыль! Откровенно по-нацистски взирает на Европу новый мессия "нацболов" поэт Юрий Кузнецов.

---

[1] Впавшая в заблуждение и заблудшая страна.

Тем, "кто молод", он предлагает уже сейчас снаряжать лошадей, "скакать во Францию-город, на руины великих идей". Нет ни военных, ни нравственных преград — "нам едино, что скажут потомки золотых потускневших людей"!

"Только русская память легка мне!" — восклицает далее поэт и завершает пассаж соображением о том, что "чужие священные камни, кроме нас, не оплачет никто!"

Трудно не увидеть здесь "нацболовской" мечты о глумлении над разрушенной и порабощенной Европой. Только зря готовит лошадок Кузнецов. Никто этих всадников с их крокодиловыми слезами во "Францию-город" не пустит, а сунутся, так получат такого леща, что копыт не сосчитают. "Нацболизм" хоть и зловещ, но ублюдочен от рождения, и не только потому, что загодя разгадан, но и потому, что опирается на дурную идеологизированную память, не понимает современного мира, не может оценить реальной мужской силы демократии, включающей и отменную мощь европейских армий, и, между прочим, сознание нескольких миллионов инакомыслящих русских.

Широко практикуется в этих кругах миф о том, что "американцы — плохие солдаты", что они изнежены и декадентны. Этот очень опасный миф основан на чрезвычайно низком уровне знания американской психологии, на недооценке американских парней. Рискну заметить, что приведенные выше "нацболовские" соображения об американских интеллектуалах, возможно, вполне соответствуют соображениям (если таковые вообще имеются) о мире американских стадионов и пивных салунов, о всех этих red necks, tough guys и прочих потребителях пива "Бадвайзер", которые, собственно, и составляют костяк страны.

Америка в принципе не любит проигрывать. Американские парни во Вьетнаме не проиграли ни одного сражения. Эта война, увы, попросту оказалась полем внутриамериканского спора. Поводов для высокомерия у соваппаратчиков в связи с Вьетнамом нет никаких. Им лучше бы лишний раз сообразить, что у Америки есть все шансы, чтобы защититься от шантажа, что, разлетевшись на Америку, вечно на ней расплющивались — слава Богу! — разные

нахрапистые трутни с казарменными идеями "самых передовых обществ".

Далее следуют соображения "единства". Советское общество едино, американское общество раздроблено, то есть как бы слабее. В этой системе пропущен один немаловажный момент. В так называемой раздробленности Америки живет ее магнитная сила, сильнейшее желание ее защищать.

Если бы Америка была "едина" по советскому или иранскому образцу, ее защита не стала бы духовной целью современного человечества. Нужна не только решимость, но и страстное желание защищать Америку с ее многоликостью, ее разбродом, ее идейными и эстетическими шатаниями, защищать ее гедонизм, ее щедрость, ее этническую пестроту и англо-шотландский фундамент, ее неравенство, ее технологию, ее стихийную контрреволюционность, в которой до сих пор живет надежда на новую либеральную пору цивилизации, ее экуменизм, ее капиталистов и ее бродяг, ее суперстарз и ее фермеров, профсоюзников, журналистов, политиков, феминисток, священников, проповедников, культуристов, гомосексуалистов, лесбиянок, сектантов, гадалок, постмодернистов, борцов, уличных музыкантов, игроков казино, беглецов с Востока, панков и хиппи, манекенщиц, киношников, биржевых брокеров, девиц "гоу-гоу", налоговых инспекторов и даже ее агентов по продаже недвижимости...

Я пишу эти строки во время очередного бейрутского кризиса, когда бесноватые муллы и ублюдочные террористы пустились во все тяжкие, чтобы унизить Америку, а значит, унизить все законы Эллады, заповеди христианства, кодексы рыцарства, все, что еще осталось достойного защиты. Будь я молод, я бы записался сейчас в американскую морскую пехоту, чтобы провести какое-то время своей жизни в прямой борьбе за свободу.

Называя лопату лопатой, я скажу, что в наши дни ан-

тиамериканисты, даже и такие, как писатель Габриэль Гарсия Маркес, являются врагами свободы и друзьями мирового концлагеря, хотя парадокс Америки заключается в том, что она должна защищать и своих "антиамериканистов".

Дождь в Джорджтауне, все замедленно, машины наплывают одна за другой в ритме долгого дождя, почти элегически мы движемся в своем "беби-бенце" в поисках местечка, чтобы пришвартоваться, мимо маленьких домов с медными ручками дверей, с фигурками уток и фламинго на крыльцах, с окнами, за которыми видны картины, камины и лампы, мимо этнических ресторанчиков и маленьких лавок, демонстрирующих фокусы обувной, табачной, мебельной и прочих элегантностей и экстравагантностей, вдруг слегка вздымаемся, оказавшись на мостике через канал, где еще уцелели деревянные шлюзы — в конце улицы в сумерках серой полосой прокатывается Потомак, — появляется расплывающийся красный светофор, обзор закрывается складками плащей, разноцветными клиньями зонтов, мелькают два-три смеющихся лица, ритм внешнего движения вдруг совпадает с блюзом внутримашинного радио...

"Ах, американский дождь..." — вздыхает наша московская приятельница. Третьего дня мы случайно натолкнулись на нее возле памятника Линкольну. "Вот, посмотри, — сказала Майя, — на ступенях сидит женщина, как две капли воды похожая на Галю Груздеву".

В первые годы после эмиграции, надо сказать, перед нами то и дело мелькали в американском калейдоскопе знакомые московские лица: то сенатор какой-нибудь на газетной странице оказывался похож на Женьку Р., то бартендер в ресторане — на Витьку Е., то банковская кассирша смахивала на Ирину Д. и т.д. Даже в чертах баскетболистов на экране TV нам виделись наши прошлые Жорки, Таньки, Светки, Мишки.

Двойник Галки Груздевой встала и оказалась Галкой Груздевой. Оказалось, что большевики вдруг расщедрились и отпустили ее в Америку, и вот именно в Вашингтон, на

научный конгресс. Нет, она нам не звонила, у нее и телефона нашего не было. Ну, конечно, она могла бы достать наш телефон в Москве, спросить у друзей, но не спрашивала, боялась, трепетала над своей визой, как над фарфоровой: как бы не кокнуть, а вдруг отберут, если узнают, что с Аксеновыми дружна.

И вот такая встреча. "Я о вас думала, а вы вдруг материализовались, нет-нет, я теперь не боюсь, ведь это уже Америка". В дождливые сумерки мы едем вместе ужинать в Джорджтаун. Она, не отрываясь, смотрит в окно на брызги дождя и, очевидно, замечает гораздо больше, чем мы, в окружающей столь влажной действительности. Немолодая женщина, ученый-биолог, умная и уже основательно усталая, как и все немолодые советские женщины-биологи. Она впервые в Штатах и, кажется, впервые вообще на Западе.

Вдруг — удача! Какой-то бравый малый бодро подходит к своему "камарро" — значит, мы сможем встать на его место. Я открываю окно. Are you leaving, sir? Он улыбается. Your luck![1] Галя смеется. "Мне все еще забавно, что вы разговариваете по-английски". В самом деле, забавный образ жизни, соглашаемся мы: внутри ты говоришь на своем языке, открываешь дверь и оказываешься как бы в другом составе воздуха.

...Мы ужинаем в китайском ресторане. Наша приятельница разглядывает других едоков, вполне обычный подбор джорджтаунских dining parties[2].

— Знаете, ребята, я иногда думаю, — говорит она, — что американцам, наверное, гораздо труднее умирать, чем нашим людям.

— Ты думаешь, здесь мало беды?

— И все-таки... — она вздыхает. — Здесь, может быть, не меньше драм, но меньше тоски, худосочия, унижения. Жизнь здесь человечнее, из нее уходить труднее, чем из нашей...

— Однако они не знают ведь другой, для них эта жизнь вполне обычна, они не помещают себя в ту жизнь,

---

[1] Вы уезжаете, сэр?.. Вам повезло!

[2] Дружеских обедов.

которую ты, Галя, столь метафорически называешь "нашей"...

Апрельским полуднем (так и хочется сказать "афтернуном") я гуляю с нашей собакой в Рок-крик-парке. В этой его части нет ничего культивированного, возникает иллюзия леса, хотя по берегам каньона в десяти минутах ходьбы располагаются иностранные посольства. Ручей, тропинка, склоны, кусты орешника и вишни, стволы огромных дубов, каштанов и кленов.

Мы одни. Ушик хлопотливо что-то выискивает в камнях и траве, бросает задними лапами прошлогодние листья. Полное отсутствие ветра. Все неподвижно во всем объеме леса и неба. Рассеянный серый свет. Крутой склон прилегающего к каньону парка "Дамбертон оакс" в полном цветении: все оттенки розового перемешаны с пятнами яркой желтизны и пучками белого, и все пронизано нежнейшей зеленью. Я долго смотрю на этот цветущий склон, и вдруг меня посещает уверенность в том, что это не что иное, как душа моей недавно скончавшейся в Казани девяностодвухлетней тетки Ксении.

Она умерла полгода назад, но я узнал об этом только за неделю до этой встречи. Письма из Казани почти не доходят, телефонные звонки из Вашингтона, думаю, поднимают по тревоге полный состав местного ГБ.

Сестра моего отца, она росточком не доходила ему до плеча, некрасивая, нос картошкой и удивительно голубые глаза. Муж ее погиб, господа, еще в первую мировую войну, и с того времени она была одинока, если не считать оравы чужих детей, которых ей, поколение за поколением, пришлось воспитывать.

Я оказался в ее доме после ареста родителей пятилетним детдомовцем, и она воспитывала меня до шестнадцати лет, пока я не отчалил в свое магаданское юношество, к ссыльной маме. Во время войны в казанском доме остались одни женщины и дети. Чтобы прокормить всю ораву, тетя Ксения отправлялась и в дождь, и в стужу на местную "барахоловку". Она торговала там чужими вещами и получала с продажи какой-то процент. Дети ждали у окна ее возвращения. Вот она появляется сквозь пургу, кургузая, малень-

кая, тонкие губы упрямо сжаты. Иногда она приносила краюху хлеба, луковицу, иногда пару килограммов картошки, иногда ничего.

Вернувшись после десятичасового стояния на рынке, она рубила сучковатые дрова — ее натужные выдохи, от которых нам всем становилось стыдно, — варила еду, иной раз устраивала общую баню.

Запомнилась сцена. Я стою в корыте. Она мне трет немыслимо грязную ногу мочалкой, потом отстраняется, как бы любуясь результатами своего труда, и говорит: "Ну, вот, сравни теперь ту и эту, какая же лучше?" Мы оба смеемся. Счастливый момент детства — тетка меня любит!

При жизни о тете Ксении говорили: "У нее большая душа". Встретив ее в цветении склона "Дамбертон оакс", я увидел, какая это была спокойная и мирная красавица.

Большевики изгнали меня с моей родины, отрезали путь к дорогим могилам, однако души витают вне их власти и встают перед изгнанниками в воспарениях американской земли.

ШТРИХИ К РОМАНУ "ГРУСТНЫЙ БЕБИ"

1985

Из дневника ГМР

Внезапно я обнаружил себя лежащим на ложе, жестковатость и малопружинистость которого вызывали странные ощущения *той* жизни. Это ощущение усугубилось пятном на стене, до странности похожим на то, что образовалось *там* в 1969 году, когда Виктория швырнула в меня банку с майонезом, но промазала, после чего в течение долгих лет это невыводящееся пятно служило мне доброй опорой: стоило только выразительно взглянуть на него, как Виктория прекращала спор и покидала комнату.

"К счастью, все это лишь капризы подсознания", — подумал я. В окно с прежней яркостью жарит солнце Бет-

ховен-стрит, стоит одно из тех утр, не таких уж редких *здесь*, когда кажется, что за ночь мир переменился к лучшему или уж во всяком случае не сподличал в очередной раз — никто не взорван, никто не похищен.

Если только я сам не похищен. Будто похмельная спазма прошла по коже, показалось, что откуда-то хоть и стороной, но вполне отчетливо прошла фраза "нарастает темп уборки урожая, труженики полей по достоинству оценили меткие замечания товарища Горбачева".

Как обычно, большим пальцем левой ноги я включил телевизор. От сердца отлегло: на экране оказался Брайант Гамбл. Он хоть и сказал по-русски "доброе утро", но все-таки с *нашим* акцентом. Просто Эн-би-си ведет очередную "живую" программу из Москвы, вот *наш* парень и научился немного вякать *по-ихнему*.

На кухне не оказалось ни пива, ни кофе, чтобы *поправить голову*. Снова взяла оторопь: это ведь тоже *оттуда*, это выражение, *здесь-то* давно уже муки похмелья в отставке.

Отправился на угол в магазин "7-11" купить себе кофе. Бетховен-стрит выглядела странновато. Куда-то исчез филиппинец, торговавший с коляски "хотдогами" и мороженым, весь бизнес которого держался на людях, коим не с руки было пройти лишнюю сотню метров за тем же товаром в "7-11". Вместо него стоял богато одетый узбек с золотым орденом Чойболсана на лацкане цэковского спинжака. Чего он тут стоит, к чему приценивается? Откуда вообще взялся этот персонаж среди нашей хипни? Ага, должно быть, просто член делегации "парламентариев", вышел из "Хилтона" пробздеться, мечтает о девке...

А вдруг?.. Прошиб лошадиный пот. Влетаю в лавку. Сердце стучит, как лошадь. Цепляю со стенда свеженький "Пентхаус", бодрю себя смешком: интересно, какие тут сегодня лошади, какие ляжечки на обложечке? В зеркале вижу лошадиную загнанную рожу, в руке журнал "Советский экран". Швыряется в глаза фраза передовицы "нынче вряд ли найдется в нашей стране человек, не поверяющий себя решениями Апрельского (1985) Пленума ЦК КПСС..."

Неужели влопался? За ночь перевезен из *нашего* города

в *их*, то есть в нашу *ту* из *этой* их, иными словами в эту вот прежнюю из той настоящей?

Что-то все-таки вокруг еще вращалось, подмигивало и предлагалось, продуктов и товаров было вокруг еще немало, однако не оставляло ощущение зыбкости и незаконности.

Надо срочно брать такси и мчаться куда-то. Если есть еще хоть малый шанс удержаться, надо его использовать!

Такси различных фирм пока предлагались в избытке. "Желтый кэб", "Атлас", "Пять звезд", "Голубая вершина"... Выбираю почему-то без надписи на борту, но зато оливкового цвета и с шашечками. "Гони!"

Таксист сразу начал ругать правительство и делал это с провокационным упоением: хмыри, мол, аферисты, поганой, мол, их метлой! Парирую: "Если вам не нравится правительство, выбирайте другое!" Он радостно сверкнул цыганским глазом: "Помоги друг, достать произведения Солженицына!" Нет, этот номер не пройдет, не спровоцируешь! Начинаю мычать что-то вроде "этих превосходных полетов", а получается генетически опротивевшее: "Мы красная кавалерия и про нас..." Машина останавливается у подъезда "Союза творческих союзов". Вижу часовых с четвертой и второй буквами русского алфавита на погонах. "Куда ты меня привез, распиздяй?" — "Кажется, по адресу", — отвечает раб, подавляя рыдания. "Нет, не выйдет, вези туда, где у меня еще остался шанс!" — "Куда? Где этот ваш шанс? Сами не знаете!"

...Площадь вздымалась брусчатым горбом и сплющивалась по краям будто в широкоугольной оптике. Агарофобия окаймлена была клаустрофобией громоздящихся строений, все эти красные кирпичи и плиты шлифованного лабрадора, все эти зубцы, шпили, козьи ножки карнизов, витые тюрбаны куполов, вся эта социалистическая Византия.

Нескончаемая очередь тащилась по краю площади и утекала в прямоугольную черноту. Предполагалась торжественность, но кто-то тихонечко жевал, кто-то, заглядывая в рукав, читал книжку. При полном отсутствии шансов люди все-таки не хотели даром терять времени. А может быть, каждый, как и я, лелеял последнюю надежду?

Из-за угла дома, похожего на сундук персидского царя, вдруг стали выползать круглый нос и крутой лоб "Боинга-747". Кажется, это и есть мой шанс, нужно только пересечь площадь. Однако я не смогу этого сделать в одиночку — агарофобия сдует, как мотылька. Все-таки оторвался от вечной очереди, шатким шагом достиг вершины бугра и там закачался под ветром. На счастье, из башенных ворот вдруг появилась толпа авиапассажиров и зашагала ко мне, персон не менее трех сотен.

Они шли в ровном темпе, неся через плечо или в руках свои сумки, фотокамеры, туалетные ящички и брифкейсы, и прочее, то есть теннисные ракетки и клюшки для гольфа. Выглядели они как-то вразнобой — иные загорелыми и цветущими, будто прямо из Майами, другие бледными и задроченными, будто не иначе как из Нью-Йорка. Одни шли по-простецки, едва ли не на босу ногу, другие — по всем законам клуба, одни беззвучно хохотали, демонстрировали сильнейшее возбуждение, будто только что освободились из бейрутского плена, другие шагали с сосредоточенной вяловатостью, словно возвращались из деловой командировки в Чикаго.

Вот вам два-три портрета. Милейшая толстуха-буфетчица в растягивающихся джинсах и в майке с надписью: "I'm sexy"; задниц таких не видывал ни Крым, ни Кавказ. Трудящийся миллионер в длинной шубе из скандинавских мехов шествовал, потупив глаза, как всегда немного смущаясь своего богатства, будто "роллс-ройс" среди "фольксвагенов". Стройная женщина-"экзекьютив" с негативным выражением лица, но зато с великолепнейшим, до складочки, разрезом на юбке; смущало некоторое несоответствие — лицо намеренно отталкивало, нога намеренно привлекала. Длиннорукий выпуклоглазый малый в майке с надписью "Пума", с изображением оной и с пучками рыжих волос, из-под майки выпирающих.

Вот к этим своим *согражданам* я пытался подвалиться, стараясь отвалить подальше от *соотечественников*, безучастно взиравших из очереди на агарофобический пейзаж. Шатко и неуклюже я шагал вровень с авиатолпой, срезая понемногу, осторожно сближаясь, стараясь не

привлечь чрезмерной резкостью внимания сторожевых башен.

Вскоре я заметил, что слился с этой беззвучно шагавшей, жестикулирующей и артикулирующей толпой. Я оглядывался во все стороны, и мне казалось, что я вижу среди идущих немало то ли знакомых, то ли примелькавшихся лиц: своих соседей по "кондо", "джоггеров", шоферов грузовиков, патрульных, профессоров-либералов-консерваторов, стареющих хиппи, двух поэтов и пяток киношников, дипломатов из Ди-Си, китайских кулинаров, директора, адмирала, писательницу романтического направления, адвоката и чиновницу, водителя "скулбаса", студентов-троянцев и студенток-амазонок, пару кандидатов в президенты, болельщиков футбола, женских активистов, нищих, "яппи", фотографа с тремя котами, грабителей, священника, синклит русистов, джазменов, нудиста, Джейн Фонду, ЗАПа, Ромео, Меркуцио, няню... Неужто мой шанс сработал, а если это так, то почему бы и другим с того дальнего берега площади, из тех зубчатых теней не попытаться соединиться с идущими и не топать вместе? "Не жди ответа, — сказал я себе, — ни на первый вопрос, ни тем более на второй".

Рыжий в майке с надписью "Пума" — мистер Флитфлинт? — вытянул губы и стал что-то насвистывать. Тут включился звук.

Июль 84-го, Вермонт — июль 85-го, Париж

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!

В 1992 году независимое издательство
«КОНЕЦ ВЕКА»
выпустит следующие книги:

«МАМА, Я ЖУЛИКА ЛЮБЛЮ!»
Натальи Медведевой.

«АКВАРИУМ»,
«РАССКАЗЫ ОСВОБОДИТЕЛЯ»
Виктора Суворова.

«ФАРИСЕЯ» Юрия Борева.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

В начале 1993 года независимое издательство
«КОНЕЦ ВЕКА»
выпустит следующие книги:

«СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ»
Виктора Коклюшкина.

«ПОП И РАБОТНИК»,
«СТРОЙБАТ»,
«СМИРЕННОЕ КЛАДБИЩЕ»
Сергея Каледина.

«ПИР НА БЕРЕГУ
ФИОЛЕТОВОЙ РЕКИ»
Олега Ермакова.

Василий Аксенов

В ПОИСКАХ ГРУСТНОГО БЕБИ

Две книги об Америке

Компьютерная верстка *Григорьева О.И.*
Корректоры *Гальперина Н.Б., Звездочетова Н.В., Красильникова С.В.*

Сдано в набор 25.03.92. Подп. к печати 18.07.92. Формат 84X108/32.
Бумага газетная. Печать офсетная. Гарнитура Таймс.
Усл.печ.л. 25,20. Уч.-изд.л. 24.78. Тираж 50 000.
Заказ № 2113

Издательство "Конец века", 103055, Москва, К-55, а/я 95.
Отпечатано с оригинал-макета, выполненного ТОО «Лантерна»,
на Можайском полиграфкомбинате
Министерства печати и информации Российской Федерации.
143200, Московская обл., г.Можайск, ул. Мира, 93.